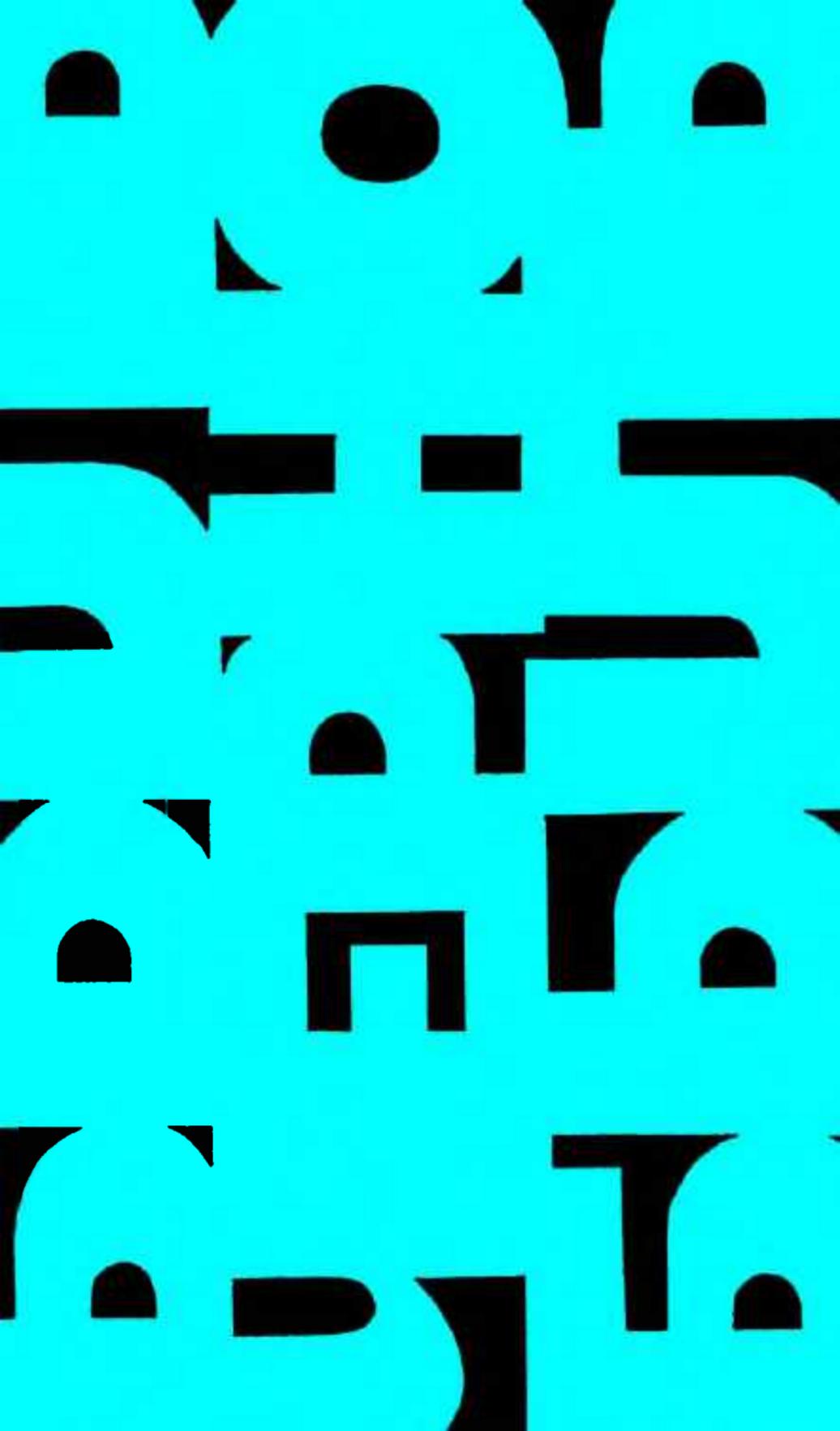




**Юрий Щербак**  
**ЧЕРНОБЫЛЬ**



**Юрий Щербак**  
**ЧЕРНОБЫЛЬ**



# Юрий Щербак ЧЕРНОБЫЛЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

*Москва*

**Советский писатель**

*1991*

ББК 84 Ук7  
Щ 61

Художник  
*Алексей ТОМИЛИН*

Щ  $\frac{4702640201-034}{083(02)-91}$  353-91

ISBN 5-265-01415-2

© Состав и оформление.  
Издательство «Советский писатель», 1991

Группа ученых может поставить плохо подготовленное общество перед лицом таких открытий, применение которых приведет к необратимым всеокушающим последствиям; горстка людей в состоянии бросить весь мир в пламя последнего жертвенного костра. Лишь сознательные и бдительные граждане могут предотвратить эти отклонения и написать историю будущего, достойную быть прожитой.

*Аурелио Печчеи. «Сто страниц для будущего». В кн.: «Будущее в настоящем». М., 1984, с. 36*

...стали говорить про то, какой будет скоро матерьяльный прогресс, как — электричество и т. п. И мне жалко их стало, и я им стал говорить, что жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь о другом единственно важном прогрессе — не электричества и летанья по воздуху, а о прогрессе братства, единения, любви...

*Л. Н. Толстой. «Дневник» — 25 апреля 1895 г. (за 101 год до чернойбыльской аварии)*

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Пепел Чернобыля стучит в мое сердце.

Вот уже три года я живу и болею Чернобылем, стараюсь постичь причины аварии и ее последствия, постоянно думаю о героях и преступниках Чернобыля, о его жертвах — прошлых и будущих; переписываюсь, встречаюсь со множеством людей, причастных к этой трагедии, слушаю и записываю все новые и новые рассказы. Порою самонадеянно думаю, что мне известно уже все или почти все об аварии — но нет, в рассказе незнакомого человека или в письме, пришедшем издалека, вдруг вспыхивает неожиданная, пронзительная деталь, возникает еще одна новая драма, чернобыльский сюжет, казалось бы такой уже знакомый, делает еще один крутой поворот. И тогда понимаю: нет, еще нескоро выберусь из чернобыльского омута.

За три года чернобыльской эры я не написал ни одного рассказа, не говоря уже о повести или романе, ни одной пьесы, ни одной сколь-нибудь объемистой литературно-критической статьи. Единственное, что вышло за рамки Чернобыля, — статья о Сальвадоре Дали, опубликованная в украинском журнале «Всесвіт», да и то, пожалуй, потому, что картины этого великого реалиста снов сродни сюрреалистическому миру, возникшему и утвердившемуся теперь рядом с Киевом... Польские журналисты из «Газеты краковской» спросили меня, не останусь ли я уже до конца своих дней писателем только одной — чернобыльской — темы. Нет, не хотел бы этого.

Однако и описывать героев в обыденных семейных, производственных или любовных ситуациях пока не могу, ибо остро сознаю, что на моих глазах творится История. Это чувство сопричастности событиям огромного исторического значения для судеб моего народа и заставляет меня постоянно обращаться к живой памяти людей, прошедших

через огонь Чернобыля. Но человеческая память — коварная вещь: всю многосложность и противоречивость событий она имеет обыкновение исказить с помощью могучего «внутреннего цензора» — логики, оформлять, упрощать, превращая пестрый алогичный поток жизни в строгую черно-белую схему. Поэтому надо спешить, надо по крупницам собирать все, что связано с Чернобылем.

Конечно, полное осмысление происшедшего (вспомним Великую Отечественную войну) — дело будущего, быть может далекого будущего. Ни один писатель или журналист, сколь бы сведущ он ни был, не в состоянии сегодня этого сделать. Придет время — я верю в это, — когда чернобыльская эпопея предстанет перед нами во всей ее трагической полноте, во всем многоголосье, в благодарных жизнеописаниях подлинных героев и презрительных характеристиках преступников, допустивших аварию и ее тяжкие последствия — всех надо назвать поименно! — в скупых и точных цифрах и фактах, во всей сложности жизненных обстоятельств и служебных хитросплетений, человеческих надежд, иллюзий, в неоднозначности нравственных позиций, занимаемых участниками эпопеи. Думаю, что для создания такой эпопеи понадобятся новые подходы, новые литературные формы, отличные, скажем, от «Войны и мира» или «Тихого Дона». Какими они будут? Не знаю.

А пока... Пока мне хочется предложить читателю своеобразный монтаж документов, фактов и свидетельств очевидцев аварии.

В исповедях людей реальных, в их рассказах — взволнованных, субъективных, — быть может, не всегда скрупулезно точных, порою противоречивых, не всегда рационально взвешенных, но всегда искренних, — вижу я живой источник народной правды, неприглаженной, не прошедшей через фильтры казенного оптимизма. Отдавая повесть в печать<sup>1</sup>, я верил, что читатели поймут и поддержат меня в этих поисках истины.

Иначе и не стоило бы писать.

И действительно, сразу же после публикации «Чернобыля» стали поступать письма читателей.

Много писем.

Письма, хлынувшие в редакции, принесли огромное

---

<sup>1</sup> Журнальный вариант повести публиковался в журнале «Юность» (№ 6, 7 за 1987-й и № 9, 10 за 1988 г.) и в украинском журнале «Вітчизна» (№ 4, 5 и 9, 10 за 1988 г.).

количество новой, прежде неизвестной мне информации: они существенно расширили мое понимание Чернобыля. В них задавались беспощадные вопросы, содержались точные оценки происшедшего. Была в них злость и ярость, но была и беспримерная доброта, и милосердие, еще сохранные, к счастью, в глубинах народной жизни. Благодаря письмам я познакомился со многими замечательными людьми, ставшими героями этой книги.

Я получил также немало ценных произведений, посвященных аварии и преодолению ее последствий: повести, дневники, воспоминания, рассказы очевидцев, стихи... Особенно много стихов. Работая над книгой, я старался в меру возможности использовать этот богатейший материал хотя бы в виде небольших отрывков: хочется верить, что будет когда-нибудь предпринято более капитальное издание «Истории аварии Чернобыльской АЭС» — полное и многотомное, без сокращений и умолчаний. И что все подлинные документы времени найдут в нем место.

Пребывая в районах чрезвычайного положения, видя, какое огромное горе неожиданно свалилось на десятки тысяч людей, я часто вспоминал наши «дочернобыльские» литературные дискуссии о современной теме, о настоящем и будущем романа или новеллы, о положительном герое и необходимости «изучения» (!) жизни и прочих вещах, представлявшихся нам тогда такими важными. Какими схоластическими и далекими от этой жизни оказались они там, в Зоне, когда на моих глазах разворачивалась невиданная драма, когда человеческая суть — как это было на войне — обнажалась предельно быстро: вся маскировка слетала вдруг с людей, как листва с деревьев под действием дефолиантов, и яркие болтуны, призывавшие на собраниях к «ускорению», к «активизации человеческого фактора», оказывались заурядными трусами и подонками, а тихие, неприметные труженики — подлинными героями.

Взять хотя бы старого пожарного, «деда» — Григория Матвеевича Хмеля, по-крестьянски неторопливый рассказ которого приводится здесь: он и двое его сыновей-пожарных пострадали во время аварии на АЭС и лежали в разных больницах Москвы и Киева, жена была эвакуирована из села под Припятью в Бородянский район и продолжала работать — готовила еду и возила ее механизаторам в поле... Какие наши литературные или бытовые, зачастую мелкие и жалкие, проблемы могли сравниться с драмой этих людей, которые вели себя с таким достоинством? Слушая рассказ

рассудительного украинца Хмеля, я почему-то вспоминал гоголевского Тараса Бульбу.

Одно время после того, что я узнал и увидел в Чернобыле, мне казалось, что я уже никогда не возьмусь за перо: все традиционные литературные формы, все тонкости стиля и ухищрения композиции — все казалось мне бесконечно далеким от правды, искусственным и ненужным. За несколько дней до аварии я закончил роман «Причины и последствия», повествующий о врачах лаборатории особо опасных инфекций, ведущих борьбу с такой смертельной болезнью, как бешенство; и хотя некоторые ситуации романа по странному стечению обстоятельств оказались созвучными тому, что довелось увидеть (при несоизмеримости масштабов происходящего, конечно), роман как-то очень быстро погас в моем сознании, отодвинулся куда-то назад, в «мирное время».

Все поглотил Чернобыль.

Как гигантский магнит, манил он меня к себе, волновал воображение, заставлял жить Зоной, ее странной, искривленной действительностью, думать только об аварии и ее последствиях, о тех, кто борется со смертью в клиниках, кто пытается обуздать атомного джинна в непосредственной близости от реактора. Мне казалось подлым, невозможным стоять в стороне от событий, принесших моему народу такую беду. Долгие годы перед апрелем 1986 года преследовало меня чувство вины — вины за то, что я, коренной киевлянин, писатель, врач, прошел мимо трагедии своего родного города, случившейся в начале шестидесятых годов: мокрый песок и вода, накопившиеся в Бабьем Яру, из коего городские власти хотели создать место для увеселений (!), прорвали дамбу и пошли на Куреневку, вызвав многочисленные разрушения и человеческие жертвы. Долгие годы молчала украинская литература (и я вместе с нею) об этой катастрофе, и только сравнительно недавно. Олесь Гончар в рассказе «Черный яр» и Павло Загребельный в романе «Южный комфорт» обратились к событиям того страшного предвесеннего рассвета... Почему же я молчал? Ведь мог собрать факты, свидетельства очевидцев, мог найти и назвать виновников несчастья... Не сделал этого. Видимо, не дорос тогда до понимания каких-то очень простых, очень важных истин. Да тогда бы и крик мой не услышали — был он тоньше комариного писка: за плечами только первые публикации в «Юности», «Литературной газете» и еще только начал писать я свою первую повесть «Как на войне»... Все это говорю не для оправдания, а истины ради.

Чернобыль воспринял я совершенно по-другому — не только как свое личное несчастье (мне в принципе ничто не угрожало), а как самое важное после Великой Отечественной войны событие в жизни моего народа. Никогда не простил бы себе молчания. Правда, поначалу, выступая в качестве специального корреспондента «Литературной газеты», видел я свою задачу достаточно узко: рассказать о врачах, принимающих участие в ликвидации последствий аварии. Но сам ход жизни заставил меня постепенно расширить круг поисков, встретиться с сотнями самых различных людей — пожарными и академиками, врачами и милиционерами, учителями и эксплуатационниками АЭС, министрами и солдатами, комсомольскими работниками и митрополитами, американским миллионером и советскими студентами.

Я слушал их рассказы, записывал голоса на магнитофон, потом, расшифровывая по ночам эти записи, еще и еще раз поражался правдивости и искренности их свидетельств, точности деталей, меткости суждений. Переводя эти магнитозаписи в текст, я старался сберечь и строй речи, и особенности терминологии или жаргона, и интонацию моих собеседников, прибегая к редактированию лишь в самом крайнем случае. Мне казалось очень важным сохранить документальный, невыдуманный характер этих человеческих исповедей.

В то же время я не хотел ограничиться только механическим собиранием фактов, какими бы впечатляющими и сенсационными они ни были. Уже с самых первых дней аварии возникла острая необходимость глубокого осмысления происшедшего.

Ведь чернобыльский взрыв ввел человечество в новый период развития цивилизации, о возможности которого лишь смутно, интуитивно догадывались писатели-фантасты. Большинство же рационально мыслящих, оптимистически ориентированных ученых и технарей-прагматиков по причине ограниченности своей фантазии и проистекающей отсюда самоуверенности ничего подобного предвидеть не могли, да и не хотели, очевидно. Только отдельные, наиболее дальновидные ученые в последнее время начали задумываться над катастрофическими возможностями невероятной концентрации промышленных и научных мощностей. Об этом свидетельствуют высказывания академика В. А. Легасова, публикуемые на страницах нашей повести, исповеди ученых и специалистов.

Я также постарался представить на страницах этой книги собственные суждения об аварии, ее истоках, предпосылках и нравственных уроках. Понимаю, что излагаемые здесь взгляды — моих героев и мои — неполны, субъективны и не могут претендовать на истину в последней инстанции. Время конечно же внесет свои коррективы, подтвердит или опровергнет те или иные утверждения.

В одном лишь я уверен: в сумраке рокового, трагического явления, ставшего известным миру под названием «Чернобыль», нам, человечеству, надо суметь распознать суровые предзнаменования грядущего.

И сделать надлежащие выводы.

Пока не поздно.

## ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО ЧЕРНОБЫЛЬ

Чернобыль.

Небольшое, милое, провинциальное украинское местечко, утопающее в зелени, все в вишнях и яблонях. Летом здесь любили отдыхать многие киевляне, москвичи, ленинградцы. Приезжали сюда основательно, часто на все лето, с детишками и домочадцами, снимали «дачи» — то бишь комнаты в деревянных одноэтажных домишках, готовили на зиму соленья и варенья, собирали грибы, с избытком водившиеся в здешних лесах, загорали на ослепительно чистых песчаных берегах Киевского моря, ловили рыбу в Припяти. И казалось, что удивительно гармонично ужились здесь красота полесской природы и упрятанные в бетон четыре блока АЭС, расположенной неподалеку, к северу от Чернобыля.

Казалось...

Приехав в Чернобыль в начале мая 1986 года, я (да разве только один я?) словно бы заглянул в странный, невероятный мир Зазеркалья, окрашенный в невидимые и потому еще более зловещие тона повышенной радиоактивности. Увидел то, что еще накануне трудно было представить даже в самых фантастических снах, хотя, в общем, все выглядело достаточно обыденно. А потом, когда бывал здесь в следующие разы, все уже казалось привычным... И это тоже было страшное открытие, ибо я убежден, что нельзя привыкать к ТАКОМУ. Привыкание к аварии, к ее масштабам, к искаженному лику земли и природы — само по себе одно из тяжелейших последствий Чернобыля.

Но это пришло позже.

А вначале...

Это был город без жителей, без звонких криков ребятни, без обычной, повседневной, по-районному неторопливой жизни. Были наглухо захлопнуты ставни, закрыты и опечатаны все дома, учреждения и магазины. На балконах пятиэтажных домов возле пожарной части стояли велосипеды, сушилось белье. В городе не осталось домашней живности, по утрам не мычали коровы, лишь бегали одичавшие собаки (позднее их отстрелили), кудахтали куры да птицы беззаботно щбетали в листве деревьев. Птицы не

знали, что запыленная листва стала в те дни источником повышенной радиации.

Но, даже оставленный жителями, город не был мертв. Он жил и боролся. Только жил по суровым и абсолютно новым для всех нас законам чрезвычайного положения атомной эпохи. В городе и вокруг него было сосредоточено огромное количество техники: стояли мощные бульдозеры и тракторы, автокраны и скреперы, канавокопатели и бетоновозы. Напротив райкома партии, рядом с памятником Ленину, застыл бронетранспортер, из которого выглядывал молодой солдат в респираторе. Под пятнистыми маскировочными сетками разместились штабные радиостанции и военные грузовики. А перед райкомом и райисполкомом, откуда осуществлялось руководство всей операцией, стояли десятки легковых автомобилей: черные «Волги», «Чайки» — так, словно здесь шло совещание на высоком уровне. Часть этих машин, «набравших» радиацию, пришлось потом оставить навечно в Зоне... На въезде в Чернобыль работали многочисленные посты дозиметрического контроля, где велась суровая проверка автомобилей и тракторов; на специальных площадках солдаты в зеленых костюмах химической защиты дезактивировали технику, вышедшую из Зоны. Поливали беспрерывно и щедро мыли улицы Чернобыля, и стояли многочисленные регулировщики ГАИ, будто на оживленных киевских магистралях в предпраздничные дни.

Какова же история этого городка, которому довелось войти в летопись XX века?

Передо мною небольшая и — как бы это точнее выразиться? — уютно и старомодно изданная книжица, вышедшая более ста лет тому назад, в 1884 году, под названием весьма привлекательным для современного читателя — «Город Чернобыль Киевской губернии, описанный отставным военным Л. П.».

Автор со скрупулезностью подлинно военного человека, находящегося на досуге и не знающего, чем бы полезным заняться, изучил географию, историю и экономику этого заштатного городка, лежащего в ста двадцати верстах на север от Киева. «Давние историки рассказывают, — пишет Л. П., — что когда великий князь киевский Мстислав, сын Мономаха, в 1127 г. послал братьев своих против кривичей четырьмя дорогами, то Всеволоду Ольговичу было приказано идти через Стрежев к г. Борисову. Стрежев считался самым южным городком Полоцкого княжества, куда Рогвольд около 1160 года посадил Всеволода Глебовича. При этом князе

Стрежев, впоследствии названный Чернобылем, считался удельным княжеством».

В 1193 г. в летописи Стрежев уже именуется Чернобылем. Записано: «Князь Вышгородский и Туровский, Ростислав — сын великого князя киевского Рюрика (княжил от 1180 до 1195) «Ѓха съ ловомь оть Чернобыля въ Торцийский».

Автор подробно живописует сложные пути истории Чернобыля — кто только не владел им! В конце XVII века Чернобыль достался польскому магнату Ходкевичу; вплоть до самой Октябрьской революции Ходкевичам принадлежало здесь более 20 тысяч десятин земли. С каким волнением сегодня читаешь названия сел, входивших в имение Ходкевичей: Заполье, Залесье, Янов, Новоселки, Ямполь, Нагорцы, Копачи, Машев, Зимовище и многие другие, включая Дитятский бор — все эти названия известны сейчас каждому, кто был причастен к работе в Зоне.

Странным образом название местечка Чернобыль мелькнуло в истории Великой французской революции: в период якобинской диктатуры уроженка Чернобыля, 26-летняя красавица-полька Розалия Любомирская-Ходкевич, 30 июня 1794 года была гильотинирована в Париже по приговору революционного трибунала, будучи обвинена в связях с Марией-Антуанеттой и другими членами королевской семьи. Под именем «Розалия из Чернобыля» эта голубоглазая блондинка увековечена в записях современников...

Древний Чернобыль дал свое горькое название («чернобыль» по-украински — полынь обыкновенная) мощной атомной электростанции. Очень многие люди не только за рубежом, но и в нашей стране и до сих пор, после стольких публикаций в печати и многочисленных телевизионных передач, не совсем ясно или совсем не ясно понимают, что Чернобыль, оставшись скромным райцентром сельского типа, в годы, предшествовавшие аварии, почти не имел никакого отношения к атомной электростанции. Главной же столицей энергетиков стал молодой, бурно развивающийся город Припять, отстоящий от Чернобыля на 18 километров к северо западу.

В изданном в 1986 г. киевским издательством «Мистецтво» фотоальбоме «Припять» (фото и текст Ю. Евсюкова) говорится:

«Его назвали Припятью по имени полноводной красавицы реки, которая, причудливо извиваясь голубой лентой, соединяет белорусское и украинское Полесье и несет свои воды

седому Днепру. А своим появлением город обязан сооружению здесь Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина.

Начальные страницы летописи трудовой биографии Припяти написаны 4 февраля 1970 года, когда тут был забит строителями первый колышек и вынут первый ковш земли. Близость железнодорожной станции и автотрассы, наличие реки определили выбор этого места для создания первой на Украине атомной электростанции... 15 августа 1972 года в торжественной обстановке был уложен первый кубометр бетона в основание главного корпуса электростанции... Успехи в возведении станции неразрывно связаны с успехами в строительстве нового жилья, городских объектов социально-культурного и бытового назначения. В городе сооружены Дворец культуры, Дом книги, кинотеатр, гостиница, четыре библиотеки, школа искусств с концертным залом, комплекс медицинских учреждений, благоустроенные средние общеобразовательные школы, профтехучилище. Создана широкая сеть бытовых учреждений, столовых, кафе, магазинов. Построено свыше десятка детских садов.

Строительству различных дошкольных и спортивных учреждений уделяется особое внимание, ведь средний возраст жителей юного города составляет **ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ**. Ежегодно здесь рождается более тысячи детей. Только в Припяти можно увидеть парад колясок, когда вечерами мамы и папы гуляют со своими малышами...

Припять уверенно шагает в будущее. Ее промышленные предприятия продолжают наращивать производственные мощности. В ближайшие годы будут построены энергетический техникум, еще одна средняя школа, Дворец пионеров, молодежный клуб, торговый центр, крытый рынок, гостиница, новые здания авто- и железнодорожного вокзала, стоматологическая поликлиника, кинотеатр с двумя кинозалами, магазин «Детский мир», универсам и другие объекты. Въезд в город украсит парк с аттракционами.

По генеральному плану в Припяти будет до восьмидесяти тысяч жителей. Полесский атомоград станет одним из красивейших городов Украины».

Красочный этот альбом мне подарил в пустом административном корпусе Припяти, в ее «Белом доме», Александр Юрьевич Эсаулов — заместитель председателя припятского горисполкома, один из героев нашей повести. Мы ходили с ним по безжизненным коридорам, заглядывали в опустевшие кабинеты: сдвинутая мебель, брошенные на пол

бумаги, открытые сейфы, кучи пустых бутылок из-под пепси-колы в помещениях, где заседала Правительственная комиссия (на память я снял с дверей бумажки с торопливыми надписями — кто где размещается), подшивки газет, оборвавшиеся на дате «25 апреля», засохшие цветы в вазах... И над всем этим — одуряющий запах дезинфекции, чтобы крысы не размножились.

В тот день мы с Эсауловым были единственными жителями покинутого красавца города. Мы — и несколько милиционеров из патрульной службы, охранявших брошенные жителями дома.

А въезд в город украшал не парк с аттракционами, а плотная изгородь из колючей проволоки, оснащенная системой специальной сигнализации, чтобы непрошеным мародерам не удалось проникнуть сюда, в Зону, поживиться радиоактивными вещами, оставленными в тысячах квартир. Было и такое.

## АЭС, РЕАКТОР РБМК-1000 И ДРУГОЕ

Из статьи К. Полушкина «Атомный богатырь», журнал «Наука и жизнь», 1980 год, № 11:

«Широкое внедрение АЭС в энергетику определяется рядом причин. Остановимся на наиболее существенных из них.

Это прежде всего усиливающаяся концентрация промышленности и, следовательно, увеличивающееся энергопотребление в наиболее освоенных центральных районах страны, где запасы органического топлива и гидроресурсов использованы уже практически полностью. Транспортировка сюда органического топлива от далеко расположенных мест его добычи экономически невыгодна, так как необходимо перевозить колоссальные количества топлива, ведь для работы только одной ТЭС (тепловой электростанции) мощностью 1 млн квт требуется около 10 тыс. тонн каменного угля в сутки... В то же время в реакторе на получение тепла, необходимого для суточной мощности АЭС мощностью 1 млн. квт, расходуется 100 кг ядерного горючего. Именно поэтому стоимость электроэнергии, полученной на АЭС, работающих в европейской части Советского Союза и некоторых отдаленных районах, ниже стоимости энергии, вырабатываемой тепловыми станциями.

Существенную роль играют и экологические факторы. Электростанции, сжигающие нефть или мазут, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, углеводороды, окислы азота, серы, свинца, ртути, а ТЭС, работающие на каменном угле, — кроме того, еще и огромные количества золы.

...Благодаря... мероприятиям (по обеспечению безопасности работы АЭС.— Ю. Щ.) радиоактивная обстановка во внешней среде в районе расположения АЭС практически не отличается от естественной.

...Сейчас в нашей стране на ближайшие 10—15 лет определились два основных направления в развитии атомной энергетики: одно базируется на реакторах водо-водяных с корпусами под давлением (типа ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор), а другое — на канальных уран-графитовых реакторах (типа РБМК — реактор большой мощности, канальный). В уран-графитовых реакторах канального типа... замедлителем служит графит, а теплоносителем — вода.

...Одно из самых важных требований, предъявляемых к ядерным энергетическим реакторам, — безопасность АЭС во всех режимах ее работы, как нормальных, так и аварийных... Должно быть обеспечено надежное прекращение цепной реакции деления при любых аварийных ситуациях; надежное охлаждение активной зоны в нормальных эксплуатационных, а также аварийных режимах, связанных с выходом из строя различного оборудования... Гарантировать выполнение всех этих условий призвана система управления и защиты (СУЗ) реактора.

...Исследование аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя технологического оборудования, показало, что в ряде случаев нет необходимости останавливать реактор, а достаточно снизить его мощность до безопасного уровня. Сохранение энергетического режима существенно улучшает технико-экономические показатели АЭС.

...В результате исследований определены признаки обнаружения аварий, алгоритм срабатывания аварийной защиты, температурный режим тепловыделяющих элементов, схема, параметры и алгоритм срабатывания системы аварийного охлаждения реактора... Все эти данные используются для управления атомной электростанцией, которое осуществляется централизованно с помощью информационно-вычислительного комплекса «Скала».

Следует подчеркнуть, что весь комплекс принятых мер

обеспечивает возможность надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков с реакторами РБМК-1000».

И еще: «Главный конструктор мощных канальных реакторов, как и атомного реактора нашей первой АЭС,— академик Н. А. Доллежалъ; научное руководство всем комплексом работ, связанных с созданием реактора этой серии, осуществлял академик А. П. Александров».

Прошу прощения у читателя за столь долгое цитирование сложных и не всегда понятных технических материй. Но то, что казалось нам еще совсем недавно малоинтересным, скучным, ненужным, после аварии вдруг приобрело огромную жизненную значимость для сотен тысяч людей. Журналы, в которых опубликованы статьи, относящиеся к атомной энергетике, после апреля 1986 г., стали библиографической редкостью, ксерокопии ходят по рукам, статьи эти внимательно читаются людьми, которым еще несколько лет тому не пришла бы в голову такая странная мысль — познавать все эти ядерно-технические премудрости.

В первые дни после аварии по Киеву пронеслась красивая легенда, вернее не легенда, а — научно-фантастическая мечта: говорили, что под аварийным реактором, равно как и под другими, находится глубокая — на 100 метров — бетонная шахта и что, мол, через день-два блок опустит под землю — и дело с концом... Кто сочинил эту легенду? Очевидно, те, кто не читал внимательно научно-популярных журналов, не интересовался элементарными вещами, которые необходимо знать каждому человеку, ибо таково непреложное требование нового времени.

...А тот, кого так ждали в Киеве, в Чернобыле, на АЭС, не приехал. Тогдашний президент Академии наук СССР академик А. П. Александров, наш земляк, который так ярко и живо, без бумажки выступал на самых высоких форумах страны, еще в самые застойные времена, который так пылко уверял всех в безопасности атомных станций,— не приехал, не выступил, не разъяснил людям, как могло такое случиться. А ведь его авторитетное слово было просто необходимо в те первые дни тревоги. Не знаю почему, но и на VIII съезде советских писателей в июне 1986 года место А. П. Александрова в президиуме пустовало, хотя у писателей были к нему вопросы, были...

И вот итог: осенью 1988 г. в Киеве состоялась всесоюзная научно-практическая конференция, посвященная обсуждению энергетической программы СССР на будущее. Чернобыльские события, естественно, наложили на дискуссию свой суровый

отпечаток. В первый день работы конференции по залу прокатился шумок: после перерыва в президиуме появился человек, внешность которого известна была всей стране. Высокий грузный старик с начисто выбритой головой яйцеобразной формы, с мешками под глазами. Академик А. П. Александров, бывший президент АН СССР.

А через два дня на трибуну конференции взшла женщина-киевлянка и обратилась к А. П. Александрову с вопросом, как мог он приехать в город, переживший чернобыльский шок, как смеет он смотреть в глаза потенциальным жертвам катастрофы — женщинам и детям, перед которыми виновен?

Гостеприимный Киев, куда так часто любил ездить А. П. Александров, оказался на этот раз очень неприветливым...

## ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откровения св. Иоанна Богослова, 8).

Неистовому тексту этому, именуемому Апокалипсисом, почти две тысячи лет. Из каких глубин человеческой тревоги и смятения явился он, откуда эта темная поэтическая сила слов, несущих грозные и неясные предзнаменования? Уже через несколько дней после аварии пошел гулять по киевской земле слух о некоей таинственной связи между Апокалипсисом, его полынной, чернобыльской, символической и разрушением четвертого энергоблока, между небесной метафизикой черных ангелов и ядерной физикой — творением умов и рук людских.

Как сама церковь, потрясенная чернобыльской бедой, отнеслась к древнему пророчеству одного из своих святых? С этим вопросом вошел я в мае 1986 года в особняк на улице Пушкинской в Киеве — резиденцию главы украинского экзархата, митрополита киевского и галицкого Филарета. На стенах зала для приемов картины Васнецова, Айвазовского, Нестерова. Горит лампада. Из боковых дверей выходит седобородый человек в черной рясе, жмет руку, приглашает к свой служебный кабинет. Это митрополит Филарет. В кабинете — массивный письменный стол, кресло, над

столом — портрет патриарха Пимена. Две большие иконы в серебряных окладах, на столике под иконами — телефон и часы с зеленым свечением электронного табло.

Мы усаживаемся в удобные кресла, на небольшом столике перед нами — кофе и сливки. Беседа наша лишена всяких черт формальности. Идет по-человечески простой и доверительный разговор о трагедии в Чернобыле, и поначалу не я беру интервью, а митрополит участливо расспрашивает меня о состоянии больных с лучевыми поражениями — тех, кто попал в киевские больницы. Наконец я задаю вопрос митрополиту, обладающему бесценным даром располагать к себе людей.

— Ваше высокопреосвященство, что вы думаете о том, что в Откровениях святого Иоанна Богослова имеется будто бы прямое указание на аварию Чернобыльской АЭС как на возможный конец света?

— Человеку не дано знать сроков, предначертанных в Апокалипсисе. Христос сказал так: о дне и часе этого не знает ни сын человеческий, ни ангелы, только Отец, то есть Бог. Апокалипсис применим к разным временам, и в течение двух тысяч лет было достаточно ситуаций, совпадающих с Откровениями Иоанна Богослова. И тогда люди говорили: «Вот, уже пришло это время» Но мы видим, что кончается второе тысячелетие, а это время не наступило. Мало того, что человеку не дано этого знать. От самого человека зависит — приблизить или удалить это время. Сейчас мы являемся свидетелями того, что человечество имеет силу, могущую уничтожить самое себя. Есть атомное оружие, причем в таком количестве, что можно взорвать нашу Землю. Но добрая человеческая воля может ядерное оружие уничтожить. Все зависит от морального состояния человечества в целом. Если человечество в нравственном отношении будет находиться на должном уровне, то оно ядерное оружие не только не применит, но и уничтожит, и таким образом то, что написано в Апокалипсисе — время это — будет отодвинуто на неопределенное расстояние. Бог не хочет, чтобы человек погиб, чтобы он себя уничтожил.

Вскоре по приглашению митрополита Филарета я пришел во Владимирский собор, где состоялось богослужение за упокой тех, кто отдал свои жизни в Чернобыле, во здравие тех, кто вышел на ликвидацию аварии. Приглушенная и торжественная роспись собора, выполненная крупнейшими живописцами прошлого века; золотом сияли розовые желтые и оранжевые ризы священнослужителей; скорбно и

прочувствованно звучали голоса певчих; истово крестились пожилые женщины в платочках, внимая словам митрополита.

Я стоял рядом с алтарем, возле большой — в человеческий рост — иконы святого Александра Невского. Руки воина смиренно сложены для молитвы, но меч — смертоносное оружие — оставался у пояса. На противоположной стороне, над входом в собор, взмахнул черными крылами ангел с лицом скорбным и вдохновенным. За дверями, распахнутыми настежь, буйствовала невероятная в том году киевская зелень, щедро посыпанная радиоактивной пылью, пели птицы, мчались машины, шли люди, не замечающие в суете и тревоге своих повседневных дел этого удивительного заповедника, в котором шло «чернобыльское» богослужение.

...А через год я познакомился в Чернобыле с человеком, носившим в душе своей собственный Апокалипсис. В отличие от символически-абстрактных Откровений Иоанна Богослова его предвидение было очень конкретно — оно имело прямое отношение к четвертому блоку АЭС.

**Александр Григорьевич Красин, инженер, мастер Чернобыльской АЭС:**

«Где-то за два года до аварии — точно помню, это был июль месяц — я увидел однажды совершенно ясную картину: снится мне, что я у себя в комнате в Припяти и как бы вижу оттуда станцию, хотя из этого окна я видеть станцию не мог, она несколько развернута в другом направлении. И вижу, как взрывается четвертый блок, как разлетается верхняя часть четвертого реактора. Летят плиты в разные стороны. И я своим домочадцам во сне даю команду: все вниз — потому что может и до нас достать, словно летит к нам ударная волна.

Это было летом 1984 года. Потом в августе месяце у старшей дочери моей должна была быть свадьба. Регистрация в Кисеве. Ну, я внутренне так вычислил, что авария произойдет 9 августа 1984 года. Почему вычислил? Потому что муж моей сестры должен был в тот день нас везти на машине, мы так договорились, всей семьей. Виделась мне эта картина так, словно был закат солнца как в августе, примерно в 18 часов. Солнца не видать, но такая освещенность, как в это время. Дыма над блоком не было, огня я тоже не видел. Но крыша разлетелась.

— А почему вы знали, что это именно четвертый блок?

— Да как же не знать... Я ведь здесь знаю все. Увидел

реально станцию, трубу, ажурные ее крепления, третий блок. А с четвертого блока плиты летят...

Вот эта картина меня потрясла. Чувство тревоги было очень большое. Мне хотелось выйти на руководство станции, прийти и рассказать им: я видел то-то и то-то. Дело в том, что у меня особенность такая: то, что я вижу в таких вещих снах, обязательно потом происходит. Было много таких снов, которые обязательно сбывались. Но я себе пытался представить встречу с директором станции. Это серьезный человек. Станция наша — крупнейшее энергопредприятие не то что страны — мира. Приходит к нему серьезный человек, руководитель — я тогда руководил базой оборудования на станции, у нас на базе на 200—300 миллионов рублей оборудования, — коммунист, и говорит: «Я вот видел сон, станция взорвется».

Думаю, расскажу ему. Я вот его представил — он у нас очень много курил. Сигареты изо рта не вынимал, Виктор Петрович Брюханов. Он скажет: «Ладно, мы подумаем». Я уйду, он нажмет кнопку и скажет: «Тут приходил какой-то больной, вы его возьмите на контроль, потому что он у нас на станции занимается чем-то не тем». Думаю — хорошо. Пойду к главному инженеру, Николаю Максимовичу Фомину. Моя дочь и его дочь учились в одном классе. Мы с ним как бы одноклассники. Ну, думаю, поговорю. «Николай Максимович, такие-то дела. Взрыв скоро будет». А он, я считаю, руководитель даже в большей степени, чем Брюханов. Брюханов — человек добрый, у него душа мягкая, ему при коммунизме только работать, когда высочайшая сознательность будет. С ангелами. А Николай Максимович, тот мог потребовать и, если понадобится, мог, как говорится, и кобеля спустить. И человек достаточно грамотный. Я представил — как он на меня посмотрит... Не пошел.

Только товарищам своим, которые надо мною не посмеются, говорю: «Ребята, что будет, не знаю, но мне кажется, что будет какая-то беда. Постарайтесь в тот день на станции не быть. Отгулы возьмите, уйдите». Это мои соседи и товарищи по работе. Они потом вспоминали мое предупреждение. Приходит это число — а я был в отпуске. Мы приезжаем из Киева, где-то часиков в шесть я звоню на станцию. «Ребята, как обстановка?» — «Ничего». — «Как по работе дела? На станции никаких аварий не было сегодня?» — «Да что-то там было, передавали». А у нас, когда что-то происходит, передают, объявляют вот так: «Опасная ситуация». Спрашиваю: «А больше ничего?» — «Ничего». Ну, я и успокоился. Время шло, шло, я спокоен.

Самое потрясающее в этой истории то, что мне довелось заранее увидеть, пережить, а потом это дело произошло. И таких людей сейчас набирается много. Какие-то предчувствия как бы накапливались. Я чувствую, что в этом деле есть какая-то система, она существует. Объяснить не могу, но где угодно могу заявить: я убежден, что какие-то вещи происходят. Мы обладаем информацией задолго до какого-то события. Что здесь? Откуда мы получаем эту информацию? Каков ее механизм? Сказать трудно. Но эту информацию надо как-то использовать.

Я все свои соображения по этому поводу написал, послал письмо в Москву. Я считаю, что необходимо создать какую-то комиссию, которая бы посмотрела на Чернобыль в историческом и психологическом плане. Там старушки в наших краях жили, они говорили: «Идет время, когда будет **ЗЕЛЕНО, НО НЕ БУДЕТ ВЕСЕЛО**». Я когда вдумываюсь в эту информацию, потрясаюсь ее краткости. Вы представляете? Зелено, но не весело. Теперь из другого села информация, от других стариков: «Придет время, когда будет все, но не будет никого». И когда я летом и осенью 1986 года ходил по Чернобылю, когда все было — вы знаете это: и сады, и все,— я думал: это самая краткая информация, короче быть не может. **БУДЕТ ВСЕ, НО НЕ БУДЕТ НИКОГО**.

Мы, современные люди, исписали по чернобыльской аварии сотни тонн бумаги, информация по ЧАЭС занимает первое место в мире в 1986 году, это признали все, а тут вся информация вмещается в несколько слов. Начало аварии: «Зелено, но не весело». Второй этап: «Все есть, и никого нет».

У моего знакомого садовый участок был на окраине села, недалеко от Припяти. Он четыре года тому назад приехал, в огороде ковыряется. Старуха выходит и говорит: «А зачем вы этим занимаетесь? Вы здесь жить не будете». — «Почему?» — «Потому что этот город мертвый будет и вы отсюда уедете». — «А почему вы так говорите?» — «Я видела сон: на месте Припяти растет ковыль».

Ну что может дать такая информация? Ковыль и ковыль. Но она дается в закодированном виде. Ковыля в природе у нас здесь нет. Но ковыль — это символ печали и смерти.

Из исторических моментов что интересно. Говорят, что, когда татары взяли Киев и сожгли, они направились вверх по Днепру. Хотели взять какой-то северный город. Ну и вроде у хана Батия была гадалка, ее звали Черная Ворона. И она сказала: «На север не ходи. Пойдешь — погубишь войско». Он не послушал, пошел. И они дошли до Чернобыля,

взяли Чернобыль и пошли дальше, вдоль Припяти. Так вот будто бы в наших местах, где сейчас находится атомная станция, были тогда болота. И их конница стала в болотах тонуть. Поскольку они народ степной, болота вселяли в них суеверный страх. И вот в народе с тех пор из поколения в поколение передавали легенду: мол, эти места, где у нас Копачи, Нагорцы, там были болота, их когда-то называли «Кричали». Почему? Потому что, когда конница тонула, эти степняки страшно кричали. А наши предки древляне, которые отступили, спрятались в этих лесах и болотах и слышали эти голоса, так и назвали это место проклятое: «Кричали».

Мне кажется, что надо поглубже покопаться в исторических источниках, летописях, легенды посмотреть. Может, действительно есть такие места, которые к беде ведут? Может, существуют какие-то еще неизвестные нам магнитные, силовые линии? Наверное, и это надо учитывать, когда строят такую махину, как атомная электростанция. Ведь когда в старину храмы строили, были такие люди, которые обладали божьим даром и выбирали место такое, где все чувствовали себя наиболее благоприятно.

Поэтому я и предлагаю создать специальную комиссию, включить в нее историков, врачей, психологов, специалистов по парапсихологии, по неясным явлениям. Могут быть и другие ученые. Явление существует, его надо изучать».

Мы вправе сколько угодно смеяться над этими предсказаниями, объявлять их мистикой, случайностью, собачьей чушью, чем угодно. Но стоит ли спешить с отрицанием? Быть может, только в 2086 году ученые расшифруют природу биополя и тех непонятных сигналов, что зарождаются в нашем подсознании, докажут их вполне материальное, квантовое или иное происхождение — и тогда приводимые здесь свидетельства станут еще одним доказательством Прорыва-в-Будущее, о чем толкуют сегодня фантасты.

А может, и ничего не докажут и природа неясных предчувствий так и останется неразгаданной.

Но ведь кроме этих, вполне ненаучных сигналов приближающейся грозы были предсказания, к которым просто обязаны были прислушаться те, кто отвечал за атомную энергетику. Были люди, которые трезво и аргументированно предсказывали приход ядерного Апокалипсиса. И не где-нибудь, а именно на Чернобыльской АЭС.

Так, Валентин Александрович Жильцов, начальник лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института атомных электростанций, в своем письме утверждает, что «в 1984 г. работавший тогда на ЧАЭС т. Поляков В. Г. (старший инженер управления реактором — СИУР) направил непосредственно академику А. П. Александрову письмо со своими соображениями по поводу улучшения отдельных конструктивных решений по системам контроля и управления реактором, на которое он получил просто отписку. Уже после аварии он обратился в ЦК КПСС, Совет Министров и Госатомэнергонадзор. Все, о чем предостерегал т. Поляков еще на стадиях разработки проекта, экспертизы, случилось на Чернобыльской АЭС».

Таковы реалии эпохи бюрократического благоденствия: отнюдь не мистические предчувствия, а самые что ни на есть реальные технические предсказания и опасения хоронятся в ведомственных дебрях, оплетаются паутиной безмолвия и равнодушия к судьбам сотен тысяч людей, которых может затронуть МГА — максимально гипотетическая авария (есть такой термин у технарей).

«Откуда она явилась, эта «Звезда Полюнь», — из ночей библейских или уже из ночей грядущих? — с горечью спрашивает Олесь Гончар. — Почему избрала именно нас, что хотела так странно и страшно сказать этому веку, от чего хотела всех нас предостеречь?» И отвечает: «Современная наука при ее фантастическом, не всегда контролируемом и, может, не до конца познанном могуществе не должна быть слишком самоуверенной, не должна пренебрегать мнением общественности... Узковедомственные интересы сплошь и рядом мы ставим выше интересов общества, мнения населения насчет целесообразности ведомственных новостроек никто и никогда не спрашивает, узколобый, обуреваемый гигантоманией чиновник талдычит, что «наука требует жертв».

## НАКАНУНЕ

**Из сообщений прессы:**

«Завершающий год одиннадцатой пятилетки был для Чернобыльской АЭС необычный — здесь действовали на полную мощность сразу все энергоблоки. Подобного еще не было за всю историю эксплуатации атомного богатыря. Раньше ежегодно, согласно графику, хотя бы один из энергоблоков

остапавливали на плановый ремонт: он длился в зависимости от его сложности от 15 до 80 суток. Благодаря сокращению сроков ремонта графики удалось совместить. И годовое производство электроэнергии достигло в прошлом году рекордной цифры — 28 миллиардов киловатт-часов» («Известия», 6 января 1986 г.).

Вот так, победно-рекордными цифрами начинался для Чернобыльской АЭС год новый, 1986-й.

А ровно за месяц до аварии, 27 марта 1986 года, в газете «Літературна Україна», органе Союза писателей Украины, появилась статья Л. Ковалевской «Не частное дело». Надо сказать, что газета уже несколько лет вела постоянную рубрику — «Пост «Литературной Украины» на Чернобыльской атомной», освещающая различные события жизни АЭС. Статья, которой суждено было вызвать такую сенсацию во всем мире (после Чернобыля ее без конца цитировали западные средства массовой информации), поначалу не привлекла к себе внимания: киевские писатели готовились тогда к отчетно-выборному собранию, и большинство из них гораздо больше заинтересовалось готовящимися персональными изменениями внутри организации, нежели делами на АЭС.

Никакого отношения к эксплуатации четвертого блока Чернобыльской АЭС статья Л. Ковалевской не имела, хотя многие, знающие о статье лишь понаслышке, до сих пор уверены в обратном. Автор сосредоточила огонь критики — очень профессиональной и бескомпромиссной — на строительстве пятого блока, сроки сооружения которого были сокращены с трех лет до двух. Л. Ковалевская приводила вопиющие факты безответственности и халтуры: так, в 1985 году поставщики недодали 2359 тонн металлоконструкций. Да и то, что поставили, чаще всего было бракованное. Далее, 326 тонн целевого покрытия на хранилище отработанного ядерного топлива поступило бракованным с Волжского завода металлоконструкций. Около 220 тонн бракованных колонн выслал на монтаж хранилища Кашинский ЗМК.

«Но ведь работать так недопустимо! — заканчивала свою статью Л. Ковалевская. — Своевременное введение очередного энергоблока не является частным делом строителей Чернобыльской АЭС. Ускорение — это и наша активность, инициатива, упорство, сознательность, наше отношение ко всему, что делается в стране».

Честно говоря, прочитав эту статью (а прочитал ее, как и многие, лишь после аварии), я подумал, что написал ее

опытный инженер, эдакая седеющая дама в очках, съевшая зубы на всех этих пресных строительных терминах и нормах. Каково же было мое удивление, когда Любовь Ковалевская оказалась молодой женщиной, журналистом припятской газеты «Трибуна энергетика», талантливой поэтессой.

Удивительные у нее глаза — светлые, с жесткими крапинками зрачков; порою кажется, что взгляд ее устремлен куда-то далеко, в прошлое ли? в будущее? — но бывает он тогда очень печален. Голос с хрипотцой: она много курит.

**Итак, Любовь Александровна Ковалевская:**

«В чем только меня не обвиняли после того, как вышла та статья в «Литературной Украине». И в некомпетентности, в том, что недоучка (помягче, правда, выражения выбирали, но смысл таков), и что сор из избы вынесла, что пишу в киевские газеты, потому что себе делаю имя.

У нас только если что-то из ряда вон выходящее случится, только тогда люди поверят, поймут.

Мы, наша газета «Трибуна энергетика», большей частью писали о проблемах стройки, а припятскому горкому партии хотелось, чтобы охватили необъятное, чтобы писали обо всем, о городе — это ведь была единственная газета в городе. Но нас работало три человека, не было своего транспорта, а при такой гигантской стройке обегать все этим женщинам бедненьким — как такое возможно? И не просто обегать, а и в редакцию вернуться. Не дай бог позвонит кто и кого-то нет в редакции — значит, не работают.

Вначале я была редактором, но когда конфликт обострился, снова ушла на должность корреспондента, в горкоме вздохнули спокойно. Потому что я всегда отстаивала право газеты на самостоятельность — мысли, анализа, доводов и выводов.

Статью для «Литературной Украины» написала за один вечер. А за месяц до этого она была опубликована в «Трибуне энергетика».

— Скажи, не было ли такой ситуации: журналиста, борющегося за правду, преследует начальство?

— По отношению к стройке было бы несправедливо так сказать. Но если брать горком или дирекцию АЭС, то да. Я в горком не бегала, не узнавала их мнение о статье, но слухи шли. Достоверные. Я узнала, что собираются меня на бюро вызывать. Могли исключить из партии.

Но тут произошла авария...

Я считаю, что одной из причин аварии на Чернобыльской АЭС была ненормальная обстановка, сложившаяся там. «Случайный» человек туда попасть не мог. Даже будь он семи пядей во лбу, специалист класснейший. Потому что в дирекции работали целые династии, семейственность процветала. Там высокая зарплата, они получали за вредность, были проведены по «грязной сетке». Рабочие даже писали о том, что там полнейшая семейственность. Друзья, знакомые. Если одного критикуют — все сразу кидаются его защищать, не разбираясь даже в сути.

Если провинится простой рабочий — его накажут. Но если администрация, верхушка — им все сходит. Дошло до того, что администрация могла не здороваться, могла с рабочими разговаривать свысока, высокомерно, могла их обижать, оскорблять. Амбиции росли непомерно. Это было как государство в государстве. Не учитывали они того, что люди-то не могут не видеть всего этого... И люди приходили в редакцию, просили: «Не называйте только, вы понимаете, меня выгонят с работы, меня съедят, но вы же можете, вы журналисты, напишите об этом». Отказать? Но нет такого права у журналиста — быть трусом. И сделать ничего нельзя, потому что человека нельзя назвать.

Когда я была редактором, я не носила материалы на согласование. Я не знаю, правильно или неправильно поступала, но не носила. Я отвечала за свои статьи. Я несу ответственность и как коммунист, и как журналист.

Я задумала серию статей для «Литературной Украины». Первая была о неполадках на стройке. Ну а вторая... а вторая обязательно была бы об эксплуатационниках. О нравственном климате на Чернобыльской АЭС. Будем честно говорить: лучшие кадры со стройки уходили в дирекцию. Из-за зарплаты. Дирекция даже переманивала хороших специалистов. Если поставить куратором опытного строителя — так он же эту стройку знает от и до. Он ценный кадр. Куратор — это тот, кто проверяет, как ему строят. А на стройке к тому времени было безденежье. Не зря многие уезжали на шашку, даже квалифицированные строители. Ведь как сейчас, во время ликвидации аварии, эти строители работают? Я в газете прочитала, что они за месяц дали годовой план. Ведь им цены нет, этим людям. Они могут работать и хотя-т.

Так вот, многие уходили в дирекцию. Но потом приходили ко мне в редакцию и говорили: «Господи, насколько люди честно работают на стройке и насколько тяжел моральный

климат на станции. Будто ты пришел занять чужое место. Карьеризм, борьба за место, за должность».

— А они много зарабатывали?

— Конечно. Триста рублей и больше. План всегда перевыполняли, «прогресс»... Притом если в «грязной» зоне — там талоны на питание, там пайки, путевки, все льготы, которых нет почему-то — я не знаю почему — на стройке. И квартиры на АЭС давали быстрее, чем на стройке, хотя строители строят, но объект важный, и соотношение квартир получалось (я не помню точно) что-то около семидесяти процентов — дирекции и тридцать — строителям.

— Какую основную проблему подняла бы ты в своей статье? Что бы ты в ней сказала?

— Что люди должны верить. Я подчиненная — я должна верить своему редактору. Верить. Чтобы я была с ним заодно. Верить в его авторитет, в его квалификацию. В его компетентность. То же самое должно быть и у рабочих. Если в администрации люди честные, порядочные, принципиальные, то, естественно, и рабочие стараются соответствовать. Когда же кому-то все позволено, а кому-то нет, рождается не зависть даже, а душевный дискомфорт. Люди думают: «Ну сколько же можно жить дурачком, когда рядом живут хорошо, живут — как хотят. Рабочих призывают к труду честному, к энтузиазму, а сами... унитаза себе забирают чешские из гостиницы. Ставят там свои, а себе несут эти...» Ведь городок небольшой, и любой промах, любое нравственное падение руководителя становится известно очень быстро. И все это обсуждается, обсасывается, летят слухи, сплетни, тем более что зажим критики шел капитальный.

С дисциплиной внешне было вроде бы все хорошо. Каждый боялся — именно боялся — уйти раньше. Но уходил, когда его не видели. Боялся опоздать, но опаздывал, когда его не видели. Все шло к расшатыванию таких крепеньких стерженьков в людях, все расшатывалось. И не зря же, когда авария произошла, оказалось, что виновато не только руководство, но и те операторы, которые...

И вот эта статья, которую я задумала, показала бы, какая связь существует между дисциплиной и нарушением элементарных правил техники безопасности. Представляешь, можно было увидеть человека, сидящего на щите управления. Там, где кнопки, рычажки.

— Как это можно сидеть на щите управления?

— А вот так. Он взял и присел. Он может присесть на щит управления. Запросто. Сейчас как говорят люди? «Сра-

батывало то, что системы дублировали друг друга. Они защищали людей». Все верили в системы. А они не защитили. И не защитили потому, что мы дожили до того — именно мы, не кто-то там, я даже не администрацию виню, а мы, люди, — дожили до того, что раздвоились. Одна половина говорит, что нужно так делать, нужно честно трудиться, а вторая: «А зачем, когда другой не делает этого?»

На базе ЧАЭС работала пятая комиссия СЭВ по атомной энергетике. Я была на заседаниях, часто посещала АЭС. Даже для нашей газеты не было постоянного пропуска. Дирекция не давала, чтобы, не дай бог, не написали критический материал. Но если хочешь что-то хорошее написать, тебе все покажут. Только заранее надо было в парткоме сказать, куда идешь, с какой целью.

Были там и остановки по вине персонала. Были и «свищи» в паропроводах. До чего же психология наша порочная: когда приходит иностранная делегация, они боятся этого. Понимают, что нельзя. А у нас к этому так относятся: «Ну свистит, ну и бог с ним!»

После статьи говорили, что я предсказала аварию. Ничего я не предсказывала, не дай бог быть Кассандрой — предсказательницей таких бед... Но в душе, если быть честной, я всегда боялась этого. Не было спокойствия. Боялась, потому что говорилось одно, а на самом деле было совсем другое. Говорили об этом люди, говорили из отдела техники безопасности. Когда я начала бояться? Как-то раз ко мне подошли, принесли документы, показали цифры, факты и прочее — то, чего, в общем, я не знала, но писать тогда у меня не хватило смелости. Знала, что такое вообще не будет напечатано.

И боялась. И всегда хотела уехать — честно уже скажу — и увезти ребенка. У меня дочь десяти лет, она болеет».

...Осенью 1987 года мы с Любовью Ковалевской выступали в битком набитом клубе Чернобыльской АЭС. Было это в Зеленом Мысе — вахтовом поселке эксплуатационников атомной станции, расположенном возле границы 30-километровой Зоны. На встречу пришли те, кто работал на АЭС в роковую ночь аварии, кому довелось пережить эвакуацию, разлуку с семьями, тяготы неустроенной жизни, работу по ликвидации последствий аварии в сложнейших условиях... Люди в одинаковых зеленых костюмах вставали и говорили все, что думают о последних публикациях на чернобыль-

скую «тему» (если позволительно такое слово), с чем-то соглашались, с чем-то спорили, задавали вопросы — словом, вели себя так, как обычные участники читательских конференций.

Но меня потрясло то яростное неприятие, с которым большинство выступавших встретило опубликованный выше рассказ Л. Ковалевской о моральной атмосфере на ЧАЭС накануне аварии. В ход были пущены и личные оскорбления, и домыслы, и клевета. Ковалевской не простили горькую правду! И еще — что она СВОЯ. Что посмела рассказать всему миру неприглядную истину о моральном загнивании, поразившем персонал (не весь, конечно) станции — этой составной клеточки нашего больного общества.

Ковалевская не дрогнула, она стойко и мужественно, невзирая на неодобрительный гул зала, отстаивала свое право на правду. Реплики ее были остры, как выпады фехтовальщика. И как великая награда этой бледной, худенькой женщине прозвучали наконец аплодисменты, когда она прочла свои стихи:

Откуда мы? — Разорвана слеза  
На «до» и «после» взорванным апрелем.  
Горят сердца. Глаза уже сторели —  
У нас потусторонние глаза...

## АВАРИЯ

...25 апреля 1987 года. Холодный, хмурый день, низкие тучи залегли над Чернобыльской АЭС. Через несколько часов исполнится год с момента аварии, вошедшей в историю XX века. Мы стоим в десяти метрах от того места, где год назад прозвучали взрывы, разрушившие ядерный реактор, принесшие нашему народу великие жертвы и страдания, прокатившиеся радиоактивным облаком по всему миру, сто-крат усиленные средствами массовой информации взрывы, навсегда покончившие с еще одной иллюзией человечества — наивной верой в наше превосходство, всевластие наше над чудовищными мощностями, созданными научно-технической цивилизацией. Эта слепая вера «в науку», «в технику» рухнула здесь вместе с бетонными перекрытиями четвертого блока. Именно здесь, вглядываясь в разрушения, измеряя невиданные уровни радиации, ужасаясь и поначалу не веря своим глазам, человечество с пронзительной ясностью не только умом, но и сердцем постигло: выход из-под контроля сил,

способных уничтожить жизнь на Земле, вполне возможны.

Отсюда, с огромной высоты (находимся на 65-й отметке), открывается вид на окрестные поля, еще не тронутые весенней зеленью (в 1986 году здесь все было уже зелено), на безжизненные дома Припяти, окруженные колючей проволокой. Стоим недалеко от того места, откуда берет свое начало бело-красная полосатая труба — вертикаль, прочерченная между третьим и четвертым блоками ЧАЭС, — сигнал опасности для вертолетчиков, летавших сюда весной 1986 года на «бомбежку» реактора бором и свинцом. Рядом с открытой дверью, ведущей на крышу саркофага, виднеются в стене отверстия. Теперь они заделаны свинцом. Слово амбразуры дота, уже ненужные для стрельбы. Еще несколько месяцев тому назад эти амбразуры были очень нужны: отсюда можно было взглянуть в развал четвертого блока, произвести торопливые замеры. На все это отводились считанные секунды. Сегодня можно выходить на крышу саркофага, работать. И хотя сейчас небольшой красный дозиметр в моей руке неумолчно пищит, мой спутник, киевский физик Юрий Николаевич Козырев, только иронически улыбается, произнося небрежно: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Потому что сегодняшняя речь — детский лепет по сравнению с тем, что здесь было еще осенью 1986 года. Козырев шутит, предлагает выдать мне справку, удостоверяющую, что я — первый в мире писатель, достигший столь знаменательной точки Чернобыльской АЭС. Он спрашивает, не желаю ли я пройтись по крыше саркофага? Но я вспоминаю, как Фил Донахью, ведущий телемоста СССР — США, вежливо отказался от прогулки по АЭС, сославшись на обещание, данное жене. Я тоже обещал. Но все же не удержался, выглянул наружу из дверей. Страшно стало от высоты и радиации.

Затем меня ведут по лабиринту огромных залов и помещений, и мне почему-то кажется, что это сон. Идем мимо больших вентиляционных труб, укутанных в поливиниловую пленку, переступаем через сплетения кабелей, проходящих сквозь пробитые в перекрытиях дыры, идем по длинному коридору 301 — тому самому, по которому в трагическую ночь апреля 86-го аварийные команды спешили на помощь четвертому блоку. Тогда это была застекленная галерея, сегодня — проход, наглухо обшитый снаружи свинцовыми листами, а изнутри отделанный бронзированным алюминием, покрытый светлым линолеумом, словно в подводной

лодке. Всюду толпятся люди, моют полы, драят стены, возятся с оборудованием. Много постов дозиметрического контроля.

В одном из залов Козырев подводит меня к стене, на которой поблескивает доска из нержавеющей стали: Валерий Ходемчук, оператор. Дата рождения, дата смерти.

Боль пронизывает меня. Мы стоим опустив головы у новенькой доски — ее только вчера повесили. Ходемчук погребен здесь. За этой стеной. Совсем рядом. Там, где четвертый реактор.

Я прошу завести меня на БЩУ-3 — блочный щит управления третьим энергоблоком. БЩУ-3 и БЩУ-4 — как близнецы-братья. На БЩУ-4 тогда еще не ходили. Вот он, БЩУ-3. С еще большей силой возникает ощущение подводной лодки. Замкнутость пространства создает какую-то особенную акустику — кажется, что давит на барабанные перепонки. Впрочем, быть может, это от волнения. Зал этот знаком по многим теле- и кинорепортажам: пульт управления, изогнутый размашистой дугой, рычажки и кнопки на пульте, серо-стальные стены, множество приборов, два больших табло на стене перед операторами, молчаливые, занятые своим делом парни в белых комбинезонах.

Именно в БЩУ-3 пришла мысль: вот сцена всемирной трагедии, достойной пера Шекспира. Что происходило совсем рядом, на БЩУ-4, в ту ночь? Кто принимал решения? Кто нажимал кнопки? Как все это было? О чем они говорили, что думали?

С помощью свидетелей, специалистов и научных документов я попытаюсь последовательно реконструировать ход событий 25—26 апреля 1986 года.

Я шел к этому целый год — от полного незнания (никогда до этого не был на атомной станции), от шока неизвестности, от пугающей тайны взрыва — до первых сбивчивых рассказов молодых ребят, поведавших мне в киевской больнице об «эксперименте». Что за «эксперимент», зачем, почему? Постепенно, шаг за шагом, картина прояснялась — так на фотобумаге, погруженной в ванночку с проявителем, вначале выступают размытые серые пятна, а затем лишь целостное изображение.

От противоречивых слухов и нелепых версий — до полной научной точности в проработке хода аварии по секундам. Таков был путь, проделанный не только мною, но и всем обществом за год.

**Игорь Иванович Казачков, начальник смены блока № 4:**

«25-го апреля 1986 года я работал в смену с 8 до 16 часов. Смену я принял от Саши Акимова. С утра мы готовились к испытаниям турбины на выбег, практически всю программу закончили к двум часам дня и уже собирались провести сам эксперимент...

— Значит, ЭТО могло случиться на вашей смене, еще днем?

— Могло. Но не случилось. Потому что в два часа дня, минут за пятнадцать до начала испытания, позвонил начальник смены Баранов и сказал, что испытания откладываются из-за того, что отключился блок на какой-то электростанции и образовался дефицит электричества, и наш блок — он давал в то время пятьсот тысяч киловатт, то есть пятьдесят процентов мощности — должен еще поработать. Ситуация эта в общем обычная, встречается нередко. Мы ведь в системе Минэнерго. Молились на план, на киловатт-часы, на все остальное.

Готовясь к эксперименту, я действовал в соответствии с программой. Единственным отклонением в этой программе от действующих инструкций было выведение системы безопасности. Я на своей смене вывел систему безопасности. Это все было напечатано в программе. Я смотрел на каждый пункт — сделать то, сделать то-то. Смотрю от начала и до конца. И по этим пунктам всем я не вижу, чтобы они от нас требовали чего-то запрещенного инструкцией. Повторяю — единственное, это вывод САОР — системы аварийного охлаждения реактора.

Опять-таки почему я это сделал... Эта система безопасности создана на случай, если произойдет разрыв трубопровода большого диаметра. Но это, естественно, очень маленькая вероятность. Я думаю, не больше, чем упадет самолет на го юву. Да, я предполагал, что через час-два блок будет остановлен. Но почему в эти час-два, которые впереди, произойдет разрыв? Нет, не должен был произойти.

Я вывел систему безопасности.

И вот вся пресса потом говорила, и за рубежом — я читал, американцы рассказывали об этой аварии, — что взрыв произошел якобы оттого, что русские вывели систему безопасности. Но никакой, я утверждаю — никакой связи между этим взрывом и выводом запасной системы охлаждения не было. И нет. И об этом я на суде говорил, когда выступал в качестве свидетеля. Не помню кто, прокурор или судья, спросил: «Повлиял ли вывод системы безопасности на ход

взрыва?» Я ответил: «Нет». Тот же вопрос был задан экспертам, и эксперты тот же ответ дали.

А вообще, у меня тяжелая смена была тогда сама по себе. Проводились испытания седьмой и восьмой турбин, проверка предохранительных клапанов. Работы было очень много. Потому что я слежу и за турбиной, и за реактором, за всем. Очень тяжела бывает работа в переходных режимах, когда переходим с одной мощности на другую. Надо следить за множеством параметров. Скажем, у СИУРа — у него несколько основных, очень важных параметров, а вообще-то у него есть четыре тысячи параметров для контроля. Представляете? И в любое время, особенно в случае отклонения какого-то, он может выбрать один из этих параметров — то есть ему надо обратить внимание на этот параметр. Тут не до детективных романов. Очень тяжелая, повторяю, работа, напряженная.

Мы должны были быть полностью готовы к проведению эксперимента в 14.15—14.20. Именно в это время, как я теперь понимаю, могла произойти авария. Но... судьба распорядилась иначе... Позвонил диспетчер, и эксперимент отложили.

— Вы должны были подчиняться диспетчеру? Вы — то есть станция?

— Должны. Если бы у меня какая-то аварийная ситуация на блоке была, если бы блок требовал останова, в этом случае, конечно, команда диспетчера для нас не указ. А так... ведь основной объект для диспетчеров Киевэнерго — это наша атомная станция. Четыре блока по миллиону. У нас на все энергетические потребности Киева хватало одного блока. При восьми миллионах мощности Киевэнерго четыре миллиона давала Чернобыльская АЭС. Так что требование диспетчера — вещь нормальная, и об этом на суде даже вопрос не поднимался.

Ну вот, когда позвонили и сказали, что эксперимента не будет, я даже разочарование испытал... Интересный эксперимент, посмотреть на все это дело хотелось. Режим технологический необычный сам по себе. Хотелось посмотреть, сколько же времени турбина будет вырабатывать энергию на свои нужды? У нас вообще до этого не было таких экспериментов. На других блоках пытались делать, у них не получилось. Выбег практически не получался. Но там, прежде чем дело доходило до эксперимента, срабатывала автоматическая защита. На третьем блоке пытались провести... Ну, я разочарование испытал. Такая была мысль: жаль, ну что

ж, нет так нет, что делать? Так пятьдесят процентов мощности и шло, доработали до конца смены.

В 16 часов я сдал смену Юре Трегубу и ушел домой. В Припять.

Конечно, хотелось посмотреть на эксперимент, но диспетчер сказал неопределенно, сколько еще времени придется блоку давать энергию. Эксперимент перенесли на «потом» — он должен был состояться либо до двенадцати ночи, на смене Юры Трегуба, либо позже — на смене Саши Акимова. Мне не резон было оставаться, потому что еще восемь часов ждать — зачем? Хотя очень интересно было. Если бы это сразу было, в следующей смене — я бы обязательно остался...»

**Юрий Юрьевич Трегуб**, начальник смены блока № 4.

«25 апреля 1986 года я заступил на смену. Сама приемка смены была очень тяжелая, потому что на столе находилось несколько программ — там была программа испытания выбега генератора, программа воздушного расхолаживания реактора, программа замера вибрации и четвертая программа... забыл, видимо, она так не зацепила... Но, по-моему, была и четвертая программа.

Смену сдавал мне Игорь Казачков. Испытания должны были быть на его смене, но потом были перенесены вроде бы на мою смену. Я поначалу не был готов к испытаниям... только через два часа, когда вник в суть программы. При приемке смены было сказано, что выведены системы безопасности. Ну, естественно, я Казачкова спросил: «Как вывели?» Говорит: «На основании программы, хотя я возражал». С кем он говорил — с Дятловым<sup>1</sup>, что ли? Убедить того не удалось. Ну, программа есть программа, ее разработали лица, ответственные за проведение, в конце концов...

Казачков говорит: «Ожидай, когда тебе диспетчер разрешит. Он разрешить должен где-то в районе 18 часов». А смена у меня была от 16 до 24 часов. У меня есть привычка все проверять. Я прихожу на смену обычно минут на сорок раньше. Записи в журналах — это одно, но если я буду проводить испытания, для меня этого мало. Я свой персонал, свою смену направил на то, чтобы проверить все, что было сделано. Хотя работа у меня на смене и кипела, потому что люди замеряли вибрацию, но в целом по блоку динамики

---

<sup>1</sup> Заместитель главного инженера станции.

никакой не было, блок устойчиво работал где-то на 45 процентов мощности от номинала.

Связаться с руководством я не мог, потому что в 5 часов уже никого не было, а желание с ними поговорить у меня появилось не сразу. Только после того, как я внимательно ознакомился с программой, только тогда у меня появилась куча вопросов к программе. А для того, чтобы говорить с руководством, надо глубоко изучить документацию, в противном случае всегда можно остаться в дураках. Когда у меня возникли все эти вопросы, было уже 6 часов вечера — и никого не было, с кем можно было бы связаться. Программа мне не понравилась своей неконкретностью. Видно было, что ее составлял электрик — Метленко или кто там составлял из Донтехэнерго...

САОР (система аварийного охлаждения реактора) начали выводить на смене Казачкова. Это очень большая работа — у нас ведь ручная арматура. Представляете, одна задвижка требует минут сорок пять. Задвижка — это как штурвал на паруснике, только чуть поменьше и стоит горизонтально. Чтобы ее закрыть, она требует усилий двух людей, а лучше — трех. Это все вручную делается. Казачкову потребовалась практически вся смена на вывод системы аварийной. Это очень тяжелая работа.

А сколько бы мне потребовалось, чтобы ее вновь ввести? Я бы ее не ввел. А если бы снова надо было ее вывести для проведения испытания? Кстати, как показал ход аварии, САОР все равно ничего бы не дала, потому что отлетели все разъемы, все отлетело, сразу все задвижки.

Смена была напряженная. Я в основном работал с документами, сидел на своем рабочем месте и читал программы. И по телефону отвечал, потому что все время звонили, спрашивали. А по реактору все шло нормально. Была только ненормальная обстановка в смысле интенсивности работы на БЩУ. Тут связь, тут читаю программу, здесь приходят, спрашивают, здесь еще что-то. Кроме того, даешь распоряжения — проверить всю программу. А это довольно сложно. Ну, я говорил с начальником смены станции Диком, рассказал о ситуации. Он, естественно, понимает так же, как и я: если есть программа, если все уже принято, то что ж? Какие могут быть возражения? Они на себя это взяли...

Где-то в 8 вечера я опять спрашиваю, беспокоюсь, что вдруг Дик забыл или отвлекся — может, диспетчер передал распоряжение и уже можно начинать эксперимент? Дик говорит: «Разрешения нет. Но надо обязательно вызвать

на испытания Дятлова». Я звоню Дятлову домой, его дома нет. Еще раз звоню. Наконец попал на него, он говорит: «Без меня не начинать». Я ему говорю: «У меня есть вопросы. Много вопросов». — «Это не телефонный разговор, без меня не начинать», — сказал он. Где-то с 8 до 9 позвонил главный инженер станции Фомин. Спросил, как испытания. Говорю — откладываются. Доложил ему обстановку — у нас есть специальная схема рапорта. Он: «Дождитесь Дятлова, без него не начинайте. Без него ни в коем случае, никаких подготовок». — «Хорошо».

Только в начале десятого стало известно: в 10 часов вечера будут испытания. Диспетчер Киевэнерго разрешил блоку разгрузку. Вообще-то я удивляюсь такой постановке вопроса, когда атомной станцией командует диспетчер. Ведь у нас даже при авариях, разрывах разных мог диспетчер не дать разрешения на останов. Но ведь это же не тепловая станция, не котел простой, который лопнет в помещении... Всегда очень трудно с диспетчерами... там куча пререканий... и с другой стороны, может, так и надо: все-таки блок-миллионник — и его остановка для энергосистемы может иметь серьезные последствия. Частота может упасть до аварийной... То есть всегда приходится натягивать эту энергию со всеми переживаниями, которые с этим связаны. Причем у нас, как правило, все оборудование в закрытых помещениях. Все делается на шестом чувстве, на воображении...

Позвонил Дятлову домой, жена его ответила, что он уже вышел на работу. Я жду его, а время идет. Около одиннадцати ночи звонят мне с третьего блока. И говорят: «У нас Дятлов, кого-то обрабатывает». Он по дороге зашел на третий блок и, видимо, нашел какой-то недостаток в смысле дисциплины. Прорабатывал их. Поэтому задержался. Появился где-то в начале двенадцатого ночи.

Саша Акимов пришел в начале двенадцатого, в половине двенадцатого он уже был на месте. Я говорю Акимову: «По этой программе у меня много вопросов. В частности, куда принимать лишнюю мощность, это должно быть написано в программе». Когда турбину отсекают от реактора, надо куда-то девать лишнюю тепловую мощность. У нас есть специальная система, помимо турбины обеспечивающая прием пара... Дятлов разговор со мной по программе отложил. А я уже понял, что на моей смене этого испытания не будет.

— То есть вас это как бы не касалось уже?

— «Нет, «не касалось» — это не то слово. Тут надо иметь в виду, что каждое лишнее вмешательство в работу может только навредить. Я не имел морального права в это вмешиваться — ведь смену принимал Акимов. Но все свои сомнения я ему сказал. Целый ряд вопросов по программе.

— А что Акимов вам сказал?

— Там спешка такая была... У нас не было времени. Что он мог мне сказать? Я ему перечислил те вопросы, которые у меня остались нерешенные. И сказал, как бы я их решил.

И остался, чтобы присутствовать на испытаниях.

Я мог уйти. Но я считал, что должен остаться. Нет, это не спортивный интерес. Я лично могу считать себя хорошим специалистом только в том случае, если я буду досконально знать все операции, всю работу на оборудовании. Я к этому стремился. Я мог работать и за СИУРа, и за СИУБа (старший инженер управления блоком) и за СИУТа (старший инженер управления турбогенератором). СИУРом я работал до 1980 года, имел опыт. Это очень сложная работа. Там не зря дается время на дублирование, если ты пришел из отпуска: сразу после отпуска работать на пульте со множеством кнопок и рычажков — это все равно что пианисту выступать без репетиций. СИУБом я не работал, но эту работу представлял более или менее. Прежде чем стать НСБ, я приложил много усилий, чтобы овладеть специальностью СИУТа.

Поэтому я остался. Очень хотелось посмотреть, как поведет себя турбина, каков ее выбег. Была ночь, и я отрывал время от своего отдыха перед будущей сменой. Я поступил немного эгоистично — словом, как начальник смены. Я не мог приказать Сергею Газину, инженеру со своей смены, остаться. Я его просил. Говорю: «На твоей турбине будут испытания. Как ты можешь не остаться?» Он говорит: «Ладно, останусь».

Если бы знать, чем это кончится...

На той смене были Саша Акимов — начальник смены блока, Леня Топтунов — СИУР, Столярчук — СИУБ, Киршенбаум — СИУТ и пятый — начальник смены турбинного цеха. Это обычный состав смены — пять человек. Плюс мы двое с Газиным остались — это семь человек. По замеру вибрации было минимум два человека, из Донтэхэнерго — тоже минимум двое. Был еще Орленко, начальник смены электроцеха, был там Лелеченко покойный, Дятлов был... Еще какие-то ребята из цеха наладки. В общем, достаточно много народу было. Это нормальная ситуация для всех испытаний.

Я стоял в правой части пульта, там, где сидит СИУТ.

Меня СИУР (Л. Топтунов) не интересовал, потому что работа у него простая. А я хотел знать, как поведет себя турбогенератор.

Все вначале шло нормально. Беспокойства никакого не было. Для беспокойства нужны причины. Но потом... потом сработала сигнализация СРВ: снижение расхода воды. Чаще всего это сигнал недостоверный, связан с дефектом приборов. Смотрю — сигнализация светится перед Топтуновым: там табло специальное. Идет сигнал. Ну, Акимов бросился туда, я тоже подошел. Это было непосредственно перед снижением мощности. Или было уже снижение мощности — этого я не помню сейчас.

Обязанность СИУРа — немедленно послать дежурного электрослесаря проверить, ложный это сигнал или истинный. Лучше пусть сто раз ноги устанут, но надо проверить. И одновременно надо операторов послать в помещение, где можно открыть запорно-регулирующий клапан и увеличить расход воды. И вот это действие Топтунов или забыл, или просто был очень занят аппаратом... короче, я схватил телефон и дал распоряжение, послал их проверить. Я это сделал. И оказался рядом с пультом. С его пультом, Топтунова. Он слева сидит. Там в этой части пульта есть вызывное устройство, на котором можно, перешелкивая, узнать расход воды. И вот именно расход был нехороший... Если полный ноль на табло — это понятно, значит, пропал сигнал. А здесь вижу — упал расход воды. Эти цифры — это не ноль, не маленькие цифры — они меня раздражали.

И вот когда я щелкал на пульте, чтобы узнать расход воды, я услышал возглас Акимова: «Лови мощность!» или «Держи мощность!» — что-то такое. Я рядом с Топтуновым стою. И вижу: мощность медленно падает... какая цифра начальная, я не знаю. Но я понял так, что приступили к снижению мощности. Я так тогда считал. Но ребята сказали мне, что при переходе с ЛАРа — есть такой локальный автоматический регулятор — на основной регулятор СИУР недостаточно перекомпенсировался, и регулятор «клюнул»: выбило оба автомата, и мощность начала снижаться. Акимов помогал Топтунову...

Вообще-то это была незапрограммированная вещь, но она меня несколько не взволновала. Конечно, нехорошо, что СИУР это проморгал, включил не вовремя. Ну и что? Это все поправимо. Меня больше из равновесия выводил расход воды.

Мы с Акимовым поменялись местами, я стоял возле

показателя мощности, а Акимов вытягивал ручки управления регуляторами. А Топтунов стал стержни защиты вынимать, чтобы мощность удерживать. Тянул почему-то больше с третьего и четвертого квадрантов. Я ему говорю: «Что же ты неравномерно тянешь? Вот здесь надо тянуть». А мощность снижалась. И с этого момента я стал ему подсказывать, какие стержни свободны для того, чтобы их извлекать. Поднимать стержни — это прямая обязанность Топтунова. Но у нас как практиковалось? Когда такая ситуация, то кто-нибудь подсказывает, какие стержни правильно выбрать. Надо равномерно вынимать. Я ему советовал. В одних случаях он соглашался, в других нет. Я говорю: «Вот свободный и вот свободный стержень. Можешь извлекать». Он или этот брал, или делал по-своему. Я ему на правой половине показал эти стержни, и вплоть до того, как мы поднялись на мощность 200 мегаватт и включили автомат, я от него не отходил. Нам надо было удерживать мощность, удерживать ее падение.

Кто дал команду на подъем мощности — этого я не знаю. Но была команда поднять мощность до 200 мегаватт, и они подняли мощность.

Этот момент с удерживанием мощности был несколько нервным, но в целом, как только вышли на мощность 200 мегаватт и стали на автомат, все успокоилось. Правда, мне не нравились эти 200 мегаватт, я ведь был когда-то СИУРом и считаю, что это не самый лучший режим для реактора РБМК. Но здесь не я решал. Двести так двести. В общем, как только стали на автомат, я ушел от Топтунова. Снова пошел к месту СИУТа. Никакой предаварийной суеты не было. Была обычная рабочая суета: разговоры все время шли, обсуждения. По положению, как руководители эксперимента, Дятлов и Акимов находились в центре, чтобы контролировать щит, и периодически туда-сюда ходили. Потом Метленко сел недалеко от рабочего места Акимова, взял в руки телефон. Они уговорились, что по команде Акимова Метленко включает осциллограф, чтобы регистрировать испытания, Киршенбаум выбивает стопорные клапаны.

Начинается эксперимент на выбег.

Отключают турбину от пара и в это время смотрят — сколько будет длиться выбег.

И вот была дана команда, Акимов ее дал. Киршенбаум — я стоял рядом с ним — отключил стопорный клапан, Метленко что-то там в трубку скомандовал...

Мы не знали, как работает оборудование от выбега, поэтому в первые секунды я воспринял... появился какой-то

нехороший такой звук. Я думал, что это звук тормозящейся турбины. Я все это как-то серо помню... сам звук я не помню, но помню, как его описывал в первые дни аварии: как если бы «Волга» на полном ходу начала тормозить и юзом бы шла. Такой звук: ду-ду-ду-ду... Переходящий в грохот. Появилась вибрация здания. Да, я подумал, что это нехорошо. Но что это — наверно, ситуация выбега.

БЩУ дрожал. Но не как при землетрясении. Если посчитать до десяти секунд — раздавался рокот, частота колебаний падала. А мощность их росла. Затем прозвучал удар.

Я из-за того, что был ближе к турбине, посчитал, что вылетела лопатка. Но это просто субъективное, потому что я ничего такого никогда не видел...

Киришенбаум крикнул: «Гидроудар в деаэраторах!» Удар этот был не очень. По сравнению с тем, что было потом. Хотя сильный удар. Сотрясло БЩУ. И когда СИУТ крикнул, я заметил, что заработала сигнализация главных предохранительных клапанов. Мелькнуло в уме: «Восемь клапанов... открытое состояние!» Я отскочил, и в это время последовал второй удар. Вот это был очень сильный удар. Посыпалась штукатурка, все здание заходило... свет потух, потом восстановилось аварийное питание. Я отскочил от места, где стоял, потому что ничего там не видел. Видел только, что открыты главные предохранительные клапаны. Открытие одного ГПК — это аварийная ситуация, а восемь ГПК — это уже было такое... что-то сверхъестественное... Единственное — у нас была надежда, что это ложный сигнал в результате гидроудара.

Все были в шоке. Все с вытянутыми лицами стояли. Я был очень испуган. Полный шок. Такой удар — это землетрясение самое натуральное. Правда, я все-таки считал, что там, возможно, что-то с турбиной. Столярчук крикнул: «Включите аварийную подпитку деаэраторов!» Поскольку Акимов был занят, все заняты, я выполнил эту команду. Побежал открывать... открыл. К арматуре панелей безопасности — она обесточена. Акимов дает мне команду открыть ручную арматуру системы охлаждения реактора. Я вам говорил, какая у нас арматура... Кричу Газину — он единственный, кто свободен, все на вахте заняты: «Бежим, поможем». Выскочили в коридор, там есть такая пристройка. По лестнице побежали. Там какой-то синий угар... мы на это просто не обращали внимания, потому что понимали, насколько все серьезно... свое задыхание я ни во что не ставил... По лестнице на 27-ю отметку выскочили, язык уже не глотает, нас потом распра-

шивали, мы начали потом понимать, что к чему... Примчались. Я был впереди, я эти помещения знал как дважды два. Дверь там деревянная. Только я выхватил дверь — она была, видимо, набухшая — как меня сразу ошпарило паром. Я туда сунулся, чтобы внутрь войти, но не выдержал дальше — там находиться невозможно было.

Я вернулся, доложил, что помещение запарено. Здесь появился начальник смены Перевозченко. Схватил меня и говорит: «Пошли на улицу, увидишь, гидробаллоны развалились». Я выскочил на улицу, реально помню, что рядом были Юрченко и Перевозченко. Вижу: эти гидробаллоны огромные — как спички, валяются внизу...

Потом... а, вот что было. Как только я это доложил, СИУБ кричит, что отказала арматура на технологических конденсаторах. Ну, опять я — я ведь свободен. Надо было в машзал... Нашел старшего оператора... но тут, конечно, что я увидел... В машзал нельзя было проскочить через дверь. Я открываю дверь — здесь обломки, похоже, мне придется быть альпинистом, крупные обломки валяются, крыши нет... Кровля машзала упала — наверно, на нее что-то обрушилось... вижу в этих дырах небо и звезды, вижу, что под ногами куски крыши и черный битум, такой... пылевой. Думаю — ничего себе... откуда эта чернота? Такая мысль. Это что — на солнце так высох битум, покрытие? Или изоляция так высохла, что в пыль превратилась?

Потом я понял. Это был графит.

Я взял Перчука с собой, и мы начинаем открывать арматуру на технологическом конденсаторе. Позже на третьем блоке мне сообщили, что пришел дозиметрист и сказал, что на четвертом блоке 1000 микрорентген в секунду, а на третьем — 250. И они уже проводят йодную профилактику. Мы там минут 20 потратили на задвижку — она большая. Вернулись. Я к йоду — йода нет, вернее, йод там остался, но уже не было воды, в общем, что-то такое всухую выпил, то ли йод, которым примочки ставят, то ли что. И мне дали в это время «лесток»<sup>1</sup>

Встречаю Проскурякова в коридоре. Он говорит: «Ты помнишь свечение, что было на улице?» — «Помню». — «А почему ж ничего не делается? Наверно, расплавилась зона...» Я говорю: «Я тоже так думаю. Если в барабан-сепараторе нет воды, то это, наверно, схема «Е» накалилась, и от нее такой свет зловещий».

<sup>1</sup> Защитная маска-респиратор из марли.

Я подошел к Дятлову и еще раз на этот момент ему указал. Он говорит: «Пошли».

И мы пошли по коридору дальше. Вышли на улицу и пошли мимо четвертого блока... определить. Под ногами — черная какая-то копоть, скользкая. Кто-то еще был с нами. Впереди Дятлов, я за ним, а третий увязался за нами — по-моему, кто-то из испытателей, из посторонних людей, любопытных. Я его чуть матом не отсылал, чтобы он не лез. Мне уже стало ясно, что здесь... Но он шел за нами... Если человек хочет...

Прошли возле завала... я показал на это сияние... показал под ноги. Сказал Дятлову: «Это Хиросима». Он долго молчал... шли мы дальше... Потом он сказал: «Такое мне даже в страшном сне не снилось». Он, видимо, был... ну что там говорить...

Авария огромных размеров».

**Сергей Николаевич Газин**, старший инженер управления турбогенератором:

«Я работал смену с 16.00 до 24.00 в пятницу, 25-го апреля. И остался на испытаниях в связи с тем, что они не прошли в нашу смену. Испытания такого рода ранее не проводились, и поэтому я для повышения своей квалификации решил остаться еще на смену. Все шло нормально, и в общем-то все испытания были закончены и подошли к последнему этапу. Обороты турбины быстро снижались, что, кстати, более всего меня интересовало как специалиста, и в этот момент произошло два мощнейших толчка, причем последующий был гораздо сильнее предыдущего.

После этого блочный щит управления четвертого энергоблока был в сильной пыли, сразу все стихло, ну и сначала, естественно, не было понятно, что же произошло? Было это в 1 час 23 минуты ночи. Я находился на расстоянии 30 метров от реактора. Выскочил в зал — а блочный щит находится между турбинным отделением и реактором. Блочный щит — центр всего контроля энергоблока. Выскочил в машзал и увидел такую картину: отсутствует его освещение, на площадке питательных насосов идут сильные сполохи коротких замыканий, валит пар и сильный запах гари. Я быстро вбежал обратно, сообщил об увиденном начальнику смены блока Александру Акимову, с тем чтобы он срочно вызвал пожарную команду.

После этого мы определились по технологии, что надо срочно подать воду в реактор. Вместе со мной посмотреть испы-

тания оставался начальник моей смены блока Юрий Трегуб, вместе с ним мы побежали в реакторное отделение, но пройти не смогли, поскольку были остановлены огромным количеством пара и горячего дыма. Мы вернулись обратно и сообщили об увиденном. Затем я помогал своему сменщику, помогал по технологии, поскольку необходимо было сохранить жизнеспособным третий энергоблок. Уходила вода из напорного бассейна, из которого происходит поступление воды в конденсатор турбины, отключились в момент аварии циркуляционные насосы нашего блока, и нужно было восстановить эту схему.

С этим мы справились, и третий блок удержался.

Достал изолирующие противогазы ребятам, которые стояли за пультами, они никуда не могли отлучиться, а «лепестков», к сожалению, не оказалось на рабочем месте. Начальник смены блока Акимов попросил меня сбежать и вызвать начальника смены цеха, я побежал, но сразу дойти не сумел, поскольку сразу после аварии произошло обрушение на этом пути, огромное количество пыли, пара. В общем, не смог. Начал задыхаться и вернулся обратно».

**Юрий Юрьевич Бадаев.** Работал в ту ночь на информационно-вычислительном комплексе «СКАЛА».

«СКАЛА» — мозг, глаза и уши станции. ЭВМ производит необходимые операции и расчеты и выдает все на блочный щит управления. Если «СКАЛА» останавливается — они как слепые котятка.

Должность у меня — электрослесарь. Странно? Но это так. По образованию я инженер-электронщик. Обычно на вычислительных центрах работают электронщики, но у нас на АЭС почему-то называется «электрослесарь».

Все происходило очень просто. Был взрыв, я был на смене в 40 метрах от реактора. Мы знали, что идут испытания. Испытания шли по заранее подготовленной программе, мы эту программу отслеживали. Вычислительная машина наша регистрирует все программные отклонения и записывает их на специальную ленту. Отслеживался режим работы реактора. Все было нормально. И прошел такой сигнал, который говорил о том, что старший инженер управления реактором нажал кнопку на полное погашение реактора.

Буквально через 15 секунд — резкий толчок, и еще через несколько секунд — толчок более мощный. Гаснет свет, и отключается наша машина. Через несколько минут подали

какое-то аварийное питание, и с этого момента мы начали спасать оборудование, потому что наша информация нужна всем. Более того — это самое важное, это диагностика развития аварии. Как только подали питание, мы стали бороться за выживание машины.

Сразу после взрыва мы абсолютно ничего не почувствовали. Дело в том, что нашей ЭВМ создаются тепличные условия, поддерживается температура 22—25 градусов, постоянно работает нагнетающая вентиляция. Нам удалось запустить машину, удалось прикрыть «шкафы» (то есть ЭВМ. — Ю. Щ.) от воды, которая в это время стала литься с потолка. Машина работала, диагностика шла. Что она регистрировала — трудно было понять. Только тогда мы подумали: что же все-таки произошло? Надо выйти посмотреть. И вот когда мы открыли нашу дверь, мы ничего не увидели, кроме пара, пыли и прочего, прочего... Но в это время отключились «шкафы», контролирующие реактор. Ну, это святая святых, мы должны все сделать, чтобы контроль был. И я должен был подняться на 27-ю отметку, где находятся «шкафы». Отметка — это вроде бы этаж. Я бросился по обычному пути, но попасть на отметку уже нельзя было. Лифт был смят, раздавлен, а на лестнице валялись железобетонные блоки, баки какие-то, а главное — там не было освещения. По-прежнему мы не знали ни масштабов аварии, ничего. Я все-таки хотел туда попасть и даже сбегал за фонарем. Но когда с фонариком я прибежал вторично, понял, что не пробьюсь... Вода лилась с девятого этажа, хорошо лилась. Мы снимали запасные щиты и прикрывали наши ЭВМ, чтобы предохранить, чтоб работала «СКАЛА».

Потом мы узнали о масштабах аварии — мне в этом пришлось убедиться самому. Буквально за несколько минут до аварии к нам заходил Шашенок. Ну, это один из тех двух парней, что погибли. Мы разговаривали с ним как с вами, он пришел уточнить: «Есть ли у вас связь непосредственно с помещением на 24-й отметке?» Мы сказали: да, связь есть. У них там работы должны были выполняться, это ведь был товарищ из тех, кто выполнял программу испытаний, снятие характеристик. У них в том помещении свои приборы стояли. Он говорит: «Ребята, если мне нужна будет связь, я через вас буду связываться». — «Пожалуйста», — говорим.

Пока мы спасали оборудование, было не до него. А ребята из его группы за ним побежали быстрее. И когда оборудование мы уже спасли, начался вызов из того помещения, где работал Шашенок. Постоянный вызов идет. Мы за трубку — никто не отвечает. Как потом оказалось, он ответить не мог, его там

раздавило, у него ребра были поломаны, позвоночник смят. Я все-таки сделал попытку к нему прорваться, думаю, может, человеку нужна помощь. Но его уже вынесли. Я видел, как его несут на носилках».

**Николай Сергеевич Бондаренко, аппаратчик воздухоразделения на азотно-кислородной станции:**

«Двадцать шестого я работал ночью, как раз во время происшествия. Наша азотно-кислородная станция где-то в 200 метрах от четвертого блока. Мы почувствовали подземный толчок, типа небольшого землетрясения, а потом, секунды через 3—4, была вспышка над зданием четвертого блока. Я как раз посредине зала находился в кабине, хотел выйти после этого землетрясения, повернулся, а тут как раз в окно вспышка такая — типа фотовспышки. Через ленточное остекление я все это узрел... Ну а потом мы продолжали спокойно работать, потому что наше оборудование таково, что, даже если блок остановлен, мы все равно должны продукцию давать. Она идет для охлаждения реакторного пространства, и азот жидкий и газообразный постоянно используется.

Пожара мы сразу не обнаружили. Потом уже, через несколько минут, появились пожарные машины на территории, мимо нас проехали минут через пятнадцать. Тогда мы начали соображать, что что-то произошло. Дозиметров у нас не было, азотно-кислородная станция не снабжена дозиметрическими приборами. Двое парней с четвертого блока, с газового контура прибежали — один, узбек, и второй, кажется, Симоненко его фамилия, — ну, они, конечно, были перепуганы сильно, черные... Говорят: «Еле выскочили оттуда, спрыгнули с шестой отметки». По-видимому, они обежали вокруг столовой — «ромашки». Просили, чем бы измериться, но у нас было нечем. В общем, они ушли, потом «скорая помощь» приехала, ну, наверное, забрали.

Мы работали до утра. Правда, если бы нас предупредили, что надо... туда-сюда, но мы в этом плане не были информированы. Йод мы не пили, не до нас было. Мы, так сказать, периферией оказались. А местность не была очень уж освещена. Никакой жары не было, внешних признаков не ощущалось. Это все сказки, ничего не ощущалось...»

### **Из документа МАГАТЭ:**

«Авария произошла во время испытания, которое должно было проводиться с турбогенератором во время нормальной запланированной остановки реактора. Предполагалось про-

верить способность турбогенератора во время полного отключения энергоснабжения станции подавать электрическую энергию в течение короткого периода до того, как резервные дизельные генераторы смогут подавать энергию в аварийных условиях. Неверно составленная программа испытания с точки зрения безопасности и грубые нарушения основных правил эксплуатации привели к тому, что реактор вышел на низкую мощность (200 МВт/тепл), при которой расход теплоносителя и условия охлаждения не могли стабильно поддерживаться посредством ручного управления. Учитывая особые характеристики конструкции о которых уже говорилось (положительный мощностной коэффициент при низких уровнях мощности), реактор эксплуатировался в опасном режиме. В то же время операторы преднамеренно и в нарушение правил вывели большинство стержней управления и защиты из активной зоны и отключили некоторые важные системы безопасности.

Последующие события привели к интенсивному парообразованию в активной зоне реактора, создав, таким образом, положительную реактивность. Наблюдалось начало резкого повышения мощности, и была сделана попытка вручную остановить цепную реакцию при заблокированной системе аварийной остановки, которая должна была бы сработать ранее, при начале испытания. Однако возможность быстрой аварийной остановки реактора была ограничена, поскольку почти все стержни управления были полностью извлечены из активной зоны.

Непрерывное повышение реактивности вследствие парообразования привело к мгновенному критическому скачку мощности. Советские эксперты рассчитали, что первый пик мощности достиг 100-кратного превышения номинальной мощности в течение 4 секунд.

Энергия, высвободившаяся в топливе в результате скачка мощности, внезапно разорвала часть топлива в мелкие куски. Механизм этого разрыва хорошо известен из экспериментов по программе исследований в области безопасности. Мелкие частицы раскаленного топлива (возможно, также испарившееся топливо) привели к паровому взрыву.

Выделение энергии сдвинуло 1000-тонную защитную крышку реактора и привело к тому, что были срезаны все каналы охлаждения по обеим сторонам активной зоны реактора. Через 2—3 секунды был услышан второй взрыв, и горячие куски реактора были выброшены из разрушенного здания.

Разрушение реактора обеспечило доступ воздуха, который, соответственно, привел к горению графита.

Авария привела к тому, что часть горячих кусков графита и топлива была выброшена на крыши расположенных вблизи зданий. Начались пожары, особенно в зале блока 4, на крыше блока 3 и на крыше машинного зала, в котором расположены турбогенераторы двух реакторов» («Итоговый доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности на совещании по рассмотрению причин и последствий аварии в Чернобыле». Вена, 30 августа — 5 сентября 1986 г., с. 4—5)

А город спал.

Была теплая апрельская ночь, одна из лучших ночей года, когда листья зеленым туманом вдруг проступают на деревьях.

Спал город Припять, спала Украина, вся страна спала, еще не ведая об огромном несчастье, пришедшем на нашу землю.

## «ВЕСЬ КАРАУЛ ПОШЕЛ ЗА ПРАВИКОМ»

Первыми сигнал тревоги услышали пожарные.

Леонид Петрович Телятников, Герой Советского Союза, начальник военно-пожарной части № 2 Чернобыльской атомной станции, майор внутренней службы<sup>1</sup>:

«В карауле лейтенанта Правика было семнадцать человек. В ту ночь он дежурил. Третий караул не был таким идеальным, как пишут в газетах. И если бы не этот случай, никогда, конечно, о нем не писали бы. Это был очень своеобразный караул. Это был караул личностей, так можно сказать. Потому что каждый был сам по себе. Очень много ветеранов там было, очень много своеобразных ребят.

Володя Правик, пожалуй, был самый молодой — ему 24 года. По натуре очень добрый, мягкий — ну, и подводили они его иногда. Он никогда в просьбах никому не отказывал. Он считал, что должен идти на уступки. В этом, может, была какая-то слабость с его стороны — бывали и стычки, а он виноват оставался, потому что в карауле и нарушения были... тем не менее он придерживался своей линии.

Он очень увлекающийся был, Володя Правик. Любил радиодело, фотографию. Он был активный работник, началь-

---

<sup>1</sup> Сейчас Л. П. Телятников — подполковник внутренней службы.

ник штаба «Комсомольского прожектора». «Прожектор» был самой действенной формой борьбы с недостатками, жестоко хлестал все, даже малейшие недостатки. Он и стихи писал, и рисовал, выполнял эту работу с удовольствием. Ему много помогала жена. Они очень подходили друг другу. Жена его закончила музыкальное училище и преподавала музыку в детском садике. Они внешне даже были чем-то похожи друг на друга, оба мягкие, их взгляды на жизнь, отношение к работе — очень тесно все переплеталось, было единое. За месяц до аварии у него родилась дочь. В последнее время он просил, чтобы его инспектором перевели, все соглашались, но просто ему не было замены...

Самым старым в карауле по возрасту и по сроку службы был Бутрименко Иван Алексеевич, водитель. Ему сорок два года. Это один из тех, на ком все держится. На него все равнялись. И начальник караула, и секретарь партийной и комсомольской организации. Иван Алексеевич был депутатом городского Совета, вел очень большую депутатскую работу...

Работали еще в нашей части три брата Шаврея, белорусы. Самый младший — это Петр, он работал инспектором части, а Леонид — самый старший — и Иван — средний — работали в третьем карауле. Леониду тридцать пять лет, Иван года на два-три моложе, а Петру тридцать лет. Работали они так: надо — значит, сделали.

В жизни как бывает? Пока не ткнешь пальцем — никто даже не шевельнется. Это не только у нас, это везде так. На занятиях, на учениях кто-то старается в сторону уйти, отдохнуть, полегче работу взять... Здесь этого не было. Когда авария случилась, несмотря на какие-то трения в карауле, несмотря ни на что, весь караул пошел за Правиком, пошел без оглядки... Там битум горел. Машинный зал — сгораемое покрытие, и основная стоимость, если на рубли перевести, — это машинный зал.

Все чувствовали напряжение, чувствовали ответственность. Только назову, сразу подбегает: «Понял». И даже не слушал до конца, потому что понимал, что надо делать. Ждал только команды.

И ни один не дрогнул. Чувствовали опасность, но все поняли: нужно. Только сказал — надо быстро сменить. Бегом. Как до аварии бывало? «Чего я иду да почему?» А здесь — ни слова, ни полслова, и буквально все выполнялось бегом. Это, собственно, самое главное было. Иначе пожар тушился бы очень долго и последствия могли быть значительно большими.

Я, когда случился пожар, был в отпуске. У меня отпуск тридцать восемь дней. Мне по телефону ночью диспетчер позвонил. Ну, транспорта нет, все машины выехали. Я позвонил дежурному горотдела милиции, объяснил ситуацию, мол, так и так (у них машины всегда есть). Говорю: «На станции пожар, кровля машинного зала, пожалуйста, помогите добраться». Он уточнил адрес мой, говорит: «Машина сейчас будет».

Крыша горела наверху в одном месте, другом, третьем. Я, когда поднялся, увидел, что горит в пяти местах на третьем блоке. Я тогда еще не знал, что третий блок работает, но раз горит кровля — нужно тушить. Большого труда с точки зрения пожарного дела это не представляло. В машинном зале посмотрел — следов пожара нет. Хорошо. В «этажерке», на десятой отметке, где центральный блочный щит управления, пожара нет. А какое состояние в кабельных помещениях? Для нас это самое важное. Нужно было все обойти, посмотреть. Поэтому я все время бегал — пятую, восьмую отметку посмотрел, десятую отметку посмотрел, заодно у зам главного инженера с оперативным персоналом корректировал — что важнее, что и как... Они сказали: «Да, действительно, нужно тушить крышу, потому что у нас третий блок еще работает, а если произойдет обрушение, хотя бы одна плита упадет на работающий реактор — значит, может произойти дополнительная разгерметизация». Мне надо было все эти вопросы знать, мест много, станция очень большая, и везде надо было побывать.

С Правиком я тогда так и не успел поговорить. Только когда отправлял в больницу, только уже в этот момент буквально несколько слов... в 2 часа 25 минут он уже был отправлен в больницу. Они наверху минут пятнадцать — двадцать находились...

Где-то в половине четвертого мне плохо стало. Я закурил сигарету, по-прежнему запыхивался, и постоянный кашель был. Слабость в ногах, хотелось посидеть... Сидеть некогда было. Мы проехали посмотреть посты, я указал, где машины ставить. Поехали к директору, собственно, мне нужен был телефон — доложить обстановку. А на станции неоткуда позвонить. Многие помещения закрыты, никого там не было, а у директора несколько телефонов, но они были заняты. Говорил директор. В то время он буквально по телефонам разрывался. Мы оттуда не могли позвонить. Поэтому выехали в часть».

А тревога нарастала.

Тут надо объяснить одну важную деталь. Кроме караула лейтенанта Правика ВПЧ-2, по боевой тревоге был немедленно поднят и караул лейтенанта В. Кибенка СВПЧ-6. Далеко не все знают, что караул В. Кибенка относился совсем к другому подразделению пожарной охраны — к пожарной части № 6, расположенной в городе Припять. Оно и сейчас стоит — это небольшое здание СВПЧ-6 на окраине Припяти; за стеклянной дверью, в безмолвии, навсегда застыла мощная пожарная машина — как памятник подвигу караула Кибенка.

### **Л. Телятников:**

«Наша часть номер два — а в ее составе караул В. Правика — охраняла атомную станцию. Это была объектовая часть. А городская часть, в которой работал В. Кибенок, охраняла город. Они сразу же узнали о пожаре. Автоматически у нас при пожарах дается повышенный номер, сразу сообщается на центральный пункт пожарной связи. Сообщается по радиостанции или по телефону через городскую часть. Городская часть по отношению к нам считается главной. Поэтому, получив сообщение, что возник пожар, они автоматически знают, что должны выехать.

Как я уже говорил, караул Правика первое время находился на машинном зале. Там потушили, и отделение оставили на дежурство под его руководством, потому что машинный зал оставался в опасности. А городская часть, поскольку она чуть позже прибыла, была направлена на реакторное отделение. Вначале машинный зал главным был, а потом — реакторное отделение. Ну вот, Правик потом даже свой караул оставил, побежал на помощь городской части.

Из нашего караула погиб только Правик. Остальные пять человек, что погибли, — это были ребята из шестой городской части. Так получилось, что они первыми начали тушить на реакторе. Там было наиболее опасно. С точки зрения радиоактивной опасности, конечно. С точки зрения пожарной — на машинном зале, поэтому там наш караул и действовал в начальный момент аварии».

**Леонид Михайлович Шаврей, старший пожарный караула В. Правика ВПЧ-2:**

«Дежурство мое было с 25-го на 26 апреля. В карауле нас десять человек. Дежурство шло нормально: днем были занятия, а вечером — подготовка техники к сдаче. У нас было семь

машин — наших четыре, остальные резервные. Мы должны были сдавать дежурство утром — с восьми до половины девятого.

Ну, все было тихо, никаких происшествий. Это же суббота была, впереди выходной день. Дежурство шло отлично, ничего нам не мешало, настроение тоже было хорошее. Правик сидел в начкараульской комнате — что-то писал, конспекты, что ли. Некоторые заступили в наряд на 2—3 часа, другие отдыхали. Я как раз отдыхал. Должен был после двух часов подменить Правика. Я временно исполнял обязанности командира отделения. Там есть топчаны, я отдыхал. Уснул. Слышу — вроде який стук, глухо. Подхватился, думаю — что такое? Не врублюсь — что такое? А часы были в карманчике, чтобы не мешали. Только за часы — тревога. Сирена сработала. Я быстро выскакиваю, за «боевку» — это спецодежда, которая применяется при тушении пожара, а отдыхаем мы в форме — в гимнастерке, сапогах. «Боевка» — каска, брезентовая роба.

Быстро оделся, в гараже открыты двери, там шум, «вон смотри — горит!». Выскакиваю — облако такое, столб огня и облако черное над трубой.

— Как ночью было видно черное облако?

— Так станция же полностью освещена. От самого блока — красный столб, дальше — синеобразный, а выше — гриб черный. Полтрубы закрывал. Верхнюю часть трубы.

Мы в машину — скок, живо туда подъезжаем, смотрим — нету ни шара, ни облака, все светло. Приехали через проходную на АБК-2. Видим — на четвертом реакторе все порушено. Нас выехало сразу три машины.

Мы с Правиком пошли в разведку. Он говорит: «Давай, Михайлыч, пошли», — и мы пошли по транспортному коридору через третий блок на четвертый. До половины коридора добегаем — там телефонная будка. Володя говорит: «Давай позвоним». — «Давай». Стали звонить — никто трубку не поднимает. Ни ответа, ни привета. Я говорю: «Смотри, Павлович, там бегают из обслуживающего персонала два человека». Подождали, стали их спрашивать, они волнуются очень, сказали, что, возможно, горит крыша машзала. Потому что пробита крыша.

Правик мне говорит: «Михайлыч, давай, беги туда, бери машину свою — и на ту сторону». У меня машина «ЗИЛ-130», обыкновенная красная пожарная автоцистерна без лестницы. Я только Правика спросил: «Павлович, а ты с кем останешься?» — «Да, — говорит, — я здесь буду с персоналом, раз-

берусь». И все. Больше ничего. Так я с ним и расстался. Он остался внутри.

А я мимо АБК-1 на ту сторону пересекал, машину поставили возле машзала, а сами вместе с Володей Прищепой на крышу поднялись по наружной лестнице. Увидели очаги пожара. Как раз разгорелось. Ну, мы давай тушить.

— Как вы тушили? Водой поливали?

— Да нет. Старались сбивать пламя брезентовыми рукавами. На крыше противопожарное водоснабжение, и там рукава лежали в ящиках, вот этими рукавами мы и сбивали... В крыше были дырки, если бы мы воду начали лить, могло бы и «коротнуть» и... Рукавами сбивали пламя и ногами затапывали. Очаги не сильные были, но было много загораний.

— И сколько же вас всего было?

— Двое. Я и Прищепка. А внизу водитель и еще один пожарный. Мы были на этой стороне, а наши ребята — на той стороне. Они подождали из шестой части машину, там подошла мехлестница, лестницу приставили к третьему блоку и через крышу третьего блока шли.

Мы поднялись на крышу минут через десять после взрыва. Забили, забили огонь, я тогда говорю Прищепе: «Я сейчас спущусь, надо же рукав взять. Протянем. В случае чего будем водой тушить».

Температура большая была, дышать тяжело, мы порасхристаны, каски сняли, положили. Я вниз спускаюсь, к машине, только за рукав — смотрю, кто-то идет. А мы когда подъезжали, там стояли прапорщики и сказали: «Дальше не езжайте, там развалины». Мы и сами видели, что там груды развалин, провода оборваны. Нельзя туда. Смотрю — кто-то идет в военной форме. Думаю — тю, нам же говорили, что туда нельзя... приглядываюсь — Телятников! Подходит. «Что у вас нового?» Я доложил — так и так, здесь, на крыше, дежури́м, пламя сбили. А потом спросил: «Леонид Петрович, тут же и провода оборваны, могло убить» — «Ну, не убило — значит остался жив. Где Правик?» Я ответил.

Тогда Телятников пошел по лестнице вверх, я за рукав — и следом. Он на двенадцатой отметке стал стучать в двери, а они закрытые. Я поднялся до Прищепы. Тот спрашивает: «Что такое?» — «Да там Телятников двери выбивает». Ну, мы посмеялись и давай снова прохаживаться по крыше — она снова начала загораться, а мы снова сбивали. Водой так и не пользовались. Ходить было трудно, битум на крыше расплавился. Жарища такая... Чуть малейшее что, битум сразу же загорался от температуры. Это еще повезло, что быстро сработали, что

нас туда направили... если бы разгорелась крыша — это бы ужас был. Представить невозможно. Вся станция полетела бы. Наступишь — ногу нельзя переставить, сапоги вырывает. Ну, словом, расплавленная масса. Дыры были на крыше — она была пробита полностью, плиты падали, летели с семьдесят второй отметки. И вся крыша усеяна какими-то кусками, светящимися, серебристыми. Ну, их отшвыривали в сторону. Вроде лежит, и вдруг раз — воспламенился.

— Вы понимали, что произошло что-то с атомной станцией? Или только думали про пожар?

— Володя Правик понимал. Мы когда приехали к станции, он сразу дал вызов номер три — областной. И когда мы пошли в разведку, он сказал: «Ну, Михайлыч, нам будет жарко. Нам придется тут поработать». У меня аж волосы дыбом стали. Он был в курсе дела. Он глянул на развал, на крышу с таким настроением...

— А на учениях вас учили, как бороться с радиационной опасностью? Как «лепестки» надевать?

— Никто об этом даже не говорил. Только учили, как с огнем бороться. Занятия были по загоранию помещений, как входить в задымленные помещения в противогазах КИП. Обычная работа. А чтобы какая-то связь с этим вот... никто и никогда даже и не говорил... Ну вот. Пробыли мы с Прищепой на крыше где-то до пяти часов утра. Что там происходило с другой стороны, мы и понятия не имели. Радиостанция работала внизу, в машине, а у нас рации не было. Мы перекрикивались, связь держали с водителем. Наши хлопцы и ребята из шестой части тоже работали на семьдесят второй отметке и еще выше, возле трубы.

Из области постепенно начали машины прибывать и к пяти часам уже полно было. Нам сказали: «Давайте, хлопцы, спускайтесь, все нормально, мы вас меняем». Это наша смена приехала. Мы давай вниз. Стали спускаться — вроде бы жарко стало. Когда еще на крыше были, Володя Прищепа мне говорит: «Ты привкуса никакого не чувствуешь?» — «Вроде нет». А блок дымил, огня не было. Синеватый дымок. Мы спустились вниз, нам говорят: «Давайте идите в столовую, таблетки принимайте». Я сигаретку закурил, а она сладкая. Что за черт? Я выбросил. Говорю: «Что это за сигареты такие сладкие?» В столовой нам дали таблетки, я только в рот взял и воды выпил — как рвота началась. Начало тошнить, пошло крутить. Противно до невозможности. Пить охота, а напиться невозможно — сразу тошнит. Но я в санчасть не пошел. После смены взял машину и вывез из Припяти жинку с ди-

тем. А 26-го вечером, когда жинку я уже отправил, мы с хлопцами пошли в больницу проведать наших. Нас в больницу не пустили, мы под окнами стояли. На втором этаже все выглядывали в окна, здоровались, все нормально, все веселые, как обычно. У Правика, правда, лицо было набрякшее, опухшее, он изменился. Я разговаривал с ним. «Как самочувствие?» — «Нормально. А у вас?» — «Тоже нормально, — говорю. И спрашиваю: — А что вам делают?» — «Капельницы ставят, уколы дают». Попрощались до завтра, а на завтра нам сказали, что их увезли в Москву.

Правик был очень хороший парень. Башковитый, грамотный. Хорошо разбирался в радиотехнике, любитель был крепкий. Цветомузыку сделать, приемник отремонтировать, магнитофон — вроде как мастер был. И с караулом житейски обходился. Достойный начальник. Любой вопрос мог решить, обратиться к нему — так и так. Мы обращались к Телятникову — машину взять, или подмену, или на час отлучиться в больницу — ну, Телятников нам отказывал. «Я не могу такой вопрос решить». Все на управление ссылался. А Володя Правик ходил к Телятникову с тем, кто за помощью обращался, — и вопрос решали. Жизнерадостный парень был, дитя родилось. Жить бы ему и жить...»

Как мы уже знаем, в самом начале аварии В. Правик дал сигнал тревоги номер три всем пожарным частям Киевской области. По этому сигналу в сторону АЭС высылались пожарные подразделения близлежащих населенных пунктов. Срочно готовился резерв. Тревога нарастала.

**Григорий Матвеевич Хмель**, водитель пожарного автомобиля Чернобыльской районной пожарной части:

«Я люблю в шахматы играть. В ту ночь дежурил. Играл с шофером. Говорю ему: «Не то, Миша, робишь, ошибки робишь». Он проигрывал. Часов до двенадцати ночи дотянулся этот наш разговор, потом я говорю: «Миша, я пойду, наверно, спать». А он говорит: «А я буду еще с Борисом гулять». — «Ну, гуляй».

У нас там топчаны, я поклат топчан, матрац положил, одеяло взял чистое, одеяло в шкафчике, так я под голову положил и лег. Не знаю, долго я дремал или нет, потом слышу что-то: «Да, да, поехали, поехали!» Я открываю глаза и вижу: Миша

стоит, Борис, Гриша. «Поехали» — «Куда?» — «Сейчас Володя снимает сводку». Потом, он только принял сводку, — ву! ву! — сирена загула. Тревогу сделали. Я спрашиваю: «Куда?» — «На Чернобыльскую АЭС».

Миша Головненко, водитель, с ходу уезжает, я вторым выезжаю. Это две машины, которые в нашей части стоят, — в одной я, в другой — он. Ну, видите, часто так бывает, что, когда мы уезжаем, дверей не закрываем, а те двери стеклянные, и тогда часто бьет нам стекла ветер. Так обычно, кто последний уезжает, треба, чтобы гараж закрыл. Я с Прищепой закрываем гараж. Я думаю — Мишу догоню, у меня «ЗИЛ-130». Ну и поехали, погнал я так километров восемьдесят в час. У меня над головой рация трещит — вызывает Иванков, Полесское, нас диспетчер вызывает. Чую, что вызывает номер три. Думаю — это что-то такое не то...

Потом я догнал машину Головненко уже под самой АЭС, чтобы не путаться по стройке, чтобы сразу две машины шло. Догнал его, сел на хвост ему своей машиной. Подъезжаем. Только туда, где дирекция АЭС, подъехали, сразу нам видно — горит пламя. Как облако — пламя красное. Думаю — ну и работы будет. Прищепка kaže: «Да, дядько Гриша, много работы будет». Приехали мы туда без десяти или без пятнадцати два ночи. Смотрим — ни одной машины нашей — ни со второй, ни из шестой части. Что такое? Они, оказывается, поставили с северной части блока. Мы вышли — куды, що? Видим — графит там валяется. Миша kaže: «Графит, что такое?» Я его ногой откинул. А боец на той машине взял его в руки. «Он, — kaže, — горячий». Графит. Куски были разные — большие и маленькие, такие, что в руку взять можно. Их на дорожку вывалило, все там топтались по нему. Потом вижу — бежит Правик, лейтенант, который погиб. Я его знал. Вместе с ним два года работали. А мой сын, Петро Григорьевич Хмель — начальник караула, такой как Правик. Лейтенант Правик — начальник третьего караула, а Петро — начальник первого караула. Они вместе с Правиком училище кончали... А второй сын мой — Хмель Иван — начальник пожарной инспекции Чернобыльского района.

Да... Значит, бежит Павик. Я спрашиваю: «Что, Володя?» А он kaže: «Давайте ставьте машины на сухотрубы. Давайте сюда». И тут подъезжают машины со второй и шестой части, вертаются до нас. Наших две и ихних три — цистерны и мехлестница. Пять машин с этой стороны. Мы сразу — рах! Подгоняем машины до стенки на сухотрубы. Знаете, что такое сухотрубы? Нет? Это пустые трубы, в которые подключить

треба воду и тащить аж туда на крышу, а нам треба рукава брать, подсоединять рукава и треба тушить пламя.

Машину мы ставим на сухотрубы, сразу близко подгоняем, это у нас сильнейшая машина. Пивовара Пети из шестой части рядом на гидрант ставим, моей уже нема куда, нема места. Тогда я с Борисом и Колей Титенком говорю: «Давайте гидрант!» Ну, там раз-раз, гидрант нашли, это ночью, трудно найти. Учения когда были, мы знали, что наш гидрант с той стороны по плану, а оказалось — с этой. Нашли гидрант, подгоняем машину, выкидаем быстренько рукава и воны — Титенок и, по-моему, Борис, я не помню — поперли до Мишиной машины. Три рукава по двадцать метров — это шестьдесят метров.

Толком про радиацию мы не знали. А кто работал — тот и понятия не имел. Машины пустили воду, Миша цистерну водой пополнял, вода идет наверх — и вот тогда эти пацаны, что погибли, пошли наверх — и Ващук Коля, и другие, и цей же Володя Правик. Только Кибенка тогда не бачив. Они по лестнице, которая приставная, поцарапались туда наверх. Я помогал устанавливать, быстро все робылося, вот это все сделали, и больше их не видел.

Ну, работаем мы. Пламя видно — горело оно с жаром, таким облаком. Потом труба там — устройства я не знаю, что-то квадратное — оттудова тоже дальше горит. Когда видим — пламя не горит, а уже начинают искры лететь. Говорю: «Хлопцы, это уже тухнет».

Приходит Леоненко, зам начальника второй части. Ну, мы знаем, что Правика уже повезли, Телятникова повезли — вот тогда мы поняли, что радиация. Говорят нам — заходите сюда, в столовую, получайте порошки. Только я зашел, спрашиваю: «Петя нема?» Петя должен был заступать Правика в 8 утра. Говорят: «Нема». А его по тревоге подняли. Когда я только вышел, хлопцы кажут: «Дед, Петю Хмеля повезли на подмену туда». Думаю — все, гаплык.

Тут машин прибыло полно, наше руководство прибыло, «Волга» пришла с управления, поприбывали, поприезжали к нам машины из Розважева, Дымера. Я бачу — Якубчик из Дымера, мы знакомы, он водитель. «Це ты, Павло?» — «Я». Сели в машину, поехали к первому корпусу, там нас завели в одну комнату и начали проверять на радиацию. Все подходят, а он пишет: «грязный, грязный, грязный, грязный». А так ничего не говорят. Это было ночью. Повели нас в баню — мыться. Говорят: «По десять человек раздевайтесь, одежду здесь кидайте».

У меня были яловые сапоги, брюки, брезент мне как води-

телю не положен, фуфайка, роба, рубашка защитная. Он говорит: «Документы берите с собой и ключики, и прямо в душ». Хорошо. Помылись мы, выходим на другие двери, там нам выдали одежду, бахилы. Все серьезно. Я вышел на улицу — глянул, уже видно было все, светло, бачу — Петя мой идет, в форме, в плаще, пояс пожарный, фуражка, сапоги на нем яловые. «О, ты, сынок, туда же?» — говорю. Тут на него на шумели, потому что он зашел туда, где мы перемылись, и забрали, повели, не пустили, короче говоря. Он только сказал: «Ты тут, батько?» — и его забрали.

Потом нас повели в бункер, в подвал гражданской обороны. Там тишина, койки такие, это было в седьмом часу. Уже восемь, девять часов, когда бачу — Петя идет. Уже переодетый. Ну, приходит сын, садится, со мною разговаривает, свои домашние вопросы, об этом ничего. Говорит он: «Я не знаю, батьку, что дома робить, что-то мне тошно». Потом: «Я, батьку, наверно, пойду в санчасть». — «Ну иди». Он и пошел.

Я его не спрашивал, что он там наверху делал, — некогда было спрашивать.

А Ивана, другого сына моего, тоже по тревоге подняли. Он подчинялся райотделу города Чернобыля. Его где-то в шесть часов утра подняли. Послали его в дозор чи куда, у него «уазик», и он мотался туды-сюды.

А я поначалу вроде ничего себя чувствовал. Но, во-первых, не спавши, потом переволновались, потом я напугался, а потрясение такое, понимаете, вот это все...»

Герой Советского Союза лейтенант Владимир Павлович Правик.

Герой Советского Союза лейтенант Виктор Николаевич Кибенок.

Сержант Николай Васильевич Ващук.

Старший сержант Василий Иванович Игнатенко.

Старший сержант Николай Иванович Титенок.

Сержант Владимир Иванович Тишура.

...Шесть портретов в черных рамках, шестеро прекрасных молодых парней смотрят на нас со стен пожарной части Чернобыля, и кажется, что взоры их скорбны, что застыли в них и горечь, и укоризна, и немой вопрос: как могло такое случиться? Но это уже сейчас кажется. А в ту апрельскую ночь, в хаосе и тревоге пожара, не было в их взглядах ни скорби, ни укоризны. Некогда было. Они работали. Они спасали атомную станцию, спасали Припять, Чернобыль, Киев, всех нас.

Был июнь 1986 года, когда я пришел сюда, в святая святых МВД УССР — пожарную часть Чернобыля, ставшую центром всей противопожарной работы в Зоне. Неимоверно жаркий июнь, когда на небе яростно сияло солнце и не было ни малейшего намека на облачко, и все это происходило не по божьей воле, а по людской: летчики безжалостно уничтожали облака в зоне АЭС, используя специальные методы химической авиаобработки неба.

Красивое, почти дачного типа двухэтажное здание пожарной части. Посмотрел на те двери, которые так заботливо закрывал за собою «дед» Хмель, выезжая на пожар. Стекло уцелело. Два бойца со шлангами в руках мыли заасфальтированный двор, над которым лениво поднималась парная волна горячего воздуха. Стояли готовые в выезд, отмытые до блеска красно-белые пожарные машины с номерными знаками Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областей. Возле реактора велось круглосуточное дежурство пожарных: можно было ждать чего угодно. Кроме того, объединенному пожарному отряду, дежурившему в те горячие дни в Чернобыле, пришлось принять участие в борьбе с «обычными» пожарами, которые не редкость для здешних лесистых, болотистых мест, особенно в засушливые годы: в Зоне горели торфяники. И, как все в Зоне, эти «обычные» пожары тоже были необычны: вместе с дымом поднимались в воздух радиоактивные аэрозоли, чего никак нельзя было допустить...

Я познакомился здесь с начальником управления пожарной охраны МВД УССР генерал-майором внутренней службы Филиппом Николаевичем Десятниковым и начальником отряда пожарных подполковником Евгением Ефимовичем Кирюханцевым. Полковник Кирюханцев — москвич, типичный военный интеллигент: подтянутый, красивый, точный. Он рассказал мне, что в начале июня в их части состоялся очень странный, но и очень знаменательный товарищеский суд. Судили за то, что два бойца... «схватили» на два рентгена больше, чем имели на то «право», выполняя конкретную операцию (все боевые действия перед их выполнением тщательно планировались и неоднократно репетировались с хронометром).

Подумать только!

Еще в мае их, возможно, похвалили бы, объявили героями. А в июне уже наказывали. Так стремительно в Зоне изменились времена, изменилось само отношение к этому емкому понятию «героизм».

Лишь отношение к тем, чьи портреты в черных рамках висели на стене чернобыльской пожарной части, не изменилось и не изменится никогда.

## БЕЛОКОНЬ СО «СКОРОЙ»

Валентин Петрович Белоконь, 28 лет, врач «Скорой помощи» медсанчасти города Припять:

«Двадцать пятого апреля в двадцать часов я заступил на дежурство. На Припяти работает одна бригада «Скорой помощи» — врач и фельдшер. А машин «скорых» у нас всего шесть.

Когда было много вызовов, мы разделялись: фельдшер गयाл к «хроникам» — если надо сделать укол, а врач — на сложные случаи и детские. В то дежурство работали мы раздельно, вроде бы двумя бригадами: фельдшер Саша Скачок и я. Диспетчером была Маснецова. И вот с этих восьми часов вечера как-то все поехало, понеслось с удивительной быстротой. Нет, вначале все спокойно было на атомной станции, но беспокойно по городу. Я ездил все время, практически не выходил из машины. Вначале была какая-то пьянка, кто-то там выбросился из окна, нет, не погиб, абсолютно здоровый, но пьяный в дым... Потом детские вызовы были, к бабуле одной ездили, и потом где-то вечером, часам к двенадцати — я хорошо запомнил, потому что ночь была сумбурная, — поступил вызов: мальчик тринадцати лет с бронхиальной астмой, затянувшийся приступ. А затянулся он потому, что звонил сосед и не указал номера квартиры. Я выехал на проспект Строителей, а уже полночь и домина большой. Посмотрел, ходил-походил — никого. Что делать? Не будешь же всех будить. Уехал.

Приехал, Маснецова говорит: «Звонили, уже указали номер квартиры». Я опять туда, приезжаю — на меня сосед ругается, что поздно приехал. Я говорю: «Так и так, не знал номера». А он: «А вы должны знать». А я честно не знал, впервые к этому мальчику ездил. Дома этот сосед давил на меня, чуть ли не лез в драку, я тогда спустил мальчика в салон «РАФа» и ввел внутривенно эуфиллин. А сосед все грозил пожаловаться на меня...

Вот когда мы возвращались к себе в больницу — а ехали мы с водителем Анатолием Гумаровым, он осетин, ему лет тридцать, — мы увидели ГО. Как это было? Ночью едем, город пустой, спит, я рядом с водителем. Вижу две вспышки со сто-

роны Припяти, мы сначала не поняли, что с атомной. Мы ехали по Курчатова, когда увидели вспышки. Подумали, что это зарницы. Потому что кругом дома, мы атомной станции не видели. Только вспышки. Как молнии, может, чуть больше, чем молния. Грохота мы не услышали. Мотор работал. Потом на блоке нам сказали, что гахнуло здорово. И наша диспетчер слыхала взрыв. Один, а потом второй сразу же. Толя еще сказал: «Зарницы не зарницы, не пойму». Он сам охотник, поэтому его немножко смутило. Ночь была тихая, звездная, ничего такого...

Когда приехали в медсанчасть, диспетчер говорит, что был вызов. Мы приехали в час тридцать пять минут. Поступил вызов на атомную, и фельдшер Саша Скачок уехал на АЭС. Я спросил у диспетчера: «Кто звонил, что за пожар?» Она толком не сказала ничего — надо мне ехать, не надо. Ну и решили от Саши дожидаться информации. В час сорок — сорок две перезвонил Саша, сказал, что пожар, есть обожженные, нужен врач. Он был взволнован, никаких подробностей, и повесил трубку. Я взял сумку, взял наркотики, потому что есть обожженные, сказал диспетчеру, чтобы связалась с начальником медсанчасти. Взял с собой еще две машины пустых, а сам поехал с Гумаровым.

До атомной хода «рафиком» — минут семь — десять по прямой.

Мы выехали той дорогой, которая идет на Киев, а потом повернули налево на станцию. Вот там я и встретил Сашу Скачка — он ехал навстречу нам в медсанчасть, но «рафик» его был с маяком включенным, и я не стал их останавливать, потому что раз с маяком — случай неординарный. Мы поехали дальше на станцию.

Ворота, стоит охрана, нас прапорщик встретил: «Куда едете?» — «На пожар». — «А почему без спецодежды?» — «А я откуда знал, что спецодежда нужна будет?» Я без информации. В одном халате был, апрельский вечер, тепло ночью, даже без чепчика, без ничего. Мы заехали, я с Кибенком встретился.

Когда с Кибенком разговаривал, спросил у него: «Есть обожженные?» Он говорит: «Обожженных нет. Но ситуация не совсем ясна. Что-то моих хлопцев немножко подташнивает».

Пожар фактически уже не был виден, он как-то по трубе полз. Перекрытие рухнуло, кровля...

Мы беседовали с Кибенком прямо у энергоблока, где пожарные стояли. Правик, Кибенок — они тогда двумя машина-

ми подъехали. Правик выскочил, но ко мне не подходил, а Кибенок был возбужденный немного, взвинченный.

Саша Скачок уже забрал со станции Шашенка. Его хлопцы вытащили. Обожженного, на него балка рухнула. Он умер в реанимации двадцать шестого утром.

Дозиметров у нас не было. Говорили, что есть противогазы, есть защитные комплекты, но ничего этого не было, не сработали...

Мне надо было по телефону позвонить, Кибенок сказал, что и ему надо связаться с начальством, и тогда я поехал на ЛБК — административно-бытовой корпус метрах в 80 от блока. Машины запарковал на кругу, одна машина чуть ближе к блоку стояла. А ребятам сказал: «Если нужна помощь — я здесь стою».

Тревогу я ощутил по-настоящему, когда увидел Кибенка, а потом возле административного корпуса — ребят из эксплуатации. Они выскакивали из третьего блока и бежали к административному корпусу — ни у кого толком ничего не узнаешь.

Двери здравпункта были заколочены...

Позвонил в центральный щит управления. Спрашиваю: «Какая обстановка?» — «Обстановка неясная, оставайтесь на месте, оказывайте помощь, если надо». Потом позвонил к себе в медсанчасть. Там уже был замначальника Печерица Владимир Александрович.

Я сказал Печерице, что видел пожар, видел обрушенную кровлю на четвертом энергоблоке. Это было что-то около двух часов ночи. Сказал, что волнуюсь — приехал сюда, никакой работы пока не делаю, а город-то весь на мне висит. Могут же быть срочные вызовы. Еще я сказал Печерице, что пока пораженных нет, но пожарные говорят, что подташнивает. Начал вспоминать военную гигиену, вспоминать институт. Всплыли какие-то знания, хотя казалось, что все забыл. Ведь как у нас считали? Кому она нужна — радиационная гигиена? Хиросима, Нагасаки — все это так далеко от нас.

Печерица сказал: «Оставайся пока на месте, минут через пятнадцать — двадцать перезвонишь, мы скажем тебе, что делать. Не волнуйся, мы на город дадим своего врача, вызовем». И буквально тут же ко мне подошли трое, по-моему командированные, привели парня лет восемнадцати. Парень жаловался на тошноту, резкие головные боли, рвота у него началась. Они работали на третьем блоке и, кажется, зашли на четвертый... Я спрашиваю — что ел, когда, как вечер провел, мало ли от чего может тошнить? Замерил давление, там сто сорок или сто

пятьдесят на девяносто, немного повышенное, подскочило, и парень немного не в себе, какой-то такой... Завел его в салон «скорой». В вестибюле нет ничего, там даже посадить не на что, только два автомата с газированной водой, а здравпункт закрыт. А он «заплывает» у меня на глазах, хотя и возбужден, и в то же время такие симптомы — спутанная психика, не может говорить, начал как-то заплетаться, вроде принял хорошую дозу спиртного, но ни запаха, ничего... Бледный. А те, что выбежали из блока, только восклицали: «Ужас, ужас». Психика у них была уже нарушена. Потом ребята сказали, что приборы зашкаливают. Но это позже было.

Этому парню сделал я реланиум, аминазин, что-то еще, и сразу же, как только я его уколол, еще трое к «скорой помощи» пришли. Трое или четверо из эксплуатации. Все было как по заученному тексту: головная боль, с той же симптоматикой — заложенность в горле, сухость, тошнота, рвота. Я сделал им реланиум, я один был, без фельдшера, и — сразу их в машину и отправил в Припять с Толей Гумаровым.

А сам снова звоню Печерице, говорю — так и так. Такая симптоматика.

— А он не сказал, что сейчас же посылает вам помощь?

— Нет. Не сказал он... Как только я этих отправил, ребята привели ко мне пожарных. Несколько человек. Они буквально на ногах не стояли. Я чисто симптоматическое лечение применял: реланиум, аминазин, чтобы психику немножко «убрать», боли...

Когда Толя Гумаров вернулся из медсанчасти, он привез мне кучу наркотиков. Я перезвонил и сказал, что делать их не буду. Ведь обожженных не было. А мне почему-то совали эти наркотики. Потом, когда я приехал утром в медсанчасть, у меня их никто брать не хотел, потому что начали замерять меня — фон идет сильно большой. Я наркотики сдавать, а они не берут. Я тогда вынул наркотики, положил и говорю: «Что хотите, то и делайте».

Отправив пожарных, я уже попросил, чтобы калий йод прислали, таблетки, хотя в здравпункте на АЭС йод, наверно, был. Сначала Печерица спрашивал: «А почему, а зачем?» — а потом, видно, когда пораженных они увидели, больше не спрашивали. Собрали калий йод и прислали. Я начал давать его людям.

Корпус был открыт, но люди на улицу выходили. Их рвало, им неудобно было. Стеснялись. Я их загоню всех в корпус, а они — во двор. Я им объясняю, что нужно садиться

в машины и ехать в медсанчасть обследоваться. А они говорят: «Да я перекурил, просто переволновался, тут взрыв, тут такое...» И убегают от меня. Народ тоже не полностью себе отдавал отчет.

Позже, в Москве, в шестой клинике, я лежал в палате с одним дозиметристом. Он рассказывал, что у них сразу же после взрыва полностью зашкалило станционные приборы. Они позвонили то ли главному инженеру, то ли инженеру по технике безопасности, а инженер этот ответил: «Что за паника? Где дежурный начальник смены? Когда будет начальник смены, пусть он мне перезвонит. А вы не паникуйте. Доклад не по форме». Ответил и положил трубку. Он в Припяти, дома был. А они потом выскочили с этими «дэпэшками» — (ДП — дозиметрический прибор. — Ю. Щ.), а с ними к четвертому блоку не подойдешь.

Мои три машины все время циркулировали. Пожарных машин было очень много, поэтому наши начали светить, чтобы дорогу уступали, сигналы подавать — пи-пи, пап-па.

Правика и Кибенка я не вывозил. Помню — Петр Хмель был, чернявый такой парень. С Петром я лежал сначала в Припяти, койки рядом, потом в Москве.

В шесть часов и я почувствовал першение в горле, головную боль. Понимал ли опасность, боялся ли? Понимал. Боялся. Но когда люди видят, что рядом человек в белом халате, это их успокаивает. Я стоял, как и все, без респиратора, без средств защиты.

— А почему без респиратора?

— А где его взять? Я было кинулся — нигде ничего нет. Я в медсанчасть звоню: «Есть у вас «лепестки»?» — «Нет у нас «лепестков». Ну и все. В маске марлевой работать? Она ничего не дает. В этой ситуации просто нельзя было на попятную идти.

На блоке, когда рассвело, уже не видно было сполохов. Черный дым и черная сажа. Реактор плевался — не все время, а так: дым, дым, а потом — бух! Выброс. Он коптил, но пламени не было.

Пожарные к тому времени спустились оттуда, и один парень сказал: «Пусть он горит синим пламенем, больше туда не полезем». Уже всем понятно было, что с реактором пелалы, хотя щит управления так и не дал каких-то конкретных данных. В начале шестого на пожарной машине приехал дозиметрист, не помню, кто и откуда. Он приехал с пожарными, они были с топориками и долбанули дверь какую-то на АБК, забрали что-то в ящиках. Не знаю — то ли одежду защитную,

то ли оборудование, погрузилив пожарную машину. У дозиметриста был большой стационарный прибор.

Он говорит: «Как, почему вы здесь стоите без защиты? Тут уровень бешеный, что вы делаете?» Я говорю: «Работаю я здесь».

Я вышел из АБК, машин моих уже не было. Я еще спросил того дозиметриста: «Куда пошло это облако? На город?» — «Нет, — говорит, в сторону Янова, чуть-чуть стороной наш край зацепило». Ему лет пятьдесят было, он на пожарной машине уехал. А я почувствовал себя плохо.

Потом все-таки приехал Толя Гумаров, за что я ему благодарен. Я к тому времени уже двигался на выход, думал — хоть попрошусь на пожарную машину, чтоб подвезли, пока еще могу передвигаться. Начальная эйфория прошла, появилась слабость в ногах. Пока я был в работе, не замечал этого, а тут началось состояние упадка, давит, распирает, угнетен, и только одна мысль: забиться бы где-то в щель. Ни родных, ничего не вспоминал, хотелось только как-то уединиться, и все. Уйти от всего.

Мы с Толей Гумаровым постояли еще минут пять — семь, ждали: может, кто-то попросит помощи, но никто не обращался. Я сказал пожарным, что еду на базу, в медсанчасть. В случае необходимости пусть вызывают нас. Там больше десятка пожарных машин было.

Когда я приехал в медсанчасть, там людей было много. Ребята принесли стакан спирта, выпей, надо, мол, дали такое указание, что помогает. А я не могу, меня всего выворачивает. Попросил ребят, чтобы моим, в общежитие, калий йод завезли. Но кто был пьян, кто бегал и без конца отмывался. Я тогда взял машину «Москвич» — не наш был водитель — и поехал домой. Перед этим помылся, переоделся. Отвез своим в общежитие калий йод. Сказал закрыть окна, не выпускать детей, сказал все, что мог. Соседям раздал таблетки. И тут за мной приехал Дьяконов, наш доктор, и забрал меня. В терапию положили, сразу под капельницу. Я стал «заплывать». Начало мне плохеть, и я довольно смутно все помню. Потом уже ничего не помню...»

...Тем летом я получил из Донецка письмо от своего старого друга, декана педиатрического факультета Донецкого медицинского института им. М. Горького, доцента Владимира Васильевича Гажиева. Когда-то в пятидесятые годы мы вместе с Гажиевым выпускали сатирическую газету Киевского мед-

института «Крокодил в халате», популярную среди студентов и преподавателей: рисовали карикатуры, писали острые подтекстовки... В своем письме В. В. Гажиев рассказал мне о выпускнике педиатрического факультета Валентине Белоконе:

«За годы учебы в институте он был, в целом, средним, обычным студентом... Никогда не пытался производить выгодного впечатления на окружающих, преподавателей, администрацию и пр. Делал порученные ему дела скромно, достойно, добротню.

В нем ощущалась надежность. В учебе преодолевал трудности самостоятельно, срывов не было. Шел к намеченной цели (хотел быть детским хирургом) достойно, выполняя все необходимое. Его естественная порядочность, доброта характера снискали ему стабильное глубокое уважение прежде всего товарищей по группе и курсу, а также преподавателей. Когда в июне мы узнали о его достойном поведении двадцать шестого апреля в Чернобыле, то первое, что говорили, — он, Валик, по-другому поступить не мог. Он настоящий человек, надежный, порядочный, к нему тянутся люди».

...С Валентином Белоконем я встретился осенью 86-го в Киеве, когда позади у него остались больница, пребывание в санатории, тревожения с получением квартиры и устройством на работу в Донецке, разные бюрократические мытарства (сколько сил ему пришлось приложить, чтобы получить причитающуюся ему зарплату... за апрель месяц, не говоря уже о получении материальной компенсации, положенной каждому жителю, эвакуированному из Припяти).

Передо мною сидел худощавый, плечистый, застенчивый парень, в каждом слове и жесте которого были сдержанность и глубокое чувство достоинства — врачебного и человеческого. Только на третий день я узнал случайно, что его донимает одышка, хотя до аварии он занимался спортом — тяжелой атлетикой — и переносил большие нагрузки. Мы поехали с ним к профессору Л. П. Киндзельскому на консультацию...

Валентин рассказывал мне о своих детях (он отец двух девочек — пятилетней Тани и совсем маленькой Кати, которой в момент аварии исполнилось полтора месяца), радовался, что наконец-то будет работать по специальности, которую сознательно избрал в жизни и которую любит больше всего: детским хирургом. А я думал о том, как в ту страшную ночь он, человек в белом халате, первый врач в мире, работающий на месте катастрофы такого масштаба, спасал пострадавших, охваченных ужасом, терзаемых радиацией людей, как вселял в

них надежду, потому что в ту ночь это было единственное его лекарство, по сильнее реланиума, аминазина и всех наркотиков мира.

## ИЗ ДНЕВНИКА УСКОВА

Если вы хотите изобразить доброго русского молодца — Илью Муромца, например, то лучшего прототипа не найти: Аркадий Геннадиевич Усков — крупный парень с мужественными чертами лица, с застенчивой, почти детской улыбкой, он словно бы принес с муромской земли, где родился, лучшие черты, свойственные поморам-северянам: основательность и сильный характер, резкость и самостоятельность суждений.

В момент аварии ему был 31 год, он работал старшим инженером по эксплуатации реакторного цеха № 1 (РЦ-1), на первом блоке ЧАЭС.

А. Усков создал документ большой силы — дневник, в котором подробно поведал обо всем, что довелось ему испытать во время и после аварии. Дневник этот конечно же должен быть издан полностью, без сокращений и редакторских вмешательств. Я же с разрешения автора приведу лишь отдельные фрагменты дневника:

«Припятъ, 26 апреля 1986 г., 3 ч. 55 мин., ул. Ленина, 32/13, кв. 76. Разбудил телефонный звонок. Дождался следующего сигнала. Нет, не приснилось. Прошлепал к телефону. В трубке голос Вячеслава Орлова, моего начальника — зам. начальника реакторного цеха № 1 по эксплуатации.

— Аркадий, здравствуй. Передаю тебе команду Чугунова: всем командирам срочно прибыть на станцию в свой цех. Тревожно заняло на душе.

— Вячеслав Алексеевич, что случилось? Что-нибудь серьезное?

— Сам толком ничего не знаю, передали, что авария. Где, как, почему — не знаю. Я сейчас бегу в гараж за машиной, а в 4.30 встретимся у «Радуги».

— Понял, одеваюсь.

Положил телефонную трубку, вернулся в спальню. Сна как не бывало. Бросилась в голову мысль: «Марина (жена) сейчас на станции. Ждут остановка четвертого блока для проведения эксперимента».

Быстро оделся, на ходу сжевал кусок булки с маслом. Выскочил на улицу. Навстречу парный милицейский патруль с противогАЗами (!!!) через плечо. Сел в машину подьехав-

шего Орлова, выехали на проспект Ленина. Слева, от медсанчасти, на бешеной скорости вырвались две «скорые помощи» под синими мигалками, быстро ушли вперед.

На перекрестке дороги «ЧАЭС — Чернобыль» — милиция с рацией. Запрос о наших персонах, и снова «Москвич» Орлова набирает скорость. Вырвались из леса, с дороги хорошо просматриваются все блоки. Смотрим в оба... и глазам своим не верим. Там, где должен быть центральный зал четвертого блока (ЦЗ-4), — там черный провал... Ужас... Изнутри ЦЗ-4 красное зарево, как будто в середине что-то горит. Это потом мы узнали, что горел графит активной зоны реактора, который при температуре 750° в присутствии кислорода очень даже неплохо горит. Однако вначале не было и мысли, что ахнуло реактор. Такое и в голову нам прийти не могло.

4 ч. 50 мин. АБК-1. Подъехали к АБК-1. Почти бегом заскочили в вестибюль. У АБК-1 — машина горкома партии, у входа в бункер ГО — работники (в основном командиры) всех цехов. В бункере на телефонах директор ЧАЭС Брюханов Виктор Петрович, главного инженера Фомина нет.

Спрашиваем. Отвечают: взрыв на четвертом блоке в момент останова. Это и так ясно. Подробно никто ничего не знает. Начавшийся пожар потушен: на кровле машинного зала и крыше ЦЗ-3 — пожарной командой, внутри машинного зала — сменным персоналом 5 смены турбинного цеха. Ведутся все возможные работы по исключению повторного загорания: сливается масло из маслосистем в баки, вытесняется водород из генераторов № 7 и 8.

Промелькнул Игорь Петрович Александров начальник Марины. По его данным в списке выведенных (пострадавших) с территории станции ее нет. Больше тревоги не было, так как понимал, что на 4-м блоке она быть не должна, а вдруг?! Почти бегом рванулся в санпропускник. Быстро переоделись в белое — на переходе увидел Сашу Чумакова —напарника Марины. Он тут же сообщил, что Марина переодевается.

Камень с души упал.

Быстро дошли до владений начальника смены первого блока. Что случилось — не знают. Слышали два глухих взрыва. Оба блока РЦ-1 несут номинальную нагрузку. Отказов в работе оборудования нет. Все работы на реакторе и системах прекращены. Режим работы — с повышенной бдительностью и вниманием. Заглянул в ЦЗ-2. Народ на местах. Спокоен, хотя и встревожен, — в зале орет сигнализация радиологической опасности. Бронированные двери ЦЗ-2 задраены.

Звонок от начальника смены реакторного цеха-1 (НС

РЦ-1) Чугунова. Замечательный человек, я еще не раз скажу о нем. Чугунов только что с 4-го блока. Дела, похоже, дрянь. Везде высокий фон. Приборы со шкалой 1000 микрорентген в секунду зашкаливают. Есть провалы, много развалин.

Чугунов и заместитель главного инженера по эксплуатации 1-й очереди (т. е. 1-го и 2-го блоков) Анатолий Андреевич Ситников вдвоем пытались открыть отсечную арматуру системы охлаждения реактора. Вдвоем не смогли ее «сорвать». Туго затянуло.

Требуются здоровые, крепкие парни. А на блочном щите-4 (БЩУ-4) надежных нет. Блочники уже выдыхаются. Честно говоря, страшновато. Вскрываем аварийный комплекс «средств индивидуальной защиты». Пью йодистый калий, запиваю водой. Тьфу, какая гадость! Но надо. Орлову хорошо — он йодистый калий принял в таблетке. Молча одеваемся. Надеваем бахилы из пластика на ноги, двойные перчатки, «лепестки». Выкладываем из карманов документы, сигареты. Как будто идем в разведку. Взяли шахтерский фонарь. Проверили свет. «Лепестки» надеты, завязаны. Каски на головах.

Все.

Запомните их имена. Имена тех, кто пошел на помощь своим товарищам, попавшим в беду. Пошел не под приказом, без всякой расписки, не зная истинной дозовой обстановки. Поступив так, как подсказывала профессиональная, человеческая порядочность, совесть коммуниста:

Чугунов Владимир Александрович, чл. КПСС, начальник реакторного цеха по эксплуатации.

Орлов Вячеслав Алексеевич, чл. КПСС, зам. начальника реакторного цеха по эксплуатации.

Нехаев Александр Алексеевич, чл. КПСС, старший инженер-механик РЦ-1.

Усков Аркадий Геннадиевич, чл. КПСС, ст. инженер по эксплуатации РЦ-1.

Может, это написано слишком громко и нескромно. Абсолютно уверен, что мотивы помощи были самые бескорыстные, высокие. А запоминать наши имена, может, и не надо. Может, еще высокая комиссия и скажет: «А зачем вы туда поперлись, а???»

6 ч. 15 мин., ЧАЭС, коридор 301. Вышли в коридор, двинулись в сторону 4-го блока. Я чуть сзади. На плече — «кормилец» — специальная арматура для увеличения рычага при открытии задвижки.

Напротив БЩУ-2 — начальник цеха дезактивации Курочкин. В комбинезоне, каске, сапогах. На груди крест-

накрест ремни от противогаза и сумки. Экипировка — хоть сейчас в бой. Нервно меряет шагами коридор. Туда-сюда-обратно... Зачем он здесь? Непонятно...

Перешли на территорию 3-го и 4-го блоков, заглянули на щит контроля радиационной безопасности. Начальник смены Самойленко у входа. Спросил у него про индивидуальные дозиметры.

— Какие дозиметры?! Ты знаешь, какой фон?

Товарищ, похоже, в шоке. С ним все ясно. Говорю ему:

— Мы пошли на БЩУ-4. Дозобстановку знаешь?

Он уже нас не слушает. Мужик в глубокой растерянности.

А за щитами поливают друг друга матом: его шеф В. П. Каплун и его зам — Г. И. Красножен. Из потока матов ясно, что приборов дозконтроля на солидный фон у них нет. А приборов со шкалой 1000 микрорентген/сек. — мизер. Веселая ситуация, ничего не скажешь.

Перед самым БЩУ-4 осел подвесной потолок, сверху льет вода. Все пригнулись — прошли. Дверь на БЩУ-4 — настезь. Зашли. За столом начальника смены блока сидит А. А. Ситников. Рядом НСБ-4 Саша Акимов. На столе разложены технологические схемы. Ситников, видно, плохо себя чувствует Уронил голову на стол. Посидел немного, спрашивает Чугунова:

— Ты как?

— Да ничего.

— А у меня опять тошнота подступает (Ситников с Чугуновым находились на блоке с 2-х часов ночи!).

Смотрим на приборы пульта СИУРа. Ничего не понять. Пульт СИУРа мертв, все приборы молчат. Вызывное устройство не работает. Рядом — СИУР, Леня Топтунов, худощавый, молодой парень в очках. Растерян, подавлен. Стоит молча.

Постоянно звонит телефон. Группа командиров решает, куда подавать воду. Решено. Подаем воду через барабан-сепараторы в отпускные трубы главных циркуляционных насосов для охлаждения активной зоны.

7 ч. 15 мин. Двинулись двумя группами. Акимов, Топтунов, Нехаев будут открывать один регулятор. Орлов и я, как здоровяки, станут на другой. Ведет нас до места работы Саша Акимов. Поднялись по лестнице до отметки 27. Заскочили в коридор, нырнули налево. Где-то впереди ухает пар. Откуда? Ничего не видно. На всех один шахтерский фонарь. Саша Акимов довел нас с Орловым до места, показал регулятор. Вернулся к своей группе. Ему фонарь нужней. В десяти метрах от нас развороченный проем без двери, света нам

хватает: уже светало. На полу полно воды, сверху хлещет вода. Очень неудобное место. Работаем с Орловым без перерыва. Один крутит штурвал, другой отдыхает. Работа идет шустро. Появились первые признаки расхода воды: легкое шипение в регуляторе, потом шум. Вода пошла!

Почти одновременно чувствую, как вода пошла и в мой левый бахил. Видать, где-то зацепил и порвал. Тогда эту мелочь не удостоил своим вниманием. Но впоследствии это обернулось радиационным ожогом 2-й степени, очень болезненным и долго не заживающим.

Двинули к первой группе. Там дела неважные. Регулятор открыт, но не полностью. Но Лене Топтунову плохо — его рвет, Саша Акимов еле держится. Помогли ребятам выйти из этого мрачного коридора. Снова на лестнице. Сашу все-таки вырвало — видно, не впервые, и поэтому идет одна желчь. «Кормильца» оставили за дверью.

7 ч. 45 мин. Всей группой вернулись на БЩУ-4. Доложили — вода подана. Вот только сейчас расслабились, почувствовал — вся спина мокрая, одежда мокрая, в левой бахиле хлюпает, «лепесток» намок, дышать очень тяжело. Сразу сменили «лепестки». Акимов и Топтунов в туалете напротив рвота не прекращается. Надо ребят срочно в медпункт. Заходит на БЩУ-4 Леня Топтунов. Весь бледный, глаза красные, слезы еще не просохли. Выворачивало его крепко.

— Как чувствуешь?

— Нормально, уже полегчало. Могу еще работать.

Все, хватит с вас. Давайте вместе с Акимовым в медпункт.

Саше Нехаеву пора сдавать смену. Орлов показывает ему на Акимова и Топтунова:

— Давай вместе с ребятами, поможешь им добраться до медпункта и возвращайся сдавать смену. Сюда не приходи.

По громкой связи объявляют сбор всех начальников цехов в бункере ГО. Ситников и Чугунов уходят.

Только сейчас обратил внимание: на БЩУ-4 уже прибыли «свежие люди». Всех «старых» уже отправили. Разумно. Дозобстановку никто не знает, но рвота говорит о высокой дозе! Сколько — не помню.

9 ч. 20 мин. Сменил порванный бахил. Малость передохнули — и снова вперед. Снова по той же лестнице, та же отметка 27 Ведет уже нашу группу сменщик Акимова — НСБ Смагин. Вот и задвижки. Затянуты от души. Снова я в паре с Орловым, начинаем вдвоем на полной мощи своих мускулов «подрывать» задвижки. Потихоньку дело пошло.

Шума воды нет. Рукавицы все мокрые. Ладони горят. От криваем вторую — шума воды нет.

Возвратились на БЩУ-4, сменили «лепестки» Очень хочется курить. Оглядываюсь по сторонам. Все заняты своим делом. Ладно, переживу, тем более что «лепесток» снимать совсем ни к чему. Черт его знает, что сейчас в воздухе, что вдохнешь вместе с табачным дымом. Да и дозобстановку по БЩУ-4 не знаем. Дурацкое положение — хоть бы один «дозик» (дозиметрист) забежал с прибором! Разведчики, мать их за ногу! Только подумал — а тут как раз и «дозик» забежал. Маленький какой-то, пришибленный. Что-то померял — и ходу. Но Орлов его быстро отловил за шиворот. Вопросает:

— Ты кто такой?

— Дозиметрист.

— Раз дозиметрист — померяй обстановку и доложи, как положено, — где и сколько.

«Дозик» снова возвращается. Меряет. По роже видно, что хочется поскорей отсюда «свалить» Называет цифры. Ого! Прибор в зашкале! Фонит явно с коридора. За бетонными колоннами БЩУ дозы меньше. А «дозик» удрал тем временем. Шакал!

Выглянул в коридор. На улице ясное солнечное утро. Навстречу Орлов. Машет рукой. Из коридора заходим в небольшую комнату. В комнате щиты, пульта. Стекла на окнах разбиты. Не высовываясь из окна, осторожно смотрим вниз.

Видим торец 4-го блока... Везде груды обломков, сорванные плиты, стенные панели, на проводах висят искореженные кондиционеры... Из разорванных пожарных магистралей хлещет вода... Заметно сразу — везде мрачная темно-серая пыль. Под нашими окнами тоже полно обломков. Заметно выделяются обломки правильного квадратного сечения. Орлов именно потому меня и позвал, чтобы я посмотрел на эти обломки. Это же реакторный графит!

Дальше уже некуда.

Еще не успели оценить все последствия, возвращаемся на БЩУ-4. Увиденное так страшно, что боимся сказать вслух. Зовем посмотреть заместителя главного инженера станции по науке Лютова. Лютов смотрит туда, куда мы показываем. Молчит. Орлов говорит:

— Это же реакторный графит!

— Да ну, мужики, какой это графит, это «сборка-одиннадцатая».

По форме она тоже квадрат. Весит около 80 кг! Даже если это «сборка-одиннадцатая», хрен редьки не слаще. Она не

святым духом слетела с «пятака» реактора и оказалась на улице. Но это, к сожалению, не сборка, уважаемый Михаил Алексеевич! Как заместителю по науке, вам это надо знать не хуже нас. Но Лютов не хочет верить своим глазам, Орлов спрашивает стоящего рядом Смагина:

— Может, у вас до этого здесь графит лежал? (Цепляемся и мы за соломинку.)

— Да нет, все субботники уже прошли. Здесь была чистота и порядок, ни одного графитного блока до сегодняшней ночи здесь не было.

Все стало на свои места.

Приплыли.

А над этими развалинами, над этой страшной, невидимой опасностью сияет щедрое весеннее солнце. Разум отказывается верить, что случилось самое страшное, что могло произойти. Но это уже реальность, факт.

**ВЗРЫВ РЕАКТОРА. 190 ТОНН ТОПЛИВА, ПОЛНОНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, С ПРОДУКТАМИ ДЕЛЕНИЯ, С РЕАКТОРНЫМ ГРАФИТОМ, РЕАКТОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВЫБРОСИЛО ИЗ ШАХТЫ РЕАКТОРА, И ГДЕ СЕЙЧАС ЭТА ГАДОСТЬ, ГДЕ ОНА ОСЕЛА, ГДЕ ОСЕДАЕТ — НИКТО ПОКА НЕ ЗНАЕТ!**

Все молча заходим на БЩУ-4. Звонит телефон, вызывают Орлова. Чугунову плохо, его отправляют в больницу Ситников уже в больнице. Передают руководство цехом Орлову как старшему по должности.

10 ч. 00 мин. Орлов уже в ранге и. о. начальника РЦ-1 получает «добро» на уход на БЩУ-3.

Быстрым шагом уходим в сторону БЩУ-3. Наконец-то видим нормального дозиметриста. Предупреждает, чтобы к окнам не подходили — очень высокий фон. Уже без него поняли. Сколько? Сами не знают, все приборы зашкаливает. Приборы с высокой чувствительностью. А сейчас не чувствительность нужна, а большой предел измерений! Эх, срамота...

Устали мы крепко. Почти пять часов не евши, на ломовой работе. Заходим на БЩУ-3. Третий блок после взрыва срочно остановили, идет аварийное расхолаживание. Мы идем к себе «домой» — на первый блок. На границе уже стоит переносной саншлюз. Моментально отметил — наш саншлюз, из РЦ-1. Ребята молодцы, работают хорошо. Не касаясь руками, снял бахилы. Сполоснул подошвы, вытер ноги. У Орлова появились признаки рвоты. Бегом в мужской туалет. У меня пока ничего нет, но противно как-то. Ползем как сонные мухи. Силы на исходе.

Дошли до помещения, в котором сидит весь командный состав РЦ-1. Снял «лепесток». Дали сигарету, прикурил. Две затяжки — и у меня тошнота подступила к горлу. Сигарету потушил. Сидим все мокрые, надо срочно идти переодеваться. А ежели по-хорошему — не переодеваться нам надо, а в медпункт. Смотрю на Орлова — его мутит, меня тоже. А это уже скверно. Наверно, у нас очень замученный вид, потому что нас никто ни о чем не спрашивает. Сказали сами:

— Дело дрянь. Развален реактор. Видели обломки графита на улице.

Идем в санпропускник мыться и переодеваться. Вот тут-то меня и прорвало. Выворачивало вдоль и поперек каждые 3—5 минут. Увидел, как Орлов захлопнул какой-то журнал. Ага... «Гражданская оборона», понятно.

— Ну что там вычитал?

— Ничего хорошего. Пошли сдаваться в медпункт.

Уже потом Орлов сказал, что было написано в том журнале: появление рвоты — это уже признак лучевой болезни, что соответствует дозе более 100 бэр (рентген). Годовая норма — 5 бэр».

## В БУНКЕРЕ

**Сергей Константинович Парашин**, бывший секретарь парткома Чернобыльской АЭС<sup>1</sup>:

«Мне позвонили примерно через полчаса после аварии. Захлебывающимся голосом телефонистка передала жене (сам я спал), что там произошло нечто очень серьезное. Жена, судя по интонации, сразу же поверила, поэтому я быстро вскочил и выбежал на улицу. Вижу — едет машина с зажженными фарами, я поднял руку. Это ехал Воробьев — начальник штаба гражданской обороны станции. Его тоже подняли по сигналу тревоги.

Примерно в 2.10—2.15 ночи мы были на станции. Когда подъезжали, пожара уже не было. Но само изменение конфигурации блока привело меня в соответствующее состояние. Зашли в кабинет директора АЭС Брюханова. Здесь я увидел второго секретаря Припятского горкома Веселовского, были зам директора по режиму, я и Воробьев.

Когда мы попали в кабинет, Брюханов тут же сказал, что

---

<sup>1</sup> Ныне С. К. Парашин — начальник смены блока № 1 ЧАЭС, председатель совета трудового коллектива станции.

переходим на управление в бункер. Он, видимо, понял, что произошел взрыв, и потому дал такую команду. Так положено по инструкции гражданской обороны. Брюханов был в подавленном состоянии. Я спросил его: «Что произошло?» — «Не знаю». Он вообще был немногословным и в обычное время, а в ту ночь... Я думаю, он был в состоянии шока, заторможен. Я сам был в состоянии шока почти полгода после аварии. И еще год — в полном упадке.

Мы перешли в бункер, находящийся здесь же, под зданием АБК-1. Это низкое помещение, заставленное канцелярскими столами со стульями. Один стол с телефонными аппаратами и небольшой пульт. За этот стол сел Брюханов. Стол неудачно поставлен — рядом с входной дверью. И Брюханов был как бы изолирован от нас. Все время мимо него люди ходили, хлопала входная дверь. Да еще шум вентилятора. Начали стекаться все начальники цехов и смен, их заместители. Пришли Чугунов, Ситников.

Из разговора с Брюхановым я понял, что он звонил в обком. Сказал: есть обрушение, но пока непонятно, что произошло. Там разбирается Дятлов... Через три часа пришел Дятлов, поговорил с Брюхановым, потом я его посадил за стол и начал спрашивать. «Не знаю, ничего не понимаю»

Я боюсь, что директору так никто и не доложил о том, что реактор взорван. Формулировку «реактор взорван» не дал ни один заместитель главного инженера. И не дал ее главный инженер Фомин. Брюханов сам ездил в район четвертого блока — и тоже не понял этого. Вот парадокс. Люди не верили в возможность взрыва реактора, они вырабатывали свои собственные версии и подчинялись им.

Я тоже для себя формулировал, что там произошло. Я предположил, что взорвался барабан-сепаратор. Вся идеология первой ночи была построена на том, что все были уверены: взорвался не реактор, а нечто — непонятно пока что.

В бункере находилось человек тридцать — сорок. Стоял шум и гам — каждый по своему телефону вел переговоры со своим цехом. Все вертелось вокруг одного — подачи воды для охлаждения реактора и откачки воды. Все были заняты этой работой.

Второй секретарь Киевского обкома Маломуж приехал на станцию где-то между семью и девятью часами утра. Он приехал с группой людей. Речь зашла о том, что нужно составить единый документ, который бы пошел по всем каналам. То ли мне Брюханов поручил, то ли я сам вызвался — сейчас трудно сказать, — но я взялся за составление документа.

Считал, что вроде я владею ситуацией. Начал писать эту бумагу. У меня коряво получалось. Тогда другой взялся. Написали черновик. Согласовывали впятером — и так, и сяк. Там было указано обрушение кровли, уровень радиации в городе — тогда еще невысокий, и сказано, что идет дальнейшее изучение проблемы.

А до этого была такая неприятная штука. Мне сейчас ее трудно объяснить. Начальник гражданской обороны Воробьев, с которым мы приехали, через пару часов подошел ко мне и доложил: он объехал станцию и обнаружил возле четвертого блока очень большие поля радиации, порядка 200 рентген. Почему я ему не поверил? Воробьев по натуре своей очень эмоциональный человек, и, когда он это говорил, на него было страшно смотреть... И я не поверил. Я сказал ему: «Иди, доказывай директору». А потом я спросил Брюханова: «Как?» — «Плохо». К сожалению, я не довел разговор с директором до конца, не потребовал от него детального ответа.

— Сидя в бункере, вы думали о своей жене и детях?

— Думал. Но знаете, как думал? Если бы я в полной мере знал и представлял, что произошло, я бы, конечно, не то сделал. Но я думал, что радиация связана с выбросом воды из барабан-сепаратора. Тревогу я начал бить слишком поздно — во вторую ночь, когда разгорелся реактор. Тогда я стал звонить в горком, говорить: надо эвакуировать детей. Только тогда до меня дошло, что нужно срочно эвакуировать. Но к тому времени в город уже понаехало очень много высоких чинов. Директора на заседание Правительственной комиссии не приглашали, его никто не спрашивал. Приезд начальников имел большой психологический эффект. А они все очень серьезные — эти большие чиновники. Вызывают к себе доверие. Мол, вот приехали люди, которые все знают, все понимают. Только много позже, когда я с ними пообщался, эта вера прошла. Мы не принимали никаких решений. Все правильные и неправильные решения были приняты со стороны. Мы, персонал, что-то делали механически, как сонные мухи. Слишком велик был стресс, и слишком велика была наша вера в то, что реактор взорваться не может. Массовое ослепление. Многие видят, что произошло, но не верят.

И теперь меня преследует чувство вины — на всю жизнь, думаю. Я очень плохо проявил себя в ту ночь в бункере. Мне пришлось сказать на суде, что я трусил, — иначе я не мог объяснить свое поведение. Ведь это я послал Ситникова, Чугунова, Ускова и других на четвертый блок. Надо мной висит эта трагедия. Ведь Ситников погиб... Меня спрашивают: «По-

чему сам не сходил на четвертый блок?» Потом я ходил туда, но не в ту ночь... Что я могу сказать? Нет, думаю, не струсил. Просто тогда еще не понимал. Но это я наедине сам с собой знаю, а людям как объяснить? Мол, все там были, все облучились, а ты, голубчик, стоишь живой перед нами, хотя должен бы...

А все объясняется просто. Сам я четвертого блока не знал. Работал на первом. Если бы это случилось на первом — пошел бы сам. А тут передо мной сидят Чугунов, бывший начальник цеха, и Ситников. Оба там работали всего полгода назад. Я говорю директору: «Нужно их послать, никто лучше их не разберется, не поможет Дятлову». И они оба пошли. И даже они — самые, самые честные люди, которые не несли ответственности за взрыв, даже они, возвратившись, не сказали, что же там произошло... Если бы Ситников понял, что случилось, он бы не погиб. Ведь он высокий профессионал.

Пытаюсь оправдаться, только слабое это оправдание.. »

**Николай Васильевич Карпан**, заместитель начальника ядерно-физической лаборатории<sup>1</sup>.

«За день до аварии я вернулся из Москвы, на работе не был. Об аварии узнал в семь часов утра, когда позвонила родственница из Чернобыля. Спросила — что случилось на станции? Ей рассказывали страшные вещи о каком-то взрыве. Я уверил ее, что никакого взрыва не могло быть. Я вечером звонил на станцию и узнал, что четвертый блок идет на останов. А перед остановом обычно выполняют какую-нибудь работу, связанную с открытием предохранительных клапанов и выбросом большого количества пара в атмосферу. Это создает шумовые эффекты. Успокоил ее, тем не менее какая-то тревога осталась. Я начал звонить на станцию на четвертый блок. Ни один из телефонов не отвечал. Я позвонил на третий блок — мне сказали, что практически не существует центрального зала над третьим и четвертым блоками. Я вышел на улицу и увидел... изменившиеся контуры второй очереди.

Тогда я позвонил своему начальнику и спросил — делали ли попытку попасть на станцию? «Да, но меня задержали посты МВД». Начальника отдела ядерной безопасности.. не пустили на станцию! Мы с начальником вышли на небольшую круглую площадь перед выездом из города, решили ехать на

---

<sup>1</sup> Ныне Н. В. Карпан заместитель главного инженера станции по науке.

попутной машине. Увидели там начальника цеха наладки, который сказал, что выехала директорская машина и мы сможем все вместе добраться до станции.

Мы приехали на станцию в восемь часов утра. Так я попал в бункер.

Там находились директор, главный инженер, парторг, заместитель главного инженера по науке, начальник лаборатории спектрометрии и его заместитель. Они успели к этому времени отобрать пробы воздуха и воды и проделать анализы. В пробах воздуха обнаружили до 17% активности, обусловленной нептунием, а нептуний — это переходной изотоп от урана-238 к плутонию-239. Это просто частички топлива... Активность воды также была чрезвычайно высокой.

Первое, с чем я столкнулся в бункере и что мне показалось очень странным, — нам ничего о случившемся, о подробностях аварии, никто ничего не рассказал. Да, произошел какой-то взрыв. А о людях и их действиях, совершенных в ту ночь, мы не имели ни малейшего представления. Хотя работы по локализации аварии шли с самого момента взрыва. Потом, позднее, в то же утро я сам попытался восстановить картину. Стал расспрашивать людей.

Но тогда, в бункере, нам ничего не было сказано о том, что творится в центральном зале, в машзале, кто из людей там был, сколько человек эвакуировано в медсанчасть, какие там, хотя бы предположительно, дозы...

Все присутствующие в бункере разделились на две части. Люди, пребывавшие в стопоре, — явно в шоке были директор, главный инженер. И те, кто пытался как-то повлиять на обстановку, активно на нее воздействовать. Изменить ее в лучшую сторону. Таких было меньше. К ним я отношу прежде всего парторга станции Сергея Константиновича Парашина. Конечно, Парашин не пытался возложить на себя принятие технических решений, но он продолжал работать с людьми, он занимался персоналом, решал многочисленные проблемы...

Что же произошло в ту ночь? Вот что мне удалось узнать.

Когда случился взрыв, рядом со станцией находилось несколько десятков людей. Это и охрана, и строители, и рыбаки, ловившие рыбу в пруде-охладителе и на подводящем канале. С теми, кто был в непосредственной близости, я разговаривал, спрашивал их — что они видели, что слышали?

Взрыв полностью снес крышу, западную стенку центрального зала, развалил стену в районе машзала, пробил обломками железобетонных конструкций крышу машзала, вызвал возго-

рание кровли. О пожаре на крыше знают все. Но очень мало кто знает, что внутри машинного зала также начались пожары. А ведь там находились турбогенераторы, заполненные водородом, десятки тонн масла. Вот этот внутренний пожар и представлял самую большую опасность.

Первое, что сделали реакторщики: они закрыли дверь в центральный зал, вернее, в то пространство под открытым небом, что осталось от зала. Они собрали всех людей — за исключением погибшего Ходемчука — вывели из опасной зоны, из зоны разрушения, вынесли раненого Шашенка, и пятая смена, которой руководил Саша Акимов, стала делать все, чтобы из генераторов убрать взрывоопасный водород и заменить его азотом, отключить горящие электрические сборки и механизмы в машзале, перекачать масло, чтобы не дай бог пожар сюда не распространился.

Ведь пожарные работали на кровле, а персонал все остальное делал внутри. Их заслуга — подавление очагов пожара в машзале и недопущение взрывов. И вот соотношение опасности и объемов работ, выполненных в таких условиях, и дали такие потери: пожарных, работавших на кровле, погибло шесть человек, а тех, кто работал внутри, погибло двадцать три человека.

Конечно, подвиг пожарных вошел в века, и не цифрами измеряется степень героизма и риска. Но тем не менее то, что совершил персонал в первые минуты после аварии, тоже должно быть известно людям. Я убежден в высочайшей профессиональной компетентности операторов пятой смены. Именно Александр Акимов первым понял, что произошло: уже в 3 часа 40 минут он сказал начальнику смены станции Владимиру Алексеевичу Бабичеву, приехавшему на станцию по вызову директора, что произошла общая радиационная авария.

— Это значит, что первичное звено уже ночью поняло, что произошло на самом деле?

— Конечно. Мало того, он доложил об этом руководству. Он оценил размеры аварии, прекрасно представлял всю опасность случившегося. Не покинул зону, делая все, чтобы обеспечить расхолаживание энергоблока. И остался при этом человеком. Вот пример. Вы знаете, что на БЩУ в обычных условиях работают три оператора и начальник смены. Так вот, самого молодого из них, старшего инженера управления турбиной Киршенбаума, который не знал компоновки здания, Акимов срочно выгнал из БЩУ. Киршенбауму сказали: «Ты здесь лишний, нам помочь ничем не можешь, уходи».

— Почему же информация не пошла дальше?

— Вся информация, которую выносили из зоны Дятлов, Ситников, Чугунов, Акимов, она вся оседала в бункере на уровне директора и главного инженера, цементировалась здесь и не пропусклась дальше. Я, конечно, не могу с уверенностью сказать, что она не вышла на верхние этажи руководства нашего главка. Но до нас эта информация не доходила. Все последующие знания о случившемся добывались самостоятельно.

К 10 часам утра с начальником нашей лаборатории я успел побывать на БЩУ-3, на АБК-2, был в центральном зале третьего блока и в районе БЩУ-4, в районе седьмого и восьмого турбогенераторов. С территории промплощадки осмотрел пораженный блок. Очень меня насторожило одно обстоятельство: стержни управления защитой вошли в зону в среднем на 3—3,5 метра, то есть наполовину. Загрузка активной зоны составляла примерно пятьдесят критических масс, и половинная эффективность стержней защиты не могла служить надежной гарантией... Я подсчитал, что примерно к 17—19 часам возможен выход блока из подкритического состояния в состояние, близкое к критическому. Критическое состояние — когда возможна самоподдерживаемая цепная реакция.

— Это могло означать атомный взрыв?

— Нет. Если зона открыта, то взрыва не будет, потому что не будет давления. Взрыва как такового я уже не ждал. Но должен был начаться перегрев. Поэтому надо было выработать такие технические решения, которые могли бы предотвратить выход блока из подкритического состояния.

— Руководство станции собиралось, обсуждало эту проблему?

— Нет. Этим занимались специалисты — начальник отдела ядерной безопасности, начальник ядерно-физической лаборатории. Из Москвы еще никого не было. Наиболее приемлемым решением в тех условиях было заглушение аппарата раствором борной кислоты. Это можно было сделать так: мешки с борной кислотой высыпать в баки чистого конденсата и насосами перекачать воду из этих баков в активную зону. Можно было размешать борную кислоту в цистерне пожарной машины и с помощью гидропушки забросить раствор в реактор.

Надо было «отравить» борной кислотой реактор. Примерно к 10 утра эту идею заместитель главного инженера по науке передал главному инженеру станции Фомину. К этому же времени сложилось полное представление о том, что нужно

срочно сделать и что нас ожидает в конце дня, и тогда же родилось требование готовить эвакуацию жителей города. Потому что если начнется самоподдерживаемая цепная реакция, то в сторону города может быть направлено жесткое излучение. Ведь биологическая защита отсутствует, снесена взрывом.

К сожалению, на станции борной кислоты не оказалось, хотя есть документы, согласно которым определенный запас борной кислоты должен был храниться...»

## КОЛОННА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Александр Юрьевич Эсаулов, 34 года, заместитель председателя горисполкома г. Припяти:**

«Ночью меня подняли, двадцать шестого, где-то в четвертом часу. Звонила Мария Григорьевна, наш секретарь, сказала: «Авария на атомной станции». Какой-то ее знакомый работал на станции, он пришел ночью, разбудил ее и рассказал.

Без десяти четыре я был в исполкоме. Председателя уже поставили в известность, и он поехал на атомную станцию. Я сейчас же позвонил нашему начальнику штаба гражданской обороны, поднял его в ружье. Он жил в общежитии. Прилетел сразу. Потом председатель горисполкома приехал, Волошко Владимир Павлович. Мы собрались все вместе и стали соображать, что делать.

Мы, конечно, не совсем знали, что делать. Это, как говорится, пока жареный петух не клюнет. Я вообще считаю, что у нас гражданская оборона оказалась не на уровне. Но тут просчет не только наш. Назови мне город, где ГО поставлена на должную высоту. У нас проводились до этого обычные учения, да и то все игралось в кабинете. Тут еще и такой момент надо учесть: даже теоретически подобная авария исключалась. И это внушалось постоянно и регулярно...

Я в исполкоме являюсь председателем плановой комиссии, ведаю транспортом, медициной, связью, дорогами, бюро трудоустройства, распределением стройматериалов, пенсионерами. Вообще-то зампредгорисполкома я молодой, только 18 ноября 1985 года меня избрали. В день моего рождения. Жил в двухкомнатной квартире. Жены с детьми в момент аварии не было в Припяти — она уехала к своим родителям, потому как была в послеродовом отпуске. Сын у меня родился в ноябре 85-го. Дочери шесть лет.

Ну вот. Поехал я в наше АТП, решил организовать мойку

города. Позвонил в исполком Кононыхину, попросил прислать моечную машину. Пришла. Это же песня! На весь город у нас было — не поверишь — четыре поливо-моечных машины! На пятьдесят тысяч жителей! Это несмотря на то, что исполком и горком — у нас были очень задиристые и тот и другой — выходили на министерство, просили машины. Не предвидя аварии, а просто для того, чтобы в городе поддерживать чистоту.

Приехала машина с баком, где они ее откопали не знаю. Шофер был не ее родной и не знал, как насос включить. Вода из шланга лилась только самотеком. Я его погнал обратно, он приехал минут через двадцать, уже научился включать этот насос. Мы стали мыть дорогу возле заправки. Сейчас я уже понимаю задним числом, что это была одна из первых процедур пылеподавления. Вода шла с мыльным раствором. Потом оказалось, что это как раз было очень загрязненное место.

В десять утра было совещание в горкоме, очень короткое, минут на пятнадцать — двадцать. Было не до говорильни. После совещания я сразу пошел в медсанчасть.

Сижу я в медсанчасти. Как сейчас помню: блок как на ладошке. Рядом, прямо перед нами. Три километра от нас. Из блока шел дым. Не то чтобы черный... такая струйка дыма. Как из погасшего костра, только из погасшего костра сизая, а эта такая темная. Ну а потом загорелся графит. Это уже ближе к вечеру, зарево, конечно, было что надо. Там графита столько... Не шуточка. А мы — представляешь? — целый день просидели с открытыми окнами.

После обеда меня пригласил второй секретарь Киевского обкома В Маломуж и поручил мне организовать эвакуацию самых тяжелых больных в Киев, в аэропорт, для отправки в Москву.

От штаба гражданской обороны страны был Герой Советского Союза генерал-полковник Иванов. Он прилетел на самолете. Отдал этот самолет на перевозку.

Все это происходило где-то после 17.00 в субботу, 26 апреля.

Сформировать колонну оказалось не просто. Это же не просто: погрузить людей. Надо было на каждого подготовить документы, истории болезней, результаты анализов. Основная задержка была именно в оформлении личных дел. Даже такие моменты возникли — печать нужна, а печать — на атомной станции. Замяли это дело, отправили без печати.

Мы везли двадцать шесть человек — это один автобус,

красный междугородный «Икарус». Но я сказал, чтобы дали два автобуса. Мало ли что может быть. Не дай бог задержка какая... И две «скорых», потому что было двое больных тяжелых, носилочных, с ожогами тридцатипроцентными.

Я просил через Киев не ехать. Потому что эти парни в автобусах, они все были в пижамах. Зрелище, конечно, дикое. Но поехали почему-то через Крещатик, потом налево по Петровской аллее и погнались на Борисполь. Приехали. Ворота закрыты. Это было ночью, часа в три, начале четвертого. Гудим. Наконец — зрелище, достойное богов. Выходит некто в тапочках, галифе, без ремня и открывает ворота. Мы просхали прямо на поле, к самолету. Там уже экипаж прогревал мотор.

И еще один эпизод ударил мне прямо в сердце. Подошел ко мне пилот. И говорит: «Сколько эти ребята получили?» Спрашиваю: «Чего?» — «Рентген». Я говорю: «Достаточно. А в принципе — в чем дело?» А он мне: «Вот я тоже хочу жить, я не хочу получать лишние рентгены, у меня жена, у меня дети».

Представляешь?

Улетели они. Попрощался, пожелал скорейшего выздоровления...

Погнали мы на Припять. Пошли уже вторые сутки, как я не спал, — и сон меня не брал. Ночью, когда еще ехали в Борисполь, я видел колонны автобусов, которые шли на Припять. Нам навстречу. Это уже готовилась эвакуация города.

Было утро двадцать седьмого апреля, воскресенье.

Приехали, я позавтракал и зашел к Маломужу. Доложился. Он говорит: «Надо эвакуировать всех, кто госпитализирован». В первый раз я вывозил самых тяжелых, а сейчас надо было всех. За это время, что я отсутствовал, еще поступили люди. Маломуж сказал, чтобы в двенадцать часов я был в Борисполе. А разговор шел около десяти утра. Это было явно нереально. Надо подготовить всех людей, оформить все документы. Притом в первый раз я вез двадцать шесть человек, а сейчас надо вывезти сто шесть.

Собрали мы эту всю «делегацию», все оформили и выехали аж в двенадцать часов дня. Было три автобуса, четвертый резервный. «Икарусы». Тут жены стоят, прощаются, плачут, хлопцы все ходячие, в пижамах, я умоляю: «Хлопцы, не расходитесь, чтобы я вас не искал». Один автобус укомплектовал, второй, третий, вот уже все садятся, я бегу в машину сопровождения, теперь ГАИ сработало четко, сажусь, жду пять минут, десять, пятнадцать — нет третьего автобуса!

Оказывается, еще трое пораженных поступили, потом еще...

Наконец поехали. Была остановка в Залесье. Договорились, если что — фарами мигать. Едем по Залесью — раз! Водитель резко тормозит. Автобусы стали. Последний автобус от первых — метрах в восьмидесяти или девяноста. Остановился последний автобус. Вылетает оттуда медсестра — и к первому автобусу. Получилось так, что во всех автобусах медработники были, но медикаменты везли только в первом. Подбегает: «Больному плохо!» И вот единственный раз я тогда видел Белоконя. Правда, тогда еще не знал его фамилии. Мне потом сказали, что это Белоконь. Сам в пижаме, он побежал с сумкой оказывать помощь.

### **В. Белоконь:**

«Первая партия пораженных уехала двадцать шестого вечером, часов в одиннадцать вечера, напрямиком на Киев. Операторов вывезли, Правика, Кибенка, Телятникова. А мы остались на ночь. Двадцать седьмого утром мой врач говорит: «Ты не волнуйся, полетишь в Москву. Получили указание к обеду вывезти». Нас когда на автобусах везли, я чувствовал себя ничего. Даже останавливались где-то за Чернобылем, поплохело кому-то, я выбегал еще и пытался помочь медсестре»

### **А. Эсаулов:**

«Белоконь побежал, его там за руки хватили. «Куда ж ты, ты больной» Он же пораженный был.. Помчался с сумкой. Причем самое интересное, что, когда начали копаться в этом мешке, никак не найдут нашатырного спирта. Я тут у этих гаишников из сопровождения спрашиваю: «У вас в аптечке есть нашатырный спирт?» «Есть». Мы разворачиваемся, к автобусу подскакиваем, Белоконь тому парню раз ампулу — под нос. Легче стало.

И еще один момент в Залесье запомнился. Больные вышли из автобусов кто перекурить, размяться, тыры-пыры, и вдруг бежит женщина с диким криком и гамом. В этом автобусе едет ее сын. Это же надо? Такая вот стыковка... Ты понимаешь?.. Откуда она появилась? — я так и не понял. Он ей «мамо», «мамо», успокаивает ее.

В Бориспольском аэропорту нас уже ждал самолет. Был начальник аэропорта Поливанов. Мы выехали на поле, чтоб подъехать к самолету прямо — ведь ребята все в пижамах, а это апрель, не жарко. Проехали через ворота, на поле, а за

нами «рафик» желтый дует, ругается, что без разрешения выехали. Мы сначала не к тому самолету вообще подъехали. «Рафик» нас провел.

И еще такой эпизод. Сидим мы с Поливановым уютно, куча телефонов ВЧ, оформляем документы на перевозку больных. Я дал им расписку от имени Чернобыльской атомной станции, гарантийное письмо, что станция заплатит за полет,— это был ТУ-154. Входит милостивая женщина, кофе предлагает. А глаза у нее как у Иисуса Христа, она, видать, уже знает, в чем дело. Смотрит на меня как на выходца из Дантова ада. Шли уже вторые сутки, я не спавши, устал зверски... Приносит кофе. Такая маленькая чашечка. Я эту пиндюрочку выпил одним залпом. Приносит вторую. Кофе чудный. Мы все дела порешали, я встаю, а она говорит: «С вас пятьдесят шесть копеек». Я смотрю на нее — ничего не понимаю. Она говорит: «Извините, у нас за деньги эти вещи делаются». Я был настолько отрешен от денег, от всего этого... Словно из другого мира приехал.

Снова помыли мы автобусы, приняли душ — и на Припять. Выехали из Борисполя где-то в шестнадцать ноль-ноль. По дороге уже встретили автобусы...

Припятчан вывозили.

Приехали в Припять — уже пустой город.

Было это 27 апреля 1986 года, в воскресенье.

## ПЕРЕД ЭВАКУАЦИЕЙ

**Л. Ковалевская:**

«Я жила в третьем микрорайоне. У меня часто бессонница, я пила снотворное. Двадцать пятого апреля, в пятницу, я как раз закончила поэму «Паганини». Три месяца я сидела над ней каждую ночь. И в эту ночь решила отдохнуть. Выпила снотворное. Ну, и уснула мертвым сном. Взрывов не слышала. А у нас когда выхлопы, то слышно. Даже окна дребезжат. Мама утром говорит: «То ли на станции что-то грохотало, то ли реактивные самолеты летали всю ночь». Не придавала я этому значения. Суббота как раз. Собираюсь идти на заседание литобъединения. Я раньше им руководила, «Прометей» оно называется. Туда ходили и энергетики с атомной, и строители... Выхожу на улицу, смотрю — все дороги залиты водой и таким белым раствором, все белое, в пене, все обочины. А я знаю, что когда аварийный выхлоп, обычно моют город. Так у нас уже было... Сердце как-то нехорошо

екнуло. Иду дальше. Смотрю — там милиционер, там милиционер — никогда столько милиции в городе я не видела. Они ничего не делают, но сидят у объектов — почта, Дворец культуры, ГПТУ. Как военное положение. Это сразу резануло. А люди гуляют, везде детки, такая жара стояла. Люди на пляж едут, на дачи, на рыбалку, многие уже на дачах были, сидели на речке, возле пруда-охладителя — это такое искусственное водохранилище возле АЭС... Я не дошла до литобъединения. Яна, дочь моя, в школу ушла. Я вернулась домой и говорю: «Мама, не знаю, что случилось, но ты не выпускай Наташу — племянницу, а Яна придет со школы — посади сразу дома». А форточки не сказала закрыть. Не «дотямила» («дотямити» по-украински — понять, уразуметь. — Ю. Щ.) Жара такая. Говорю: «И сама не выходи, и девочек не выпускай сегодня». — «Да что случилось?» — говорит. «Ничего не знаю, я так чувствую». Пошла снова туда, на площадь центральную. И с площади хорошо был виден реактор, видно, что горит и что разворочена стена. Пламя было над дыркой. Труба вот эта, что между третьим и четвертым блоками, была раскалена, такое впечатление огненного столба. Пламя так не может стоять — не колыхаясь, а тут огненный столб стоит. Или это пламя из отверстия — не знаю.

Весь день мы ничего не знали, нигде никто ничего не говорил. Ну, пожар. Но про радиацию — что идет излучение радиоактивное — не было сказано.

И Яна пришла из школы и говорит: «Мама, была физзарядка почти целый час на улице». Безумие...»

Анелия Романовна Перковская, секретарь Припятского горкома комсомола:

«Уже с утра в горком приходили ребята и предлагали помощь. Но мы сами не знали, что делать. Информации не было никакой. Поползли слухи...

Потушили пожар. Но что с реактором?

Даже велись споры по поводу того — вскрыт реактор или нет. Никто не верил, что реактор вскрыт. Мы разговаривали с ребятами, которые изучали эти реакторы. Ведь реактор сам по себе задуман так хорошо, что даже если бы вы хотели его взорвать, то не смогли бы этого сделать. Поэтому трудно было поверить, что он вскрыт».

Юрий Витальевич Добренко, инструктор Припятского горкома комсомола:

«Рядом со мной, в общежитии завода «Юпитер», жил

врач, Валентин Белоконов. Работал на «Скорой помощи». Я с ним ходил на рыбалку, он хороший парень. Когда случилась эта авария, он дежурил, а потом приехал в общежитие, раздетый, в одном белом халате, — приехал часов в шесть утра, перебудил в блоке соседей, раздал йод, таблетки. Говорит: «Примите на всякий случай». И тут приехала за ним «скорая помощь» и его забрали. Меня разбудить не успел. Все это мне утром рассказали.

Весь день у нас в горкоме была какая-то неопределенность. Но после шести вечера мы все снова собрались — появилась конкретная задача...»

#### **А. Перковская:**

«Часам к четырем дня в субботу, двадцать шестого апреля, начали съезжаться члены Правительственной комиссии. Возникла идея — грузить песок на вертолеты и засыпать реактор песком. Чья это идея была не могу сказать. Там шли дебаты очень долго. Нужен свинец не нужен? Борная кислота нужна не нужна? Песок нужен не нужен? Команды очень быстро поступали, отменялись. Понятно, ведь подобной ситуации прежде не было. Надо было искать что-то принципиально новое.

Наконец решили грузить песок. У нас есть кафе «Припять», возле речного вокзала. Там намывали песок для шестого и седьмого микрорайонов. Песок отборный, чистый, без примесей. Грузили песок в мешки. У нас много командированных в городе было. Прибежали ребята из Ивано-Франковска. И говорят: «Нужен агитатор!» Это прямо по-военному прозвучало. «Нужен агитатор, там уже ребята выдыхаются». Ребята там уже долго работали...

Нужны были веревки, чтобы завязывать эти мешки. Они закончились. Я помню — мы взяли красный материал, кумач, который у нас лежал к праздникам, и начали полосовать его...»

#### **Ю. Добренко:**

«Так вот, вечером мы все собрались в горкоме, и мне было дано первое задание: в район кафе «Припять» привозили лопаты, надо пойти и получить эти лопаты, порядка ста пятидесяти штук, а другие наши ребята пошли по общежитиям собирать молодежь. Молодежь пришла. Часов в одиннадцать вечера приехала грузовая машина с пустыми мешками, и мы пошли насыпать в мешки песок.

Одним из первых пришел Сережа Уманский, секретарь комсомольской организации Припятского монтажного управления. Он работал без дозиметра, без ничего, ему дали, как сейчас помню, белый костюм, и он ночью работал, потом отпустили его поспать, а утром я его опять увидел в горькоме комсомола: «Что, Сережа?» — «Да, — говорит, — работаю, мешки насыпаем».

### Ю. Бадаев:

«Всю смену в ночь на двадцать шестое мы пробыли на станции. Ближе к восьми часам была команда: всем покинуть рабочие места. Мы ушли в помещение гражданской обороны. Затем нас увезли домой.

Я сказал жене, что произошло нечто из рук вон — из нашего окна был виден разрушенный блок. Я говорю: «Детей желательно никуда не пускать. И закрыть окна». Жена, к сожалению, не выполнила моей просьбы — ей стало жалко, что я так натерпелся. Я лег, а она выпустила детей, чтобы не кричали. Дала мне возможность отдохнуть... Лучше бы я не спал... Команды, чтобы детей не выпускать, в субботу не было. В воскресенье поступила. Часов в десять бегала женщина и говорила, что детей не выпускать, не выходить из дома и слушать радио. В два часа началась эвакуация»

А спустя несколько месяцев ранним утром, еще в темноте, когда над миром стоял адский туман, выехали мы с Сашей Эсауловым в Зону. Ехали на «Жигулях»-восьмерке, в просторечии именуемой «зубилом» Эсаулов отличный водитель, и наш рейд был похож на авторалли. Дальний свет фар упирался в непроницаемые клубы тумана и ослеплял нас самих, на ближнем свете почти ничего не было видно, особенно там, где не нарисована разделительная полоса на асфальте, и время от времени дорога ускользала от нас, но как-то обошлось. Машина вела себя превосходно. («Вот что значит передние ведущие колеса!» — восторженно говорил Саша — темноглазый румяный крепыш.) На коленях у меня лежал кассетный магнитофон, и всю эту напряженную и опасную дорогу, поддерживая нас и вселяя уверенность, пели в машине ребята из Ливерпуля, знаменитые «Битлзы». Как-то удивительно сочеталась их музыка со стремительной поездкой по Зоне. На автомобиле нашем не было обычных номеров, только на капоте и на борту виднелись большие цифры: 002 — как на гоночных

машинах. Изредка встречались нам по дороге бронетранспортеры с зажженными фарами, да кое-где работали войска противохимической защиты: солдаты в черных комбинезонах и специальных ядовито-зеленых бахилах.

Уже близ самого въезда в Припять мы вдруг увидели по обе стороны дороги срезанные бульдозерами пески, выкорчеванные пни, а дальше — рыжий, словно обгоревший сосновый лес. Тот печально знаменитый лес, что уже вошел в легенду Зоны под названием «Рыжий лес». Сюда обрушилась часть выброса из четвертого реактора. За этим лесом начинался город, а рядом с ним шел район так называемой «Нахаловки», самовольно поставленных «дач» — убогих дощатых хибарок, небольших садилов. В то воскресенье здесь отдыхали люди.

### **А. Перковская:**

«В субботу в третьей школе был назначен сбор дружины, школа большая, две с половиной тысячи учащихся, и дружина там — полторы тысячи ребят. Должны они его были проводить во Дворце культуры. Ну вот, задали на совещании утром двадцать шестого этот вопрос, а В. Маломуж — второй секретарь обкома партии — сказал так: все, что у вас запланировано, — проводите. Директор школы, когда мы вышли после этого совещания, спрашивает: «Ну что мне делать?» Я говорю: «Проводите в школе, и не обязательно, чтоб все дети были». И сбор прошел все-таки, но в школьном спортзале.

В субботу прошли все уроки, ничего не отменяли. Но на улице не было никаких соревнований.

По первой и второй школам, там, где я была, окна закрыты. Лежали мокрые тряпки, стояли дежурные у двери, никого не впускали, не выпускали.

О других школах не знаю.

На воскресенье был запланирован пробег «Здоровье». Педагоги не знали — будет он или не будет. Одна из учительниц звонила в горком: «Я утром детей всех собираю в школу» И когда ей сказали, что уже об эвакуации все кричат, она воскликнула: «Какая эвакуация, ребята? Ведь у нас сегодня пробег «Здоровье»!»

Представьте: до эвакуации остается полтора часа. В кафе нашем детском, в большом торговом центре, полно родителей с детьми, едят мороженое. Выходной день, все хорошо, все спокойно. С собачками люди прогуливались по городу. А когда мы подходили и объясняли народу — реакция была бурной

и недоверчивой: это не ваше дело, мол, что я хожу. Хочу — гуляю. И все. Люди так воспринимали.

Не знаю, верили нам, не верили. В магазинах много всяких продуктов, праздники на носу, люди закупают продукты, у каждого свои планы — тот на дачу едет, тот туда...

Помню, Саша Сергиенко, наш второй секретарь, возмущался: «Видел только что — ребенок сидит на песке, а папа его СИУР — старший инженер управления реактором. Ну как он, зная, что авария на атомной станции, мог позволить ребенку сидеть, ковыряться в песке? А улица граничит с этим леском». Он «Рыжий лес» имел в виду...

## ЭВАКУАЦИЯ

Через сорок пять лет после начала Великой Отечественной войны снова в нашей стране прозвучало страшное слово «эвакуация».

Помню Киев сорок первого, охваченный тревогой, смятение на вокзале — мы жили недалеко от станции. Кто-то уезжал, кто-то оставался, кто-то не верил, что немцы придут в Киев (мой отец в первый день войны сказал, что через две недели мы будем в Берлине), кто-то уже заготавливал продукты, готовясь к оккупации. Никто ничего толком не знал, отчего неуверенность только нарастала. А немецкие самолеты нагло летали над Киевом, и под плексигласовыми колпаками видны были головы стрелков-радиостов, победоносно осматривающих сверху древнюю столицу Руси, ее сверкающие золотом купола соборов. По городу ползли зловещие слухи об окружениях, о диверсантах, о парашютных десантах и танковых немецких прорывах, — а мы обреченно сидели дома, никуда не двигаясь, потому что отец уехал в прифронтовую полосу и ничего не было от него слышно. Отец — инженер-автомобилист — работал в управлении шоссейных дорог НКВД, он был членом партии, и мы могли лишь догадываться о том, что ждет под оккупацией семью «энкаведиста» и большевика. Но в один тревожный жаркий день июля 1941-го к нашему старому двухэтажному дому на Соломенке подъехала полуторка, из нее выскочил отец и дал нам полчаса на сборы. Мама металась по квартире, не зная, что брать с собой. Отец говорил, что это ненадолго, на месяц, максимум — на два, до осени, и поэтому теплых вещей мы не взяли, в суете забыв и самое необходимое... Потом в русскую стужу, в Саратове, мы вспоминали

этот оптимизм отца, воспитанный газетами, радиопередачами и кинофильмами: перед войной шел распрекрасный кинофильм «Если завтра война».

С той поры воспринимаю я эвакуацию — любых масштабов — как огромное несчастье, всегда неожиданное, всегда вызывающее шок и растерянность, независимо от того, плохо ли, хорошо ли она организована. Какой-то исторический ураган вырывает человека с корнями из родной почвы, и очень не просто бывает восстановить жизнь в ее привычных формах.

### А. Перковская:

«Впервые заговорили о возможности эвакуации в субботу вечером, часов в одиннадцать. А в час ночи нам уже дали задание — за два часа скомплектовать документы для вывозки. Меня оставили и сказали, чтобы готовила документы к сдаче. Это сильно ударило по нервам — очень напомнило войну.

И у нас, у всех ребят из горкома, до сих пор так и осталось это разграничение: до войны и после войны. Мы так и говорим: это было до войны. И знаем четко, что это было до двадцать шестого апреля, а это — после того. Если нужно что-то в памяти восстановить.

Я начала думать: а что нужно вывозить? Понятно, что знамена, печати, учетные карточки. А еще что? В инструкции просто нет слова «эвакуация». Ничего не предусмотрено на такой случай. А ведь у нас еще три комитета на правах райкома. А с их документацией что будет? Комитет комсомола строительства АЭС находится напротив четвертого блока в здании управления. А комитет атомной станции — немного дальше. Туда тоже нельзя было проехать.

Я вызвала зав сектором учета, статистика. Это было ночью. Они быстро пришли, и мы начали думать что делать?

Мы собрали всю документацию. Времени считать не было. Сложили в мешки и опечатали. В секторе работали Света, Маша, ребята им помогали. А мы помогали в горкоме партии. Там работала Правительственная комиссия, у них возникли определенные вопросы, в которых они не ориентировались, и нужен был местный человек. Кого-то вызвать, кому-то позвонить. Потом мы пошли в исполком, и мне выдали план 5-го микрорайона. Я должна была там проводить эвакуацию»

**Л. Ковалевская:**

«Ночью с субботы на воскресенье легли спать, вдруг звонок в дверь. Часа в три ночи. Соседская девочка прилетает. «Тетя Люба, буди всех, собирайтесь, эвакуация будет». Я включаю свет, слышу — люди в подъезде плачут, бегают, соседи встали. Мать оделась. Ее трясет. Я говорю: «Видишь, я радио включила — глухо. Если бы что-то было — говорили бы по радио». — «Нет, я подожду». Полчаса ждет — нет ничего, час — нет. «Мама, — говорю, — ложись. Ты видишь, ничего не будет». А там люди встали, слезы, кто-то ночью уехал в Чернигов, черниговский поезд в 4 часа утра, со станции Янов».

**А. Перковская:**

«В пять утра двадцать седьмого нас отпустили собрать вещи. Пришла я домой. Брат сидит в кресле — не спит. Я сказала брату, чтоб он хоть что-нибудь собрал. Ну, он собрал документы. Я же знала об эвакуации раньше и брату сказала. Поверьте — он взял документы с собой, сменную сорочку и куртку. И все.

И я то же самое. Уезжала вот с такой сумкой небольшой. Документы взяла, и все. А потом оказалось... Когда дозиметристы измерили нашу одежду, надо было ее сменить, — оказалось, что не во что переодеться. Меня одевали девочки в Иванковском райкоме. Вообще в спешке ничего не взяли с собой. Тем более — привыкли верить. Сказали нам — на три дня. Хотя прекрасно понимали, что это будет не на три дня, а дольше.

Я считаю; очень правильно, что именно так сказали. Иначе мы бы так быстро и четко эвакуацию не провели.

Когда утром я пришла домой, через полчаса начали соседи приходить. Успокоила их, как могла. Я не стала говорить, что не будет эвакуации. И не стала говорить, что будет. Сказала: «Соберитесь и ждите сообщений». Успела попить кофе и часов в 6 ушла, опять на работу. Там уже более конкретно прозвучало слово «эвакуация». С нами советовались относительно текста сообщения припятчанам. По памяти могу его примерно восстановить:

«Товарищи, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС объявляется эвакуация города. Иметь при себе документы, необходимые вещи и по возможности паек на три дня. Начало эвакуации в четырнадцать ноль-ноль».

Четыре раза передали.

**Л. Ковалевская:**

«Я маме говорю: «Раз эвакуация — значит, не на три дня. Такого не бывает». Детям все взяла тепленькое. Две сумки, продукты. А холодильники забиты, столько денег ахнули, пенсия матери, моя зарплата. Ведь шло Первое мая, Девятое мая. Я все выгрела — и в мусор, все продукты, холодильник отключила, все перекрыла, то, что сварила детям, — в сумки. Полсотни рублей у нас оставалось — взяла с собой. Маме взяла теплую шаль. Себе — куртку, брюки, и все.

Пока мама сидела и плакала, я сказала: «Подожди, ты меня не тронь, я соберу сначала все документы». И свои стихи забрала. Черновики, они по блокнотикам были, все собрала и сложила. У меня был «дипломат» со своим имуществом.

«А вот теперь, — говорю, — мне ничего не надо».

**А. Перковская:**

«Побежали мы в пятый микрорайон проводить эвакуацию. От горкома партии был Маринич Александр Федорович, от горкома комсомола — я.

Тут я хочу отметить одну девочку интересную. Работала у меня старшей вожатой Марина Березина, студентка биофака. Муж ее работал на четвертом блоке именно в эту смену. В субботу она не знала во-о-обще — где ее муж, что с ним. Его фамилия тоже Березин. И вот в воскресенье я ее встретила. Она бежит, я говорю: «Что, Марина, прояснилось как-то у тебя с мужем?» Она говорит: «Я уже знаю, что живой, но конкретно еще ничего не знаю»

И говорит: «Вам помогать нужно?» Жила она не в моем микрорайоне. Я ей рассказала, что нужно делать, и эта девочка проводила с нами всю основную эвакуацию, даже сама не уехала. Сказала: «Неля Романовна, если нужно помочь, я буду у себя дома и приду к вам в горком».

Потом, когда мы провели основную эвакуацию, пачали тех, кто укрылся и не хотел уезжать, находить и вывозить. Ну, Марина мне по телефону звонит и говорит: «Пришли за мной. Я могу уже уехать или не могу?» Вот какая девочка!»

**Ю. Добренко:**

«Я был ответственным за эвакуацию микрорайона. Координировал работу милиции, жэка и транспорта. Боялись чего? Вдруг пробка где-то возникнет или паника. Я вам скажу так: эвакуация прошла очень и очень организованно.

Люди спокойно вышли с небольшими сумками, как было объявлено по радио, собрались возле подъездов, начали подаваться автобусы быстренько к каждому подъезду, милиционер переписывает, люди заходят в автобус и уезжают. У меня в районе было примерно пятнадцать тысяч жителей, мы закончили эвакуацию за час пятнадцать минут. Какие были проблемы? Мы уговаривали, просили людей не брать детских колясок, но коляски несли, потому что маленький ребенок, и никто нас не стал слушать. Громоздких вещей никто не выносил. В среднем брали по две сумки на человека.

Молодежь тоже вела себя организованно.

Какая у меня еще была проблема? За три часа до эвакуации в моем микрорайоне умер человек. Старый человек, долго болел. Жила молодая семья, двое детей, этот дед жил с ними. А им надо эвакуироваться. Ну, решили вопрос — забрали его в морг. От медсанчасти оставались дежурные, они помогли, похоронили его».

#### **А. Перковская:**

«Мы вывозили свой, пятый, микрорайон последним. Столько времени люди на улице находились... Жарко очень. А уровень радиации повышается. Вот просишь: «Товарищи, заведите детей в подъезды». Послушали, завели. Я отошла, через два дома смотрю — снова дети на улице. Говорят мне: «В подъезде жарко. Попробуйте часами постоять в подъезде».

Эвакуация.

В то солнечное воскресенье двадцать седьмого апреля тысячи киевлян собирались выехать за город — кто на дачу, кто на рыбалку, кто проведать родственников или друзей. Но что-то, видимо, сломалось в налаженном транспортном хозяйстве города, потому что ряд маршрутов был отменен, а на иных курсировали один-два автобуса. На остановках сгрудились толпы, люди чертыхались, ругали нерадивых распорядителей из автопарков.

В Киеве в тот день еще очень немногие знали о беде, что стряслась в 148 километрах. Большинство киевлян не знали, что в субботу по тревоге были подняты автотранспортные предприятия и ночью в сторону Припяти двинулись колонны автобусов из Киева и Киевской области. Были это обычные городские или пригородные маршрутные автобусы, много желтых «Икарусов» с прицепом и «гармошкой».

Эвакуация.

Представьте себе колонну в тысячу автобусов с зажженны-

ми фарами, идущую по шоссе в два ряда и вывозящую из пораженной зоны многотысячное население Припяти — женщин, стариков, взрослых людей и новорожденных младенцев, «обычных» больных и тех, кто пострадал от облучения.

Представьте тех, кто покидал свой чистый, молодой, прекрасный город, которым гордился, в котором уже пустил корни, родил детей. Им было дано на сборы жестко ограниченное время, они оставляли свои дома (как выяснилось позже — навсегда) и уходили в чем были, по-летнему одетые, захватив лишь самое необходимое. Но оказалось, что как раз самое необходимое чаще всего и было забыто. Понимание того, что для человека самое необходимое, самое важное, пришло позже. И потом, когда появилась возможность вернуться в свои квартиры и забрать некоторые вещи, подвергаемые жесткому дозиметрическому контролю, люди, словно прозрев, бросались не к «престижным» коврам (ворс ковров «набрал» очень много радиации), не к хрусталу, а к тем вещам, что составляли духовную ценность: к фотографиям близких, любимым книгам, старым письмам, каким-то смешным, но памятным безделушкам — к тому, что составляет глубоко личный и очень хрупкий мир человека, живущего не только настоящим, но прошлым и будущим.

Все в один голос — и эвакуированные, и врачи, с которыми я вскоре после эвакуации встретился, — утверждали, что не было паники. Люди были молчаливы, сосредоточены, порою пребывали в шоке и заторможенности, еще не понимая, что произошло, — и оттого ощущая странную беззаботность. Я встречал таких. Почти не было слез, мелких стычек, никто не «качал» права. Только в глазах застыли боль и тревога.

Колонны эвакуированных двигались на запад, в села Полесского и Иванковского районов, прилежащих к землям района Чернобыльского. Сам Чернобыльский район был эвакуирован позднее — четвертого — пятого мая.

**Отец Леонид, священник села Красно-Чернобыльского района:**

«До аварии в нашем селе большинство населения, считайте, составляли старики. Молодежь в основном работала на атомной станции, имели квартиры в Припяти. Наше село по круговой от Чернобыля в 27 километрах, а если напрямую — совсем близко. На АЭС ездили черниговским дизелем: от нашего села ходил автобус, который подвозил людей до станции Зимовище.

В селе нашем примерно триста шестьдесят дворов. К нашему приходу также относились Машев, Усов, Зимовище, Кривая Гора, Староселье, Чапаевка. В приходе по обычным дням пятьдесят — семьдесят человек, в праздники было и по триста — четыреста людей, особенно если такие торжества, как храмовый праздник Михаила Архистратига или Пасха. Тогда к нам даже Белоруссия приходила.

Храм мы ремонтировали с 1980 до 1985 года. Сделали все, что положено в храме: новую живопись, иконы, украшения, и снаружи был покрыт храм, покрашен, забором огражден. Как пасхальная писанка<sup>1</sup> был наш храм очень красивый. Я здесь с 1979 года работаю — и до самой аварии.

Наша церковь по размеру больше черныбыльской. Деревянная, светлая, светло-голубая. Колокольня была, колокола. Правда, звонить в колокола нам запрещали. Посчитали, понимаете, что школа рядом с церковью...

Двадцать шестого апреля, в субботу, я ехал в свой приход. Сам я житель Чернобыля, родился там. И у меня был дом в Чернобыле. Все мои родственники жили в Чернобыле. И сейчас там на вахте тетя моя работает, сестра, зять. И вот в тот день меня очень поразило — так тихо в городе. Я сразу не понял — в чем дело. Когда уже пришли на переправу к речке Припять — там летом паром работал, а зимой по льду переправлялись, — я слышу, разговоры разные ходят. Говорят какие-то неполадки на АЭС. Когда мы переехали через Припять, едем на Красну, видим, возле Зимовищ ходят дозиметристы. Это было где-то в половине третьего. Дозиметристы мерили приборами фон в Зимовищах.

Приехал я в село, там все спокойно, без всякой паники. Но когда со смены приехали дети наших стариков, которые работали на АЭС, то пошли разговоры. Правда, никто не думал, что такая сильная авария. Думали, что там уже потушили... потому что когда-то там что-то небольшое было, так тогда все быстро закончили, без всякой паники.

Сажали огороды. Я отслужил службу в субботу и воскресенье. Нормальная служба, без всякого испуга, без страха. И вот я двадцать седьмого, в воскресенье, возвращаюсь домой, в Чернобыль. А в это время уже Припять эвакуировали... Жена моя в субботу узнала, что будто бы хотят эвакуировать, поехала в Припять и забрала детей — дочь с зятем и внучкой, они на атомной станции работали. Чтобы дети были при месте. Я приезжаю, она мне это рассказывает.

---

<sup>1</sup> Пасхальное яичко (укр.).

Ну, мое мнение такое: у нас сейчас наука большая — значит, все неполадки уладят. Правда, жена немного в панике, я успокаиваю ее... Она хочет детей забрать и в Киев поехать. Я говорю — никуда. Или потушат, или что-то сделают, или будет какой-то приказ. Не людские досужие разговоры, а приказ. В понедельник и вторник я был в Чернобыле, в Красно не ходил. Уже видел и дозиметристов, которые вокруг все проверяли, и тех, кто землю на вертолеты грузил. А в среду приехали за мной из Красна. Там умер человек, ему было лет сорок пять, но он давно болел. Уже военные поставили понтонный мост через Припять. Переезжаем. И что интересно? Люди послали за мной человека с мотоциклом. И сказали: если не приедет батюшка — значит, дело плохо.

Приезжаю. И село все возрадовалось. Я говорю: «Что такое с вами?» — «А мы загадали себе: если вы не приедете, батюшка, — значит, неважные дела». — «Ну, приехал, как видите». Отслужили мы в церкви, похоронили его. А затем начались предпасхальные богослужения — и все дни подряд я служил...

Первого мая был страстной четверг. Прихожане ходили в храм, молились. С первого же дня аварии, надо сказать, мы молились, чтобы Господь помог. Молились за благополучие, чтобы был народу спас. Потому что к кому верующие обращают в годину испытаний свои взгляды? К Спасителю.

Наше село близко было от АЭС, мы все видели, что делается на станции. Церковь стояла на возвышенности. На окраине жила одна наша прихожанка. Так из ее хаты было видно, как с вертолета мешки на станцию сбрасывают.

В пятницу, второго мая, я служил в два часа дня. Мои прихожане говорят: приехали из Чернобыля, из райкома партии. Будут что-то сообщать. Собрали сход посреди села, и представитель райкома сказал, чтобы к шести часам вечера люди собрались — будет эвакуация. И мы дожидались вечера. Я был среди людей, ходил по больным, причащал тех, кого надо было причастить. Там были старики и старухи, больные, которые годами лежали...

А представители райкома и местного совхоза говорили, что выезжаем на короткое время, чтобы брали с собой еду и белье на три дня...

Мы ожидали, но вечером никто не приехал. Только в два часа ночи приехали машины... забирать скот. Что тут началось! Записывали данные — кто сколько сдает скота, его вес — и брали на машины, отправляли по назначению. И вот когда сдали скот, настало утро — и уже люди стали собираться.

Мне старики, которым лет по семьдесят пять — восемьдесят, говорят: «Остаемся, батюшка, здесь. Не поедem никуда. Все равно помирать». Я говорю: «Дорогие, вы знаете, ваш день смерти еще не пришел. Зачем же оставаться? Раз нас везут отсюда — значит, надо сделать то, что положено. Ведь мы вскоре назад вернемся». Мы рассчитывали на то, что, может, на месяц, не больше мы едем... Вещей особых никто с собой не брал. Я лично свои вещи оставил — ризы, рясу — все в Красно оставил. И из церкви ничего не брали — ни икон не забрали, ничего из убранства. Мы закрыли церковь, ключи староста взял, я говорю: «Сдашь митрополиту». Ничего не опечатали, просто закрыли. И ключи от церкви сейчас у митрополита. Но потом уже ничего мы не смогли забрать: село попало в мертвую зону.

И вот вы знаете, когда с людьми по душам поговоришь, они соглашаются. Говорю: «У вас же есть дети, внуки, невестки... Надо вместе ехать, зачем же расставаться?» Где-то в восемь часов утра приезжают автобусы, и людей постепенно забирают и вывозят.

Из Красно когда выезжали — каждому жалко свой дом, люди плакали. Крестились, каждый осеял себя крестным знаменем для того, чтобы вернуться. Даже было такое: подошел ко мне один руководитель из Зимовиц и говорит: «Батюшка, если когда вернемся сюда, то придем в церковь и в честь этого по сто граммов с тобой выпьем». Говорю: «Я непьющий». — «Ну ничего. Ты батюшка, а мы коммунисты, когда придем сюда и бояться ничего не будем, разопьем по сто граммов за такую радость. Только бы вернуться...»

Нас вывозили через Чернобыль.

Я приехал в Чернобыль, зашел домой, чтобы забрать свои документы. А мой сын работал в это время в Чернобыле, на почте. Он тоже ходил на помощь атомной. Они грузили песок в мешки. Он говорит: «Папа, завтра наша почта будет выезжать, ты сегодня не уезжай. Вместе выедем». Я остался с ним. Жена к тому времени уже выехала с детьми... Было это с субботы на воскресенье, с третьего на четвертое мая. Как раз на Пасху. Вечером я пошел в чернобыльскую церковь, на всенощную. Там отец Николай, настоятель этой церкви, службу правил. У меня не было ризы — я все в Красно оставил. Был в штатском платье. Народу на богослужении было мало — человек шестьдесят. А там, бывало, до тысячи людей на праздники собиралось. Уже все знали, что началась эвакуация, многие уже выехали... На этой службе отец Николай го-

ворит: «Помолимся Богу, чтобы беда эта ушла с земли нашей...»

Куличи святили, а после полуночи пели «Христос воскрес» и «Аллилуйя». В три часа ночи служба закончилась.

Я пошел домой, а в воскресенье в девять утра мы выехали из Чернобыля. Жена была с детьми и внуками у своей сестры в Борисполе. А мы с сыном поехали, как и все, в Бородянку. Там в селе Мирча мне приход выделили. Там есть церковь. Община и сельсовет нашли домик, определили у хозяйки. Люди приняли хорошо, сочувственно.

После эвакуации я проходил комиссию, кровь сдавал на анализ. Одежду мою проверяли, волосы. Сказали, что высокая радиация: одежду надо было сдать в обработку.

В Мирче все время приходили ко мне люди, просили молебен отслужить, чтобы беда эта закончилась как можно быстрее. Чтобы Всевышний надоумил человека — как с несчастьем этим справиться...»

Во время рассказа отца Леонида всплыло в памяти воспоминание о Пасхе — празднике весны и возрождения жизни, который встречали мы когда-то с женой и дочерью в живописнейшем местечке Седнев на Черниговщине: небольшая чистая речка Снов полнилась водой, сады цвели, все ликовало, все было торжественно зелено — и заливные луга, и леса, и склоны холмов. Зелено и — тогда еще — весело.

Теперь же, в 1986-м, каким-то зловещим и пророческим символом казалось совпадение дат, разделенных почти двумя тысячелетиями. День, когда истощенный, замученный пытками и распятый молодой человек воскресал в сознании людей, любящих его, утверждая надежду на бессмертие, неуничтожимость бытия. И день смятения, недоумения и ужаса, когда сама идея жизни была поправа смертоносным излучением, что на беду себе создал человеческий разум.

**Из письма Акима Михайловича Старохатнего:**

«Я бывший житель д. Вельямово Брагинского района Гомельской области. Наша деревушка входила в состав колхоза «Ленинский шлях». Это в 18-ти километрах от Чернобыльской АЭС, вблизи с. Посудово, что на железной дороге Чернигов — Овруч

Наш колхоз и соседний совхоз «Посудово» расположены в самом южном уголке Белоруссии, в междуречье Днепра и Припяти.

Деревни Киевской области (левобережья р. Припяти) были эвакуированы 3-го мая, а наши, белорусские, — 4-го мая, на Пасху.

Я очевидец страшной трагедии — эвакуации деревень, тысячи сельских жителей, согнанных с родимых мест по воле неуправляемого атома. Попытаюсь кратко написать Вам об этом. Дети мои, дочь с мужем и двумя детьми и сын с женой жили в г. Припяти. Я с женой работали в 1951 г. сельскими учителями, всю жизнь жили в своей деревушке Вильямово. Как и все сельские жители, мы занимались хозяйством: имели две коровы, телят, свиней, пчел, и т. д. Жили в своем собственном доме, построенном в 1961—1963 гг. Со мной жила и мать-старушка (87 лет), которой пришлось пережить еще одну войну, так она называла чернобыльскую аварию.

26-го апреля я планировал сажать картофель на своем приусадебном участке. Наказал детям, чтобы они приехали из Припяти помогать мне сделать эту основную весеннюю крестьянскую работу. Сын приехал 25-го вечером дизелем. Утром 26-го, рано утром, мы еще ничего не знали об аварии. Но стали летать военные вертолеты и самолет по прямой линии туда и обратно. Это меня насторожило, но я еще предполагал, что начались военные учения.

К 11 часам утра с поезда приходят дочь и зять с внуками. Внушек Сережа 4-х лет и внучка Олюшка 6 лет. С ними приехали и дочерины соседи по квартире. Вот они-то и рассказали нам об аварии на 4 блоке.

Утром в г. Припяти как бы ничего не случилось: дети шли в школу, рядом (в 1 км от блока) кипел субботний базар. Дизель шел со ст. Янов на Чернигов мимо (в 500—7000 м) АЭС. Окна в вагонах были раскрыты, и все смотрели на 4-й блок, который дымил от пара и газов. Какая беспечность! И вина здесь городского начальства, которое, боясь паники, не сообщало людям об аварии.

Мы позавтракали, не придавая никакого значения случившемуся, хотя я очень волновался, зная по ГО, что все это значит, но волнения своему никому не показывал. Внуков решил не выпускать из дому, но разве их удержишь в хате в весеннюю пору! Да и мои домашние женщины стали меня уговаривать, мол, не война, бомбы не падают, снаряды не рвутся. Чего, мол, бояться, пусть гуляют дети на улице.

К счастью, ветер дул на северо-восток, и это меня немного успокаивало. Ветер от блока на нашу деревню не попадал, а шел мимо, на д. Крюки, Кулажин, Степанов, Радин, и т. д.

Как и было запланировано, я стал сажать картошку. Коней

дали на двоих. Сначала посадили соседку, а после 15 час. — мне. Зять с сыном собрались ехать в Припять на вечернем дизеле — узнать, что там делается, но я их отговорил: мол, переночуем, и обстановка прояснится. В воскресенье 27 апреля ко мне приехал мой друг — учитель, который жил в Припяти. Он сообщил, что город эвакуирован. Зять с сыном решили все же съездить на вечернем дизеле в Припять. Сын переживал за судьбу женщин, да и мы все волновались: снохе пришло время рожать. Поехали они, а обратно вернулись к ночи. Стали рассказывать, что едва добрались до своих квартир. Оля (жена сына) написала записку, в которой сообщала, что ее эвакуировали в Полесское. Володя (зять мой) забрал с собой альбомы фотографий, обручальные кольца и деньги, которые оставались на квартире, а форточки в окнах не позакрывал. Мы потом его журили.

Назавтра сын мой берет мой мотоцикл и едет в Полесское искать жену (это около 100 км от нашей местности). Ехал по дороге Зимовице — Чернобыль. Зимовице на левом берегу Припяти, прямо напротив АЭС. Наблюдал, как над блоком кружились вертолеты, сбрасывая в жерло этого вулкана песок со свинцом и доломитовой мукой. Жену он с трудом разыскал в Полесском, она еще не родила.

Утром 29-го мы с женой пошли в школу на работу (в 3-х километрах от нашей деревни). В школу пришло всего 10 детей. Дети за ночь были вывезены родителями в ближайшие города к родственникам. Стал звонить директор в районо, что делать? — в районо ответили: не раздувайте паники, идите по квартирам, собирайте детей и продолжайте работать, иначе поплатитесь должностью. Но где ты этих детей соберешь? Родители, узнав, что местное начальство своих детей вывезло, тоже увезли детей кто куда.

Дизеля не стали ходить до ст. Янов. Это очень обеспокоило соседей дочери, которые жили у нас. А у меня стала болеть душа за внуков и младшенькую дочь, кончавшую 8-й класс. Что делать? Куда уезжать? Хорошо, что на Брагин еще шел рейсовый местный автобус. Посадил я соседей на этот автобус, и они уехали куда-то на север.

А внуков, дочь посадил в мотоцикл с коляской и уехал на ст. Иолча, откуда еще ходили дизеля до Чернигова. Зять с дочерью добирались до Иолчи на другом мотоцикле (их у меня было аж три).

Посадил я их на дизель, это было уже 17 час. 29-го апреля, с наказом добираться до Гродно, где живет мой старший сын Александр.

На душе поспокойнело. Беспокоились только за судьбу невестки Ольги, которая должна рожать. Она родила в Полесском, и 2-го мая мы, к счастью, получили телеграмму, что родился сын (мой пятый внук).

Назвали его Антоном-Атомником.

Как теперь добираться в это Полесское? Снова выручает мотоцикл. 3-го мая, в 17 час., я выезжаю с сыном в Полесское. Едем до Чернобыля. В этот день эвакуировали все деревни Чернобыльского района и сам Чернобыль. Как только мы проехали до Полесского по этим фронтовым дорогам, до отказа забитым транспортом! Что творилось в деревнях — и теперь страшно вспоминать...

В общем, добрались до Полесского, до роддома. Оля с 4-го этажа показала, сказала, что у нее все нормально, мальчик хорошо сосет грудь, молоко есть.

С души у меня камень свалился. Наказал сыну — живи в Полесском, покуда не выпишут ее. А сам стал добираться домой. Я уже знал, что наши деревни наверняка тоже будут эвакуировать и добраться мне домой нужно — кровь из носу. Но назад к Чернобылю уже без пропуска не пускали. Снова выручает мотоцикл. Хорошо, что он был без коляски. Вернули меня назад в Полесское, но я отъехал от поста метров 500, свернул на полевою дорожку, которая шла параллельно трассе, объехал этот злополучный пост и добрался до Чернобыля. Очень боялся, что меня не пропустят на понтоне на левый берег Припяти. Но на понтоне стоял военный патруль, который беспрепятственно меня пропустил. Я к темну был дома.

Но ночью началась эвакуация. Утро и день 4-го мая 1986 года запомнятся на всю жизнь. Что было пережито в этот день — это целая книга... Включите в свою повесть эвакуацию одной из деревень (своей украинской или нашей белорусской). Тогда будет полнейшая картина этой катастрофы. Ибо эвакуация деревенских жителей, можно смело сказать, еще трагичнее, чем эвакуация г. Припяти и Чернобыля. Городскому жителю легче было покинуть свою городскую квартиру. Сельского жителя вырывали с корнями, лишали всего того, чем он жил, что было нажито тяжелым трудом. Здесь и сад, выращенный собственными руками, и дом, построенный с большим трудом. И отданная неизвестно кому кормилица-корова, и брошенные собаки и кошки. Жертвами чернобыльской катастрофы стали тысячи крестьянских семей. Хочется, чтобы в своей повести Вы больше уделили внимания переживаниям простых крестьян, а не начальников. Этим самым вы покажете душу народа, что особенно важно.

Простите, не посчитайте мое желание за навязчивость с целью каких-то выгод. Нет! Я просто понимаю важность Вашей темы...

С уважением — Старохатний А. М., Гомельская обл., д. Ломовичи»

### Эвакуация.

Массовый исход тысяч людей с насиженных мест поставил множество сложнейших проблем — организационных, бытовых, нравственных. Все было непросто, и одной розовой краской изображать эти события нельзя. Конечно, газеты тех дней, расписывая радушие, с которым встретили эвакуированных местные жители, не ввали. Это было, факт. Украинское Полесье, жители которого именуется полещуками, проявило свои вековые черты — мягкость и доброту, радушие и сострадание, желание помочь человеку, оказавшемуся в беде. Но это лишь половина правды. Ибо каждому должно быть понятно, какая кутерьма и суматоха воцарились в Полесском и Иванковском районах в начале мая. Родители искали детей, жены мужей, работавших в день эвакуации на атомной станции, со всех концов Союза в не существующее уже отделение почты города Припять летели тревожные телеграммы от родных и близких...

Помню, как в те дни я зашел в иванковский Дом культуры и снова больно кольнуло сердце, снова припомнились дни войны: кто-то носил матрацы и кровати, в комнатах лежали горы пижам, люди толпились у доски объявлений, занимали очередь в информационный центр, расспрашивали друг друга о знакомых, жадно прислушивались к объявлениям местного радио. Информация была на вес золота. Сорвалась с якорей такая ухоженная, спокойная, казавшаяся незыблемой мирная жизнь, понесло ее потоком в неведомом направлении... То же происходило и в Полесском. Стены райкома партии были превращены в своеобразное справочное бюро: здесь можно было найти адреса организаций, эвакуированных из Припяти, адреса знакомых, узнать последние новости.

### Л. Ковалевская:

«Наш автобус не дошел до Полесского. Разместили нас в Максимовичах. А потом, когда приехали в Максимовичи, дозиметристы измерили — там оказалась повышенная радиация. Давай срочно вывозить оттуда. Прощел клич такой — сначала беременных и детей. Представь себе состояние матери, которая пришла к дозиметристу, а он у ре-

бенка меряет башмачки: «Грязные» Штанишки «грязные», волосы — «грязные»... Я когда отправила свою маму с детьми в Сибирь, мне стало легче.

А восьмого мая я приехала в Киев, и Сережа Киселев, корреспондент «Литературной газеты» по Украине, пригласил меня к себе ночевать; я приняла ванну, включила воду и выплакалась. И за столом плакала. Мне так обидно было за людей, за неправду. Газеты писали неправду. Может быть, впервые я вот так столкнулась с этим... Знать реальную суть вещей и читать такие бравурные статьи — это потрясение страшное, это душу выворачивало...»

#### А. Перковская:

«После эвакуации я еще оставалась в Припяти. Ночью, когда все уже выехали, вышла из горкома город затемнен. Он вообще был просто черный, понимаете. Никакого света нигде не было, окна не светились.. На каждом шагу военизированная милиция стоит, проверяет документы. Я как вышла из горкома, достала удостоверение, так и дошла до своего подъезда. Пришла в подъезде тоже света нет, зашла в темную ночь на четвертый этаж. У меня квартира уютная — но квартира уже как не моя.

В понедельник, двадцать восьмого, выехали мы в Варовичи — проводить партсобрание. Мы там целую ночь провели. Только приехала, начали переписывать по сельсоветам людей. Неясностей масса. Собрали наконец коммунистов, а потом комсомольцев. А на следующий день я поехала в Полесское, потом меня забрали в Иванков там организовали штаб, там были наши люди: от горкома партии Трианова, Антропов, Горбатенко, от исполкома Эсаулов, от горкома комсомола — я.

Там работала с восьми утра до двенадцати ночи и в штабе, и по селам ездила. Толпы людей, одни ищут своих детей, другие внуков...

Дело в том, что не было никакой схемы вывоза, и мы не знали — в каких селах какие размещены припятские дома или микрорайоны. Я до сих пор не пойму — по какой схеме вывозили людей, кто куда выезжал? У нас в Полесском был списочек детей. Вот я звоню в сельсовет и спрашиваю: «У вас нет таких-то и таких-то родителей? Их дети ищут». А они мне могут сказать: «У нас есть такие-то и такие-то дети, которые без родителей. Мы вообще не знаем, откуда эти дети». Сидишь и звонишь по всем сельсоветам. Иногда выяснялось, что в таком-то селе бабушка добрая сидела с чужим ребенком и никому ничего не говорила...

Надо было детей вывозить в пионерские лагеря, потом женщин с дошкольниками и беременных женщин. Надо было определить их количество, куда их вывозить. Мы проводили комсомольские собрания, назначали комсorghов, чтобы хоть реально был человек, на которого можно положиться, с кем можно связь держать.

Разное было в те дни. Вот мне запомнился один человек. Хочется, чтобы прочитал эти мои слова тот человек, чтобы совесть в нем заговорила. Это было первого мая. Пришла я утром в информационный центр. Еще никого из наших не было. Стоит мужчина лет сорока восьми и говорит: «Ах, так это вы от Припятского горкома партии?» — «Да, это я». — «Дайте мне списки погибших». Я говорю: «Погибло два человека. Шашенок и Ходемчук». — «Неправда». Я говорю: «На каком основании вы со мной так разговариваете?» А он кричит: «Конечно, вы тут красивая, цветущая (а я стою в чужой одежде), вы такая спокойная, потому что вывезли все из Припяти. Вы думаете, мы не знаем? Мы знаем все!»

Мне в этот момент захотелось одного: посадить этого человека в машину, завезти в мою квартиру и там с ним поговорить...

Его сын работал на атомной станции. Поэтому я говорю: «Судя по всему, он находится в пионерлагере «Сказочный»». А он опять кричит: «Как вы со мной разговариваете, я шахтер, я заслуженный человек». Я его спрашиваю: «Откуда вы приехали?» Он отвечает: «Из Одессы».

Дали мы ему машину, он поехал в «Сказочный», нашел там сына, как я ему и говорила, потом благодарности огромные, но это все уже не воспринималось. Меня его поведение так выбило из колеи, что я пару часов не могла прийти в себя.

Понятно, что много было лишений и трудностей, но я бы сказала, что наши, припятские, в основном вели себя достойно».

### Эвакуация...

Это правда, что проведена она была организованно и четко. Это правда, что мужество и стойкость проявили большинство эвакуируемых. Все это так. Но разве только этим ограничиваются уроки эвакуации? Неужели снова начнем себя тешить и успокаивать полуправдой, закрывая глаза на горькие истины, открывшиеся в те дни? Разве организованностью и дисциплиной удастся закрыть, заглушить горькие вопросы тысяч людей? Вопросы, обращенные к тем, кто обязан был

руководствоваться не холодным равнодушным расчетом трусливого чиновника, а горячим сердцем гражданина, патриота, коммуниста, ответственного за жизнь и здоровье своего народа, за его будущее — детей.

После публикации одной из моих черновыльских статей в «Литературной газете» редакция переслала мне письмо. Вот оно:

«Пишут вам рабочие из г. Припяти (сейчас живем в Киеве). Письмо это — не жалоба, а только отдельные факты, из которых просим сделать выводы. Приведем примеры преступной безответственности должностных лиц г. Припяти и Киева. В первую очередь безответственность была проявлена по отношению ко всем детям тридцатикилометровой зоны, когда целые сутки до эвакуации ничего не объявляли, не запрещали детям бегать и играть на улице. Мы, зная уровень радиации по роду своей работы, позвонили в штаб гражданской обороны города и спросили: «Почему нет указаний о поведении детей на улице, о необходимости пребывания их в помещении, и т. д.?»

Нам ответили: «Это не ваше дело... Решения принимать будет Москва...» И только потом (7 мая 1986 г.) все узнали, что решение вывезти, отправить в Крым детей, своих внуков и их бабушек, Высокое Руководство приняло немедленно, и «избранные» дети были отправлены в крымские санатории 1 мая.

Другой пример безответственности, когда в трудный момент необходимо было срочно использовать имущество гражданской обороны, приборы по контролю. Все необходимое имущество оказалось непригодно к использованию: неисправно или неподготовлено. Как это расценить? Почему руководители, занимая большие должности и несколько лет подряд получая зарплату (незаработанную), не знали истинного положения дел? Почему не контролировали, а довольствовались бумажкам, отчетами о «полном благополучии»?

Просим проверить все Госкомиссией и принять необходимые меры, особенно по тем большим вопросам, где вина в непорядочности и в должностной непригодности «больших руководителей».

Наш адрес: Киев. Главпочтамт, до востребования (письмо написано в июне 1986 г., когда у эвакуированных припятчан еще не было постоянных адресов.— Ю. Ш.).

Подписи: Никульников С. В., Колесник Д. В., Павленко А. М., Радчук Н. Н.».

Прочитую еще одно письмо — из Белоруссии.

«Жаль только, что Вы ничего не пишете о Белоруссии, о нашем Брагинском районе. Ведь до 28 апреля 1986 года, когда по телевидению передали сообщение Совета Министров СССР об аварии, мы были в полнейшей панике.

Вся гражданская оборона, о которой так красиво отчитывались, оказалась фикцией. Ни в райкомах, ни в райисполкомах не могли дать никаких рекомендаций. Рекомендации Гомельского облисполкома были переданы по радио только 8 мая, но и это были только рекомендации. Они были выдержаны в оптимистическом тоне: прямой угрозы здоровью и жизни нет.

Разве простительно, что в Киевской области учебный год для учащихся 1—7-х классов продолжался до 15 мая, а в старших классах — как и обычно! В нашей 30-километровой зоне занятия продолжались до 7 мая и дети днями гуляли на улице. А вот дети, например, парторга могли уехать «из зоны» намного раньше.

Обидно, что даже такая авторитетная газета, как «Комсомольская правда», 18 мая поспешила сообщить, что все жители эвакуированы из 30-километровой зоны. А между прочим, многие деревни оставались в «зоне» до конца сентября.

Но самое возмутительное, когда после дезактивации деревни Савичи проведенный в центре деревни митинг был разрекламирован в республиканской газете «Звезда» от 3 июня как эвакуация в родную деревню. Правда, там не упоминалось само географическое название Савичи, но по помещенным фотографиям мы сразу узнали самих себя. Кому нужны такие безличные материалы? Тем более что для нас они очень оскорбительны.

Можете сослаться на меня, но меня оставьте в покое: у меня сейчас больное сердце. Тем более что за критику мне уже не раз доставалось.

Хмеленок Николай Павлович, д. Недойка Б.-Кошелевского района Гомельской области».

Авторы писем затронули, наряду с другими, один из самых больных вопросов всей чернобыльской эпопеи: своевременность и качество мероприятий по защите людей от последствий аварии. Вопрос этот не перестает волновать многие тысячи людей, спустя почти год после аварии он звучал лишь в доверительных разговорах в узком кругу, в семье, но почему-то стыдливо отсутствовал в открытых выступлениях руководителей городского, областного, республиканского уровней, да и сегодня отсутствует. Мне думается, что интересы гласности требуют принципиального и открытого обсуждения этой проблемы. Настало время снять с нее покров таинственности.

Если авторы писем и те, кто согласен с ними (а таких — десятки тысяч), в чем-то неправы, если все было сделано идеально, то надо это убедительно доказать и разъяснить. Боюсь, однако, что сделать это трудно, если не невозможно.

Я не беру на себя роль судьи или обвинителя — теперь, после аварии, легко махать кулаками. Не хочу вставать в позу всеведущего прокурора. Но пытаюсь все-таки понять — что произошло? Многие припятчане никогда не забудут совещания, проведенного утром двадцать шестого апреля в Припяти вторым секретарем Киевского обкома партии В. Маломужем, который дал указание делать все для того, чтобы продолжалась обычная жизнь города, словно ничего не произошло: школьники должны учиться, магазины работать, молодежные свадьбы, намеченные на вечер, должны состояться. На все недоуменные вопросы встревоженных людей был дан ответ: так надо.

Кому — «надо»? Во имя чего — «надо»? Давайте спокойно обсудим. От кого «надо» было скрывать несчастье? Какими правовыми или этическими соображениями руководствовались те, кто принимал это более чем сомнительное решение? Знали ли они о подлинных размерах катастрофы? Если знали, то как могли отдавать подобное распоряжение? А если не знали — то почему поспешили взять на себя такую серьезную ответственность? Неужели утром двадцать шестого апреля еще неизвестны были уровни радиации, резко возростающие в результате выброса продуктов деления и топлива из АЭС?

Из информации, представленной Советским Союзом в МАГАТЭ:

«С начала аварии на IV блоке и во время последовавшего за этим пожара ветер сносил радиоактивные продукты мимо г. Припять. В последующем, когда высота подъема выбрасываемых продуктов из аварийного реактора существенно снизилась, из-за флуктуации направления ветра в приземном слое радиоактивный факел в некоторые интервалы времени захватывал территорию города, постепенно загрязняя его. До 21.00. 26.04.86 г. на отдельных улицах города мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, измеренная на высоте 1 м от поверхности земли, находилась в пределах 14—140 миллирентген/час<sup>1</sup>.

В последующем радиационная обстановка в городе стала

<sup>1</sup> Что в 700—7000 раз превышает естественный фон (авт.).

ухудшаться. 27.04.86 г. к 7.00 в районе, ближе всего находящемся к АЭС (ул. Курчатова), мощность экспозиционной дозы гамма-излучения достигла 180—600 миллирентген/час, а на других улицах 180—300 миллирентген/час.

Для подавляющего большинства населения г. Припять в качестве вероятных уровней облучения можно принять значения 1,5—5,0 рад по гамма-измерению и 10—20 рад по бета-излучению на кожу» («Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия». Часть II. Приложение 7, 1986, с. 52)

Я вспоминаю женщину, жительницу Припяти, которую довелось увидеть в одной из киевских больниц в майские дни. В роковую субботу, как и тысячи других горожан, работала она на приусадебном участке вблизи «Рыжего леса» — о нем я уже рассказывал. У нее были диагностированы лучевые ожоги на ногах. Кто объяснит ей — во имя чего перенесла она эти страдания?

А школьники, которые, ничего не ведая, резвились в субботу на переменах? Неужели нельзя было уберечь их, запретить находиться на улице? Разве кто-нибудь осудил бы руководителей за такую «перестраховку», даже если бы она была излишней. Но эти меры не были излишни, они были крайне необходимы. По иронии судьбы за три дня до аварии в школах Припяти проводились учения по гражданской обороне. Детей учили, как надо пользоваться средствами индивидуальной защиты ватно-марлевыми масками, противогазами, проводить дезактивацию. В день аварии никакие — даже самые простейшие меры не были приняты.

Следует назвать вещи своими именами: гражданская оборона города и республики показала свою полную неподготовленность к событиям. Отсутствовали средства индивидуальной защиты, не было дозиметров. И это в городе атомщиков! Из-за обстановки секретности, воцарившейся в Припяти сразу после аварии, дело дошло до того, что даже ответственные работники горисполкома и горкома комсомола не знали истинных уровней радиации в течение двух суток. Довольствовались слухами, ползшими по городу, неясными намеками знакомых, многозначительными взглядами дозиметристов.. А ведь активу города приходилось вести работу в тех местах, где уровень радиации был уже недопустимо высок. Удивительно ли, что в такой обстановке полной «заглушки» информации многие, поддавшись слухам, бросились уходить

через «Рыжий лес». Свидетели рассказывают, как по этой дороге, уже «светившей» в полную силу радиации, шли женщины с детскими колясками...

Может, учитывая необходимость и неожиданность ситуации, иначе нельзя было поступить? Нет. Специалисты говорят, что можно и надо было поступить иначе: стоило только объявить в городе по местному радио о возможной опасности, мобилизовать актив города на проведение ограничительных мероприятий, не выпускать на улицы тех, кто не был занят на работах по ликвидации аварии, закрыть окна, назначить немедленную йодную профилактику населения. Почему же не было это сделано?

Видимо, потому, что доктрина всеобщего благополучия и обязательных и всенепременных побед, радостей и успехов, ввевшаяся за последние десятилетия в плоть и кровь ряда руководителей, сыграла здесь роковую роль, приглушила у них и голос совести, и веление профессионального, партийного, гражданского долга: спасти людей, делать все, что только в человеческих силах, чтобы предотвратить беду.

Неприглядна в этой ситуации роль бывшего директора АЭС Брюханова, который прежде других и лучше других понимал, ЧТО в действительности произошло на станции и вокруг нее. Степень его вины установили органы правосудия. Но нельзя на одного Брюханова сваливать грехи других должностных лиц.

Есть ведь и правосудие моральное: как могло случиться, что припятские врачи, руководители медсанчасти В. Леоненко и В. Печерица, одними из первых узнавшие о крайне неблагоприятной радиационной ситуации (ведь к утру в больницу поступили уже десятки людей с тяжелой формой лучевой болезни), не начали бить во все колокола, кричать с трибуны совещания утром в субботу о надвигающейся беде? Неужели ложно понятые соображения субординации, безоговорочного и бездумного выполнения «указаний свыше», следование несовершенным и жалким служебным инструкциям заглушили в их душах верность клятве Гиппократа — клятве, которая для врача является высшим моральным законом? Впрочем, сказанное относится не только к этим, в общем-то, рядовым врачам, а и ко многим медикам повыше — упомянем хотя бы бывшего заместителя министра здравоохранения СССР Е. Воробьева.

Как бы там ни было, но сегодня ясно, что механизм принятия ответственных решений, связанных с защитой здоровья людей, не выдержал серьезной проверки. Он громоздок, мно-

гоступенчат, излишне централизован, медлителен, бюрократичен и неэффективен при стремительно развивающихся событиях. Бесчисленные согласования и увязки привели к тому, что почти сутки понадобились, чтобы принять само собою разумеющееся решение об эвакуации Припяти.

Эвакуация Чернобыля и сел района была оттянута на еще более долгий срок — восемь дней. До второго мая ни один из самых высоких руководителей республики — ни первый секретарь ЦК Компартии Украины В. В. Щербицкий, ни Председатель Совета Министров УССР А. П. Ляшко не побывали на месте аварии.

Почему же люди, облеченные большой властью, большими привилегиями, но еще большей моральной ответственностью, привыкшие во дни торжеств и юбилеев быть на виду, почему же они не разделили со своим народом его несчастье, почему такими непреодолимыми оказались для них те немногие километры, что отделяют Киев от Чернобыля? Откуда такая нравственная черствость по отношению к своим землякам?

Много позже Чернобыля произошло несчастье на одной из шахт Донбасса. И руководитель республиканского уровня, приехавший туда А. И. Ляшко, выступая по ЦТ, не нашел в себе простых, человеческих, сочувственных слов о большом горе, а сообщил, что шахта работает в «нормальном трудовом ритме»... Что с нами произошло? И когда же мы вновь станем людьми?

Как бы там ни было, но в Москве быстрее, чем в столице Украины, осознали, что в Чернобыле происходит что-то очень тревожное и из ряда вон выходящее, и предприняли решительные, столь необходимые действия.

Только посещение второго мая района Чернобыля Е. К. Лигачевым и Н. И. Рыжковым сыграло решающую роль в развертывании дополнительных мероприятий по ограничению и преодолению размеров аварии.

Мы сегодня много говорим о новом мышлении. Им должны проникнуться не только избранные, творящие международную политику, но и те, кто находится в гуще повседневной народной жизни — и власть предрержащие всех уровней, и рядовые граждане. Воспитывать это новое мышление следует со школьной скамьи. И в основу его должны быть положены как глубокие специальные познания, умение быстро оценивать обстановку и оперативно реагировать на ее изменения, так и твердые нравственные начала, умение отстаивать свои взгляды, не боясь гнева «вышестоящих».

Как же «вышестоящие» отреагировали на эти мои слова?

Едва я начал печатать свой «Чернобыль» в журнале «Юность», из Киева поспешило опровержение. Во избежание возможных обвинений в искажении смысла сего послания привожу его полностью:

«Само по себе обращение столь популярного, особенно среди молодежи, издания, как журнал «Юность», к случившемуся на Чернобыльской атомной станции, желание правдиво, на основе фактов рассказать читателям о происшедшем можно только приветствовать.

Такой подход к освещению аварии и работ по ее ликвидации продемонстрировали многие советские, да и зарубежные журналисты, литераторы, кинопублицисты, побывавшие на станции и в прилегающих к ней районах. Достоверностью, глубоким пониманием всей сложности решаемых в тот период проблем, высокой гражданственностью отличались, к примеру, корреспонденции М. Одица, О. Игнатьева, В. Губарева в «Правде», Ж. Ткаченко в «Социалистической индустрии», С. Прокопчука в «Труде», многих других журналистов. Обобщив собранные материалы, серьезную, действительно документальную книгу «Репортаж из Чернобыля» выпустили известницы А. Иллеш и А. Пральников.

Не знаю, чрезмерное ли тщеславие, стремление к сомнительной популярности или что-либо другое не позволили Ю. Щербаку, судя по опубликованным главам повести «Чернобыль», удержаться на таком же высоком уровне правдивости, честности и ответственности. Видимо, все же жажда доказать всем, что он дорос уже «до понимания... очень важных истин», вынудила этого безусловно способного публициста ступить на путь сенсационности и предложить читателю и впрямь «своеобразный монтаж документов и фактов»

Как известно, еще В. И. Ленин предостерегал от легковесного отношения к подбору фактов. «В области явлений общественных,— писал он, нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактов, игра в примеры...» Произвольный подбор фактов, к тому же зачастую непроверенных, приводит к тому, что «вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится «субъективная» стряпня для оправдания, может быть, грязного дела». Об этом, очевидно, Ю. Щербак забывает.

Своеобразие его «монтажа» заключается, конечно, не в самих свидетельствах очевидцев. Каждый из них, и это вполне естественно, откровенно рассказывал о постигших его бедах,

своих проблемах, делился своим восприятием происшедшего. Своеобразие состоит в ряде домыслов, которые делает сам автор, противопоставляя действия союзных и республиканских органов и обвиняя последние в бюрократизме, бездушии, нравственной черствости.

Если бы автор, прежде чем делать такие далеко идущие выводы, проявил хотя бы малейший интерес к тому, чем без громких фраз и показухи занималось республиканское и местное руководство, он бы без труда мог убедиться в абсолютной беспочвенности своих заявлений.

О деятельности республиканских и местных партийных, советских и хозяйственных органов в те первые, тревожные дни после аварии общественности известно достаточно хорошо. Об этом сообщалось на пресс-конференциях для советских и иностранных журналистов, рассказывалось в газетных и телевизионных репортажах. Поэтому позволю себе лишь вкратце напомнить некоторые данные о работе, которая проводилась правительством республики.

Сразу после звонка из Чернобыля ночью 26 апреля, когда еще не были даже приблизительно известны ни масштабы, ни характер случившегося, на станцию выехали и приняли непосредственное участие в работах по локализации аварии и выяснению ее причин министр энергетики и электрификации УССР В. В. Скляр, начальник штаба ГО республики Н. С. Бондарчук, заместитель министра внутренних дел УССР Г. В. Бердов.

На основании предварительной информации специалистов Минэнерго СССР союзным правительством была срочно образована комиссия под руководством заместителя Председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербины. В ее состав был включен и я как заместитель Председателя Совета Министров республики и вместе с товарищем Щербиной в тот же день, 26 апреля, прибыл на станцию.

Одновременно с созданием Правительственной комиссии были сформированы и приступили к работе оперативная группа по ликвидации последствий аварии в Совете Министров УССР, которую возглавил его председатель товарищ А. П. Ляшко<sup>1</sup>, а также оперативные группы практически во всех министерствах и ведомствах республики. Важнейшим направлением деятельности этих групп явилась организация

---

<sup>1</sup> Постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 10 июля 1987 г. тов. Ляшко А. П. освобожден от обязанностей Председателя Совета Министров УССР в связи с уходом на пенсию.

выполнения распоряжений Правительственной комиссии, обеспечение безопасности населения, забота о здоровье людей

Еще до принятия комиссией решения об эвакуации населения из г. Припяти республиканскими и местными органами была проведена большая работа по приведению в готовность на этот случай автотранспорта (около 2000 автобусов и автомобилей), мобилизации водительского состава, определены оптимальные маршруты движения автоколонн, намечены и подготовлены места для возможного расселения людей. Следует заметить, что все это было проделано в первые же сутки после аварии. А ведь это был выходной день и многих вызывать пришлось на работу из дома, с мест отдыха.

Автор повести возмущается тем, что с момента аварии никто не кричал об угрожающей здоровью людей радиации. Верно, такого крика не было. Не было потому, что радиационная обстановка в городе 26 апреля не представляла по заключению специалистов такой угрозы, а чрезмерные эмоции в оценке ситуации могли привести лишь в панике.

Эвакуация началась 26 апреля точно в установленное Правительственной комиссией время, и менее чем за 3 часа из города было вывезено почти 50 тысяч человек. Тогда же начали осуществляться крупные меры по обеспечению медицинского, торгового, бытового и культурного обслуживания эвакуированных, создания всех необходимых условий для их нормального проживания на новых местах.

Спрашивается, возможно ли было без всей этой подготовительной работы, без схемы вывоза, как это утверждается в повести Ю. Щербака, провести эвакуацию столь оперативно и организованно?

После получения данных радиационной разведки и заключения Правительственной комиссии 28 апреля так же четко была проведена эвакуация людей из населенных пунктов, расположенных в 10-километровой зоне, а затем, в первых числах мая, — и в 30-километровой. Причем население многих сел было эвакуировано прежде всего ввиду оправданной в тех условиях подстраховки.

Можно, конечно, сейчас, по прошествии длительного времени со дня аварии, выискивать отдельные недостатки в организации эвакуации и рассуждать на тему о том, «идеально» ли она была проведена.

Не буду вдаваться в дискуссии. Отмечу только, что о своевременности эвакуации населения неоспоримо свидетельствует тот факт, что ни у одного из десятков тысяч жителей Припяти и прилегающих районов, не занятых в момент ава-

рии на атомной станции, не выявлено признаков лучевой болезни.

Разумеется, не только решением множества сложных вопросов эвакуации занимались в те дни республиканские и местные органы. По распоряжению Правительственной комиссии было организовано взаимодействие всех видов транспорта, погрузка и непрерывная поставка к месту аварии необходимых для ее ликвидации материалов, машин и механизмов, изготовление на предприятиях республики уникального оборудования. Разворачивались работы по дезактивации территории, автотранспорта, дорог, осуществление целого ряда мер подстраховочного характера на случай радиоактивного заражения воды в реке Днепр. Создавались дополнительные пункты контроля за радиационной обстановкой на всей территории республики, и т. д.

На ежедневных заседаниях оперативной группы в Совете Министров республики приходилось рассматривать по 20—30 самых разных вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварии. По каждому из них принимались конкретные решения, определялись исполнители. Любое задание Правительственной комиссии выполнялось в полном объеме и в установленные сроки.

Где же должны были находиться руководители республики в те, крайне напряженные, первые после аварии дни? Сама обстановка их обязывала быть на рабочих местах, чтобы в кратчайшее время задействовать для ликвидации аварии все необходимые силы и средства.

Полагаю, большинству читателей ясна несостоятельность инсинуации Ю. Щербака относительно республиканских органов. В тесном контакте с ЦК КПСС, Советом Министров СССР, Правительственной комиссией они в тех сложных условиях делали все от них зависящее. Приводить подробные доказательства этого нет необходимости.

Выступая 14 мая по советскому телевидению, товарищ М. С. Горбачев отметил, что огромную долю работы и ответственности в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС взяли на свои плечи партийные, советские и хозяйственные органы Украины и Белоруссии.

Можно, конечно, не соглашаться с такой оценкой, но для заявления об этом, тем более с претензией на документальность, надо опираться не на мнимые факты и домыслы, а на весомые аргументы.

Столь же бездоказательны, но тенденциозны и некоторые другие приводимые в повести заявления. Ни Ю. Щербак, ни

авторы цитируемого им письма не называют фамилий тех «высоких руководителей», которые якобы отправили своих детей в крымские санатории уже 1 мая. Такое «свидетельство» нельзя оценить иначе как попытку опорочить в глазах общественности руководителей республиканских и местных органов. Спрашивается зачем? Кому на руку такие огульные обвинения?

Если кто-то из руководящих работников и поступил бесчестно, недостойно, то об этом нужно сказать открыто и прямо, не прибегая к неблагоприятным намекам.

В прошлом году, как известно, по решению правительства республики во время летних каникул в санатории, пионерские лагеря Украины и других братских республик в организованном порядке было вывезено около 220 тысяч школьников из районов Киевской, Житомирской, Черниговской областей и г. Киева. В профсоюзных здравницах отдохнули свыше 300 тысяч матерей с детьми. Относительно же внуков «высоких руководителей республики» для полной ясности отмечу, что на каникулы они выехали в самую последнюю очередь.

Не совсем понятно, с какой целью автор данного сочинения походя вспоминает об аварии на одной из шахт Донбасса. Как известно, Правительственную комиссию по расследованию причин этой аварии возглавил Председатель Совета Министров республики А. П. Ляшко. И вот, выхватив из контекста его краткого ответа на вопрос телекорреспондента программы «Время» одну фразу о том, что на шахте восстановлен нормальный рабочий ритм, Ю. Щербак предпочел «не услышать» и не упомянуть ни о помощи, которая была оказана пострадавшим, ни о внимании, которое уделила комиссия семьям погибших.

Отмечу, что глубокие соболезнования пострадавшим товарищ А. П. Ляшко выразил и выступая перед коллективом шахты, и принимая каждую семью погибшего горняка, и посетив в больнице спасенных шахтеров. Для каждого у него нашлось теплое слово сочувствия и сострадания. Были решены все вопросы пенсионного и материального обеспечения, улучшения жилищно-бытовых условий семей, потерявших своих близких. Ни одна просьба не осталась неудовлетворенной.

Могу утверждать это со всей определенностью, так как мне довелось быть в это время на шахте. Автор же «документальной повести», не побывав здесь ни одной минуты, не зная, чем занималась комиссия, не побеседовав ни с кем из шахте-

ров, язвительно, спекулируя на людской беде, рассуждает о нравственных принципах и делает скоропалительный вывод о бесчеловечности руководства.

Авария на Чернобыльской атомной станции, связанные с ней трагические и одновременно героические события, ее последствия еще долгое время будут объектом пристального внимания всех людей на Земле. Появится на эту тему и много новых публицистических произведений.

Хотелось бы надеяться, что наши советские писатели сумеют объективно и всесторонне, без ажиотажа отразить в своих работах полную правду о происшедшем. Убежден, что среди всего написанного и опубликованного о Чернобыле допущенные Ю. Щербаком субъективные оценки как были, так и останутся досадным исключением.

Член Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, заместитель Председателя Совета Министров УССР Н. Николаев<sup>1</sup>.

Я не буду ни комментировать, ни опровергать этот выразительный документ: он говорит сам за себя. Принимаю его как еще один голос Чернобыля, голос, достаточно характерный для определенной категории людей. Замечу только, что т. Николаеву следовало бы весь свой пафос и все свое знание вырванных из контекста цитат В. И. Ленина обратить на тех, кто своими действиями нанес прямой вред престижу нашей страны: речь идет о дезинформаторах станционного, городского, областного, республиканского и повыше уровней, которые, забыв, что живут все-таки в XX веке — веке научно-технической революции, — думали, что чернобыльский джинн, выпущенный из азсовской бутылки, не пойдет бродить по миру, останется нераспознанным.

Какая безграмотность и тупая наивность!

## ДАЛЕКО ОТ ЧЕРНОБЫЛЯ

...Когда утром 28 апреля 1986 года сотрудник шведской атомной электростанции Форсмарк, расположенной в 100 км к северу от Стокгольма, прибыл на АЭС, прибор, определяющий уровень радиации, дал сигнал тревоги. «Светили» пласти-

---

<sup>1</sup> В августе 1987 г. т. Николаев был освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.

ковые бахилы, надетые на туфли сотрудника. По сигналу тревоги были немедленно эвакуированы все 600 сотрудников станции. Но тревога оказалась ложной — никаких аварий на станции не было обнаружено, а по всей территории Швеции зарегистрировано повышение уровня в 100 раз выше нормы.

Через несколько часов шведские ученые, проведя экспресс-анализ радиоактивного облака, пришли к выводу, что смесь радионуклидов характерна для аварии на атомном реакторе. Ветры дули со стороны Советского Союза, и первоначально шведы заподозрили, что инцидент произошел в Прибалтике.

### **Из сообщений прессы:**

**ВАШИНГТОН, 3 мая (ТАСС).** «Вашингтон пост» поместила статью Дэвида Хофмана, в которой, в частности, говорится:

По словам высокопоставленных должностных лиц из Белого дома, президент Рейган и его главные советники все больше раздражаются по поводу медлительности Советского Союза в том, что касается сообщения всему миру подробностей об аварии на атомной электростанции в Чернобыле.

Свидетельством этого раздражения стало заявление на пресс-конференции государственного секретаря Джорджа Шульца о том, что Соединенным Штатам уже «известно гораздо больше, чем то, что русские говорят нам и, если на то пошло, собственному народу».

По словам должностных лиц из Белого дома, президент и другие главные советники в частном порядке все больше критикуют то, как Москва ведет себя в данном случае.

«Сначала мы были настроены благожелательно, — сказал высокопоставленный сотрудник Белого дома, принимавший участие в дискуссиях. — Мы не видели смысла в том, чтобы на них нападать... но, когда русские отказались сообщить дополнительные подробности, отношение к ним быстро изменилось»

«Европейцы возмущены, и мы тоже...» — сказал упомянутый чиновник.

По словам одного должностного лица, в промежутках между встречами с министрами иностранных дел стран Юго-Восточной Азии и президентом Индонезии Сухарто Рейган задает своим помощникам вопрос, почему русские «не сказали нам раньше и не сказали нам больше».

Рейган и Шульц начали открыто критиковать русских за то, что они объявили об аварии с опозданием на три дня и не

сообщили миру дополнительной информации после выброса радиоактивных веществ в атмосферу.

«Что ж, в таких случаях они обычно держат язык за зубами, и это не исключение, сказал Рейган местным корреспондентам перед началом встречи с Сухарто.

По словам официального представителя Белого дома Лэрри Спикса, советские власти «скрывают информацию об аварии». Он и Шульц неоднократно обвиняли русских в уклонении от своей обязанности сообщать соседним странам об опасностях, связанных с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.

«Мы усиливаем нажим», — сказал один сотрудник Белого дома.

«В действительности из собственных источников мы знаем больше, чем Советский Союз рассказал нам или другим странам», — сказал Шульц.

По словам должностных лиц из Белого дома, растущее раздражение Рейгана по поводу медлительности Советского Союза в том, что касается предоставления информации об аварии, отчасти вызвано опасениями по поводу возможных опасностей, связанных с распространением радиации. Тем не менее, по словам должностных лиц, Рейган считает, что русские продемонстрировали то, что он называет недостатками закрытого общества. «Это представляет собой разительный контраст по сравнению с тем, как подобная информация распространяется в Соединенных Штатах в отличие от Советского Союза, сказал Шульц, поскольку, случись такая авария в США, информированность была бы огромной...»

ВАШИНГТОН, 3 мая, (ТАСС). «Вашингтон пост» опубликовала также редакционную статью, в которой, в частности, говорится:

В свете аварии на Чернобыльской атомной электростанции американская общественность может разочароваться в советском подходе к контролю над вооружением. В данном случае искренность и откровенность были бы естественны: о событии не могли не узнать, ни с каким нарушением договора или государственной тайной это связано не было, а незамедлительная исчерпывающая информация была необходима и сторицей бы окупилась в смысле здоровья людей и дипломатии, и тем не менее Советский Союз хранил полное молчание до тех пор, пока иностранцы не спросили его о радиоактивных осадках. После этого он представил лишь самые сжатые и не-

полные объяснения, некоторые из которых настолько натянуты (они не могли известить шведов, потому что это был конец недели), что, не будь они трагическими, их можно было бы назвать смехотворными.

Часто говорят, что в области контроля над вооружениями Соединенные Штаты исходят из теории, что могут полагаться лишь на собственную способность проверять выполнение обязательств и устанавливать факт нарушения, а не на «доверие». Тем не менее вызывает большую тревогу то обстоятельство, что правительство, с которым американцы хотят заключить соглашение, не может вовремя сказать простую правду, хотя очевидно, что это в его собственных интересах. Пожалуй, в этом случае следует говорить не о приобретенных новых знаниях, а о подтвержденных старых убеждениях. Тем не менее это знаменательное событие, которое не может не сказаться на готовности американцев иметь с Советским Союзом серьезные дела.

Вот какими серьезными международными последствиями оборачивалась в первые дни наша маниакальная страсть к секретности.

А вот какова «эффективность» этой секретности:

«Нью-Йорк, 4 мая 1986 г. (ТАСС). Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс передает из Стокгольма:

Как сообщил эксперт из Швеции, фотографии советской атомной электростанции, где произошла авария, сделанные из космоса, подтверждают сообщения русских, что ее реакторы остановлены. Михаэль Штерн, сотрудник шведской космической корпорации, распространившей эти фотографии, принятые одной из наземных станций слежения в Северной Швеции, заявил, что с помощью вычислительной техники сравнил снимок Чернобыльской АЭС, сделанный до аварии, которая произошла в конце прошлой недели, с фотографиями, снятыми после аварии. На снимке от 21 марта 1986 г., который демонстрировался по телевидению Швеции, резервуар неподалеку от станции получился в красном цвете, и это доказывало, что вода нагрелась в результате охлаждения реактора. Однако на снимке, сделанном после аварии, вода была голубой, и это свидетельствует, что она холодная. По телефону Штерн заявил корреспонденту агентства Ассошиэйтед Пресс, что сравнение снимков, сделанных с американского спутника «Лэндсат», объясняет две точки перегрева, из-за которых он ранее предположил, что из строя выведен второй реактор. Он указал, что

на снимках, сделанных как до, так и после аварии, были две точки перегрева. Штерн сказал: «Эти две точки перегрева — нормальное явление, не имеющее никакого отношения к аварии».

Штерн также подчеркнул, что в пятницу вечером один из комментаторов, выступавших по второй программе шведского телевидения, ошибочно заявил, что, как свидетельство вала фотография АЭС, сделанная в четверг утром со спутника, над ней еще виден дым. Штерн сказал, что этот комментатор работал со снимком, сделанным ранее на этой неделе, когда над атомной электростанцией еще был виден дым. Он сказал: «В четверг утром дыма уже не было».

«Нью-Йорк, 23 мая 1986 г. (ТАСС). В газете «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликована статья бывшего директора ЦРУ Стэнсфилда Тэрнера:

Все мы согласны с тем, что Советский Союз не информировал весь мир немедленно и во всех подробностях о ядерной аварии в Чернобыле. Но мы забываем при этом о том, что и Соединенные Штаты отнюдь не выполнили свои обязанности так, как это следовало сделать.

Администрация Рейгана заявляет, что наши разведывательные ведомства узнали об этой аварии только из сделанного русскими сообщения. Но потом наше правительство, безусловно, располагало гораздо более подробными сведениями, которые оно могло бы сообщить не только американцам, но и миллионам других людей, подвергавшихся облучению. Эта информация поступает от разведки, особенно от спутников, которые буквально за минуты передают на Землю фотографии.

Две не очень четкие фотографии с коммерческого спутника «Лэндсат», которые были получены в самый разгар событий, не помогли устранить неопределенность в отношении того, расплавились ли активные зоны одного или двух реакторов, разгорается ли пожар и было ли облучение настолько сильным, что десятки тысяч людей пришлось эвакуировать.

На фотографиях, сделанных спутником «Лэндсат», можно различить лишь предметы размером примерно 100 кв. футов. Французы запустили недавно на орбиту коммерческий спутник «Спот», который в три раза лучше «Лэндсата», но нам не надо было обращаться к ним, потому что наши собственные разведывательные спутники еще лучше, чем у них. Например, нас заверяют в том, что благодаря этим спутникам

мы можем узнать, увеличил ли Советский Союз существенно диаметр ракетных стартовых шахт.

Представьте себе, в какой мере мы могли бы успокоить тревогу, информируя европейцев о том, что, поскольку пожар в Чернобыле удалось потушить, уровень облучения, которому они подвергаются, вероятно, уже сокращается. (...) Чернобыльские события должны напомнить нам о том, что наши возможности по сбору разведанных, особенно с помощью спутников, дают нам возможность постоянно информировать весь мир. (...) Пройдет не так много времени, и эту информацию смогут получить все, кто захочет. «Лэндсат» и французский спутник уже дают возможность получить фотографии для тех, кто готов за них заплатить. Другие, разумеется, последуют этому примеру. Давайте сделаем так, чтобы мир вступил в эру мира и процветания, которым будет способствовать откровенность на международной арене».

С астрономической точностью, подчиняясь законам небесной механики и приказам станций слежения, выплывали в утренней дымке над Чернобылем разведывательные спутники. Наша планета еще не вступила в эру мира и процветания, о которой мечтал бывший директор ЦРУ: в те весенние дни 1986 года, на заре «нового мышления», еще продолжалось глобальное соперничество сверхдержав, словно радиацией пронизанное насквозь взаимным недоверием и подозрительностью. Вот почему в те дни на полные обороты была запущена гигантская машина сбора и обработки информации. Сверкая сталью и сверхмощной оптикой, раскинув крылья антенн и солнечных батарей, эти угрюмо молчащие летучие мыши космоса методично и бесстрастно приглядывались ко всему, что происходило внизу, на Земле. В одном из американских журналов я видел фотографии АЭС, сделанные со спутников: здание станции, пруд-охладитель и интенсивные цвета радиации в районе четвертого блока. Говорят, что спутники даже сфотографировали футбольный матч, сыгранный мальчишками в Припяти 26 апреля 1986 года. Не знаю, этих фотографий я не видел...

Но что чужим летательным аппаратам, их холодным рыбьим зрачкам до нашей жизни, до нашего несчастья? Могли ли понять аналитики, сидящие вдалеке от Чернобыля и расшифровывающие сигналы из космоса, что творится в эти дни на земле — в здании АЭС, в припятских квартирах, украинских и белорусских хатах, школах, райкомах, больницах, церквях, в душах людей?

## НЕ ПОТЕРЯТЬ ЛИЦА

Александр Иванович Мостепан, заведующий отделением больницы № 25 г. Киева:

«Первого мая 1986 года я, как обычно, вышел на дежурство в отделение реанимации. По больнице разнеслась весть — срочно готовят инфекционный корпус для приема пострадавших во время аварии. Я находился в то время в операционной как анестезиолог: за это время, за какие-нибудь четыре часа из инфекционного отделения больные были или выписаны, или переведены в другие инфекционные отделения, проведена полностью санобработка, перестелены койки. А это все-таки был праздничный день. Заслуга и главного врача больницы, и старшей сестры в том, что так оперативно подготовили отделение.

Меня привлекли в этом деле, поскольку я врач-реаниматолог.

Никакой информации не было — какие больные, чем поражены, сколько человек. Никто ничего не знал. Дело гражданской обороны — организовать дозконтроль, помывку больных. У нас этого не было. Контроль организовала наша заведующая радиологическим отделением — целеустремленная женщина, боевая. Она самостоятельно, на ходу подготовила всю аппаратуру для контроля.

Сообщение о прибытии больных мы получили около шестнадцати часов. Прибыли они, когда уже стемнело. Прибыли два автобуса. Отделение уже было готово к приему — стояли койки, врачи были, но никто не знал, с чем мы встретимся. С ожогами? И руководство наше не знало. Потом сказали, что эти автобусы четыре часа возили пострадавших по Киеву, их нигде не принимали. Ну, за это время некоторые врачи у нас увильнули. Фамилий я не буду пазывать. Кого-то сюда, в это отделение, направляли, кто-то взял и не пришел... Вначале было 12—15 врачей, потом осталось нас... ладно, не в этом дело.

Мы разработали схему приема, подвели шланги с водой, принесли стулья. Шкафчики поставили, чтобы люди могли переодеться.

И когда приехали автобусы — они очень нас неприятно встретили, эти люди. Потому что они несколько часов кружили по городу, а выехали из центров сосредоточения — из центральных районных больниц Полесского и Иванкова — еще утром. С ними были маленькие дети. Как потом оказалось, дети были абсолютно здоровы, но никто тогда не знал —

здоровы они или больны. Приехали примерно пятьдесят человек. И представьте себе — их нигде не кормили. Мы замарили эти автобусы. На колесах было излучение от 10 до 20 рентген. Никто нигде не мыл эти автобусы. Они в Киев спокойненько заехали и катались по всему городу. Никто им не сказал толком — куда ехать. Они въехали со стороны площади Шевченко и, если бы знали, могли, минуя центр города, сразу приехать к нам. Но они исколесили весь Киев.

Люди уже были в больничной одежде, их уже переодели. Хотя так получилось, что их там не помыли.

И вот когда они въехали на территорию нашей больницы, они отказались выйти из автобуса. Потому что тут не лечебная помощь была нужна, а какая-то человеческая. Представляете себе — бросить свои квартиры, без одежды, без питания, дети с ними — полная суматоха. Они были очень сердиты, эти люди.

А их встречают в больнице в противочумном костюме. Вы видели противочумный костюм?

— Не только видел, но и работал в нем.

— Ну вот, представьте: на крыльце больницы стоит человек двадцать таких «космонавтов». С ног до головы запеленутые во все белое. В перчатках резиновых... И люди эти отказались выйти. Сказали: «Все, поехали. На вокзал или еще куда...» Мы тоже все были перепуганы, ожидая их. Ну, наверное, тоже с перепугу я зашел в автобус, снял перчатки, снял маску и поздоровался за руку с самыми заводилами. Иначе нельзя было. Они стоят, кричат, дети орут... Успокоились немножко. Вышли из автобуса, а дети все равно кричат, пищат... Тут с лучшей стороны показало себя руководство нашей больницы: главный врач, старшая сестра, парторг. Обычно знаете какое отношение к руководству? Они там наверху, а мы вот здесь пашем... Парторг стал дозиметристом. Старшая сестра, бедная, с радикулитом, она на больничном была, но она тут рядом живет. И они пошли в автобус и детей этих на руках вынесли. Маски сняли. Они работали практически санитарями.

Выдали нам дозиметры-карапдаши, мы их надели. Потом оказалось, что все это смешно. Лаборантку усадили и заводили этих больных — они действительно были все загрязнены. Слава богу, здесь инфекционное отделение и очень много душевых. Мы открыли двери в нескольких боксах и пустили два или три потока. В первую очередь женщины с детьми. Потом женщин и людей пожилого возраста, хотя в первые дни пожилых было немного. Все больше оперативный персонал с

атомной станции, те, кто пострадал. Было человек шесть из блока и те, кто работал по устранению аварии из других блоков. Поступила женщина-дозиметрист, которая там работала. У нее были лучевые ожоги. И дети с мамами. Или те, кто жил рядом со станцией, или те, кто находился в больнице и позже всех был эвакуирован. А больница там рядом с АЭС находится, и окна были открыты...

Когда отсеялась группа детей, которые не пострадали, оказалось, что группа работников станции очень квалифицированно была подобрана. Я не знаю, кто ее отбирал, но кто-то очень грамотно послал людей — и слава богу, что они попали именно к нам.

Мы их очень долго мыли. Нельзя было их ничем отмыть, особенно волосы. И потому пришлось их стричь. Срочно сбегали в операционный блок, взяли операционные ножницы и стали стричь, практически «налысо» — и женщин, и мужчин, и деток, всех. Все вещи, которые у них были, тоже были «грязные». Мы потом их сдали в спецкомбинат, они обработке не подлежали. И пижамы, и личные вещи — все это пришлось выбросить. Доходило до трагикомических моментов — вплоть до того, что выбрасывались документы разной важности. Потом, когда один больной отошел от всего этого, он месяц в этом могильнике рылся — нянечки с ним ездили, он надевал очки и рылся, пока не нашел какие-то очень важные документы.

У нас бытовые условия очень хорошие — в каждой палате туалет, ванная. Ужин у нас был — мы его подогревали-подогревали. Помыли людей по-настоящему в теплой воде с мылом, постригли, укутали, дали свежее белье, напоили чаем горячим, накормили — они увидели, что попали в лечебное учреждение. Анализ крови у всех взяли. Первую помощь оказали.

Успокоили, согрели этих людей.

А утром они проснулись — у нас парк прекрасный. Весна, птички запели, белочки в окно стучат, просят кушать — у нас больные белочек всегда подкармливали. Конечно, этим детям, истосковавшимся по тишине после крика, шума и нервоотрепки, все это показалось сказкой: «Мама, смотри, — белочка!»

А закончили мы принимать этих больных часа в четыре утра. Так что первомайский праздник прошел весело. По-настоящему принять даже пятерых больных — это много для отделения. А здесь пятьдесят больных, таким навалом, на эмоциональном подъеме как со стороны больных, так и пер-

сонала, это знаете... Надо оформить, записать все в историю болезни, провести дозиметрию. Да не один раз, а приходилось по пять-шесть раз: моем — ничего. «Грязь» остается. Хозяйственным мылом — ничего, туалетным — ничего, порошком — ничего. Пока волосы не постригли. А потом оказалось, что есть какой-то порошок защиты, достаточно насыпать его на губку и провести по волосам — и все снимает. Но этот порошок, оказывается, стоял где-то на станции Янов, целый состав там был...

Посмотрели утром на свои дозиметры — испугались: у одного — ноль, у другого — уже зашкалил. Потом оказалось, что они просто не заряжены, не работают. Кто-то где-то прыгнул или встряхнул дозиметр, и его «зашкалило». Были такие, что уже умирать собирались от этого. Потом мы выбросили эти дозиметры, работали с другими.

Так прошел первый день, затем я сменился. Больные поступали каждый день. А после праздников я вышел на работу — и встал вопрос о заведующем отделением. Ведь фактически уже новое отделение получилось. А заведующая инфекционным отделением — она заболела. Она йода перепила немножко, профилактику проводила. Она, бедненькая, не специалист по этим вопросам. Ну и меня назначили исполнять обязанности заведующего.

К этому дню у нас уже находилось примерно сто пятьдесят человек. Больные также поступали в Киевский рентгено-радиологический институт, в больницу им. Октябрьской революции, в областную больницу. Естественно, опыта лечения лучевой болезни у нас никакого не было. Никто ничего не знал. Была лишь теоретическая подготовка... Мы раздобыли дозиметры, работавшие по системе сигнализаторов. Когда подходишь к больному, он: пи-пи-пи. А к другому — он: у-у-у. Пришлось изъять их, потому как многие не могли подойти. Испугались. Несколько сотрудников, работавших здесь, убежали.

Больные, по всей видимости, «светили», что ж тут говорить — ведь накопление радиоактивного йода у них было большое. У нас тогда не было аппарата СИЧ (счетчик импульсов человека), работала гамма-камера. Мы считали импульсы и довольно верно переводили их в общепринятые единицы. Потом появились кое-какие циркуляры, по которым ни тогда, ни сейчас работать нельзя было. Особенно первые циркуляры... Вообще все инструкции и указания написаны таким эзоповым языком, что до сих пор разобраться невозможно.

Самое страшное, что никто не знал дозу облучения, полу-

ченную этими больными. Никаких карточек у них не было. Не знали мы — сколько они получили. И лечение поначалу было симптоматическое, в зависимости от жалоб больного.

У тех больных, что поступили из четвертого блока, к тому времени начался кишечный синдром — рвоты, кровавые поносы. Жаль, что не было у нас психиатра. Больных мучили кошмарные сны, они по ночам кричали, находились в стрессовой ситуации. Нужен был окулист: некоторым попала в глаза радиоактивная вода и появились конъюнктивиты. И были ожоги. Вот так прошли первые дни. Нам создали все условия, завезли все необходимые препараты. И постепенно мы начали дифференцировать больных уже сами.

О существовании 6-й клиники в Москве мы тогда еще понятия не имели, ничего не знали, работали по каким-то циркулярам. Но нам очень помог наш Киевский институт гематологии.

К двадцатому дню у наших больных начало падать количество лейкоцитов и эритроцитов. Начался самый страшный период... К этому времени пришла помощь. 6-я клиника прислала своего специалиста, ленинградцы приехали, военные медики оказали существенную помощь.

Среди наших больных были не только операторы из аварийного блока, но и милиционеры, охрана станции, строители, которые в первые дни там остались и проводили работы. Не все, конечно, были больны. Мы начали кое-кого выписывать, и тут наша бюрократия сразу себя показала.

Мы видим — человек здоров. А выписать его не можем. Почему? Нет одежды. По какому-то постановлению его надо одеть. На двести рублей. Одеть его не можем. Пока базу нашли, пока нас прикрепили, потом они привезли все, что шло в ширпотреб, и бросили это нам. Один ботинок левый, другой тоже левый. Люди начали возмущаться. Тут старшая сестра больницы через себя перепрыгнула, но каким-то образом вышла на базу ЦУМа, и в конце концов очень здорово этих людей одели. Она себя не щадила, чтобы их одеть. Люди остались довольны одеждой.

Мы начали потихоньку выписывать этих людей и принимать больных более тяжелых, вместо этих легких. Начали поступать больные, которых сразу не обнаружили. Оказалось, что в той неразберихе некоторые уехали со второй и даже с третьей степенью лучевой болезни домой. Одного «выловили» в Сумской области. Их к нам отправляли.

Что происходило с больными? На определенной стадии болезни наступают серьезные нарушения кроветворения:

количество лейкоцитов падает: скажем, до 400 (при норме 4000—5000), тромбоцитов — до 8000 (при норме 120 000). Это очень опасный период: появляются кровотечения, организм беззащитен перед любой, самой невинной инфекцией, высока опасность гнойных осложнений. Нам помогло, что в институте гематологии был прекрасный аппарат — сепаратор крови американской фирмы ИБМ, благодаря чему мы получали тромбоциты у донора и сразу же переливали больному. Кроме того, у нас имелись отдельные стерильные боксы, что очень важно. Мы включили там кварцевые лампы, чтобы воздух был стерилизован, строжайший режим наладили.

Тяжелые больные находились в этих боксах по два месяца. Мы создали им все условия: поставили холодильник, телевизор. Окна заклеили, чтобы пыль с улицы не проникала. Калоши закупили, чтобы они обувь передевали. Больные были в черных очках, потому что все время работали кварцевые лампы. Практически все были лысые. И тут начали проявляться серьезные лучевые ожоги. Сплошная рана. Смотреть на это было трудно, сердце кровью обливалось...

Были очень тяжелые больные... Были такие, что мы думали — они умрут.

Но ни один не умер».

Это — встреча с «мирным атомом» глазами врачей.

А вот что пережили их пациенты.

**Из дневника А. Ускова:**

«Утро 28 апреля. Москва, клиническая больница № 6, IV отделение, 2-й пост, палата № 412. Настроение нормальное. Правда, его малость подпортили. Кровь из пальчика — ерунда, но кровь из вены — это уже не шибко приятно. Сестры «успокаивают» — скоро эти процедуры будут ежедневно. Врачам постоянно, ежедневно нужен будет развернутый анализ нашей крови. В нашей ситуации в первую очередь все отражается на крови. Понятно.

Появилась сухость во рту. Питье не помогает. Наташили для полоскания всяких пузырьков. Посмотрел надписи. На одном — «лизоцим». Лизоцим, лизоцим... — где-то я уже слышал про него. Ага, вспомнил. Это когда собаки зализывают раны, у них с языка выделяется этот самый лизоцим. Поэтому раны не гноятся и быстро зарастают. Что ж, будем и мы зализывать раны.

Знакомимся с мужиками с нашего этажа. Кого здесь только нет! Сторожа и вахтеры, сторожившие свои «конторы» вблизи четвертого блока. Рыбаки, ловившие рыбу на подводном канале, оперативный персонал из ночной и утренней смен, пожарный Иван Шаврей (их трое братьев), бригада из «Химзащиты», прапорщики из охраны ЧАЭС. Саша Нехаев в соседней комнате. Выглядит он неважно. Весь красный, жалуется на головную боль.

1—2 мая. Невзирая на праздник, кровь из пальца берут ежедневно. Уже отсортировали ребят, случайно попавших в эти стены. Это случайные зрители, рыбаки с подводного канала. Самочувствие хорошее. Аппетит волчий. Нам увеличили рацион питания. Появились соки, минеральная вода. Надо больше пить! И выводить, выводить, выводить.

3 мая. Сегодня к нам забегал Анатолий Андреевич Ситников — побриться. Выглядит неплохо. Побрился, немного посидел, ушел к себе. Он на 8-м этаже. Я еще не знал, что вижу его в последний раз. Через пару дней ему резко станет хуже, и он больше не встанет.

4 мая. Начали потихоньку раздергивать наш этаж. От нас забирают на 7 этаж Чугунова, из других комнат — Юру Трегуба. Переселение назначили на 4 мая, а с утра объявили: всем, кто остается в клинике, — стричься наголо. Прибыли парикмахеры, быстро обкатали головы ребят под «ноль». Я стригся последний. Уверенным голосом сказал, что мне надо сделать только короткую прическу. Сестра-парикмахер не возражала. Каждый свои волосы собирал в целлофановый мешочек. Волосы тоже пойдут на захоронение. Я их так и не успел отмыть. Накануне приходили «дозики», обмеряли нас. Волосы — 20 миллирентген в час. Это в 1000 раз выше естественного фона!

Часто вспоминаем свой родной цех, своих мужиков. Эх, как не вовремя «залетели». Наше место сейчас там.

Сегодня ходили на 8-й этаж — в асептический блок. На какой-то хитрой американской технике из нашей крови отбирали тромбмассу — на случай, если понадобятся переливания. Два часа лежал на столе, а перед глазами по прозрачным трубочкам по кругу циркулировала моя кровь. Похоже, нас готовят к худшему...

5—6 мая. Саше Нехаеву плохо, его перевели на 6-й этаж, в отдельную палату. У Чугунова вылез ожог на правом боку, у Перевозченко тоже обожжен бок и зад. Заходил Дятлов — у него выступили ожоги на лице, сильный ожог на правой руке, ногах. Разговор только о причинах аварии.

Я в палате уже один. Те, кто остался, лежат в отдельных палатах. Врач говорит, что скоро кончится скрытый период.

8—9 мая. Я перебрался в 407 палату. Саше Нехаеву все хуже, но пока еще с кровати встает. Видел Виктора Смагина — он сказал, что сегодня, т. е. 8 мая, умер Анатолий Кургуз... Как страшно. Не по себе.

Всего на нашем этаже 12 палат, а значит — 12 больных. Мой сосед слева — Юра Трегуб, справа — дублер СИУРа Виктор Проскураков. У парня сильные ожоги на руках. Он с Сашей Юрченко пытались прорваться в разрушенный центральный зал четвертого блока. Витя светил из-за развалин фонарем. Несколько секунд хватило, чтобы получить страшные ожоги.

Вечером смотрели праздничный салют. Но радости мало. Мы понимаем, что умершие ребята не последние, но так хотелось, чтобы все остальные выжили. Обидно умирать в расцвете сил, молодости...

10—11 мая. Из палат уже не выпускают. Все, общения кончились. Чугунову все хуже. У него сильно обожжена правая рука: пальцы, кисть. Ожог на боку все расплзается. По-прежнему глотаем в бешеном количестве таблетки — по 30 штук в день. Кровь берут ежедневно. Через три дня берут по 4—5 пробирок крови из вены. Кровь переношу спокойно, но вены уже исколоты — больно. У меня пока видимых поражений, кроме пальца, нет. Врач постоянно дергает меня за чуб — проверяет, лезут ли волосы. Пока не лезут, может, обойдется?

12 мая. Не обошлось. Сегодня во время обхода на очередной пробе у Александры Федоровны в руке остался целый клочок. Что ж, придется стричься наголо. Обрили. Лежу лысый. Черт с ними, с волосами. Но выпадение волос — это уже плохо. Еще один признак высокой дозы.

За окнами уже всюю распускаются деревья. На улице отличная погода. За забором клиники шумит столица. Пошел в туалет, в коридоре никого нет — бегом сбегал на шестой этаж. Перекурил с мужиками на площадке. Настроение падает, многим стало хуже. 11 мая умерли Саша Акимов и несколько пожарных — ребята фамилий не знают.

13 мая. В клинике появились новые санитарки, в основном молодые девчата. Сейчас в палатах уборку делают они. До этого убирали солдаты, переодетые в больничные одежды. На лицах — повязки, на руках — перчатки, бахилы. Защищен нормально, но моет пол, будто отбывает срок. Девчата приехали с атомных электростанций. У них бросили клич, что

здесь тяжело с младшим обслуживающим персоналом, они изъявили желание. У нас на этаже — Надя Куровкина с Кольской АЭС, Таня Маркова — тоже с Кольской АЭС, Таня Ухова с Курской АЭС. Девушки все общительные, с юмором. В палате стало веселей. Хоть поболтать есть с кем. А то лежишь, как сыч, все один и один.

14 мая. Волосы упорно лезут. Утром вся подушка в волосах. Но самочувствие пока неплохое, силы есть. Аппетит практически отсутствует, заставляю себя есть через силу. Чугунову гораздо тяжелей.

Уже знаем почти всех сестер. Люба и Таня молодые, остальным сестрам в среднем — сорок. Все очень внимательные, хорошие женщины. Постоянно чувствуем их тепло, заботу. Мы для них больше чем больные.. Чудесные женщины. Кроме глубокой благодарности и величайшего уважения, ничего к ним не испытываю. На их плечи легло самое тяжелое бремя. Уколы, капельницы, замеры температуры, процедуры, забор крови и многое, многое другое. В палатах чистота стерильная или близко к тому. У нас постоянно включены кварцевые лампы. Поэтому лежу в темных очках. Врачи очень боятся инфекции. В нашем состоянии — это практически конец.

Кроме девчат, работают и «штатные» санитарки: Матрена Николаевна Евлахова и Евдокия Петровна Кривошесва. Обе женщины уже в преклонном возрасте, им за шестьдесят. На вид — классические нянечки, какими их показывают в кино. Обе маленькие, кругленькие, простые русские лица. Простой, бесхитростный разговор. Любят обе поворчать на медсестер.

У нашего врача Александры Федоровны Шамардиной авторитет на этаже непререкаемый. Ее уважают все, няни слегка побаиваются. Она невысокая, сухонькая. Очень подвижная, бодрая. Очень приятная, простая улыбка, но характер волевой.

Вечером слушали заявление М. С. Горбачева по ЦТ. Семь человек уже погибли. Из них 6 — наших ребят. Чаэсовских: Ходемчук, Шашенок, Лелеченко, Акимов, Кургуз, Топтунов, Кудрявцев. Пожарные лежат где-то на другом этаже, о них ничего не знаем. Витя Проскураков, мой сосед справа, очень тяжелый. У него 100% ожоги, страшные боли. Практически постоянно без сознания.

Настроение подавленное. Эх, ну и натворили делов...

В клинике работают американские профессора — иммунолог Роберт Гейл, Тарасаки. Случайно с ними встретился в

асептическом блоке на восьмом этаже после отбора тромбомассы. Я уже уходил, они только облачились в спецреквизит Гейл — невысокий, худощавый, молодой мужчина. Обыкновенное лицо, ничего значительного. Профессор Тарасаки — ростом повыше, выглядит моложе. Черты лица почти европейские, но японское все же просматривается. Не иначе папашка был по фамилии Тарасов.

Американцы — специалисты по пересадке костного мозга. На восьмом этаже находятся боксы, где лежат самые тяжелые больные. Уже сделано 18 пересадок костного мозга. Среди них — Петя Паламарчук, Анатолий Андреевич Ситников. Американцы привезли лучшее, что у них есть, — оборудование, приборы, инструменты, сыворотки, медикаменты. Боксы восьмого этажа — зона их особого внимания. Видел оборудование еще в упаковке. Открыт «второй фронт»

Чугунову очень плохо. Высокая температура, выпадают волосы на груди, ногах. Он мрачный, как скалы Заполярья. Чай пьет, курить не хочет. Спросил: «Как Ситников?» Я сказал, что борется. Чугунову начали переливать тромбомассу, антибиотики. Почти всю ночь у него в палате горит свет. Все тяжелобольные боятся ночи...

14—16 мая. На обходе Александра Федоровна сказала, что сегодня у меня возьмут пункцию красного костного мозга. Привели на восьмой этаж. Уложили лицом вниз. Укол новокаина. И длинная кривая игла вошла в тело. Возился долго, но взять пункцию не смог. Сменил иглу на более длинную. Уже еле терплю. Сестры держат голову и руки, чтобы не дергался. Все, взяли. Неприятная процедура, скажу я вам.

Получил записку от Марины. Просит подойти к открытому окну, выходящему на улицу Новикова. Марину видел, не очень далеко... Это окно из коридора. Нарвался на Александру Федоровну. Загнала меня в палату. Прочитала нотацию. Пообещала: если еще раз поймает, отберет штаны, а если будет мало — то и трусы. Сказал, что без штанов у меня сразу поднимется температура. Александра Федоровна пригрозила кулачком: «Смотри у меня!»

В «Комсомолке» за 15 мая прописали про нас с Чугуновым. И, конечно, все переврали. Какой это шакал преподнес им наши действия? По описанию корреспондента меня надо немедленно ставить к стенке, как вредителя. Звонил в «Комсомолку» — выразил им свое мнение об их работе. И вообще, чувствуется по печати, что материал в газетах идет «сырой» — пишут, что кто хочет, порой бред!

Чугунов — мой шеф — плох. Почти ничего не читает. Ле-

жит молча. Как могу, пытаюсь расшевелить. Удастся плохо. Пьет только чай. Стараюсь положить побольше сахара.

14 мая умерли Саша Кудрявцев и Леня Топтунов, оба из реакторного цеха-2, СИУРы. Оба молодые парни. Эх, судьба... А что-то еще нас ждет? Стараюсь об этом не думать. Чугунову о ребятах не говорю.

17 мая. Ночью спал плохо. На душе скверно, медсестры постоянно бегают в соседнюю палату к Вите Проскурякову. Предчувствия не обманули: эта ночь была последней в его жизни... Страшно умер, мучительно...

Решили писать письмо нашим ребятам — до нас дошли слухи, что Дятлова, Ситникова, Чугунова, Орлова уже «похоронили».

18—19—20 мая. Сегодня наши девчата принесли сирень. Поставили каждому в палату. Букет замечательный. Попробовал понюхать — пахнет хозяйственным мылом?! Может, обработали чем-то? Говорят, что нет. Сирень настоящая. Это у меня нос не работает. Слизистая обожжена. Почти весь день лежу. Самочувствие — не очень. Саша Нехаев очень тяжелый. Очень сильные ожоги. Очень волнуюсь за него. Чугунов тоже хотел дописать письмо, но ожог на правой руке не дает. Я почти ничего не ем. Кое-как из первого съедаю бульон. Постоянно приносят газеты — с радостью читаю в «Комсомолке» о Саше Бочарове, Мише Борисюке, Неле Перковской — всех их хорошо знаю. Рад за них. Завидую им. Они все в борьбе, а мы, похоже, «выгорели», и крепко... Не вовремя...

Чугунову еще хуже. Железный мужик. Ни одной жалобы. И еще мне кажется, он переживает сильно: **ПРАВИЛЬНО ЛИ СДЕЛАЛ, ЧТО СОБРАЛ НАС НА ПОМОЩЬ ЧЕТВЕРТОМУ БЛОКУ?**

На обходе Александра Федоровна предупредила, что будет делать пробу на свертываемость крови. Это что-то новое.

Пришла милая женщина — Ирина Викторовна — та самая, что занималась отбором из нашей крови тромбомассы. Уколола в мочку уха и собирала кровь на специальную салфетку. Собирала долго и упорно, но кровь останавливаться не хотела. Через полчаса закончили мы эту процедуру. Все ясно. У нормального человека кровь сворачивается через пять минут. Резкое падение тромбоцитов в крови!

Через час в меня уже вливали мою же тромбомассу, заранее приготовленную на этот случай. Началась черная полоса».

Прерву на этом записи А. Ускова.

Остановимся в скорбном молчании и раздумьях перед чер-

ной полосой, которую пересекли этот мужественный человек и его друзья. Долго, ох как долго и мучительно тяжело они ее преодолевали... Аркадий Усков выстоял, выжил. И его «шеф» — «железный мужик» В. А. Чугунов — выдюжил. На Чернобыльской АЭС, на третьем блоке я встретился с Владимиром Александровичем Чугуновым. Он торопливо пожал мою руку, не понимая — почему я с таким интересом приглядываюсь к нему, и вернулся к пульту. Дел много было. Он меня не знал, а я уже начитался дневников А. Ускова.

Из черной критической зоны болезни этих людей вывело великое искусство, великое милосердие врачей, медсестер, нянечек — всех тех, кто и в атомную эпоху остался верен древней клятве Гипократа, о ком с такой благодарностью пишет А. Усков.

Клятва эта несколько не устарела, хотя чернобыльская авария поставила перед медициной, перед медиками ряд новых, беспрецедентных проблем — как профессиональных, так и нравственных. Невиданным был сам размах и характер деятельности медиков в районах бедствия: с первых же дней аварии Министерство здравоохранения УССР создало и направило на север Киевской области свыше 400 врачебных и 200 врачебно-дозиметрических бригад, 1800 врачей и 2500 средних медицинских работников, 1500 студентов-старшекурсников медицинских институтов. Было обследовано около полумиллиона людей. Лаборатории, санитарно-эпидемиологические службы провели почти 3 миллиона исследований продуктов питания, воды, внешней среды на радиоактивную загрязненность. А ведь за каждой из этих цифр стоят живые люди, их судьбы, их переживания, их работа в очень непростых условиях того жаркого, тревожного лета.

Как врач-эпидемиолог, я с 1958 года регулярно бывал на многих вспышках «обычных» эпидемий, видел чуму и проказу. В 1965 году пришло серьезнейшее испытание — в Каракалпаккии вспыхнула эпидемия холеры, о которой у нас не было слышно с 20-х годов. Считалось — холера ликвидирована в СССР раз и навсегда, быть ее не может. Так же, как и с реактором РБМК — самый надежный, самый безопасный, авария исключена. Но холера вспыхнула. Впервые я с такой обнаженностью увидел наши социальные беды, бытовые: скученность, антисанитария, нехватка питьевой воды, примитивное состояние медицинских служб, уже тогда наметившийся отрыв узбекских «руководящих товарищей» от народа, некомпетентность большинства должностных лиц. И тогда же воочию я увидел, как преступное благодушие, стремление

скрыть правду приходится потом тяжело обрабатывать тем, кто приехал туда со всех концов страны. Халатность и расхлябанность одних покрывали героизмом других.

Мы работали с рассвета до ночи два с половиной месяца, в тяжелейших условиях жары, незнания местности, языка и обычаев, в условиях реальной опасности заразиться холерой. Иркутяне, ленинградцы, москвичи, киевляне. Пришлось не только прямыми врачебными обязанностями заниматься, но и стать организаторами быта, своего рода «социальной скорой помощью».

Погасили. Это было первое серьезнейшее предупреждение стране. Но урок этот страшный не пошел впрок. Не изжил благодушную доктрину «у нас этого быть не может, потому что не может быть»

В 1970 году в стране вновь возникла вспышка холеры, сразу в нескольких местах, наиболее уязвимых: Астрахань, Керчь, Одесса. Я был тогда в отпуске, и снова, как в 1965 году, мобилизовался прямо в очаг инфекции. Опять работали на пределе сил. И опять интернациональными бригадами. И снова увидели те же беды наши. И снова пришлось быть не только врачом, не только ходить по очагам инфекции и холерным госпиталям, но и организовывать новые стационары, открывать временные лаборатории, налаживать систему пропусков, заниматься питанием, водоснабжением, множеством бытовых вопросов.

В этом — в огромных масштабах происходящего, в предельном напряжении сил всей медицинской службы, в экстремальности ситуации — было много схожего с аварией в Чернобыле. И потому, когда с группой специалистов Минздрава СССР я выехал в Полесский и Иванковский районы, многое из того, что довелось увидеть в больницах и санэпидстанциях, поначалу показалось знакомым: необычно большое количество медицинского персонала, среди которого — много приезжих; дворы, забитые каретами «скорой помощи» и санитарными «УАЗами» с номерными знаками всех областей Украины; кабинеты главных врачей, похожие скорее на боевые штабы во время войны — та же бивачная, переменчивая атмосфера «временности», карты, схемы и сводки, над которыми склонились врачи, непрерывные звонки, тысячи больших и маленьких дел, которые надо решать немедленно... И исходная, почти эпидемиологическая терминология: «заражение», «грязная зона», «перенос загрязнения», «зараженная одежда» А доктор Гейл, тот прямо так и говорил: «атомная эпидемия».

Все это вроде было знакомо, и в то же время все — вновь, все необычно, все впервые. За несколько дней, минувших с момента аварии, мы словно бы перешагнули из одной эпохи — доатомной — в эпоху неизведанную, требующую коренной перестройки нашего мышления. Суровой проверке подвергались не только человеческие характеры, но и многие наши представления и методы работы.

Судьба дала нам возможность заглянуть за край ночи, той ночи, которая наступит, если начнут рваться атомные боеголовки. Чернобыльская авария преподнесла человечеству ряд новых, не только научных или технических, но и психологических проблем. Людскому сознанию очень трудно смириться с той абсурдной ситуацией, при которой смертельная опасность не имеет каких-либо внешних признаков, не имеет вкуса, цвета и запаха, а лишь измеряется специальными приборами, которых в дни аварии не оказалось в наличии...

Авария показала, что человеку, если он хочет выжить, придется развивать новое, «приборное» мышление, дополняя органы чувств и уже привычные методы исследований окружающей среды (такие, как микроскопия, химические анализы) счетчиками Гейгера.

Опасность в Чернобыле и вокруг него была разлита в благоуханном воздухе, в белом и розовом цветении яблонь и абрикосовых деревьев, в пыли дорог и улиц, в воде сельских колодцев, в молоке коров и свежей огородной зелени, во всей идиллической весенней природе. Да разве только весенней?

Уже осенью 1986-го, будучи в Полесском районе, разговаривая с жителями сел Вильча и Зелена Поляна, я убедился в том, как непросто новые требования атомной эпохи входят в сознание, в быт людей. Привычный, многовековой уклад крестьянской жизни вступил в противоречие с новыми реалиями мира после чернобыльского: дозиметристы рассказывали, что наиболее трудно, почти невозможно, очистить от радиации соломенные крестьянские стрехи — крыши хат; очень опасно сжигание листьев — и в этом мы убедились сами, поднеся в Вильче дозиметр к костру, разведенному во дворе нерадивыми хозяевами: прибор отреагировал значительным увеличением цифр. Вот вам «и дым отечества нам сладок и приятен»... По той же причине не рекомендовалось употребление дров, ибо, по меткому выражению одного из врачей, каждая печь в Полесском превратилась бы в маленький четвертый реактор. В тексте повести, опубликованной в 1987 г. в журнале «Юность», я неосторожно написал: «По той же причине здесь запрещено употребление дров... Населению

завезен уголь». Доверился некоему официальному лицу, сказавшему мне это. И сразу же — и поделом! — поплатился за легкоеверие.

Из письма А. И. Филимонова, село Вильча:

«Даю справку. Все люди как топили дровами, так и топят. Я прошел и поспрашивал соседей. Везде кучи свежих дров, заготовленных на зиму. Углем топят только те, у кого центральное водяное отопление, и еще небольшая часть населения, кто и раньше топил углем. Большинство печей у нас просто не рассчитано на уголь. То, что так безапелляционно написано в статье Юрия Щербака «населению завезен уголь», — просто писательский вымысел. Поэтому я, с одной стороны, требую опровержения, а с другой стороны, если уж Вы невольно подняли эту тему, — помощи и разъяснения по этому вопросу с учетом того, что запрещения топить дровами нет и что в каждом доме у нас обычно две печи, так тут наберется хороший четвертый реактор. У меня трое детей — 9 месяцев, 3 года, 5 лет. Дети есть и у других людей».

Могу только просить прощения у читателей из села Вильча за невольную неправду. К сожалению, не в моих силах заменить дрова на уголь или газ в этом и во многих других селах Украины и Белоруссии, лежащих в зоне радиоактивного следа.

Кто мог до 1986 года знать, что повышенный уровень радиации обнаруживается на грибах, торфяниках, смородине, а в поселках — возле углов домов — там, где с крыш стекает дождевая вода...

Будучи неощутимой, опасность усилила у одних чувство неуверенности и страха, у других, напротив, вызвала эдакое бесшабашное пренебрежение: не один из таких удалцов поплатился здоровьем за свою «смелость», игнорируя простейшие и, надо сказать, довольно эффективные меры защиты.

Только объективное, не искаженное чьей-то «оптимистической» волей, не упрятанное за семь замков секретности знание реальной обстановки, только соблюдение рациональных мер защиты и постоянное контролирование уровней радиации может дать тем, кто находится в угрожаемой зоне, необходимое чувство уверенности.

То, что происходило в районах бедствия, было совершенно новым и необычным, не шло ни в какое сравнение с собы-

тиями, имевшими место во время эпидемий прошлого: ни по степени стремительно нараставшей опасности для населения, ни по сложности задач, вставших перед медиками, ни по масштабам передвижения людских контингентов. Колонны эвакуированных буквально «обрушились» на Полесский и Иванковский районы — а с ними и больные, немощные люди: «обычные» больные и уже «новые» — с лучевой болезнью. Был день, когда медикам Полесского района довелось принять более трех тысяч человек — цифра поразительная, если вспомнить и «нормы приема», и очереди в поликлиниках в обычное, «довоенное» время. Каждый обратившийся был выслушан, записан, продозиметрирован счетчиком Гейгера, каждому через час уже был сделан анализ крови, подсчитаны лейкоциты.

Вспоминаю, как побывал я в своеобразной лаборатории-общезитии, развернутой в иванковской центральной районной больнице. Импровизированное гематологически-диагностическое отделение работало круглосуточно. Здесь исследовалась кровь эвакуированных и обратившихся за медицинской помощью. За микроскопами сидели немолодые женщины из Киева, Харькова, Черкасс, местные лаборанты. А вторая смена в это время спала в соседней комнате... На лицах врачей и медсестер в те дни лежала серая печать усталости и недосыпания. Один врач, которого вспоминали добрым словом коллеги, выложился в первые дни несчастья и слег в психбольницу с тяжелым нервным срывом: дали себя знать запредельные физические и психические нагрузки...

Вспоминаю и своих старых друзей-медиков, выехавших немедленно на аварию, и тех, с кем довелось познакомиться в те дни, слышу их голоса. Это и заведующий терапевтическим отделением полесской ЦРБ Володя Елагин (называю его так, потому что он очень молод, этот славный светлоглазый парень) — он оказывал помощь пораженным, вывезенным из Припяти; это и начмед той же больницы Клавдия Ивановна Старовойт, которая рассказала мне, как трудно пришлось в самые первые дни, когда большинство медсестер больницы — молодые матери — уехали вместе с детьми подальше от радиации: можно ли их осуждать? Но работать-то надо было... Это и главный врач иванковской ЦРБ Петр Романович Ярмолюк, единственной неосуществимой мечтой которого в те дни было выспаться.

Одними из первых создавшуюся ситуацию объективно оценили санитарные врачи, по долгу службы осуществлявшие контроль за окружающей средой. Хотя большинство

районных учреждений Чернобыля было закрыто, однако в маленьком провинциальном домике с деревянными колоннами, подпирающими козырек над крыльцом, можно было и в начале мая встретить людей. Здесь размещалась Чернобыльская районная санитарно-эпидемиологическая станция. Ее главный врач Анатолий Петрович Миколаенко знал в Чернобыле каждый дом, каждый объект в районе. Неудивительно — работал уже десять лет главным врачом. Круглое добродушное лицо, украинская мягкость и неторопливость. И скромная, непоказная самоотверженность. После сигнала тревоги он организовал постоянный дозиметрический контроль за уровнем радиации (благо был в санэпидстанции дозиметр), принимал участие в эвакуации сел, попавших в зараженную зону недалеко от Припяти, позднее эвакуировал родной Чернобыль. Вывез сотрудников санэпидстанции, а сам возвратился в Чернобыль: надо было принять все меры к тому, чтобы в опустевшем городе не возникли эпидемические заболевания.

В Полесском районе мне довелось познакомиться с милыми супругами — санитарными врачами Врублевскими: Арнольд Францевич в «мирной», «дочернобыльской» жизни — врач-эпидемиолог, его симпатичная кареглазая жена Галина Павловна — врач-бактериолог; по своей профессии они, понятное дело, никакого отношения к вопросам радиологической дозиметрии не имели. Но после аварии на АЭС, расположенной по соседству, Врублевские, не ожидая указания сверху стали действовать так, как велела совесть.

### **Арнольд Францевич Врублевский:**

«Когда авария случилась, в субботу, я был дома, что-то там делал. Прибегает часов в пять главный врач и говорит: «Слушай, где у нас ДП наш, где он хранится?» Я говорю: «В химлаборатории». — «А она (лаборант) умеет на нем работать?» — «Нет». — «А кто у нас умеет?» Ну я говорю: «Я». — «Тогда поехали». И вот это все закрутилось. Я умел работать, потому что у меня группа эпидразведки, и я посчитал нужным обучить и себя и людей дозиметрии, потому как кто его знает, что может быть по гражданской обороне. Ну вот мы и начали работать. И сейчас уже обучили людей методам дозиметрии, человек тридцать. У нас в районе шестьдесят два села вместе с хуторами, и все это мы объезжаем — большинство сел объезжаем практически ежедневно, а некоторые — через день. Правда, в первые дни у нас был фактически один дозиметр ДП-5 на район, даже на два района. А теперь дозиметров

стало побольше, и мы планомерно работаем. Осуществляем контроль колодцев, почвы, пищи, молока, овощей. Частью колодцев в селах пришлось запретить пользоваться, остальные плотно закрыли, упрятали под полиэтиленовую пленку, следим за качеством воды. Скот в мае стоял на стойловом содержании, молоко колхозное идет на молокозавод. На базаре молоко продавать запрещено. К сожалению, некоторые люди пьют молоко, как мы ни боремся, как ни разъясняем. Люди говорят: «У меня сено есть прошлогоднее, я сеном кормлю». Многие не верят в опасность. Особенно старые люди. Отмахиваются. Больше всего людей куры беспокоят, потому что куры ходят по пыли и «набирают».

### **Галина Павловна Врублевская:**

«Радиологической службы у нас не было, и мы по чистой случайности стали этим заниматься. Жизнь заставила. Мы когда начали проводить дозиметрический контроль, сразу же составили карту и провели анализ. И поняли, что радиация распределена не равномерно, а пятнами. У нас в ряде сел был один уровень радиации, а одно село — с очень высоким уровнем, хотя оно и не входило в 30-километровую зону. Пришлось его выселить. Если посмотреть на карте — словно мечом разрубило район. Получился такой радиоактивный коридор. Куда ветер дул, туда и пошло. Мы теперь каждое утро справляемся о направлении и силе ветра. Это у нас один из самых главных показателей. Вот когда эту закономерность открыли, насчет неравномерного распределения уровней, мы сами себе намного повысили объем работы — стали больше замеров делать. Чтобы помочь людям».

Очень важно в нравственном смысле, когда руководители показывали пример своим подчиненным. В Иванкове, в больнице (мы ночевали прямо в хирургическом отделении) пришел вечером к нам в палату главный врач Севастопольской станции «Скорой помощи» Валерий Юрьевич Балаковский: он приехал из Крыма во главе колонны краснокрестных машин. «Теперь, — сказал он, — мне никто не скажет ни слова, когда я буду сюда отправлять следующую бригаду. Иначе поступить я не могу».

Иначе поступить он не мог.

Но были и такие, что поступали иначе. Вот молодой врач из Полесского района, бросивший в самые трудные дни свою

сельскую больницу и своих больных на попечение... медсестры; сам же стремительно смылся в неизвестном направлении. Вот женщина-врач из Донецка, направленная на помощь в составе одной из бригад. Уже в первый день пребывания вблизи опасной зоны она струсила и стала уговаривать своих коллег подделать (!) анализы крови; когда же те не пошли на такую низость, она сбежала, бросив дозиметр. Возмущенные товарищи изгнали ее из коллектива — и тогда она обратилась в Минздрав УССР с жалобой и с требованием направить ее — думаете, в Чернобыль? — нет! На санаторно-курортное лечение. Самолично читал ее заявление, эту смесь лжи и цинизма.

Вот молодой парень-хирург из прославленной киевской кардиологической клиники Николая Михайловича Амосова. Он отказался выехать в Збну. Можно понять гнев и недоумение Николая Михайловича Амосова — большого хирурга, большого человека, пропахавшего всю Отечественную от звонка до звонка, да еще и японской кампании хлебнувшего. В документальной повести «ХППГ—2266» Н. М. Амосов рассказал о войне, о несчастьях, о достоинстве врача, о том, как важно любому человеку, а особенно врачу «не потерять лица»

## ОДИН ИЗ «МАЛЕНЬКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ»

«На фотографии наша команда «All Stars» выглядит как схема количественного роста человечества со времен Мальтуса и до наших дней. Мы стоим на мостках над морем, взявшись за руки, — вся команда, от самого маленького до самого большого. Первый — Максим, второй — Бонди, третий — Юрек, четвертый — Славко, пятый — Илько, шестой — Леня, седьмой — Ленин отец, который почему-то затесался в нашу компанию, восьмой, и последний, — я (сто восемьдесят сантиметров роста, девяносто пять килограммов веса). Мы крепко держимся за руки, словно живая цепь поколений, и кажется, никакая сила не сможет разорвать и разъединить нас. Первым стоит маленький Максим, и я удивляюсь, почему на фотографии у него нет ангельских крыльев? Я сам видел эти белые с золотом крылья, они висят у него дома на стене; возможно, его отец, боясь, чтобы Максим не запутался в проводах, которых так много в городе, запрещает Максиму пользоваться этими крыльями. А может, есть еще какая-то неизвестная мне причина. Во всяком случае, у меня нет сомнений относительно

ангельского происхождения Максима. Худенькое тело и тонкую шейку венчает большая высоколобая голова; волосы подстрижены под горшок. На лице сияют огромные серые глаза — сияют всегда доброжелательно ко всему, что окружает Максима».

Прошу прощения у читателей за самоцитату, но она просто необходима: это отрывок из моего рассказа «Маленькая футбольная команда», написанного в 1970 году. Рассказ был посвящен памяти молодого киевского поэта Леонида Киселева, умершего от острого лейкоза. Почти все герои этого рассказа — реальные люди, хотя и написан он в гротескно-фантастической манере. И маленькая футбольная команда была, и Юрек, и Бонди, Славко, Илько, и конечно же Максим.

Максим Драч. Сын большого поэта Украины Ивана Драча.

Я давно знаю и люблю Максима и смею уверить читателя, что нисколько не преувеличивал, когда описывал ангельскую его наружность и черты характера. Должен сказать, что таким Максим и остался, несмотря на мутации голоса и на то, что вымахал в худого и тонкого, как жердь, парня: остался очень добрым и очень светлым мальчиком, хотя какой же он сегодня мальчик?

В 1974 году Иван Драч издал книгу «Корень и крона», содержащую цикл стихов, посвященных строителям Чернобыльской атомной электростанции и города Припять. Основное звучание этих стихов было оптимистическим, и это естественно: ведь именно Иван Драч вошел — нет, не вошел, а ракетой ворвался в украинскую поэзию как вестник новых времен, новых могучих ритмов эпохи научно-технической революции. Есть у него стихи о генетике, кибернетике, о физиках-атомщиках; глубинные фольклорные, песенные начала украинской поэзии каким-то удивительным образом сочетаются в нем с обостренным восприятием того «странного мира», к которому стремительно примчалась цивилизация XX века. В стихотворении «Полесская легенда» река Припять вела диалог с птицами и рыбами, бьющимися в тревоге от атомного соседства. Река объясняла, что Атому «замок из стали строят — и через десяток лет по всему свету возведут ему непоколебимые атомные троны». Уже в этом, достаточно романтическом восприятии строительства Чернобыльской АЭС, сквозь бодрую тональность стиха проскальзывала едва скрываемая тревога за судьбу полесской природы, пораженной своей перевозчанной чистотой. Еще более тревожным, интуитивно провидческим оказалось другое стихотворение Драча из того

же цикла: «Мария с Украины № 62276: от Освенцима до Чернобыльской атомной», в котором поэт рассказывал о Марии Яремовне Сердюк, строительнице Припяти, человеку удивительной судьбы, простой украинской женщине, прошедшей через ад Освенцима и оставшейся не поколебленной в своей доброте и любви к людям. «Маленькая женская судьба, ты фениксом над Освенцимом взлетела и вспыхнула, чтоб осветить над Припятью Атомоград» — так завершал эти стихи поэт. Какие неясные, тревожные гулы рождались в его душе в те дни, когда в краю речек, песков и сосен лишь намечались первые контуры атомной станции, нависшей над Киевским морем и Киевом? Мог ли думать Иван Драч, что сыну его, Максиму, придется выйти на борьбу с атомной бедой Чернобыля?

**Максим Иванович Драч**, студент шестого курса лечебного факультета Киевского медицинского института:

«Об аварии я впервые услышал утром в воскресенье, двадцать седьмого апреля. Я работаю в реанимационном блоке кардиологического центра в больнице имени Октябрьской революции. Работаю фельдшером. «Старшим, куда пошлют». Пришел я утром в девять часов на дежурство. В половине десятого одна женщина (ее муж — майор внутренней службы) сказала: «Моего куда-то забрали, вроде какая-то атомная станция взорвалась, но я думаю, что это шутка». Но в двенадцать дня нам позвонили и сказали, что в связи с аварией на Чернобыльской АЭС мы вместе с отделением общей реанимации должны развернуть сорок коек на четвертом этаже. Наш блок на втором этаже. Пошел я на четвертый — готовить отделение Больных перевели в другие отделения, поменяли постели, подготовили все медикаменты, кровезаменители и другое. Никто не знал, с чем нам придется иметь дело.

В шесть часов вечера нам сказали, что на пропускнике уже есть первые больные из Припяти. Пошли мы их принимать — наши дежурные врачи, из отделения радиоизотопной диагностики и общей реанимации. Увидели их. Это были в основном молодые парни — пожарные и работники АЭС. Сначала они пошли наверх со своими вещами, а потом прибежал перепуганный врач-дозиметрист и кричит: «Что вы делаете? Они же «светятся»!»

Спустили всех вниз, измерили и повели их мыть не на пропускник, а в отделение радиоизотопной диагностики, в котором вся вода собирается в контейнеры и вывозится. Это

было мудро, потому что пропускник не загрязнили. Дали им наши операционные пижамы — и в таком виде повели наверх.

Первых было двадцать шесть человек. Я ходил наверх к ним.

Мы их не очень-то расспрашивали, было не до того. Все они жаловались на головные боли, слабость. Была такая головная боль, что стоит здоровый двухметровый парень, буквально бьется головой о стену холодную, говорит: «Так мне легче, так меньше болит голова».

Ну, мы сразу начали им делать гемадез, переливать глюкозу. Всех сразу положили на капельницы, организовали это хорошо. Я бегал между блоком и отделением. Поскольку я работаю в больнице уже три года, всех знаю, где что взять — знаю, я ходил за системами, всякие технические дела, то да се. Был там мой однокурсник, Андрей Савран. Он тоже работает в реанимации, только в общей. Он в принципе в тот день не работал, просто зашел на кафедру забрать свои фотопринадлежности. Ну и остался работать. Раз надо — то надо. Врачей и персонала было там очень много.

Больные сказали нам, что горит, что взорвался реактор, что песок грузили, а что там конкретно — не было времени поговорить, да и состояние у них такое, что не до разговоров.

Дежурил я до утра.

На следующий день пошел, как обычно, на лекции в мединститут. Первого мая я снова дежурил, но уже в кардиоблоке. Знал, что больных уже больше и что собираются для них освободить еще один этаж. Восьмой.

Второго мая по телевизору сообщили, что в район Чернобыля прибыли Е. К. Лигачев и Н. И. Рыжков, и я подумал, что без нас, студентов-медиков, не обойдется, раз уже на таком уровне дело идет. Чисто аналитически я высчитал, что намного легче собрать организованных студентов, чем врачей по больницам. А четвертого мая утром, во время первой лекции, пришел наш замдекана и сказал, чтобы собирались парни, что в одиннадцать часов мы уезжаем. Я пошел домой, взял куртку, свитер, штаны, кроссовки, рюкзак, шапку, чего-то поесть... Посадили нас в шикарный автобус, который возит интуристов. Туда хорошо ехали. А возвращались оттуда сорок человек в автобусе на восемнадцать мест. Ладно. Переживем.

Собрались мы в мединституте перед отъездом возле кафедры радиологии, там нас всех измерили. Объем работ поначалу не был известен. Говорили о работе в стационарах, госпиталях — вплоть до того, что землю грузить и траншеи копать.

Я взял с собой два операционных костюма и маски на всякий случай.

Сели в автобус, настроение веселое, шутили. Перед отъездом нам дали калий йод. Там один деятель на нас накричал: «Когда эти бездельники уже уедут?» — так ему на голову кто-то через окно вылил из мензурки этот калий йод, когда автобус отходил. Смеялись страшно.

Приехали в Бородянку, в районную больницу. Нас распределили по селам, по больницам. Подошел к нам один очень важный медицинский начальник из Москвы, слегка «под газом». Рассказал, чем будем заниматься, мол, что сегодня начинается эвакуация 30-километровой зоны. Кто-то из наших спрашивает: «А как насчет сухого закона?» Он говорит: «Ребята! Сухого закона в прилегающих районах нет. Пейте, сколько выпьете. Лишь бы могли работать. Только помните, что вы студенты-медики, и не падайте лицом в грязь, потому что она радиоактивна».

Нас повезли по селам. Из села в село перевозили, оставляли для усиления медперсонала. Я попал в Клавдиево. Разместились в больнице, в палате. Мы вдвоем с приятелем, Мыколою Михалевичем из Дрогобыча. Положили вещи, это уже было ночью, и поехали на дорогу. Стали там, чтобы контролировать машины, которые ехали из Чернобыльского района. У нас был один дозиметр стационарный, на кабеле, от машины работал, и два ДП-5 на батарейках было. Ночью часов до двух мы простояли, потом главный врач нас забрал и до шести утра я поспал. А в шесть часов он говорит: «Хлопцы, кто-то один, пойдем со мной». Я привык на работе так резко вставать, говорю: «Я поеду». Поехали куда-то далеко, на дорогу. Помню — поле, а в поле стоят дезинфекционные камеры, пожарная машина, стоит стол, на столе стаканы и хлеб. И «скорые помощи» — из Полтавы и Житомира.

Там мы проводили дозиметрический контроль — проверяли фон в автобусах, машинах, на одежде людей.

Работал я там с семи утра пятого мая до десяти часов утра шестого мая. Полные сутки с довеском.

Было прохладно, и я на куртку накинул медицинский халат. Но это не только для того, чтобы видели, что я медик, а чтобы не наехали. Потому что белый халат на дороге хорошо видно — затормозят или объедут.

Сначала движения особого не было. Летали над нами большие военные вертолеты, в камуфляже, они очень быстро летают. Летали над головами низко, уши закладывало. Движение на дороге как-то пульсировало. Большая волна пошла

с десяти часов утра до часу дня. Шли киевские автобусы, в основном «Икарусы», в колонне по семнадцать — двадцать машин, были автобусы обуховские, новоукраинские — знакомые все места, потому я запомнил.

В автобусах сидели люди. В основном из села Залесье. Это в двенадцати километрах от Чернобыля, колхоз «Перемога». Тогда еще не все выехали, потому что часть людей осталась в селе — грузить скот...»

Помню, как в те дни сплошной вереницей навстречу тем, кто ехал в район аварии, шли грузовики, груженные коровами. Животные безучастно стояли в кузовах, уныло глядя на цветущие деревья, побеленные к празднику хаты и заборы, на ярко-зеленую траву и весенний разлив речушек. Возникли очень сложные проблемы с дезактивацией крупного рогатого скота, так как шерсть «набрала» достаточно радиоактивной пыли. Те же коровы, что успели попасться на лугах и полакомиться свежей травкой, еще и внутрь приняли радиоактивный йод и цезий. Таких животных убивали на мясокомбинатах, а их мясо собирали в специально выделенные для этого хранилища-холодильники, где оно должно было постепенно освободиться от радиоактивности, определяемой йодом-131 — изотопом с коротким периодом полураспада.

### М. Драч:

«В наших бригадах были еще девчата-лаборантки, они сразу брали у людей кровь на лейкоциты. Много было вещей в автобусах, и мы измеряли дозиметрами эти вещи.

Сначала образовались пробки, потом мы приспособились так, чтобы в три ряда пропускать автобусы, чтоб не было столпотворения. Один измеряет сам автобус, а двое — людей. Люди выходили из автобуса, вставали в очередь и по одному подходили ко мне. До какого-то уровня мы еще пропускали. Тех, у кого уровень был выше, — посылали на помывку, чтобы вещи от пыли отряхнуть. Был случай, когда у одного деда сапоги «считали» очень много. «Та я мыв чеботы, хлопци», — говорит он. «Идись, диду, и ще потрусуть трэба». Пошел, помыл сапоги — и у него уже был меньший уровень. Его посылали три или четыре раза мыть.

Почти не было людей в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Почему? Нам говорили, что они или удрали — бывало, что и детей, и родителей своих оставляли, — или оста-

лись там работать. Поэтому шли в основном старые, сгорбленные деды и бабы и маленькие дети. Еще детям щитовидную железу измеряли. Мы имели указание, что если щитовидка в два раза больше фона «считает», то этого ребенка надо госпитализировать. Я таких не видел.

Пройдя контроль, люди снова садились в автобус. Считалось, что он вымыт. Их действительно мыли. Правда, я встречал автобусы с высоким уровнем. Ребята наши выловили «КамАЗ» — страшно, что он имел на себе. Он из Припяти был. Тот «КамАЗ» отогнали сразу в поле, метров за шестьсот, и бросили.

И вот так весь день шли колонны. Под вечер начали везти имущество людей. Отдельно везли громоздкие вещи. На тракторах «Ковровец» с прицепами. Мы поймали десяток очень «грязных» — с запыленными вещами — прицепов. Их отправили на мойку.

Ночью мы поставили на столе фонарь и в халатах сидели. Шли отдельные автобусы с людьми, догоняли свои колонны. Запомнил: идет трактор «Беларусь», а в кабине рядом с трактористом дед старый, отец его, наверно. Дед везет курицу и собаку. И говорит еще: «Собаку мою помирятэ». Я говорю: «Диду, вытряхнуть собаку добре, колы прийдете».

Был еще один милиционер, парень молодой, на «газике». Говорит: «Кумэ, помирйя мэни радиацию». Я говорю: «Кумэ, ты вылазь». А он: «Кумэ, нэ могу вылизты. Я так наиздывся, так ту радиацию навывозывся, що не могу выйти з кабины. Давай я тоби ноги выставлю...» Свесил он мне ноги, я померил — много! — и говорю: «Кумэ, трэба чеботы труксыты».

Потом, когда закончилась эвакуация, мы проводили медосмотры, сопоставляли данные анализов крови с другими данными. Брала на обследование — в больницу — тех, кто плохо себя чувствовал. Я перевозил этих людей.

Шестого мая привезли нам защитную одежду: черные комбинезоны, шапочки, сапоги, респираторы. Сказали, что корреспонденты едут.

А восьмого мая нас отправили в Киев. Пришла смена нам — приехали ребята со стоматологического факультета.

Ну, я десятого мая пошел на занятия, как обычно, и вернулся на работу в Октябрьскую больницу. В мае было много своих больных, инфарктных, — видимо, стресс сказался, мы в блоке много работали.

Числа одиннадцатого-двенадцатого мая я заметил, что

очень много сплю — и не высыпаюсь. Я обычно сплю пять-шесть часов — и высыпаюсь полностью. А тут сплю по восемь — двенадцать, по четырнадцать — и не высыпаюсь. И какой-то разваренный, ленивый стал. Сделали анализ крови мне и положили на восьмой этаж в нашем же отделении»

В палате на восьмом этаже кардиологического корпуса лежали на обследовании студенты Киевского медицинского института, работавшие на ликвидации последствий аварии: Максим Драч, Дима Пятак, Костя Лисовой, Костя Дахно и Володя Бульда. С профессором Леонидом Петровичем Киндзельским мы приезжали в отделение — профессор консультировал студентов, смотрел их истории болезни, изучал результаты анализов крови. Впоследствии Максиму Драчу довелось познакомиться с доктором Гейлом, посетившим в начале июня Киев.

Сейчас Максим Драч и его друзья здоровы, им ничто не угрожает Впереди — выпускные экзамены. Но свой первый, самый важный экзамен на гражданскую зрелость они уже с честью сдали, и я горжусь своим героем. Они — «не потеряли свое лицо».

В рассказе «Маленькая футбольная команда» я предсказывал маленькому Максиму Драчу такое будущее: «Думаю, и него вырастет странствующий философ, Скворода XX века».

Я ошибся.

Из Максима, не сомневаюсь, выйдет прекрасный врач, отзывчивый и чуткий, который, как и Скворода, будет нести добро людям, но добро, подкрепленное новейшими техническими достижениями медицины XX века. И будет Максим умудрен уже в самом начале своей медицинской деятельности уникальным опытом, приобретенным в дни большой народной беды, когда увидел он, как все непросто и противоречиво, как высокое и низкое соседствует в потоке тревожных событий.

...После консилиума мы вышли с Максимом на просторную террасу-балкон кардиологического корпуса, стоящего на горе. Отсюда открывался эпический вид на Киев — вечный город, застывший на приднепровских весенних холмах.

Стояли, смотрели, думали.

Что же происходило в те дни в Киеве?

## ВИД НА КИЕВ

Жаркий май 1986 года наложил свои новые приметы на Киев: и без того чистый город был в те дни вымыт, вылизан до непостижимой степени. Непрерывно, целыми днями ходили по городу машины-поливалки, шевеля водяными усами, смывая с горячего асфальта пыль, хранящую в себе радионуклиды. Всюду при входе в дома, учреждения, магазины и даже церкви лежали мокрые тряпки, и бесконечное вытирание обуви стало неременным признаком хорошего тона. По-прежнему многолюдными оставались улицы города, но если присмотреться внимательнее — можно было заметить, что в Киеве резко уменьшилось число детей: в первые дни мая город бросился вывозить своих детей всеми способами — организованными и неорганизованными, в поездах, самолетах, автобусах и «Жигулях». На запад, юг и восток двинулись огромные колонны легковых автомобилей с пожитками на крышах. Ехали родители, вывозя детишек, дедушек и бабушек, ехали к родственникам и знакомым, а многие — куда глаза глядят, лишь бы подальше от радиации.

В сообщениях печати тех дней подчеркивалось, что Киев и Киевская область живут нормальной жизнью. Да, люди не дрогнули перед бедой, люди боролись с аварией и ее последствиями — и внешний облик города мало в чем изменился, и внутренняя, самая жизнестойкая сущность его сохранилась, ибо в нем нормально работали предприятия, транспорт, магазины, институты, учреждения, функционировала (правда, с небольшими перебоями) связь, выходили газеты.

...Казалось в те дни, что никогда так много не встречалось в городе красивых девушек, что не было столь чарующей весны в его истории. Никогда не забуду, как, возвратившись из Чернобыля, я попал в вечерние сумерки, спускавшиеся на Киев. Все было такое привычное: над станцией метро «Левобережная» темнел силуэт недостроенного гостиничного небоскреба. Напротив, на стоянке, поблескивали крышами легковые автомобили — словно стая разноцветных рыб прибилась на ночевку к этим песчаным землям. Поезд метро стремительно приблизился к мосту, чтобы нырнуть в толщу киевских гор и прогрохотать к Крещатику. Днепр под метро-мостом распирало от половодья, его уходящие во мглу просторы были по-гоголевски огромны и патетичны. На набережной целовались влюбленные парочки, усталые люди возвращались в свои дома — и все эти простые, обычно не трогающие нас картины жизни многомиллионного города вдруг потрясли

меня до глубины души, словно пришло озарение, понимание какого-то очень важного сдвига, происшедшего в сознании за последние дни. Этот мирный вечер показался мне пронзительно прекрасным, будто я навсегда прощался с весной, с городом и с самой жизнью.

В тревожном свете аварии, чтостряслась совсем недалеко — всего в двух с половиною часах ходу на автомобиле, — в дни, когда было обострено до предела чувство опасности. Потом это прошло.

Днепр, горы, дома и люди — все обыденное казалось мне тогда необычным, словно сошедшим с экрана научно-фантастического фильма. Особенно часто в те дни вспоминался фильм Стенли Крамера «На последнем берегу» — о том, как после третьей, и последней, в истории человечества атомной войны Австралия обреченно ожидает прихода радиоактивного облака. Самым странным и неправдоподобным в фильме казалось то, что в критической ситуации люди живут как и прежде, не изменяя своим привычкам, сохраняя внешнее спокойствие, существуя словно бы по инерции. Оказалось, что это — правда. Привычки у киевлян остались прежние.

Однако патриархальный, древний город с его золотыми куполами соборов, хранящих память веков, за каких-то полмесяца всего преобразился непостижимо, прочно соединившись с обликом новой атомной эпохи. Из звонкой метафоры, всеу повторяемой до аварии, это словосочетание («атомная эпоха») превратилось в суровую действительность: слова «дозиметрический контроль», «радиация», «дезактивация», все эти «миллирентгены», «бэры», «рады», «греи» и «зверты» прочно вошли в лексикон киевлян, а фигура человека в комбинезоне, с респиратором на лице и счетчиком Гейгера в руках замелькала всюду, стала привычной, равно как и скопища автомобилей перед въездами в Киев: на всех КП был введен дозиметрический контроль машин.

На киевских рынках с прилавков исчезло молоко и молочные продукты, запрещены были к продаже салат, щавель, шпинат. Другие дары украинской земли — редиска и клубника, молодая картошка и лук — подвергались дозиметрическому контролю. «Та ий-богу, нэмае той радиации», — божились крестьянки на Бессарабке, продавая клубнику по баснословно дешевым ценам. Но мало кто ее брал.

И, как это всегда бывает, непонятную жизнь взрослых стали копировать дети. И вот на Русановке мне уже довелось

увидеть, как дети с палочкой в руках бегают по кустам, словно дозиметром измеряя фон. Играют в радиацию. А одна девочка, закутавшись в простыню, ходила по подъезду дома и, сделав «страшные» глаза, говорила загробным голосом: «У-у, я радиация, прячьтесь все от меня. Я злая и страшная...»

«В Киеве — деловая, рабочая обстановка», — утверждали газеты, радио и телевидение, и это была правда. Древний Киев сохранил свое лицо, свое достоинство и перед самим собой, и перед нашей страной, перед всем миром — это неоднократно подчеркивали с удивлением и уважением гости столицы Украины.

Это так.

Но существовал в те дни и другой Киев, упрятанный от посторонних взглядов, не привлечший внимания газет и телевидения, и не упомянуть о нем значило бы утаить часть правды, исказить сложный образ событий. Был город возбужденных толп перед билетными кассами железной дороги и Аэрофлота. Были дни, когда трудно было попасть на вокзал даже тем, у кого уже имелись билеты, — приходилось вмешиваться милиции. В четырехместных купе выезжали по восемь — десять человек; за билет в Москву стоимостью пятнадцать рублей спекулянты требовали до ста рублей. Чуть ли не до слез меня тогда растрогал, хотя я и не очень сентиментален, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Киевского института проблем онкологии Евгений Львович Иерусалимский, человек, с которым мы познакомились всего за три дня до всей этой истории. Он пришел ко мне и предложил билет на Москву для дочери. И пусть билет не понадобился, — в те дни такое предложение было знаком самой верной дружбы... В те дни, как и во время войны, мгновенно изменился ряд привычных представлений. Особую значительность и ценность вновь приобрели такие вечные понятия, как верность, порядочность, долг. Во многих киевских квартирах раздавались в мае телефонные звонки из разных городов Советского Союза. Звонили друзья, родственники, знакомые — приглашали в гости. Но были и такие, что не звонили, хотя, казалось, по всем дочернобыльским законам дружбы обязаны были бы это сделать.

Я долго — целый месяц — ждал звонка из Москвы от одного человека, которого считал истинным другом, который подолгу, бывало, гостил у меня. Не дождался. Но зато совершенно неожиданно позвонил из Баку армянский писатель Геворг Михайлович Агаджанян, живущий в столице Азербайджана, с которым один только раз в жизни я случайно

встречался в Киеве,— он предложил прислать к нему дочь на лето...

Много странных и неожиданных вещей пришлось познать в те дни. Как вы думаете, за чем выстроились очереди в начале мая в универмаге? За финскими костюмами, западногерманскими туфлями «Саламандер» или югославскими дубленками? Нет. За чемоданами и сумками.

Киевские квартиры в те дни буквально вспухали от разговоров и слухов, от споров и пересудов, от домыслов и реальных фактов. Принимались и отменялись немедленно решения, выдвигались фантастические проскты, пересказывались анекдоты и правдивые истории. По городу ходили упорные разговоры о черных «Волгах», подъезжающих к привокзальной площади, о длинных очередях за авиабилетами в кассах, расположенных в некоторых наиболее приметных зданиях столицы...

Да, паники в Киеве не было. Но существовала огромная тревога за здоровье и детей, и взрослых — и к этому беспокойству тоже стоило прислушаться.

Всем памятны фотографии разрушенного реактора, облетевшие нашу прессу. Разломы стен и перекрытий, завалы, обломки у основания реактора. Даже люди, ничего не понимающие в атомной энергетике, были потрясены противоестественным видом реактора. Специалистам же было ясно, что произошло нечто беспрецедентное по своим масштабам.

Из доклада Советского Союза, представленного во Всемирную Метеорологическую Организацию:

«В результате аварии значительное количество радионуклидов, накопившихся в реакторе за время его работы, вышло за пределы станции.

В момент аварии образовалось облако, сформировавшее затем радиоактивный след на местности в западном и северном направлениях в соответствии с метеорологическими условиями переноса воздушных масс. В дальнейшем из зоны аварии в течение длительного времени продолжала истекать струя газообразных, летучих и аэрозольных продуктов. Наиболее мощная струя наблюдалась в течение первых 2—3 суток после аварии в северном направлении, где уровни радиации 27 апреля достигали 1000 миллирентген/час, а 28 апреля — 500 миллирентген/час на удалении 5—10 км от места аварии (на высоте 200 м)... Порции загрязненных воздушных масс (облака и порции струи радиоактивных продуктов) распростра-

нялись в соответствии с направлением ветров на большие расстояния по территории СССР.

Метеорологические условия распространения воздушных масс в районе АЭС с 26 по 29 апреля 1986 г. практически определили основную зону сформировавшихся ближних радиоактивных выпадений в северо-западном и северо-восточном направлениях от АЭС... В дальнейшем значительный выход радиоактивных продуктов из зоны АЭС и их перенос продолжались преимущественно в южном направлении вплоть до 7—8 мая 1986 г., обусловив радиоактивные выпадения в южном направлении.

...Полученные данные показывают, что характер загрязнения атмосферы и местности первоначально имеет скачкообразный характер. В течение короткого времени значения концентраций превысили те, что наблюдались за предыдущий день, на 2—3 порядка величин (то есть в 100—1000 раз.— Ю. Щ.)... Время наступления максимума различно для различных пунктов: Киев — 30 апреля — 2 мая (начало 29 апреля), Гомель — 28—29 апреля» (Ю. А. Израэль, В. Н. Петров, С. И. Авдюшин, Н. К. Гасилина, Ф. Я. Ровинский, В. А. Ветров, С. М. Вакуловский. «Радиоактивное загрязнение природных сред в зоне аварии на Чернобыльской атомной электростанции». — В журн. «Метеорология и гидрология» 1987, № 2, с. 5—18).

К этому стоит добавить, что по данным советских экспертов, представленным в МАГАТЭ, выбросы во время аварии характеризовались неравномерностью в интенсивности и длительностью. В течение первых суток было выброшено только 25% общей суммы радиации, остальное количество — в течение первых девяти суток после аварии. Итак — 26 апреля — четверть всей радиации, с 27 апреля по 2 мая интенсивность выбросов снизилась в 6 раз, и с 3 мая интенсивность выбросов неожиданно вновь возросла и достигла примерно 70% размеров первоначального выброса. На 10-е сутки — резкий спад активности до 1% первоначального уровня. Общая радиоактивность выбросов, не считая полной точки благородных газов (ксенона и криптона), по мнению экспертов, составила от  $1 \cdot 10^{18}$  до  $2 \cdot 10^{18}$  беккерелей ( $3 \cdot 10^7$  —  $5 \cdot 10^7$  кюри). Иными словами, до 500 миллионов кюри (для сравнения укажу, что годовой «нормальный» выброс АЭС составляет не более 300 кюри.— Ю. Щ.) (из «Заключительного отчета о заседании группы экспертов МАГАТЭ», Серия 75, МАГАТЭ, Вена).

Итак, ничто уже не зависело от воли человека. Главным

действующим лицом этой радиологической драмы стал ветер, его капризы и прихоти.

Тридцатого апреля ветер принес радиоактивное облако в многомиллионный Киев. Отчетливо помню тот день — я пришел в Министерство здравоохранения УССР, чтобы предложить свою помощь: к тому времени польские радиостанции ежечасно информировали население о сложившемся положении, приводили конкретные данные об уровнях радиации и рассказывали, что следует предпринять людям, как защитить детей, и я по наивности посчитал, что и медики Украины должны — обязаны! — выступить с подобными заявлениями; и хотя я не был специалистом в области радиологической медицины, но подумал, что может пригодиться мой писательский опыт при составлении обращения к населению.

Среди врачей нарастали беспокойство и напряженность, в министерских коридорах и кабинетах вполголоса произносились уровни радиации (данные поступали из разных районов Киева), и конечно же речь шла о принятии экстренных предупредительных мер. Не один я, естественно, думал об этом. Мое предложение поддержал тогдашний врач республиканской санитарно-эпидемиологической станции Г. К. Сергеев. Вместе с ним вошли мы в кабинет министра здравоохранения. Его хозяина — А. Е. Романенко — в те дни не было в Киеве: он с делегацией<sup>\*</sup> находился в США. Министерское кресло занимал его заместитель — А. М. Касьяненко. Едва услышав наше предложение, он в свойственной «большим начальникам» жестко-волевой манере резко заявил, что нас сюда не вызывал. И мы перестали для него существовать. Потоптавшись, мы вышли. Из окон кабинета было видно, как на детской площадке весело бегают малыши.

Несолоно хлебавши я пошел по городу. В аптеке на Печерске уже выстроилась очередь вежливых пенсионеров, закупавших йодные препараты — видно, слушали радио Швеции, или еще кто им сообщил о необходимых мерах профилактики. На улице Свердлова, прямо на улице, продавали кроссовки, и толпа штурмовала ларек. Обладатели кроссовок со счастливыми лицами выбирались из очереди, прижимая к груди картонные коробки... Все шло как обычно — и я вдруг подумал, что живу в каком-то абсурдном мире, который и не снился Кафке, Беккету или Ионеско. Ведь если бы я встал посреди киевской улицы и стал кричать об опасности, люди в лучшем случае посмотрели бы на меня как на сумасшедшего. В худшем — как на опасного политического провокатора... Во дворе

своего дома я сказал об опасности соседу, гулявшему с маленьким сыном. Он поверил...

Многие, очень многие обвиняют сейчас медиков — почему не предупредили, почему не выступили раньше? Я не хочу выгораживать своих коллег — на их совести немало грехов, о которых речь впереди, — но справедливости ради я хочу подчеркнуть, что не медики командуют каналами массовой информации. И самые важные решения принимают тоже не медики. А решения были необходимы. Уже в конце апреля стоило крепко задуматься над целесообразностью проведения праздничных первомайских демонстраций в Киеве и примыкавших к Зоне районах — особенно с участием в них детей. Уверен, что любовь советских людей к Первомаю, их патриотические чувства ничуть бы не ослабели в результате отмены демонстрации. Мне рассказывали, как была отменена в Белоруссии одна из первых послевоенных первомайских демонстраций... из-за дождя. И что произошло? Точно так же в 1986 году народ бы правильно понял необходимость аварийных ограничений и временного отсутствия детей на улицах. Оценил бы с благодарностью. Потому что не выдерживают сопоставления фотографии разрушенного реактора и улыбающихся детей с цветами в праздничных колоннах. А разве нельзя было в праздничные дни попросить людей, заполнивших парки, пляжи и пригородные леса, выехавших на дачи, воздержаться временно от этих радостей весны? Люди поняли бы это.

Могут возразить: по уверениям специалистов уровни радиации в Киеве не превышали предельно допустимые нормы, из-за чего, мол, огород городить? Но есть еще и предельно допустимые нормы тревоги и беспокойства, превысившие в те дни все мыслимые уровни.

Нельзя, неправильно было бы в те дни игнорировать страх, порожденный радиацией, и бороться с ним либо при помощи молчания, либо путем бодро-оптимистических заявлений. Ведь в течение десятков лет газеты, радио, телевидение, научно-популярные журналы сами порождали, воспитывали этот страх, расписывая ужасы атомной войны, все ее соматические (телесные) и генетические последствия. И хотя масштабы чернобыльской аварии и ядерного взрыва просто несопоставимы, тем не менее страх перед радиацией оказался весьма силен. И уменьшить его, смягчить психологические последствия аварии можно было бы скорейшим объявлением простых профилактических мер. Как гласит народная пословица — «береженого бог бережет».

Я писал в те дни и сейчас могу повторить с еще большей резкостью и определенностью: один из самых суровых уроков первого, да и последнего тоже, месяца «чернобыльской эры» был преподан нашим средствам массовой информации. Стремительное развитие событий резко сократило время, необходимое на раскачку, на различного рода согласования и увязки. Запомнились несколько тяжелейших дней в нашей жизни — от двадцать шестого апреля до шестого мая, — когда налицо был дефицит отечественной информации; зато разгулялись на волнах эфира чужеземные радиостанции, буквально терзавшие души тех, кто бросился к приемникам. Не будем услаждать себя враньем — таких было много, ибо природа не терпит пустоты, в том числе и информационной. При этом был нанесен не только идеологический, но и медицинский ущерб. Сейчас уже трудно подсчитать, сколько людей пребывало в те дни в условиях сильнейшего стресса, в неведении и страхе за жизнь своих детей и близких, за свое здоровье.

Только шестого мая по республиканскому телевидению к населению обратился министр здравоохранения УССР А. Е. Романенко. Он, в частности, сказал:

«Метеорологические условия, складывавшиеся первоначально, вообще исключали распространение радиоактивных веществ в сторону города... Однако в последнее время изменились направление и сила ветра, что привело к некоторому повышению уровня радиоактивного фона в городе и области. Такой уровень радиации не опасен для здоровья и не является препятствием для обычной трудовой деятельности. Тем не менее Минздрав республики считает целесообразным довести до сведения жителей Киева и области рекомендации, соблюдение которых позволит существенно снизить степень возможного воздействия радиоактивных веществ на организм. Необходимо ограничить по возможности время пребывания на открытой местности детей и беременных женщин. Прежде всего необходимо принять во внимание, что радиоактивные вещества преимущественно распространяются в виде аэрозолей, поэтому в помещениях целесообразно закрыть окна, форточки, исключить сквозняки...»

Нетрудно понять, какое грозное впечатление произвели эти в общем-то простейшие и долгожданные рекомендации как на «катастрофистов» — распространителей всевозможных панических кривотолков, так и на бодряков-«оптимистов», твердивших до этого только одно: «все хорошо, прекрасная маркиза». В городе в майскую жару можно было встретить странные фигуры, закутанные с ног до головы в старые одея-

ния, в фуражках, шляпах или косынках, закрывающих чуть ли не пол-лица, в перчатках и чулках... Это были «катастрофисты», мобилизовавшие все средства индивидуальной защиты. Я их не осуждаю, но после Зоны с ее проблемами все киевские страхи казались просто смешными.

После первых дней молчания, когда информация была чрезмерно скупа, появились наконец многочисленные статьи в газетах, телевидение начало транслировать выступления специалистов. Но... В одной из первых передач Украинского телевидения, которую с нетерпением ожидали миллионы телезрителей, встретились ведущий, профессор-гигиенист, и два почтенных специалиста в области ядерной физики и радиационной медицины. Вместо того чтобы дать специалистам сказать слово — а им было что сказать, — ведущий передачи непрерывно перебивал своих собеседников, поправлял их, рассказывая за них вещи, известные им значительно лучше. Вольно или невольно, у миллионов телезрителей могло создаться впечатление, что делает он это неспроста, хотя, в общем, и говорит достаточно правильные вещи. Хотел он этого или нет, но вместо того, чтобы с помощью специалистов объективно изложить факты и успокоить взбудораженных людей, ведущий только внес сумятицу и недоверие в умы телезрителей, жадно ждущих известий о радиационной обстановке.

В ряде публикаций и телепередач появились эдакие фальшиво-бодряческие, шапкозакидательные нотки, словно речь шла не о великой общечеловеческой трагедии, не об одном из мрачных событий XX века, а об учебной тревоге или соревнованиях пожарных на макетах...

Сказалась привычка работать по старым схемам, доставшимся в наследство от времен всеобщего благодушия, сказалось желание подавать только убаюкивающе-спокойную, радостную информацию; чувствовалась боязнь расширения гласности по некоторым наиболее щекотливым и неприятным вопросам, одним из которых и стал Чернобыль. Конечно, было бы несправедливым не заметить и того нового, что появилось в те дни в работе органов массовой информации. Взять хотя бы интересный опыт Украинского телевидения: ежедневно, начиная с мая, редакторы и операторы популярной информационной программы «Актуальная камера», люди не только талантливые, но и смелые (согласитесь — не просто снимать сюжеты в Зоне, под обстрелом радиации), подробно знакомили телезрителей Украины с происходящим на ЧАЭС и вокруг нее.

Но все это было позже.

А между третьим и шестым мая по Киеву поползли черные слухи: говорили, что вот-вот на станции произойдет взрыв, потому что температура в реакторе повысилась до крайних пределов и пылающая сердцевина реактора, пройдя сквозь бетонную оболочку, может встретиться с водой, накопившейся под четвертым блоком, и тогда... Одни уверяли (это были «катастрофисты»), что произойдет водородный взрыв (физики это начисто отрицали), другие («оптимисты») — что только паровой. И в том, и в другом вариантах веселого было мало. Говорили, что готовится эвакуация Киева, и еще многое разное говорили...

## «ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ЛИКВИДИРОВАНА»

Самое удивительное, что на этот раз слухи имели под собой веские основания.

### Из сообщений прессы:

«Академик Е. Велихов рассказывал:

— Реактор поврежден. Его сердце — раскаленная активная зона, она как бы «висит». Реактор перекрыт сверху слоем из песка, свинца, бора, глины, а это дополнительная нагрузка на конструкции. Внизу, в специальном резервуаре, может быть вода... как поведет себя раскаленный кристалл реактора? Удастся ли его удержать или он уйдет в землю? Никогда и никто в мире не находился в таком сложном положении: надо очень точно оценивать ситуацию и не сделать ни единой ошибки...

Дальнейшее развитие событий показало, что направление борьбы с разбушевавшимся реактором было выбрано верно» («Правда», 13 мая, 1986 г.).

Из статьи В. Ф. Арапова, генерал-лейтенанта, члена Военного совета, начальника Политического управления Краснознаменного Киевского военного округа:

«...Представитель Правительственной комиссии поставил задачу командиру механизированной роты коммунисту капитану Зборовскому Петру Павловичу:

— На аварийном реакторе создалась критическая ситуация. В специальном резервуаре под ним, возможно, вода. Если не выдержит бетонное основание, может

случиться непоправимое. Вам предстоит в кратчайший срок найти правильное решение и организовать откачку воды.

...Бронетранспортер доставил капитана Зборовского и двух добровольцев — младшего сержанта П. Авдеева и ефрейтора Ю. Кошунова — к месту, где предстояло проникнуть в помещение, ведущее к резервуару. Приборы радиационной разведки показывали, что безопасное пребывание у бетонной стены может быть не более двадцати минут. Смельчаки начали работу, сменяя друг друга. Но вот отверстие проделано, и капитан Зборовский шагнул навстречу неизвестности. Вскоре он предложил Правительственной комиссии надежный вариант откачки воды, который был утвержден» (*Журнал «Радуга», № 10, 1986 г.*).

**Николай Михайлович Акимов, 30 лет, капитан:**

«Оказалось, что нам придется работать в зоне очень высокой радиации. Поэтому совместно с капитаном Зборовским (с ним был еще лейтенант Злобин) мы приняли решение в первую очередь взять добровольцев. Когда мы объявили, что нужны восемь добровольцев, весь личный состав, находившийся в строю, — все сделали шаг вперед. Выбрали восемь человек. Среди них — старшие сержанты Нанава и Олейник.

Работали мы ночью, при свете фонарей. Работали в защитных костюмах. Не совсем удобно, правда, но другого выхода у нас не было. Вы эти костюмы видели — такого зеленого цвета, ОЗК называются: общевойсковой защитный костюм. Обстановка, которая сложилась на станции, говорила о том, что надо действовать быстро и решительно. Личный состав воспринял поставленную задачу как полагается, и уже на станции не было лишних указаний, добавлений, только работа.

Работали мы в Зоне всего двадцать четыре минуты. За это время было проложено около полутора километров трубопровода, установлена насосная станция и начата откачка воды. Все вроде хорошо, воду откачиваем. Но, как говорят, беда одна не приходит.

Не успели мы проложить трубопровод и начать откачку воды, как в ночной темноте чья-то машина на гусеничном ходу раздавила нам рукава. Они делали какие-то промеры и в темноте не заметили рукавов.

Несогласованность вышла такая. Все это произошло в зоне высокого заражения. Делать нечего. Оделись и пошли вновь туда. Пошли с другим составом солдат — добровольцев нашей роты. Вода шла под давлением, и трубы не выдерживали большого напора, давали течь. А вода была радиоактивная. Этот разлив воды на маршрутах работы создавал дополнительные опасности. Надо было срочно устранять течи, зажимать рукава там, где вода фонтанирует. Солдаты сами проявляли инициативу, снимали с себя защитные комплекты, обворачивали ими рукава, сбрасывали поясные, брючные ремни и зажимали все это, жгуты делали. В общей сложности было подавлено много течей на рукавах.

Что я хочу сказать о ребятах? В нашей жизни бывает всякое. Как говорится, службы без нарушений не бывает. А вот когда мы прибыли туда, глянули... Нет, поначалу страха никакого не было: ну, зашли — ничего. Даже птицы летают. А потом, когда начался отсчет облучения — у нас у каждого был индивидуальный дозиметр, — когда мы поняли, что наш организм начал принимать рентгены, тогда уже у солдат появилось совсем другое отношение. Не буду скрывать: когда дозиметры начали отсчет, появился страх. Но тем не менее ни один из солдат, находившихся на станции, не подал признаков слабости, все выполняли задачу мужественно, с высоким профессиональным мастерством. Трусов среди нас не оказалось.

Задача ставилась вне Зоны. Когда в Зону входили, там командовать некогда было, во-первых, неудобно — на нас респираторы, а во-вторых, здорово не покомандуешь — надо дело быстро делать. Не было у ребят колебаний, не заметил. Все знали, что у них уже рентгены набраны, но каждый выполнял свою задачу.

Кроме того — техника есть техника. Насосная станция стояла в Зоне очень высокой радиации, работала в закрытом помещении, и находиться там практически было невозможно. Но в результате нехватки воздуха и загазованности машина глохла. Поэтому время от времени — а это время составляло где-то в пределах двадцати пяти — тридцати минут — мы входили в Зону, проветривали помещение, заводили машину, и все повторялось сначала.

И так в течение суток. Всю эту работу выполняли мы в ночь с шестого на седьмое мая. Затем была произведена замена насосной станции.

— Вы понимали, что это — одна из важнейших операций во всей чернобыльской эпопее?

— Да, мы понимали. Особенно офицеры. Мы понимали, что попади вода в кипящую массу — это или взрыв, или, по крайней мере, испарение... Тем более что ветры уже дули в сторону Киева. Мы все понимали. Это были полностью сознательные действия, мы знали, на что шли.

— Вы не жалеете, что выбрали профессию пожарного?

— Нет. Я сам родом из Ростовской области, поселок Орловский, это родина Буденного. Сальские степи. Я окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД, был отличником. Попал в армию, службу в Киеве уже шесть лет. Так что, считайте, я киевлянин. О профессии своей не жалею, я ее сознательно выбрал.

— Весь Киев жил в те дни страшными слухами. Было у вас сознание, что вы совершили нечто из ряда вон выходящее?

— Знаете, облегчение было, что мы выполнили работу. Когда смогли доложить: «Опасность взрыва ликвидирована». Не было у нас мысли, что у нас потом будут брать интервью. О другом думали: «У этого солдата столько-то рентген. Он должен подождать. Сначала пойдут эти. Они меньше набрали».

Мы берегли друг друга.

А потом вдруг оказалось, что мы вроде как герои. Я думаю, что все, кто работает в Чернобыле, делают нужное дело. Все без исключения. Если бы не мы, так кто-нибудь другой был бы на нашем месте. Мы просто как специалисты пошли туда».

**Бесик Давыдович Нанава, 19 лет, старший сержант:**

«Я родился в Грузии, в городе Цхакая, вырос там же. Отец инженер, мать бухгалтер. Служу полтора года.

Как дело было? Сидим в клубе, смотрим фильм. А наш командир роты как раз дежурил по части. Поступила команда: «Пожарная рота, сбор по тревоге!» Сразу все собрались, и командир роты, капитан Акимов, говорит: «Ребята, собирайтесь — и настраивайтесь на работу. Ничего страшного». Проинструктировал о мерах безопасности.

Когда я все это услышал, дом свой вспомнил, все. Но знаете, я чувствовал, что надо, необходимо делать такое. Раз нас вызвали — значит, мы там требуемся.

Пятого мая мы прибыли в Чернобыль, прибыли утром.

Простояли там весь день. Даже было дело — в футбол играли... Хотя запрещено. Но понимаете — чтоб настроение поднялось. Шестого приехал генерал-майор А. Ф. Суятинов, и поступила такая команда: наша оперспецгруппа уже должна быть на станции. Роту построили полностью, и капитан Акимов сказал: «Добровольцы — шаг вперед». Ну, там без этих... Четко все шаг вперед сделали. Ну и дело пошло на выбор, и выбрали самых здоровых, физически подготовленных. А я спортом занимался, борьбой дзюдо. Мы подготовили машины, рукавные линии проверили и шестого мая в девять вечера были на станции. На «бэтэрах» приехали. Там было четыре офицера — капитан Зборовский, лейтенант Злобин, капитан Акимов и майор Котин. Под командованием генерал-майора Суятинова. И нас восемь человек — сержантов и солдат.

Генерал-майор, когда мы приехали, говорит: «Начнем сразу или перекурим?» Ну, обсудили это дело: «Начнем сразу». Не выходя из машин, мы сразу направились к опасной зоне. Заехали туда. Устанавливаем насосную установку и начинаем протягивать рукава. В половине третьего ночи работу закончили, приходим, дезактивацию провели, помылись, легли отдыхать в бункер. А в пять утра поступила команда — опять туда. Мол, какая-то разведка на гусеничном ходу прошла и рукава эти перерезала. И зараженная вода пошла... все это дело... Реакции могут произойти, очень опасно. Поднялись, переоделись, приезжаем на место аварии, поменяли рукава и — обратно. Это все длилось двадцать пять минут. Прошло три часа, а там постоянно вертолет дежурит, и с вертолета сообщили, что фонтан образовался, дырка в рукаве — устранить срочно. Опять нас подняли. Мы сразу туда. Зажали, и все. Нас сразу заменили, направили в госпиталь на обследование.

Сейчас чувствую себя хорошо. Родителям я не писал об этом. Но знаете, как было? Мне предоставили отпуск, я приехал, а отец посмотрел военный билет, где написана доза радиации. Он меня спрашивает: «Сынок, откуда, что это?» Ну, я конкретно так не объяснял ничего, но он в этом разбирается, он сразу догадался. Говорит: «Расскажи, как было». Ну, я пытался облегчить. Не хотел рассказывать в натуральном виде, как оно было. Но они все узнали»

...Ночь с шестого на седьмое мая 1986 года навсегда войдет в историю, как одна из самых значительных побед над аварийным реактором. Я не хочу выискивать слащавую симво-

лику и увлекаться торжественными сравнениями. Но символика напрашивается: произошло это накануне Дня Победы. И теперь для меня эти две даты прочно связались в один узел. Сколько отмерено будет жизни, всегда «майскими короткими почками» буду вспоминать май 1945-го: разрушенный, сожженный, но ликующий Киев, «студебекеры» на улицах, зенитные батареи в парке Шевченко, готовящиеся к грандиозному салюту, слезы на глазах взрослых; и рядом — май 1986 года: бронетранспортеры, мчащиеся в Зону, и слова одного офицера, пришедшего к нам в больницу: «Ребята, с победой вас! Взрыва не будет!»

В воинской части, выполнившей это ответственное задание Правительственной комиссии, мне довелось побывать вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Встречу организовал Станислав Антонович Шалацкий — интереснейший человек, опытный журналист, полковник Советской Армии и одновременно Войска Польского. В конце 1944 года он был редактором газеты Первой танковой дивизии Войска Польского «Панцерни»: именно в этой дивизии служили ставшие такими популярными герои телефильма «Четыре танкиста и собака».

На эту встречу пришли Герои Советского Союза, летчик-ас полковник Георгий Гордеевич Голубев, бывший в годы войны ведомым у легендарного Покрышкина, и прославленный разведчик, спасший древний Краков от уничтожения гитлеровцами, — Евгений Степанович Березняк, известный всей стране под именем «майор Вихрь».

Полковник Голубев очень ярко и правдиво рассказывал о нелегкой работе летчика-истребителя, именно о конкретной работе, а не «героических подвигах» вообще: о физических перегрузках, выпадавших на долю асов, о разных технических хитростях, применявшихся пилотами на войне: если не ты собьешь врага, то он собьет тебя. А Березняк поведал о работе разведчиков во вражеском тылу, когда человек пребывает в постоянном напряжении, испытывая гнетущее чувство опасности. Выживают в таких условиях самые смелые, самые спокойные и находчивые.

Я смотрел на молодых, восемнадцати-девятнадцатилетних стриженных парней с красными погонами на плечах, видел, как внимательно слушают они рассказ ветеранов. Подумал: лет через сорок эти ребята, убеленные сединами, вот точно так будут рассказывать о горячих днях Чернобыля — и точно так, затаив дыхание, будут слушать их дети XXI века.

Но если бы я сказал об этом солдатам, они бы не поверили, засмеялись. Потому что сегодня не могут себя представить стариками.

## ПОЛЕТ НАД РЕАКТОРОМ

В начале мая предпринимались настойчивые попытки подойти к реактору, определить истинное положение дел, взять ситуацию под контроль.

Для этого использовались все возможные в то время пути — наземные, подземные. И воздушные.

**Николай Андреевич Волкозуб**, старший инспектор, летчик ВВС Киевского военного округа, военный летчик-снайпер, полковник, мастер вертолетного спорта СССР:

«Двадцать седьмого апреля утром мне сообщили по телефону: явиться в штаб со всеми индивидуальными средствами защиты. Это было в воскресенье. Подъехала машина, я быстро собрался, приехал в штаб и узнал о случившемся.

Мне дали команду вылететь в город Припять. Когда я пролетал мимо станции — хотел или не хотел — но зашел сбоку и увидел эту всю картину. Места эти я знал, часто летал там. Включили на вертолете дозиметр и уже при подходе к АЭС заметили, что радиация увеличивается. Я увидел вентиляционную трубу, разрушенный четвертый энергоблок. Был дым, и внутри заметно пламя, в развале реактора. Дым был серый.

Пришел на Припять, услышал голос руководителя. Там уже был наш руководитель, генерал-майор Николай Трофимович Антошкин. Я сел на стадион. Ко мне подъехала машина. Я спрашиваю: «А где еще есть площадка?» Отвечают: «Возле клумбы, возле горисполкома. Я взлетел и сел у клумбы. Прибыл в Припять где-то в шестнадцать ноль-ноль. Город уже эвакуировали. Только перед горисполкомом стояли машины. Город пуст. Это было очень необычно.

Пошел в штаб, к генерал-майору Антошкину. В это время подошли еще два вертолета МИ-8, которые уже начали вы полнять выброску груза. Бросали в реактор песок, борную кислоту в мешках.

Грузили мешки возле речного вокзала, а возили прямо туда, на центральную площадь. Оттуда вертолеты шли к реактору. Вначале мешки не цепляли снаружи, а закла-

дывали внутрь вертолета. При подходе к реактору открывали дверь и просто выпихивали мешки.

Двадцать седьмого наши вертолетчики бросали мешки до темноты. Доложили на Правительственной комиссии, что выбросили — сейчас точно не помню — кажется, восемьдесят с чем-то мешков. Председатель комиссии Борис Евдокимович Щербина сказал, что это — мизер, капля в море. Очень мало. Туда надо тонны.

Мы полетели на базу и начали думать — что делать? Вынесли на обсуждение всего состава — летного и технического. Вручную сбрасывать мешки — это и производительность низкая, и небезопасно. Один борттехник — ну сколько он выбросит? И в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое апреля все думали — как это лучше сделать? Ведь в принципе на внешней подвеске МИ-8 может взять две с половиной тонны. И в ту ночь пришла идея — подвешивать на внешнюю подвеску груз. Класть мешки в тормозные парашюты истребителей — они очень прочные — и подвешивать. У нас есть специальное устройство на вертолетах, позволяющее отцеплять груз. Кнопку нажал — и отпускает. И пошло. Сначала работали на МИ-8, потом подключили более мощные машины.

Наш командный пункт был оборудован на гостинице «Полесье» в центре Припяти. Оттуда станция — как на ладони. Было видно, как вертолеты, взлетавшие с площадки, заходят на боевой курс для сбрасывания, и можно было ими руководить. Сложность заключалась в том, что мы не имели специального прицела для сбрасывания внешней подвески, той горы мешков, которые болтались под машиной. Отработывая методику полетов, мы установили, что экипаж должен выдерживать высоту полета двести метров. Ниже нельзя — из-за радиации и, кроме того, вентиляционная труба там высотой метров сто сорок — сто пятьдесят. Это впритирку. Идти надо на трубу. Она была основным ориентиром. Я ее до сих пор вижу... На всю жизнь, наверно, останется в памяти. Я даже знаю, какие осколки где лежат на ней — еще никто их не видел, а я рассмотрел. На трубе были площадки.

Скорость выдерживали восемьдесят километров. А руководитель следил за полетами с теодолитом. Наметили точку. И когда вертолет был в той точке, давали команду: «Сброс!» И отработали так, что все попадало в развал реактора. Потом — повыше — мы устанавливали вертолет, который контролировал точность попадания. Проводили фотосъемку и к исходу дня видели, какова точность попадания.

Затем мы еще одно усовершенствование придумали: сделали так, чтобы парашют оставался, а мешки шли вниз. Отцепляли два конца парашюта. Потом, когда на более мощных вертолетах работали и бросали свинцовые болванки, сбрасывали их на грузовых транспортных парашютах, предназначенных для десантирования боевой техники.

Через пару дней мы организовали площадку в селе Копачи, поближе к АЭС.

То, что радиация не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, поначалу притупляло чувство опасности. Никто на это не смотрел — ни на пыль, ни на что. Работали изо всех сил. Респираторы были, но смотришь — солдаты, что грузили мешки, респираторы на лоб подняли, словно очки, и работают...

Позднее, когда разобрались, начались инструктажи, медицина в бой пошла, стали наказывать.

Потом ветер повернул на Копачи, и приборы начало зашкаливать. Мы поменяли площадку и ушли в Чернобыль.

В этих полетах я готовил экипажи, разъяснял им методику сбрасывания. К нам на помощь начали прибывать экипажи из других частей. Опыт у нас уже определенный накопился, и каждый экипаж, прибывший к нам, мы сначала готовили. Разработали схемы — как подвешивать, как выполнять полет, как бросать. Все полностью. Проводишь инструктаж, контроль готовности — и садишься вторым пилотом, еще проводишь один заход, а потом они уже сами начинают летать.

Я на эту дырку в реакторе так посмотрелся...

После полетов велась санитарная обработка и дезактивация вертолетов.

Потом мы забрасывание реактора прекратили. И вот только прекратили — на одном из заседаний Правительственной комиссии ученые, специалисты приняли решение: для того чтобы наметить дальнейшие мероприятия по ликвидации, необходимо узнать температуру в реакторе и состав выходящих газов. К этому моменту еще никто вплотную не подъехал и не подошел к реактору, потому что уровни радиации были еще очень высокие. Один из ученых порекомендовал выполнить эту задачу с вертолета. Это был академик Легасов.

Такую задачу никто никогда не выполнял. Сложность заключалась в чем? Вертолет по своим аэродинамическим качествам может висеть над землей или на высоте до десяти метров (это называется — висение в безопасной зоне) или выше пятисот метров. От десяти до двухсот метров — запрет-

ная зона. С чем это связано? Вертолет вообще-то безопасная машина. Я на них летаю с 1960 года. Это как велосипед для меня. В любом случае при отказе двигателей я сяду всегда. Но вот если вертолет висит до двухсот метров и если отказывает двигатель, то летчик — какой бы высочайшей квалификации он ни был — не посадит машину, ибо винт не успеет перейти на режим авторотации, то есть планирования. Но это только когда он висит. Если он горизонтально летит — тогда ничего. На режим авторотации вертолет может перейти лишь за высотой пятьсот метров.

Поэтому одна из опасностей — висение выше десяти метров. Это было запрещено. Только по особым соображениям можно его допустить. Второе — выделение тепла из реактора. Никто не знал тепловых характеристик реактора. А в зоне повышенного тепла мощность двигателей падает. Ну, и повышенная радиация. И еще одно: экипаж не видит, что под ним происходит.

Все понимали эти сложности. Но другого выхода не было. Все шло по меркам военного времени. И делать замеры надо было. Задача состояла в том, чтобы конец прибора, измеряющего температуру — так называемой термопары, — опустить в реактор.

Прилетел к нам командующий ВВС, поставил задачу. Говорит: «Задача очень сложная. Но выполнять надо. Как можно это сделать?»

Меня спрашивает. Я говорю: «Конечно, сложно, но надо попробовать. Будем тренироваться». У меня опыт большой, летаю я на всех типах вертолетов, поэтому, по всей вероятности, у них и возникла идея меня назначить.

Началась подготовка. Сразу продумал план — как это все делать. Я был тогда полностью отключен от всего вокруг. Только сконцентрировался на этом полете. Со мной, кроме второго пилота и борттехника, должен был лететь доктор технических наук Евгений Петрович Рязанцев, заместитель директора Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. Евгений Петрович объяснил мне, что термопара — это металлическая трубка на тросе. Еще с нами должен был лететь начальник смены дозиметристов Цикало Александр Степанович. Запоминаются те люди, с которыми пришлось вместе работать в трудных условиях.

Надо было думать — как ее опустить, эту термопару, в реактор. Я пошел к нашим инженерам, говорю: «Включите инженерную вашу мысль, давайте думать». Хотя и у меня уже идеи были.

Взяли трос триста метров длиной. Вы знаете, это нехороший стимул — авария, но если бы мы так жили и работали в обычное время, как тогда, с такой оперативностью, без волокиты, каждый старался изо всех сил, — у нас бы другая жизнь была... Буквально через полчаса трос приготовили.

Провод от термопары оплели вокруг троса. Повесили груз на конец троса. Разложили трос на аэродроме. Вертолет я сам себе подобрал, чтобы помощнее был, двигатели опробовал. Задачу поставил экипажу. Восторга, правда, у них не увидел, но — надо! Расчет сделал — сколько топлива взять. Лишнего не нужно, поэтому слили маленько лишнее. Запустил и подлетел к тросу. Подцепил его и прямо с места пошел. Поднял его. Из парашютов сделали на земле круг, радиусом примерно как у реактора, метров двенадцать — четырнадцать. Начал имитировать полет. Груз весом килограммов двести висел на конце. Плавно захожу, зависаю, гашу скорость, потихоньку подхожу к этому кругу. Руководитель корректирует. Завис. И он мне дает команду: «Висите точно над этим!» Я намечаю себе ориентир, чтобы точно висеть, привязался, по интуиции чувствую, что точно вишу. Придерживаю вертолет. Но он говорит: «Вы висите точно, но груз ходит, как маятник». Висел я на высоте триста пятьдесят метров, а груз раскачивался.

Я вишу пять минут — он ходит, вишу десять минут — он ходит. Не успокаивается. Я вишу — а мысли: «Что делать?» Тренировка тоже достаточно опасная, но морально спокойнее: нет радиации и температуры повышенной. А с точки зрения аэродинамической — опасно. Но об этом не думаешь в полете.

Вижу, что ничего не получается. Захожу на посадку и трос кладу на площадку. Отцепил. Сел.

И вот пришла такая идея: а что если по всей длине троса через равные промежутки подвесить грузы? Он должен быть устойчив. Чушки свинцовые нанизали на трос. Инженеры наши оперативно все сделали.

Это все делали ночью седьмого мая.

На следующий день я вылетел на тренировку с этим тросом. Трос натянут отлично. Начал опускаться. Только коснулся концом земли (слышу команду: «Касание!») — я ушел, а трос стоит как столб. Тут уже нужна ювелирная техника пилотирования... Еще один заход сделал, убедился в том, что можно. Вид у нас был после этого полета — вы бы видели... Вообще полет с внешней подвеской считается одним из сложнейших... Потом еще несколько заходов выполнил.

Восьмого числа привезли нам термопару. Как проволока. Конец является датчиком. Увязали все, трос разложили в Чернобыле на площадке.

И девятого мая подъехали Евгений Петрович Рязанцев и Цикало Александр Степанович. Установили аппаратуру в вертолете. Перед полетом мы сами, экипаж, из листов свинца сделали защиту — положили на сиденья, на пол. Только там, где педали, где ноги, там нельзя было. Закрылись хорошо. Дали нам жилеты свинцовые. Мы объяснили своим пассажирам — как будем лететь, закрыли их плитами тоже, договорились о взаимодействии. Наблюдал за полетом мой коллега, полковник Мимка Любомир Владимирович. Он разместился в Припяти на гостинице «Полесье».

Ну, все сели в вертолет, поднялись из Чернобыля без всяких проблем. Конец троса — чтобы лучше было видно — обозначили оранжевым кольцом.

Я подошел на высоте триста пятьдесят метров. Надо было узнать — как температура там, как мощность двигателей. Вертолет висел стабильно.

Руководитель полета мне говорил: «До здания пятьдесят метров. Сорок... Двадцать...» По высоте и удалению он мне подсказывал. Но когда я стоял над самим реактором, ни я, ни руководитель уже не видели — попал я или нет. Поэтому послали еще один вертолет МИ-26. Полковник Чичков пилотировал. Он завис на удалении двух-трех километров сзади меня и все видел. Я должен был зависнуть возле трубы...

А Евгений Петрович Рязанцев сам в люк смотрел. И он показывал жестами: «Над реактором». Замеры температуры делали на высоте пятидесяти метров над реактором, сорока, двадцати и в самом реакторе. Евгений Петрович все видел. А аппаратура пишет. Когда все сделали — я отошел.

За Припятью было намечено специальное место, и трос я сбросил в песок. Трос был радиоактивен.

С момента зависания все это заняло шесть минут двадцать секунд. А показалось — вечность.

Это была победа.

На следующий день, десятого мая, нам снова поставили задачу: определить состав выходящих газов. Опять все то же, такой же трос, только не термопара была на конце, а контейнер. Тут задача была попроще — надо было не висеть, а плавно пройти. Двенадцатого мая все надо было повторить

с термопарой. Появился и опыт, и маленькое спокойствие. Еще полетели. И несмотря на то, что опыт, казалось бы, уже был, но менее шести минут провисеть никак не удавалось.

Пока подойдешь, пока успокоишь трос, затем начинаешь снижаться, производить замеры. Как себя чувствовал? С двадцать седьмого числа у нас ни одной спокойной ночи не было, спали по два-три часа. А летали с рассвета и до ночи. Мне часто задают вопрос: «Как радиация действует?» Да я не знаю, что действует и как, но усталость была очень сильная, а отчего она? Или от радиации, или от недосыпания, от физических перегрузок, или от морально-психологического напряжения? Все-таки напряжение как-никак было — ответственность большая.

После этих трех полетов еще летал, чтобы провести радиационную разведку.

А всего в общей сложности над реактором я провисел девятнадцать минут сорок секунд».

### **Из сообщений прессы:**

«В целях сокращения радиоактивного выхода над активной зоной создается защита из песка, глины, бора, доломита, известняка, свинца. Верхняя часть реактора засыпана слоем, состоящим из более четырех тысяч тонн этих защитных материалов» (Из выступления председателя Правительственной комиссии, заместителя Председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербины на пресс-конференции для советских и иностранных журналистов, состоявшейся 6 мая 1986 г. — «Правда», 7 мая, 1986 г.).

«Позитивно отозвался профессор М. Розен (директор отдела ядерной безопасности МАГАТЭ) о примененной советскими специалистами методике поглощения излучения с помощью щита, состоящего из песка, бора, глины, доломита, свинца... Продолжаются работы под поврежденным блоком — их цель — полностью нейтрализовать очаг излучения и, как говорят физики, «захоронить» его в толщу бетона» («Правда», 10 мая, 1986 г.).

«От Совета Министров СССР. В течение десятого мая на Чернобыльской АЭС продолжались работы по ликвидации последствий аварии. В результате принятых мер существенно снизилась температура внутри реактора. По мнению ученых и специалистов, это свидетельствует о практическом прекращении процесса горения реакторного графита».

## КОТЛОВАН

Николай Васильевич Белоус, главный маркшейдер тоннельного отряда № 14 «Киевметростроя»:

«С пятого мая я по приказу замещал главного маркшейдера «Киевметростроя» Пришел на работу Начальник тоннельного отряда говорит: «Ждите. В девять пойдем к Семенову, нам дают работы на Чернобыльской АЭС». Поставили нам задачу — сделать привязку на месте будущих работ.

Я спросил: «Как одеваться?» — «Как я». Ну, я был в оубашке с галстуком, поверх надел спецовку, взял каску, сапоги. Собрались и на «Волге» поехали в Чернобыль. Мы вместе с начальником «Киевметростроя» Анатолием Павловичем Волинским — он уже с третьего мая был там — нашли проектировщиков из Гидропроекта им. Жука, начали заниматься работой. Решали — где расположить котлован, как его привязать. Смотрели проектную документацию. Идея была такая: коль скоро разрушенный реактор набирал температуру, надо было сделать котлован для того, чтобы затем под защитой третьего энергоблока, где была в тот момент сравнительно небольшая радиация, установить станки и пробурить горизонтально скважины под фундаментной плитой третьего и четвертого энергоблоков. Конечная цель — создать ледо-грунтовый массив, то есть заморозить землю для охлаждения перегретого реактора. Скважины надо было пробурить на длину 165 метров. Боялись, что если на фундаментную плиту проникнет капля расплавленного ядерного состава, то плита может не выдержать такой высокой температуры. Надо было это все обезопасить.

Опыта таких работ у нас не было. Мы замораживаем аммиаком грунты в Киеве, но методом наклонного или вертикального бурения. А горизонтального бурения никогда не делали. Все это мы с проектировщиками пятого мая решили, определили все организационные вопросы. Шестого числа начали прибывать наши люди и техника.

Очень мне понравился академик Велихов. Очень спокойно себя вел, непринужденно. Был без никаких защитных приспособлений. В первые дни ели все в одной столовой — генералы, академики, ефрейторы, рядовые, рабочие — военные нас кормили. Была деловая, рабочая, демократическая обстановка, все равны были — по костюмам нельзя было сказать, кто это. По тону видели, по разговору, что это — какой-то руководитель, а это — подчиненный. Работали люди в большинстве — нормально.

Шестого мая мы выехали на станцию. Сопровождающие шли впереди на бронетранспортере, а мы ехали за ними в автобусе. Тот, кто нас сопровождал на бронетранспортере, запутался немного, повозил вокруг — мы даже возле Припяти проезжали. Люди новые, обстановка незнакомая, еще дорог как следует не знали.

Ехали вдоль канала. Страха не было. Ехали с одним чувством — выполнить работу. Я лично не ощущал каких-то страхов... Надо было сделать дело.

Доехали до административно-бытового корпуса АЭС. Дали нам бахилы полиэтиленовые, мы переоделись, пересели в бронетранспортер и поехали на место, прямо к третьему энергоблоку, под защитой которого работали. Уже документация была — как и что.

Здесь стояла пожарная машина, шланги пожарные вокруг лежали. Плохо было проезжать, потому что много шлангов. Заехали в угол, и из бронетранспортера нам говорят: «Вы туда не ходите, где стоит пожарная машина, там где-то 40—60 рентген». Проектировщики дали нам чертеж. Они в горячке масштаб перепутали, ошиблись на 10 метров... Ну в общем, мы это заметили, быстро разобрались. Мы с моим коллегой, маркшейдером Валерием Григорьевичем Кибкало работали. На стенке отмечали границы котлована. Теодолит нам поначалу не нужен был. Мы на стенке разметили ось, чтобы можно было колышки забить. Там — как раз посреди нашего котлована будущего — очутился колодец пожарного гидранта и вода из него лилась. Приехал механик наш из тоннельного отряда, отключил воду.

В первый день, когда все это мы с Валерием Григорьевичем Кибкало разбивали, надо было разметку делать, а разметку нечем делать. Мы же собирались в пожарном порядке, ни мела не взяли, ничего. Ну чем нарисовать на стене, чтобы котлован разбить? Так потом наши ребята шутили, говорили, что Белоус с Кибкало графитом размечали котлован на стенке. Графит, конечно, там лежал. Рулетка, которой мы размечали, давала 3—4 рентгена. Мы ее привезли в Чернобыль и пошли в райком партии, туда, где Правительственная комиссия. Нас измерили — и нашли рулетку. Там кабинет нашего министра был, Владимира Аркадьевича Брежнева. Он кричал: «Снимайте бахилы, не ходите сюда». Поначалу мы еще не знали, что и как.

Мы, конечно, не графитом рисовали. Там на стене такая «шуба» бетонная была. Мы топор взяли и засечки делали топором, написали топором ось и края котлована.

Когда сделали свое дело, сели в бронетранспортер и уехали. Необычно было влезать в бронетранспортер, мы себе шишки понабивали. Сколько там были — с пятого по шестнадцатое мая — налазились... В одни «бэтээры» сбоку надо было залазить, в другие — сверху. Непривычно. Водители говорят: «Быстрой! Закрывайте люк!» А мы — то забыли закрыть, то пальцы прищемили. И самое главное — враг невидимый. Птицы летают. Трава растет. Одуванчики цветут. Вода из крана льется — и одуванчики растут. Говорили, что там сгорело все. Ничего подобного, абсолютно никаких следов. Когда мы поселялись в Рудне-Вересне, на базе, смотрим — стоит ведро березового сока и надпись: «Можно пить». А из дерева ребята-пожарные, которые там тоже стояли, вырезали Бабу Ягу и написали табличку от руки: «Укротим атомного джинна».

Так что с юмором работали.

Еще был такой момент. Шестого мая, когда мы приехали с АЭС, нас измерили, и, конечно, всю одежду пришлось выбросить. Мы стояли в чем мать родила. Помылись, и нам дали все белое. Одежду атомщиков: белую куртку, белые штаны хебе, белые туфли, белую шапочку. Ну и когда приехали на нашу базу в Рудню-Вересню, все смеялись: «Белые люди». Два человека ходят в белом — знали, это из Зоны. Потом начали приезжать другие люди, тоже переодетые в белое. Потом все уже ходили в белом. Не было отличий.

У меня дома сначала никто не знал, где я. Я ушел пятого на работу — и не пришел. Жена утром: «Где муж? Мужа нет!» Ну, сказали ей, что уехал в Чернобыль. Я ей перезвонил из Рудни-Вересни, сказал, что все нормально. У меня жена, двое детей. Переживали они. Потом уже легче было. На базе ребята умудрялись рыбу ловить, это на берегу реки Уж уху варили.

Дозиметры нам выдали — и типа «карандашей», и на прищепках. Я, правда, когда в котловане работал, потерял дозиметр. Шпилька только одна осталась. Я не заметил — когда и где. В работе некогда смотреть...

Мне начальник треста сказал: «Ты так работай, чтобы не нахватать сразу своих рентген. Ты должен дольше всех здесь работать, ты же руководитель маркшейдерских работ». Ну, приходилось сидеть в бункере гражданской обороны на АБК-1 или быстренько заскочишь туда, в котлован, и выскочишь.

Напряжение, конечно, у ребят было. У кого-то больше,

у кого-то меньше, но было. Кто-то переживал внутренне очень.

После того как разбивку сделали, начали работать. Трудно было. То фундаментные плиты попались на пути, то дождь пошел, то начали землю брать, порвали коммуникации. Пришла техника, бульдозеры. Бульдозеры начали грунт выталкивать. Начали копать котлован — наткнулись на фундаментные плиты, где-то два метра на два и толщиной полметра. Массивные. Две плиты обнаружили в земле. Оказывается, они были опорой для кранов во время строительства. И их бросили. Когда делали благоустройство, их «загорнули» (засыпали), как обычно, землей, асфальтом покрыли и ушли... Грехи наши строительные. Потом пустили японский бульдозер «Комацу» и вытолкнули их. Уже было хотели взрывать их, ночь просидел главный инженер — думал, что делать. Вытолкали их из котлована кое-как. Начали рыть котлован, и надо было ставить бурильный станок. Мы уже были на глубине шести метров. Вначале радиация там была низкая, а потом уже набралась повыше. На асфальте — меньше, на траве, дерне — побольше. Где наносило пыли — там еще больше.

Мостострой забил шпунтовые ограждения, спереди и сзади, мы поставили первый станок и начали бурение. Пробурили восемь метров и опять впоролась в фундамент монтажного крана. Не смогли дальше пробурить. Бур уперся в бетонную плиту — и все. На чертежах этого не было, и мы вообще долго искали — как и к чему привязаться, на какой глубине. У обслуживающего персонала мы не могли найти исполнительную документацию — как оно фактически было сделано? На планах нашли отметки о колодцах, нашли съемку 1985 года, нашли на генплане отметки о подземных коммуникациях и колодцах — и к ним привязались. А этих плит на плане не было. Знали только, что не в фундамент врезались.

Начали смещаться. У нас пересменка была через пять часов. Людей по два-три раза посылали в котлован и меняли. А некоторым приходилось по площадке туда-сюда мотаться, и они за одну смену набирали свою «норму» рентген, и их выводили оттуда.

Второй и третий станки самолетом привезли с БАМа. Решили сместиться в сторону, чтобы пробурить все-таки. Поставили второй станок. Забурили. И обнаружилось, что под плитой этой насыпан щебень. Разорвало трубу и оборвало бур. И наш второй станок тоже вышел из строя. Тогда было принято решение углубить котлован, коль мы попадаем на

плиты. Мы понизили уровень на метр и поставили третий станок. И пробурили уже 108 метров, почти дошли до четвертого реактора. Все нормально шло, но потом уже тяжело пошел бур. Надо было переходить на бур другого, меньшего диаметра. Но в это время руководство решило, что если так тяжело идет, то мы не получим сплошную ледяную плиту, потому что неизвестно, как скважины поведут себя: съемку сделать нельзя, запустить что-то туда и посмотреть — тоже невозможно. Такой техники на сегодняшний день нет. Мы массива не получим, можем получить разобщенные участки замороженного грунта. Это никому не нужно.

К нам на помощь начали прибывать из Днепропетровска, из Свердловска люди. Метростроители — и, в основном, бурильщики. Из Закавказья приехали, с БАМа.

И в это время возникла идея — возвести под четвертым блоком железобетонную плиту, в ней заложить трубы, сделать тоннель, чтобы можно было туда подвести азот и охлаждать снизу реактор. Но радиационная обстановка не позволяла нигде создать подход, кроме нашего котлована. Это было самое безопасное место, откуда можно было начать работать. Поэтому наш котлован стал первой, изначальной точкой, откуда все начиналось.

В общем, отменили первоначальное решение — создать ледо-грунтовый массив, который мог и не стать массивом. Решили передать это наше место, наш котлован для шахтостроителей, а наши работы прекратить. И четырнадцатого мая мы передали документацию по акту донецкому Шахтострою. Буровые станки убрали, они уже не нужны были. Еще пятнадцатого числа там побыли — вдруг какие-то вопросы возникнут. В общем, чтоб все по-человечески. Кто что знал — тот все рассказывал, чтобы людям в той обстановке было легче работать.

Шахтострой пошел под реактор из нашего котлована. Они проложили тоннель. Я даже встречал своего коллегу маркшейдера, он когда-то работал в Метрострое, а потом перешел в Киевподземстрой. Он рассказывал, что они щитом проходили под землей, тоннель строили. Потом по фрагментам создавали плиту бетонную. И когда я уже ездил во второй раз в Чернобыль девятнадцатого мая, то они уже прошли 13 или 15 метров.

После всего этого чувствовал я себя хорошо.

Сдал дважды кровь, никаких изменений не было.

Правильно потом писали, что эта обстановка просветила людей, как рентгеновскими лучами. Кто на что способен —

видно было в этой обстановке. Кто-то мандражировал, терялся, кто-то спокоен был. Ну, это уже как кто родился. И все же надо было это дело как-то переносить. Спрашивают: «Как там, что?» — «Все нормально пока. Что будет — никто не знает».

Я лично в своих подчиненных не разочаровался. Таких не оказалось, кто был бы трусом или негодяем. Люди были напряжены, я понимал это, некоторые немножко терялись, молодые ребята, но так, чтобы отказываться или там что — таких не было. Я работаю в Метрострое уже семнадцатый год, знаю, кто на что способен. Если вижу, что слабенький, сам с ним пойду на смену. Кого-то самостоятельно посылал. Я делал так, чтобы была преемственность, когда новая смена приезжает, чтобы оставались те, кто уже знает, как и что. Так я перекрывал смены людьми, чтобы не было остановок, чтобы могли друг другу рассказать все тонкости.

Запомнил я Чернобыль тех дней. Когда мы туда приехали, людей только-только вывезли. Люди пооставляли все. Там все цветет, это же май месяц, трава везде, куры ходят, собаки бегают, потом они одичали, их начали стрелять. А некоторые нехорошо сделали — пооставляли собак на привязи. Или по глупости, или в горячке. Ты или отпусти его, или уже убей. А то вдруг смотрю — по двору козы ходят. Вымя уже огромное, не доены. Закрыто все. Так я калитку открыл, выпустил их на улицу, они пошли, думаю, или их подоят, или на мясо пустят, по крайней мере, не будут мучиться взаперти».

### **Из сообщений прессы:**

«Бонн, 21 мая, ТАСС. Выдержки из интервью, которые дали журналу «Шпигель» генеральный директор МАГАТЭ Х. Бликс и директор отдела ядерной безопасности М. Розен, опубликованного в номере от 19 мая:

**ВОПРОС:** Г-н Бликс, г-н Розен, вы до сих пор единственные представители Запада, которые получили возможность осмотреть чернобыльский реактор, на котором произошла авария. Что вы видели?

**БЛИКС:** Сначала мы облетели город Чернобыль на вертолете. Этот поселок, находящийся на расстоянии 18 километров от электростанции, был эвакуирован за исключением центрального координационного пункта. Мы побывали там и видели множество мешков со смесью песка, бора, свинца и доломита. 4000 тонн этой смеси было сброшено на электростанцию, чтобы герметизировать реактор. Затем мы облетели реактор на высоте 800 метров.

**ВОПРОС:** Вы не боялись подвергнуться радиоактивному излучению?

**ОТВЕТ:** Нет, мы полностью доверяли русским, которые не пригласили бы нас туда, если бы не считали, что особой опасности нет. На нас были защитная одежда и противогазы, и мы взяли с собой из Вены приборы для измерения интенсивности излучения.

**ВОПРОС:** Какое вы испытали чувство, когда летели над Чернобылем?

**БЛИКС:** Там никого нет, так же как и на всей территории в 30-километровой зоне. За пределами этой зоны мы видели людей, работавших на полях, скот на пастбищах и автомобили на дорогах.

**ВОПРОС:** Видели ли вы пострадавших?

**БЛИКС:** Нет, нет, ни одного. Мы слышали, что все, кто пострадал от радиоактивного излучения, были отправлены в Москву.

**ВОПРОС:** Считаете ли вы, что эти люди были информированы об аварии?

**БЛИКС:** В Киеве, должно быть, были информированы об этом.

**ВОПРОС:** И о размерах аварии, а также о радиоактивном излучении?

**БЛИКС:** Я не беседовал с людьми на улицах.

**ВОПРОС:** Почему не беседовали?

**БЛИКС:** Нас пригласили совершить двухчасовую поездку, чтобы осмотреть реактор.

**РОЗЕН:** К тому же мы не говорим по-русски, что затруднило дело.

**ВОПРОС:** Кто вас пригласил?

**БЛИКС:** Советская миссия при нашей организации, Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

**ВОПРОС:** Получили ли вы удовлетворительное объяснение этой аварии?

**БЛИКС:** Нет. Нам ответили, что у них есть целый ряд гипотез относительно причин аварии, но они еще не решили, какая из имеющихся точек зрения наиболее вероятна. Пока они не сделают окончательного вывода, они не будут обсуждать отдельные гипотезы.

**ВОПРОС:** Узнаем ли мы когда-нибудь, как это произошло на самом деле?

**БЛИКС:** Мы договорились о том, что русские в ближайшие

два месяца приедут в Вену на совещание экспертов. Там они изложат подробный анализ.

**ВОПРОС:** Будет ли открыт доступ на то совещание для общественности?

**БЛИКС:** Нет. В нем примут участие только специалисты по атомной энергии государств — членов нашей организации.

**ВОПРОС:** Вы уверены в том, что активная зона реактора действительно расплавилась?

**РОЗЕН:** Когда говорят о расплавлении активной зоны, обычно имеют в виду, что горячее расплавленное ядерное топливо пробило дно реактора. Я полагаю, что, когда загорелся графит, ядерное топливо, вероятно, расплавилось, но дно реактора не было пробито.

**ВОПРОС:** Почему же тогда русские пытаются вырыть тоннель под реактором и заполнить его бетоном?

**БЛИКС:** В качестве главной причины они указали на то, что хотят «похоронить» весь этот реактор, а для этого им нужен фундамент.

**ВОПРОС:** В Чернобыле находятся четыре реактора. Когда были выключены остальные три реактора?

**БЛИКС:** Мы не спрашивали, когда точно это было сделано.

**ВОПРОС:** Они были выключены уже в ту ночь, когда произошла авария?

**РОЗЕН:** Это было сделано достаточно быстро после аварии.

**ВОПРОС:** Известны ли вам масштабы радиоактивного заражения территории атомной электростанции в Украине?

**БЛИКС:** Русские уверены в том, что смогут очистить эту территорию. Ее вновь можно будет использовать для сельского хозяйства.

**ВОПРОС:** Через какое время?

**БЛИКС:** Мы не говорили ни о том, когда они приступят к этим работам, ни о том, как долго это будет продолжаться.

**ВОПРОС:** Как велика была интенсивность излучения — 400 или даже 1000 бэр?

**РОЗЕН:** Мы не спрашивали об этом.

**ВОПРОС:** Почему?

**РОЗЕН:** Мы находились там не для того, чтобы устанавливать, какую дозу радиации получили люди.

**ВОПРОС:** Трудно понять, почему вы не задали этот вопрос, хотя он имеет большое значение для последствий в соседних странах.

**РОЗЕН:** Ведь доза радиоактивности, которую получили

жители соседних стран, не будет иметь серьезных последствий.

**БЛИКС:** Разумеется, очень важно знать, какое количество радиоактивных осадков выпало на Украине и какой дозе облучения были подвержены люди, но это, разумеется, никак не повлияло на радиационную обстановку в Швеции или Финляндии.

**ВОПРОС:** Можете ли вы сделать предварительный вывод о том, как долго будет сохраняться радиация в Центральной Европе?

**БЛИКС:** Более важный вопрос заключается в том, каковы масштабы радиоактивного выброса.

**РОЗЕН:** Русские сообщили нам некоторые цифры. Я хотел бы сказать, что я с большими колебаниями сообщаю эти цифры, так как они зависят от того, где были произведены замеры, были ли они произведены внутри реактора или вне его. Они зависят также от того, кто их сообщает — технический специалист или политический деятель, который, вероятно, получил их только из вторых рук.

**ВОПРОС:** Но в целом, г-н Бликс, ваши слова «ясно, что радиационные последствия этой аварии гораздо более опасны, чем любой другой аварии, случившейся раньше», все же соответствуют действительности?

**БЛИКС:** Да, конечно.

**РОЗЕН:** Я хотел бы заверить вас: если бы когда-либо имела место авария с большим выбросом радиоактивности, научный комитет ООН по действию атомной радиации, безусловно, провел бы сравнение с этой аварией. Я пошел бы еще дальше и сказал, что это до сих пор единственная известная нам авария, в результате которой произошел значительный выброс радиоактивности.

**ВОПРОС:** Но мы не говорим здесь о военных ядерных испытаниях 50-х годов?

**БЛИКС:** Нет, нет. Мы говорим об атомных электростанциях.

**ВОПРОС:** Есть ли у вас сведения о том, что во время подобных испытаний ядерного оружия выбросы радиоактивности были еще больше, чем в Чернобыле?

**БЛИКС:** Нет, мы не говорим об этих испытаниях. Наша организация занимается использованием атомной энергии в мирных целях.

**ВОПРОС:** Задавали ли вы вопрос о возможном использовании этого реактора в военных целях?

**БЛИКС:** Нет, но я могу вам сказать, что этот реактор

включен в список реакторов, который Советский Союз предложил в прошлом году для проведения инспекций нашему департаменту гарантий и инспекций МАГАТЭ. Этот департамент следит за тем, чтобы расщепляемые материалы, образующиеся на атомных электростанциях, не были использованы в военных целях. Однако мы никогда не требовали провести инспекцию в Чернобыле.

**ВОПРОС:** Но ведь было же известно, что это ее предполагалось расширить, сделав одной из крупнейших станций в мире. Итак, было бы очень интересно выбрать (для инспекции) Чернобыль.

**БЛИКС:** Но наш департамент гарантий уже принял решение (об инспекциях).

**ВОПРОС:** Ожидали ли вы такой аварии прежде всего в Советском Союзе?

**РОЗЕН:** Думаю, что могу с полным правом сказать, что я этого не ожидал.

## РАССЛЕДОВАНИЕ

Вначале было письмо — искреннее, взволнованное: отрывок из него я уже цитировал в разделе «Предчувствия и предупреждения». Затем мы встретились с Валентином Александровичем Жильцовым в Киеве — он ехал в Чернобыль на пуск третьего блока. Валентин Александрович — опытный инженер-физик, окончил МИФИ. Принимал участие в разработке, пуске, эксплуатации реакторных установок различного типа и назначения. Расследовал многие аварии на реакторах, в том числе и аварию на Чернобыльской АЭС. За активное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС был награжден орденом «Знак Почета», но, как сказал мне: «Получая награду эту, не испытывал ни трепета, ни радости, ни гордости. Чувства благодарности тоже не было. Да разве возможна радость на всеобщей боли?»

Для меня голос Валентина Александровича — один из самых компетентных, один из самых совестливых. Стоит за ним неподкупная правда.

**В. А. Жильцов:**

«Я был оповещен об аварии 28 апреля, в понедельник, рано утром. Вышел на работу, в течение часа были оформлены необходимые документы, мне выдали спецодежду, включая

сапоги, и все прочее. Была подана машина, и нашу группу вместе с дозиметристами — к нам еще присоединились товарищи из Минздрава — отвезли в Быково. Специальный самолет Як-40 немедленно вылетел в Киев.

В Жулянах нас встретили, и мы на «рафике» выехали в Припять. И сразу же дозиметристы приступили к измерению фона, провели первую радиационную разведку. Уже в аэропорту Жуляны показатели по сравнению с обычным фоном были выше в два раза. По мере приближения к Иванкову они возрастали, а от Иванкова до Припяти прослеживалось даже возрастание по формуле R-квадрат: мощность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Нарастала радиация очень существенно. А в районе Чернобыля наша аппаратура села на зашквал. Дело в том, что у нас была очень чувствительная лабораторная аппаратура. Далее разведку вели только армейской аппаратурой... Я хорошо знал дорогу на Чернобыль — ведь я бывал на ЧАЭС с 1977 года, с пуска первого энергоблока. Бывал неоднократно, знаком был каждый поворотик — я даже приезжал в Припять на своей машине. Но теперь все было по-другому. Чрезвычайно тяжелое, тягостное впечатление. Навстречу нам шли потоком вереницы автобусов, сельхозтехники, грузовики со скотом. Сам Чернобыль жил в тот день внешне еще нормальной жизнью, в нем авария как бы не чувствовалась...

Приехали мы днем. Реактор видали, мы проезжали прямо мимо блока, дорога эта еще была открыта.

Привезли нас в Припять — Припять уже пуста. Вечером огней не было — только гостиница, где мы жили, светилась огнями. И рядом — горком партии, где разместились Правительственная комиссия.

Мы входили в состав рабочей группы, задачей которой было — установить техническую причину аварии. Нашу группу возглавлял Александр Григорьевич Мешков.

В гостинице мы жили практически сутки. 29 апреля нам предложили эвакуироваться из Припяти, и мы переехали в пионерлагерь «Сказочный». Фактически всей комиссией мы начали работать 29-го, часов в 16—17 в «Сказочном». Мы собрались в полном составе и провели изучение первых исходных материалов. Со станции были доставлены оперативные журналы, прочие документы.

— Есть ли на АЭС своего рода «черный ящик», как на самолетах?

— Есть некое подобие «черного ящика» — просто одна из программ под кодовым названием ДРЕГ (диагностика и

регистрация) на штатной информационно-вычислительной машине «СКАЛА». Она частично выполняет функцию «черного ящика». Для нас это был единственный объективный источник информации, который позволил привязать события ко времени, расставить их в последовательности, сопоставить с данными, почерпнутыми из оперативных записей в журналах, из объяснительных записок персонала и личных бесед с участниками аварии.

Эта бесценная информация сохранилась в виде двух бобин магнитной пленки. По инструкции, покидая станцию, СДИВТ<sup>1</sup> был обязан захватить с собой эти бобины. Одна бобина содержала записи диагностики и регистрации параметров как раз в предаварийный период и в процессе аварии, а вторая — последние расчетные программы, расшифровка которых позволила нам достаточно объективно восстановить картину возникновения и развития аварии.

Первую расшифровку записей мы проводили непосредственно там, в лагере «Сказочный»: она была распечатана на «СКАЛЕ» в первом блоке Чернобыльской АЭС. Расчетные программы мы воспроизвели на Смоленской атомной станции, на аналогичной машине, а после уточняли все по приезду в Москву. Еще раз перепроверили все эти записи, уточнили и продолжили дешифровку.

А за оперативными журналами пришлось съездить на станцию, потому что сначала нам было предоставлено только несколько журналов. Многих очень важных журналов нам не хватало. Таких поездок за журналами было несколько.

Мы обрабатывали шесть различных версий — в том числе самых крайних. Тогда еще все версии имели право на существование.

Беседовали с персоналом, они написали объяснительные... но порою в них содержались несколько противоречивые сведения. Одному из этих товарищей показалось, что взрыв произошел со стороны машзала — он так услышал. Другой утверждал, что взрыв раздался где-то в подреакторном пространстве. Третьему показалось — и это подтвердили еще несколько человек, — что было два взрыва в районе центрального зала. Это совпало с мнением работников станции, которые случайно были на седьмом этаже в АБК-2 и не только слышали взрывы, но и ВИДЕЛИ ВСЕ ЭТО.

Второго мая мы позвонили в Москву и попросили наших товарищей поговорить с Акимовым, Дятловым и другими

<sup>1</sup> Старший дежурный инженер вычислительной техники.

эвакуированными в 6-ю клинику в Москву. И наши сотрудники — Кисиль и другие — имели беседу с теми, к кому врачи разрешили подойти в больнице.

Директор АЭС Брюханов в то время был руководителем штаба, мы с ним все время общались в «Сказочном», приглашали на заседания комиссии. А первым мы заслушали двадцать девятого апреля главного инженера Фомина. Он нам рассказал, как утверждал график планового ремонта четвертого блока, как было начато снижение мощности, блок выводился в ремонт двадцать пятого апреля, как шел процесс остановки блока, затем свои действия, как главного инженера, когда он прибыл на блок после сообщения об аварии. Он сказал нам, что прибыл на станцию где-то около пяти часов утра 26 апреля... Все подробно рассказывал. Но, будучи по специальности электриком, он прежде всего заботился о состоянии электрической части станции. Требовал проверить работу электроснабжения, аварийного охлаждения реактора, и т. д. А штабом гражданской обороны руководил Брюханов — всем, что касалось радиационной разведки, оценки радиационных последствий, и т. д. В рамках главного инженера Фомин действовал в принципе правильно. После аварии. Дал вполне, по-моему, разумные указания, что надо проверить и как.

Но вот я не могу до сих пор понять: почему ясность — что же произошло? — у них наступила только через полсутки после аварии, к четырнадцати часам 26 апреля?

Фомин упомянул вскользь о том, что перед остановкой были проведены вибрационные испытания турбогенератора № 8, потому что турбина эта работала с повышенной вибрацией. Были даже приглашены харьковчане с турбинного завода имени С. М. Кирова. И одновременно, сказал Фомин, были проведены испытания электроснабжения собственных нужд на выбеге турбогенератора № 8. Сказал он это так, как будто эти испытания не имеют никакого отношения к аварии.

Когда я ему задал вопрос: «Что это за испытания, можно ли посмотреть программу?» — он мне сказал: «Это чисто электрические испытания». Он не придавал этому значения. После этого я все-таки предложил разыскать эту программу и показать ее комиссии.

Она была найдена начальником ПТО А. Д. Геллерманом, привезена со станции, и когда мы ее посмотрели, считали — то обнаружили в ней очень много отступлений, нарушений. Она абсолютно не отражала состояния реактора, не лимитировала его работу, работу систем защиты. Но даже то, что по этой невалифицированной программе должно было контро-

лироваться, — не контролировалось. Это касалось мощности — ведь они мощность не смогли удержать. Для проведения вибрационных испытаний турбогенератора они сняли одну защиту, а после того как закончили эти испытания, они забыли эту защиту ввести снова...

Эту программу утверждал Фомин.

— Валентин Александрович, какого примерно числа у вас уже вырисовалась картина аварии?

— Примерно 1—2 мая картина стала проясняться. Из шести рабочих версий, принятых сначала, осталась одна. И после этого наше представление практически не менялось. Оно просто уточнялось. К пятому мая у нас уже была совершенно определенная версия. Тяжелая это была работа... Мы работали с 7 утра до 11 вечера. Все сюда входило — и прослушивание записей телефонных разговоров, дешифровка разговоров оперативного персонала в этот период и дешифровка программы ДРЕГ, дешифровка расчетных программ «Призма». По мере необходимости — поездки на станцию. Изучение многочисленных фотографий. Нам доставляли десятки фотографий, полученных с вертолета. На них мы видели состояние оборудования и могли делать выводы: если бы, например, произошел взрыв водорода, мы бы увидели разрушенный бак. Но мы увидели, что он стоит на месте, насосы на месте стоят — значит, это не могло произойти. Фотографии очень помогли. Ну и, конечно, радиационная разведка помогла — и в смысле прогноза, чего следует ожидать. При нас было принято решение об эвакуации 30-километровой зоны, мы в этом тоже принимали участие.

Припять была полностью эвакуирована 29 апреля, Чернобыль — 4 мая. А в округе — в селах, в прилегающих деревнях, даже в Копачах еще жили люди. Представляете? Я видел, как 4 мая шла эвакуация — как раз ехал в штаб Правительственной комиссии, который размещался в Чернобыле... ПК (Правительственная комиссия) нас практически ежедневно слушала. Мы разбились на мелкие группы, которые занимались своими частными вопросами каждая. Мне, например, было поручено вместе с двумя товарищами дешифровать программы ДРЕГ, заниматься анализом оперативных записей. То есть мы занимались сердцевиной: действиями персонала. И вели беседы с этим персоналом. Одновременно у нас работали расчетчики — они тут же составляли математическую модель аварии и по мере возможности передавали в Москву и в Киев на машину, для расчета.

Седьмого мая я возвратился в Москву. Дальше наша ра-

бота продолжалась уже в Москве. Все материалы были переправлены с нами. Несколько мешков документов, распечаток, журналов, магнитные ленты — все, что было у нас под рукой.

Вскоре после нашего приезда в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова произошла наша встреча с академиком Анатолием Петровичем Александровым. Он был немножко нездоров, не прилетел в первые горячие дни в Чернобыль, и поэтому мы, вся наша комиссия собрались в институте. Был воскресный день. Были академики Е. П. Велихов, В. А. Легасов, другие. Е. П. Велихов приехал в институт прямо с самолета, из Чернобыля. Это фактически было первое заседание на самом высоком уровне с участием самых видных наших ученых. От нашей комиссии докладывал А. Г. Мешков. А выступали от нашей комиссии практически все — я тоже выступал. К тому времени я подготовил график развития аварии, я привез его с собой — по минутам и по секундам. Это было уже наше объективное, официальное мнение. Была проделана огромная работа — компьютеры в нашем институте в первые дни мая работали круглосуточно. Только на анализ этой аварии наши ЭВМ, вся мощь нашей техники, работали две недели непрерывно, круглые сутки. Обработывали все данные. Просчитывали десятки, может быть даже сотни вариантов. Много людей этим занималось: все наши видные программисты, математики. По мере необходимости мы привлекали необходимых людей — расчетчиков-физиков, например.

На том совещании у А. П. Александрова некоторые вопросы были поставлены под сомнение, некоторые требовали дополнительных уточнений. Были, конечно, справедливые замечания. Но в целом с выводами комиссии согласились — и Анатолий Петрович Александров, и Евгений Павлович Велихов. Таким образом, к 15 мая мы уже имели основательное представление об аварии с точки зрения физики, техники, человеческого фактора. Конечно, были еще детали, в которых мы не были убеждены. Пожалуй, окончательную картину получили к 30 мая, когда ситуация выкристаллизовалась окончательно. Потому что перед этим были еще какие-то противоречия между представителями разных институтов — ну, не разногласия, а неясности в процессе разговоров еще всплывали. Спорные моменты. И работа наша в те дни была направлена на то, чтобы учесть все эти нюансы. Учесть специфику реактора, которая могла измениться в процессе работы. Потому что мы прекрасно знали и знаем физику свежего аппарата и не очень блестяще знаем —

что происходит в динамике. Все наши усилия в мае как раз и были направлены на то, чтобы узнать все это, уточнить константы, понять физические характеристики аппарата.

— Это, наверно, страшный удар был для академика А. П. Александрова? Ведь взорвалось его любимое детище...

— Для всех нас это был страшный удар. Все, кто посвятил свою жизнь атомной энергетике, никогда не думали, что такое может произойти... Невозможно было предположить это».

## ФИЗИКИ

Александр Александрович Ключников, заместитель директора Института ядерных исследований АН УССР (Киев):

«С первого дня аварии все наши сотрудники были вызваны в институт, все праздники были отменены, работа велась круглосуточно. Из двух с половиной тысяч наших сотрудников на рабочем месте несколько дней отсутствовал только один, да и то, как оказалось, по уважительной причине. Отпуска были отменены.

В первые дни аварии основной была наша профессиональная забота о Киеве, о детях младшего и среднего возрастов. Нами были немедленно разработаны рекомендации, и 30 апреля мы их передали правительству. Мы настаивали на том, чтобы провести укороченную первомайскую демонстрацию без участия детей, рекомендовали сразу же закрыть школы. Аттестаты выдать десятиклассникам без экзаменов, старшеклассников направить в лагеря труда и отдыха. К сожалению, представители Министерства здравоохранения УССР были категорически против этого — это я заявляю как член республиканской правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

Мы разработали план первоочередных работ по защите населения Киева. Первого мая в наш институт приехал вице-президент Академии наук Украины Виктор Иванович Трещинский, второго мая — наш президент Борис Евгеньевич Патон. Все дружно работали, решая ряд сложных проблем. Что делать со школьниками? Как наладить контроль радиационной обстановки в Киеве — в частности, контроль воздуха и воды? Как организовать дозиметрическую службу на молокозаводах? Немедленно и очень остро встала проблема контроля молочных продуктов: в Киев их завозили из всех районов области. С севера приходили очень скверные продукты, ра-

диоактивно загрязненные, надо было их отсекать. У нас в Киеве четыре молокозавода, и на всех молокозаводах наши сотрудники работали круглосуточно, не считаясь с тем, кандидат он наук или нет, старший научный сотрудник или рядовой лаборант. Не было поначалу аппаратуры для измерений, пришлось срочно наладить ремонт и переделку аппаратуры в нашем институте.

Вскоре присоединилась еще одна важная задача: проведение различных измерений там, в Зоне. Самый важный вопрос, который волновал всех: остановлена ли цепная реакция? От ответа на этот вопрос зависела дальнейшая судьба и станции, и всех нас. Измерения приходилось проводить в радиационных полях огромной мощности, а таких приборов тогда не оказалось. У нас такие приборы были разработаны, но межведомственные барьеры, как всегда, мешали внедрению — и только в условиях аварии буквально за месяц все решили.

Ну, этот вопрос и без нас бы в принципе решили, потому что там работали и другие мощные научные коллективы — Институт имени Курчатова, Радиологический институт из Ленинграда, другие организации. Обошлись бы и без нас. А вот что касается регистрации нейтронов, то тут особый случай. Наличие нейтронов говорит о том, что цепная реакция не остановлена, а это, как вы понимаете, — серьезнейшее дело. К чему может привести неконтролируемая цепная реакция, думаю, не надо объяснять... И вот некоторые группы на АЭС замеряли потоки нейтронов и пришли к выводу, что нейтроны ЕСТЬ. Здесь все дело в возможностях используемых приборов и маскировке этого явления другими эффектами. Кстати, оказалось, что многие высокопоставленные лица совершенно не знают основ ядерной физики. Хотя и должны знать.

— И основ биологии и медицины тоже, кстати. Например — что такое лейкоциты и какова их функция.

— Совершенно верно. В результате была путаница в измерениях. Например, спектры альфа-частиц выдавались за спектры нейтронов. На самом высоком уровне эти вопросы обсуждались. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, мы разработали специальные миниатюрные нейтронные датчики.

Эти датчики вешались на тросик. Получалась такая гирлянда, вроде елочные лампочки. Человек выскакивал из броневика и словно перемет забрасывал с грузилом — ставил датчики в том месте, где фон позволял выскочить наружу.

Затем броневик медленно двигался и вся эта гирлянда раскручивалась с барабана. Через каждые несколько метров на тросике висели датчики. Это наш метод. Мы придумали. Вот так мы измеряли потоки нейтронов.

Трос лежал на земле, а мы тем временем ездили «отдыхать» в Припять. Фон в то время был там жуткий, но, конечно, полегче, чем возле реактора. «Отдыхали» мы там минут сорок — час и возвращались, забирали нашу гирлянду. Для этого надо было выйти из «бэтэера», накрутить трос на барабан и уехать. И вот когда выскочили и накрутили эту гирлянду на барабан, оказалось, что крышечки контейнеров, в которых лежали наши миниатюрные датчики, открутились. Что делать? Чтобы эксперимент даром не пропал, я выскочил из «бэтэера» и побежал вдоль этой линии, чтобы хоть что-то найти, посмотреть... Я нашел эти датчики. И это нам очень помогло. Дело дошло до того, что один ученый стоял на броневике и наблюдал за мной, а я бегал как угорелый, и когда он увидел, что я что-то несу в руках, кричит: «Я тебя не пушу в броневик, потому что это остатки топлива, зачем тебе это нужно?» Я говорю: «Знаешь, дорогой, мне топливо тоже совершенно ни к чему, я тоже жить хочу. Но я свои датчики знаю». Я в перчатках был, естественно. Это было в начале мая.

Та неудача — то, что датчики высыпались из контейнера, помогла нам. Мы сделали новые контейнеры, не пропускавшие альфа-частицы, и крышечки застопорили так, чтобы они больше не вылетели, и убедительно доказали, что цепной реакции там нет, реактор заглушен.

Он разворочен, температура большая, выброс радиоактивных осколков есть, но цепной реакции нет, реактор не работает.

Это самое главное».

**Валентин Иванович Шаховцов**, заместитель директора Института физики АН УССР (Киев):

«Так же как и наши коллеги из Института ядерных исследований, мы приняли участие в организации контроля молока на молокозаводах. Уже второго мая мы укомплектовали группу сотрудников — человек 70, — и нам выделили в Дарнице самый крупный, 2-й молокозавод. Где-то пятого — шестого мая начало поступать из северных и северо-западных районов области молоко, не соответствовавшее по радиоактивной загрязненности введенным нормам. Его брако-

вали, организовали завоз более чистого молока из восточных районов.

Примерно в те же дни нашему президенту Б. Е. Патону позвонил академик Е. П. Велихов и попросил организовать группу киевских физиков для непосредственной работы на станции. Седьмого мая я выехал в Чернобыль. Была у меня дозиметрическая аппаратура, которую я постоянно держал включенной от Киева до Чернобыля. Ясно было, что дорога загрязнена, что фон колеблется в зависимости от характера местности. Я обратил внимание на то, что транспорт, который мы обгоняли, был сильно загрязнен, потому что стрелка на приборе скакала, а начиная от села Феневичи, наш приборчик зашкалило, пришлось взять другой дозиметр... Шел бесконечный поток грузов к Чернобылю — огромное количество самосвалов, военной техники. Навстречу мчались миксеры, бравшие бетон в районе Киева и возвращавшиеся обратно. Тогда еще в Зоне не было своих бетонных заводов.

В тот день фон в Чернобыле был достаточно высокий, он колебался в зависимости от направления ветра: когда ветер дул со стороны станции, радиоактивность усиливалась. Мы познакомились с физиками, уже работавшими в Чернобыле. Там был ряд групп. Ведь и задач для физиков было множество. Президиум Академии наук УССР сформировал группу специалистов-физиков, которые откомандировывались в распоряжение оперативной группы нашего украинского Совета Министров. В состав этой группы вошли шесть человек из Института ядерных исследований, в частности заместители директора Виктор Иванович Гаврилюк и Александр Александрович Ключников, и один человек — я — от Института физики.

Пришлось летать на вертолете над реактором.. Зрелище было очень тяжелое. Серьезнейшие разрушения: по существу, был разнесен весь четвертый блок, разбита крыша машинного зала и крыша соседнего третьего блока, очень сложные большие завалы бетонных конструкций, металлических обломков — все это вывалилось наружу, свисало со стен. Под стенкой на земле — кучи обломков, завалы со стороны машинного зала, всевозможные обломки на крышах... Ясно стало сразу, что вблизи станции уровни радиации были очень высокие. На высоте 250—280 метров над четвертым блоком, причем не впрямую над самым реактором, а чуть в сторону, радиация была очень высока. Легко было подсчитать, что творится на земле.

Седьмого мая разрушенный блок еще немного «курил» —

над ним вился легкий дымок. Через неделю уже никакого дыма не было. Единственное, что косвенно говорило о довольно высокой температуре внутри реактора под завалом, — это то, что ночью, в темноте, бетонная крышка реактора, так называемая «Елена» (она обозначалась буквой «Е», отсюда и имя «Елена»), торчащая из завала, частично светилась красным, таким калиновым цветом. Поэтому одной из основных задач, стоявших тогда перед физиками, было — определить температуру внутри реактора. Ведь самым драматичным моментом был тот период, когда все ждали — будет ли проплавление конструкций реактора и днища. Никто не знал, в каком состоянии находятся остатки активной зоны. И для того, чтобы в любом случае предотвратить возможное попадание расплавленной активной зоны, так называемого кориума (кориум — это вещество разрушенной активной зоны, термин впервые был предложен американцами после аварии на станции Тримайл-Айленд, от слова «кор» — сердечник, сердцевина), — так вот для того, чтобы этот кориум не попал в грунтовые воды, чтобы не возник так называемый «китайский синдром», решили соорудить знаменитую охлаждающую плиту под фундаментом реактора.

Для этой цели со стороны третьего блока выкопали котлован и из него стали гнать штрек под четвертый блок. Это все хорошо знают, это освещалось в прессе, показано в кино- и телефильмах. Это была тяжелая, но самая необходимая перестраховка. Плиту сделали очень быстро, но тем не менее остро стоял вопрос: что же будет дальше?

И тогда одновременно в нескольких научных группах, в частности в группе «курчатовцев», возникла идея: попытаться контактным методом измерить температуру как можно ближе к активной зоне реактора. Проработкой этой идеи руководил москвич Борис Георгиевич Пологих — специалист высочайшего класса, интеллигент в лучшем смысле этого слова. Человек спокойный и дотошный. Борис Георгиевич и его сотрудники — и одновременно наша украинская группа — присматривались к барботеру. Барботер — это довольно сложная система бетонных отсеков непосредственно под реактором. Они заполнены водой, через которую фильтруются газы, содержащие радиоактивные примеси. В момент аварии, если я не ошибаюсь, в барботере находилось где-то порядка 20 тысяч кубометров воды. И если бы был разрушен низ реактора и кориум попал в воду... трудно предсказать, что могло произойти и со станцией, и с Киевом, и со всеми нами.

Для того чтобы можно было поставить эксперимент по

измерению температуры, нужно было сделать крупные отверстия в вертикальной бетонной стенке бассейна-барботера. Толщина бетона там — 1,6 метра. Очень толстая стена. Нашли специалистов, которые умели резать бетон, и они приступили к работе. Учитывая радиационную обстановку и то, что доступ туда затруднен, подступались к барботеру со стороны третьего блока — через технологические каналы, через кабельные коридоры.

Аппаратуру для этого эксперимента параллельно стали готовить два института — Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова и наш Киевский институт ядерных исследований. Москвичами руководил Владимир Федорович Шикалов — энергичный, толковый физик, киевлянами — Александр Александрович Ключников, СКТБ которого разрабатывало свою систему.

25 мая мне дали машину директора ЧАЭС, и мы вместе с сотрудником ИЯИ Сеней Гринбейном поехали на станцию, чтобы произвести осмотр того места, где надо ставить аппаратуру. Дырку в стене уже кончали резать. С нами были сотрудник станции Вениамин Александрович Прянишников (кстати, он одним из первых, еще в начале мая просверлил небольшое отверстие в стенке бассейна-барботера, когда шла борьба за охлаждение реактора) и начальник лаборатории автоматики Евгений Иванович Бородавко.

В те дни станция была пустынна. Персонала почти не было. В основном солдаты. Самое острое впечатление, когда мы попали впервые в бункер ГО — это на АБК-1, влево и вниз по лестнице от главного входа. Там можно разместить человек пятьсот, в этих бункерах. И вот представьте эти подвальные помещения: нары, молодые ребята, спящие, отдыхающие от работ, а рядом — стол дежурного, телефоны, непрерывные переговоры, суета, беготня — это на меня оказало сильное эмоциональное воздействие.

Там же, в подвале, я впервые увидел температурные показания первого, второго и третьего реакторов — они по специальным каналам телеметрии были выведены в бункер. Самописцы записывали эти показания.

Оттуда, из подвала, мы и совершили поход к помещению барботера. Вел нас В. Прянишников, который великолепно ориентировался в станции, во всех этих запутанных переходах и коридорах. Путь был очень сложный, потому что четвертый блок был сильно разрушен. Начинался наш маршрут от АБК-1, через коридор третьего этажа — его часто в кино показывали — на БЦУ-3 и далее — под реактор. Там

были забавные моменты. Когда идешь через первый и второй блоки — они, как вы знаете, разобщены достаточно солидно, там коридор без окон и его надежно защищают монолитные бетонные стены даже при наличии сильного гамма-фона. А коридор второй очереди — третьего и четвертого блоков — решили построить эстетично и экономно: превратили его в эдакую застекленную галерею с одинарным стеклом. По сути — стеклянный коридор. Внешняя его стена выходит на улицу, и потому там тогда так «светило», что пришлось бежать, чтобы не нахвататься никому не нужных лишних рентгенов. Потом этот коридор завесили свинцовыми шторами.

Чем ближе к барботеру — тем запутаннее путь: спускались через технологические люки, пролезали под всевозможными трубами метров пятьдесят, потом поднимались вверх. Прянишников блестяще знал радиационную обстановку на маршруте. Как он этот путь нашел в таком лабиринте — не знаю... Вентиляция тогда не работала, было очень душно, мы были все мокрые.

Зашли в помещение, из которого дыра ведет в барботер. Радиоактивное загрязнение барботера несусветное — ведь там находилась радиоактивная вода. Воды, правда, уже не было, немного на полу осталось. Это я все увидел, когда засунулся туда. Темно было, естественно. Я лег на срез дыры, срез застелили пластиком, осветил тот бункер фонарем. Я бывший спортсмен — волейболист, велосипедист — поэтому особых проблем не было. Форму поддерживаю. Осмотрел помещение — там трубы свисали. Прикинул, где ставить датчики, как срезать трубы. Вылез обратно, поговорили с моими коллегами. В той комнатке перед барботером было тесно, много труб, но фон небольшой. Зарисовал это все дело... Интересно, что там чувствовалась большая тяга воздуха снаружи. Нас как бы втягивало в подреакторное пространство. Это хорошо, потому что это место вентилировалось, было немножко прохладнее.

— Вы тогда думали, что над вашей головой клокочет неуправляемый горящий разрушенный реактор?

— Да нет, некогда было думать об этом. Главное — чтобы не зря мы поставили приборы.

Назначили всю операцию на 29 мая. В Кисеве в это время мои друзья В. Гаврилюк и А. Ключников с сотрудниками заканчивали подготовку аппаратуры. Ведь ее нужно было не просто изготовить, а развернуть все кабели, подключить их, проверить на имитаторах, как они работают, — то есть смодели-

ровать все. Там были датчики температуры, теплового потока, гамма-излучения и нейтронного потока. В итоге это все потом развилось в стройную систему диагностики реактора. Но тогда об этом никто еще не думал: это была конкретная практическая задача тех дней.

29 мая мы автобусом выехали из Киева, из Института ядерных исследований. Ехало нас тогда человек двенадцать. За нами шла грузовая машина с аппаратурой и катушками кабеля. Катушки внушительно выглядели, потому что как-никак — 360 метров толстого кабеля.

Разыскали Прянишникова. Он сказал, что возникли определенные трудности и что сегодня ставить не будем. Мы с Гаврилюком заняли жесткую позицию: ставить только сегодня. Мы знали, что и Институт имени Курчатова готовит аппаратуру в то же помещение, в ту же трубу. Конечно, было научное соперничество, была жесткая конкуренция, так и должно быть при данной ситуации. Это ведь на пользу делу — сопоставление данных, полученных разными методами.

Тем более что зампредсовмина СССР Л. А. Воронин дал задание: к 7 вечера определить температуру реактора. И хоть ты стреляйся. Все дело в том, что без надежной информации о тепловых потоках нельзя было приступить к проектированию саркофага. А концепция саркофага возникла очень рано — еще где-то седьмого мая я услышал впервые слово «саркофаг» из уст Е. П. Велихова и В. Д. Письменного.

Первая трудность 29 мая была такая: трубу, которую надо было обрезать, чтобы в нее поставить штангу с датчиками, не обрезают. В чем дело? Резали трубу ребята-сварщики из того помещения, в котором мы были. Я вам рассказывал о нем — тесно, жарко, но фон небольшой. Резали автогенем на длинной штанге, в сам барботер они не лазили. У сварщиков были дозиметры, все как полагается. Один из этих парней снял брезентовую робу — ему было очень жарко — и положил ее на трубу, проходившую рядом. Отработал он свои пятнадцать минут — работа эта очень тяжелая, — надел обратно свою робу, смотрит — а дозиметр зашкалило! Что за чертовщина? Он поднял крик, и они покинули помещение. Вновь туда пришли дозиметристы, и оказалось, что в одном месте эта труба «светит». А когда я туда лазил — не было ничего, это абсолютно точно. Это была труба охлаждения, и, поскольку она проходила через разрушенный реактор, видимо, какой-нибудь осколок топлива попал вниз, залетел в горизонтальную часть трубы и образовался такой сумасшедший фон. Совершенно идиотский случай, но в помещении

нельзя было заходить. Дозиметристы тщательно все замеряли и решили погасить свечение: постелили на трубу толстый кусок свинца, и все. Полностью погасили. Когда бригадир убедился, что там все в порядке, он разрешил своим людям работать, и они быстро обрезали трубу.

Это одна задержка.

Там вообще на каждом шагу были неожиданности.

А вторая задержка — когда мы начали разгружать кабель, оказалось, что катушку нельзя пронести через дозиметрические стойки коридора, идущего вдоль первого и второго блоков. Черт знает что. Возник легкий переполох, но потом был найден довольно изящный выход: решили кабель размотать на шесть-семь бухт, катушку выбросить, каждому человеку надеть на себя эту бухту — как альпинисту в связке — и тащить ее. Кабель толщиной миллиметров 25, страшно тяжелый.

И потащили мы его, как бурлаки на Волге. На каждого приходилось килограммов по 40. Процессия была — обхохочешься. Первым шел Виктор Гаврилук. Он бывший десантник, физически сильный, тренированный, очень большой юморист и весельчак. Потом шел Алик Никонов, а я замыкал. Расстояние между нами было метров десять. Кабель волочился по полу. Ну а самый был смех, когда мы побежали по тому коридору, где высокий уровень. Это картина! Сначала решали, как бежать: в ногу или не в ногу. Потом Витя Гаврилук говорит: «Пошли вы... туда-то и туда-то. Главное, чтобы никто не упал, а в ногу или не в ногу — не имеет значения». Пробежали мы там совсем немного... невозможно... Тяжело очень. Пришлось просто быстро идти.

На БЩУ-3 отрубили прямо топором кусок двери и втащили кабель.

Когда вниз тащили кабель, к барботеру, — это была дьявольски тяжелая работа. Проложить вверх-вниз по такой пересеченке 360 метров кабеля, нигде его не порвать, не перегнуть — это... Замучились мы страшно с этим кабелем. А тянули мы сразу не один, а три кабеля. И когда мы наконец подошли к помещению перед барботером, откуда вышли эти ребята-сварщики, замученные, страшно злые, и сказали: «Все. Мы свое дело сделали. Теперь вы...»

Последний этап с датчиками мы начали примерно в 16.00. Немножко отдохнули сверху перед этим. Попили водички... Как назло, в тот день на станцию не завезли минеральную воду. Мы были вынуждены пить воду из крана. Не пить не могли, потому что пот градом катил, пили беспрерывно. Был

один кран на третьем блоке, мы туда бегали по очереди, бутылками беспрерывно набирали эту воду.

Потом пошли вниз. Сама установка датчиков заняла максимум двадцать минут. В телефильме «Чернобыль: два цвета времени» сказано, что Прянишников туда вошел первый, в барботер. Это не так, Вошел Валерий Николаевич Шевель, начальник службы радиационной безопасности нашего киевского реактора. Очень четкий и педантичный человек, он сказал, что никто не войдет туда, пока он не узнает дозобстановку. Мы дали подписку о согласии на такую работу.

Мы были полностью переодеты — пластиковый костюм, бахилы, перчатки. И вот Шевель первый влез туда, четко все промерял, определил перепады фона по высоте и площади. Следующая пара — Прянишников с кем-то, не помню — с кем. Он поставил свою термопару. А мы ставили свою систему. На телескопическую штангу насаживались датчики, штанга раздвигалась, и датчики упирались в днище реактора.

Последними вошли туда мы с Витей Гаврилюком, когда уже все было поставлено, — просто залезли, чтобы все проверить. Зашли на пару минут, проверили, зафиксировали и пошли обратно на БЩУ-3 — подключать приборы к кабелям.

Это, конечно, по тревожности был самый-самый момент. Мало ли что могло быть. Закон пакостности срабатывает ведь безошибочно.

И здесь сработал.

Все подключили, прозвонили всю цепочку от барботера до БЩУ-3, информация шла, но... оказалось, что один прибор не работает. Цифровой электронный вольтметр вылетел. А он как раз был посажен на температуру. Самый важный параметр. Мы в ужасе. Главный разработчик этой системы Юрий Львович Цоглин и еще несколько человек пошли обратно. В то же самое помещение перед барботером. Там находились разъемы: соединения датчиков с кабелями. Пошли, развинтили соответствующий разъем. Увидели, что все в порядке — информация от датчика поступает. И когда шли обратно, встретили бегущих навстречу Велихова, Письменного, Пологих. Мы поняли, что они тоже волнуются — будет или не будет информация о состоянии реактора?

Все вместе вернулись на БЩУ-3, где-то там нашли вольтметр, заменили неисправный, через полчаса включили, и все пошло нормально.

Определили температуру, другие показатели. Когда потом мылись в санпропускнике на станции, Велихов, Пологих и Письменный прикидывали на пальцах — что творится

внутри. Там ведь надо было много факторов учесть — и толщину бетона, и расстояние между конструкциями. Считали пока приблизительно, на глазок. Но, как оказалось, безошибочно. Потом в Чернобыле уже все точно просчитали. И успокоились.

Стало ясно, что никакого проплавления днища реактора не будет».

## ЛИРИКИ

**Юрий Геннадиевич Коляда**, телеоператор Гостелерадио СССР:

«Об аварии я узнал в понедельник, 28 апреля, в поликлинике. Услышал разговоры о том, что был огромный взрыв, что выехала туда большая группа врачей, что больных вывезли в Москву, но общие размеры аварии еще не доходили... Потом поползли слухи. И когда я работал на первомайской демонстрации и смотрел в камеру — я видел: совсем другой народ шел. Я стоял прямо под трибуной, и обычно, знаете, народ «собирается»: здесь же руководство стоит. Но даже перед трибуной, шли совсем другие люди. Все вроде было как всегда — плакаты, цветы, — но печать какая-то на лицах уже лежала.

Первого мая руководство нашего комитета приняло решение ехать туда и снимать. И сразу же появились первые отказники. Я служил в воздушно-десантных войсках, и отказниками у нас назывались те, кто отказывался прыгать с парашютом. Первыми отказниками у нас стали водители. Они отказались ехать второго мая утром. Поехал за рулем Володя Ракай, инженер ТЖК. С ним поехали покойный оператор Валя Юрченко и Юра Жуков. Я второго мая не ездил. Они доехали до Чернобыля, там тогда был полный бедлам и трудно было чего-нибудь сообразить: им «режимники» сначала говорили «да», потом «нет», потом отфутболили их куда-то. Короче — не сняли.

Я поехал одиннадцатого мая. Поехали в пионерлагерь «Сказочный». Там нас встретили, мы переоделись. У входа — гора выброшенных пластиковых костюмов и рядом лежит собака в неестественной позе. А я обожаю собак. Думаю — ну все, умер песик, ноги завалил в сторону, вот что делает радиация... Вдруг песика что-то испугнуло, он вскакивает и лает. На душе стало веселее.

Самый-самый запомнившийся день — двадцать пятое мая.

Приехали мы в Чернобыль и долго искали — с кем поехать на станцию. Нам нужна была «грязная» машина: я очень хотел снять развал четвертого блока. Нашли парня, который дежурил на проходной бывшей Сельхозтехники. Попросили его. Он, по-моему, из Ворошиловграда. Он пошел в гараж и вывел поливалку. Разваленную, страшную, но она ездил. Мы с Пашей Власовым — это журналист, который вел теле-репортажи,— сели в машину. Надели «лепестки». Едем к станции. Этот парень спрашивает: «У вас есть какое-нибудь разрешение? Хоть что-нибудь?» — «Какое разрешение? Командировок нет». — «Ну, тогда я вас повезу со стороны монтажного района, там у вас ничего не спросят. Там можно подъехать к реактору вообще без всяких пропусков».

И вот мы едем на этой развалюхе, она рассыпается по дороге, а дорогу мы не знаем. Мы уверены, что, поскольку парень там работает, он все знает. Подъезжаем к въезду в Припять, справа «Рыжий лес». Но со стороны шоссе он еще какого-то непонятного цвета. «Вот здесь мы проскочим», — говорит наш парень и сворачивает направо.

Едем, едем — мне как-то неуютно становится. Я говорю: «Ребята (а я уже слышал это название «Рыжий лес»), а какого цвета этот лес?» Этот парень: «А-а-а...» — и матерится. Он перепутал поворот и свернул чуть раньше. Покатал нас по «Рыжему лесу». Картинка совершенно фантастическая. Сосны были не ржавого цвета, не осенние, не сгоревшие. Цвет был свежий, желтого оттенка. Жуткое зрелище. Сверху донизу такой цвет. И кроны. Неестественное ощущение, фантастическое. И даже не то чтобы страшно — нет. Противно. Потому что знаешь, что по глупости залез. Развернулись и поехали дальше.

Но на этом наши приключения не закончились.

Проезжаем мы бетонный завод, приближаемся к АЭС и видим — в ста метрах от нас работают бульдозеры. Боже мой, прекрасно! Я расталкиваю Пашку, пристраиваюсь с камерой. Поехали! Парень наш подъезжает, вот они — в двадцати метрах от нас. Вдруг я вижу: **ВНУТРИ НИКОГО НЕТ!** Я говорю: «Ребята, мы неправильно заехали, они радиоуправляемые. Поехали вон отсюда...»

Ну и денек у нас выдался... Все-таки я успел снять эти бульдозеры. Наконец мы вырулили правильно, приехали на станцию, пошли в бункер к генералу Гольдину. Он очень внимательный, симпатичный человек. И тут в бункере оказался капитан Яцына. Его батальон чистил территорию. Генерал говорит ему: «У тебя «бэтээр» есть?» — «Есть». —

«Подвези людей, надо снять». Там в армии все просто решается.

Мы отпустили нашего поливальщика несчастного. Вышли на территорию, подошли к третьему блоку, там работали солдаты. Меня удивило ужасно, что они работали без дозиметров, дозиметр был только у командира, ребята работали в «лепестках», но пыль они поднимали невообразимую. Они очищали те места, куда не могла подойти техника, примитивным способом — лопатки и мусорные баки для листьев. Вот и все. Там мы отсняли один «синхрончик». Паша сбросил на минутку с лица «лепесток», сказал два слова на фоне этих работ. Потом мы за это получили по голове. «Вы что, без респиратора?» — сказали Паше. И эти кадры в эфир не пустили.

Но это было не самое обидное.

Потом мы начали подбираться к четвертому блоку. С Яцной были дозиметристы. Мы со двора шли, и, когда до него оставалось метров 200, ребята говорят: «Ну все. Дальше идти нельзя. Можно только подъехать». Яцна кого-то посылает за «бэтээрром». Приходят и говорят, что нет «бэтээра». Куда-то его послали. Но уехать, не сняв эти кадры, — нельзя. Я бы в жизни себе этого не простил. У нас был «уазик», и мы все-таки подъехали, дозиметристы показали нам более-менее чистую трассу. Приблизились к реактору на сто метров.

Подъехали и дозиметристы, показывают нам вначале две минуты, потом — минуту. Мы с Пашей выскочили на вспаханное поле — здесь только что прошли радиоуправляемые бульдозеры, они прямо к развалу ходили. И хотя нам объяснили, что каждый шаг вперед — это сто рентген, все-таки сняли этот развал.

И вот когда мы выскочили с Пашкой, злость у меня была безумная. Вы знаете, никогда в жизни ничего подобного не ощущал: я настолько ненавидел вот этот блок, словно это было живое существо. У меня было такое бешенство, безумное бешенство, но я был спокоен. Спокойное бешенство.

Хотелось его руками разорвать. Как живого ненавистного человека, живого врага. Просто потрясаяще его ненавидел. С таким чувством можно руками изорвать десять человек, наверно. Я стою перед ним и вижу — дымочек над ним поднимается, дрожит воздух, видно еще, как шлейф идет... Все это есть, и вот он ря-

дом. За всю свою жизнь я такой ненависти не переживал.

У Паши было перепуганное лицо, хотя он явно не трус. Он стал спиной, чтобы у него на фоне оказался развал, и проговорил свой текст за одну минуту.

После этого мы сели в машину и уехали. Потом этот материал разрешила к показу цензура. И что вы думаете? Один наш высокий чиновник запретил. В семь часов началась «Актуальная камера»<sup>1</sup>, идет передача из Чернобыля. Вдруг вижу, что нет Паши на фоне разлома, а есть коротюсенький планчик, причем конец «наезда» камеры. Совершенно непонятно — где же это? Нет реактора со стороны разлома, есть только сам разлом. Я, возмущенный этой историей, бросаюсь к редактору информации, попадаю на заместителя главного редактора, смотрю на него ясным взором и говорю: «В чем дело?»

Он объясняет: уже после того, как цензура дала «добро» на все наши съемки, тот чиновник посмотрел по нашему внутреннему каналу и сказал: «Убрать вот это место. Нашему зрителю не нужны такие эмоциональные вещи». А там Паша всего-навсего сказал: вот теперь мы можем вам показать развал (я не помню точно — или «место взрыва»), но поскольку здесь еще небезопасно оставаться долгое время, то, пожалуйста, посмотрите, мол, и все. Что-то в этом роде. «Не надо», — сказал чиновник. Наши нервы берегли таким способом.

А потом этот сюжет появился в передаче ЦТ под другой фамилией. Того, кого не было на станции.

Я много раз ездил туда, снимал разных людей. Все, что я видел там, напоминало атомную войну, вернее — события после атомной войны. Мы работали там японскими камерами «Бетакам» фирмы «Сони». Я думаю, что фирма заплатила бы большие деньги, чтобы заполучить камеры обратно. Это была бы прекрасная реклама для «Сони». Даже в условиях мощной радиации камеры работали безотказно.

Но никому отдать эти камеры мы не можем. Они набрали радиацию и «звенят».

**Хем Елизарович Салганик**, руководитель творческого объединения документальных фильмов студии «Укртелефильм»,

---

<sup>1</sup> Информационная программа Украинского телевидения, ежедневно освещавшая события в Чернобыле.

один из авторов документального телефильма «Чернобыль: два цвета времени»:

«Двадцатого мая мы уже были в бункере. Мы получили доступ к самому сердцу — к командному пункту, где решались все вопросы. Ни одна съемочная группа таких возможностей не имела. В бункере работал оперативный дежурный Валентин Мельник — воспитанник Чернобыльской АЭС. Мы с ним подружились. Интересно, что все питомцы Чернобыльской АЭС слетелись сюда, как только услышали об аварии, — без всякого приказа. Оперативные дежурные работали сутками. Все сходилось к ним, все решения исходили от них. Поэтому мы знали — что сейчас происходит на станции самое важное. Первые дни нам говорили: «Есть нечто важное, но вы же туда не пойдете». Мы говорили: «Пойдем». — «Ну идите. Сейчас готовится очень интересная операция: под четвертым блоком делается прожиг, и в эту дырку войдет человек и поставит первые приборы под реактор».

Мельник пожал плечами и говорит генералу Гольдину: «Дайте им БТР, они хотят туда ехать». Нас туда привезли. Мы снимали этот прожиг под четвертым реактором. В том помещении было нас четверо: наш осветитель и мы с режиссером Игорем Кобриным и оператором Юрой Бордаковым. И когда мы сняли этот прожиг, к нам уже было полное доверие. И нам уже говорили: «Хлопцы, снимите вот тут, вот тут, вот тут».

Там еще одна была сумасшедшая история, мы очень хотели ее снять. Дело в том, что на крыше куски графита вплавились в битум. И никакая техника не была в силах выдрать этот графит. Рвались траки даже у «Владимирца». Возникла такая идея: ставится помост, на него водружается крупнокалиберный пулемет, и в 6 утра, когда еще можно контролировать ситуацию, когда людей еще нет, куски графита расстреливаются настильным огнем, превращаются в пыль. А после этого можно будет туда пустить какую-то машину, которая толкнет этого желтого западногерманского робота, который там застрял. Когда военные сказали: «Ребята, мы вам не гарантируем, что не расстреляем этого вашего робота» — то Юра Самойленко, наш герой, говорит: «Да черт с ним, с этим бездельником!» К сожалению, Правительственная комиссия, не найдя возможным обеспечить полную безопасность людей, запретила эту операцию. Ведь работа шла круглые сутки. Не было гарантии, что пуля не срикошетит. Мы в шесть утра там уже были, ждали этого фейерверка. Не получилось.

Мы там настолько стали своими людьми, что когда Мель-

ник выходил покурить, он оставлял меня возле телефонов на КП. Я уже знал многих людей.

Однажды прибегает Игорь Кобрин и говорит: «Хем, нас не пускают». — «Кто это? У нас же проход всюду!» — «Не пускают, говорят, там что-то закрыли». Я иду. Стоит часовой. А вид у меня очень солидный: седые усы, форма белая, как у всех. Я говорю внятно, чтобы он понял: «Генерал Кузнецов... — а потом дикой скороговоркой: — далразрешениесниматьгдемытолько...» Он говорит: «Товарищ генерал, я не знаю, там есть прапорщик». Я: «Где прапорщик?» Он берет телефон и звонит. Дает мне трубку. Я беру трубку и снова говорю: «Генерал Кузнецов... далразрешениеснимать гдемытолько...» Прапорщик говорит: «Извините, товарищ генерал. Дайте трубку караульному солдату». Я даю — и он нас пропускает. На войне как на войне — без хитрости не обойдешься.

А вообще — может быть, и грех так говорить — но это было прекрасное время! Я вспомнил войну, боевых товарищей. Я не хотел оттуда уезжать — такое было отношение друг к другу. И все занимались только делом. Три минуты прошло от изменения ситуации до выдачи рекомендаций и принятых решений.

Там была совершенно другая обстановка, другая система отношений — времен Отечественной войны или та знаменитая курчатовская атмосфера, когда ты чувствовал плечо друга, когда все было по-настоящему... Там были очень мужественные, очень чистые люди. Многие добровольно приехали. И как им было обидно встречаться с проявлениями нашего железобетонного бюрократизма. В число пятидесяти человек, принятых в партию Припятским горкомом без прохождения кандидатского стажа, входило три дозразведчика. Тех, кто первым шел в неизвестность, на радиацию. И когда они приехали в свой города после лечения, привезли документы, что они члены партии, им сказали: «Что это такое? Как это без стажа? Да нет, пусть нам позвонят из Припяти». И один из них говорил мне с обидой: «Ну что, я буду звонить в Припятский горком, просить?» Были более обидные вещи: одного из подполковников представили к внеочередному званию. Когда он платил партвзносы, кто-то из чиновников посмотрел и говорит: «Ого, сколько денег ты заработал! А что — еще и кормили вас бесплатно? Да тебе еще и звание присваивают... Ну ничего, пока походишь в подполковниках».

И что возмущало этих ребят — когда они приезжали домой, их порою спрашивали: «Почему вы в Чернобыль уехали? Почему так долго там сидели? Деньги поехали зарабатывать?»

А кому-то из них чуть ли не прогулы поставили за это время.

Когда фильм уже был сделан... началась наша дорога на Голгофу. В октябре 1986 года мы повезли фильм в Москву. Посмотрела сначала группа экспертов, несколько человек. Им фильм понравился, но они набросали 15 замечаний. Мы честно все исправили. Шли счастливые и довольные, как слоны, после этих замечаний. Потому что замечания были мелкие.

Второй раз приехали в Москву. В зале уже сидело человек 30. Посмотрели — поздравили. Им фильм тоже понравился. Пошли еще на одну комиссию. Показываем. И вдруг один из комиссии спрашивает: «Что вы показываете? Кто вам позволил? В чем ходят солдаты? В этих робах?» Я говорю: «А кто их не обеспечил?» — «Там было шестнадцать шведских костюмов, мы их привезли», — говорит. Я в ответ. «Там полторы тысячи человек работает каждую минуту». — «Вы знаете, это же все на всех экранах будет.. Это антисоветский фильм. Вы знаете, что сделали американцы? У них, когда произошла авария на Тримайл-Айленде, десять месяцев туда никто не заходил, через десять месяцев зашел дозиметрист, проверил и ушел. И она до сих пор закрыта». Я говорю: «Простите. Я в этом деле уже поднаторел. Разве можно частную станцию с несравнимо меньшей мощностью сравнивать с Чернобылем? Что вы предлагаете?» — «Закреть Чернобыль». — «А что делать с Киевом, со всей Украиной?» — «Да не надо ничего делать». Я вне себя: «Вы же понимаете, что тогда не только Киев, но и пол-Украины надо было бы выселить». — «Надо было».

Только вмешательство ЦК КПСС помогло, и фильм выпустили на экраны в январе 1987 года».

## ГАММА-САПИЕНС ФОН ПЕТРЕНКО

Тихо на улице,  
Чисто в квартире.  
Спасибо реактору  
Номер четыре.

Такие вот веселенькие стишата пошли гулять по Киеву в мае 1986 года, когда эшелоны увозили детей из города, когда матери плакали, провожая своих драгоценных Оксанок и Васылей в пионерские лагеря, когда в городе царили тревога и смятение.

Авария на АЭС отозвалась не только болью сердец и со-

страданием к тем, на кого обрушилось несчастье, она породила не только ряд научных документов, журналистских статей разной степени искренности и литературных произведений разного уровня правдивости. На атомную вспышку в Чернобыле Киев и Украина ответили прежде всего мощной вспышкой юмора, анекдотических историй, пародий, пересудов и легенд. Особенно ценилось острое слово среди тех, кому довелось работать в Зоне. Как и на войне, смех здесь был очень нужен.

Появилась масса частушек, коломыек, как называют озорные припевки на Украине, — откровенных, с приперченным словом, где всё впрямую. Родилось множество анекдотов и смехотворных притч.

Шутки на любой вкус: от народных присказок в стиле Штепселя и Тарапуньки («українці горда нація, їм до лампи радіація») — до сверхтонкого «черного» юмора из серии «физики шутят».

Прямо на наших глазах, изо дня в день (по некоторым шуткам можно точно определить время их «запуска») рождался фольклор, о котором мы привыкли почему-то думать в прошлом времени. Не ожидая, пока скажут свое слово литераторы, первым среагировал народ. Прямо по М. М. Бахтину — проснулась мощная смеховая культура, родилось свободное от всех казенно-пропагандистских ограничений, порою скабрёзное народное слово, произошло смещение привычных иерархий, «верха» — патетической, ложной, оглушительной публицистики — и «низа» — демократического, «швейковского» осмысления событий.

Почему — смех? Не кощунственно ли это? Далеко не всем, даже очень внутренне свободным людям, нравилась сама идея смехового пира во время атомной чумы. Но смех был необходим. Он стал немедленным народным ответом на стресс, на тревогу, даже на панику. На отсутствие правдивых сообщений. На бодрые заверения органов массовой информации о полном радостном спокойствии всех благонамеренных граждан.

И чуть ли не первым появился анекдот о душах двух умерших, вознесшихся в те дни на небо. «Ты откуда?» — спрашивает один. «Из Чернобыля». — «Ты от чего умер?» — «От радиации. А ты откуда?» — интересуется другой. «Из Киева». — «А ты от чего умер?» — «От информации»...

Острословы рассказывали о рекламном призыве, будто бы звучавшем в те дни во всех туристских агентствах: «Посетите Киев! Вы будете поражены...»

Вокзальная атмосфера давки и нервоотрепки, спекуляция

билетами и непреодолимое желание многих побыстрее убраться из Киева родили ироническое объявление диктора на Киевском вокзале Москвы: «Внимание! На первый путь прибывает скорый поезд Киев — Москва. Радиация вагонов с головы поезда».

Ну а как было узнать среди приезжающих в другой город киевлянина? «Лысый импотент с «Киевским» тортом в руках», — язвили одни. «Киевлянин теперь не только «гомо сапиенс», но и «гамма-сапиенс», — добавляли другие.

— Кто виноват в чернобыльской аварии? — вопрошал некий философ. И отвечал: — Кий. Зачем основал Киев так близко от реактора?

Уже в начале мая рассказывали, что будто бы состоялся фестиваль «Киевская весна». Первая премия была присуждена за песню «Не вий, вітре, з України», вторая — А. Пугачевой за песню «Улетай, тучка, улетай», третья — В. Леонтьеву за песню «...И все бегут, бегут, бегут...».

Предлагали на вершине четвертого блока поставить памятник Пушкину и написать: «Отсель грозить мы будем шведу» или так: «Здесь будет город заражен».

Тогда же родилась идея плаката: «Мирный атом — в каждый дом».

— Какая река самая широкая? — вопрошали пессимисты. И отвечали: — Принять. Редкая птица долетит до середины...

Когда киевляне бросились «вымывать» радионуклиды с помощью красного натурального вина «Каберне», в изобилии завезенного в город, кто-то изрек: «В городе началась кабернетическая эра». И тут же родился анекдот. Врач-лаборант рассматривает под микроскопом пробу крови. И сообщает пациенту, ждущему с замиранием сердца ответа: «В вашем каберне лейкоциты не обнаружены». «Был новый выброс, — таинственно сообщали «знатоки». — На Крещатике выбросили «Каберне», на Владимирской — водку».

— Нам уже становится невМАГАТЭ! — страдальчески кричал один мой знакомый, измученный паническими слухами. И словно в ответ ему родилась такая присказка: «Як на гульках щось не те — все вали на МАГАТЭ».

Предлагали обращаться к киевлянам так: «Ваше сиятельство!» А к каждой фамилии советовали добавлять приставку «фон»: фон Петренко, фон Иваненко.

Для быстрого прохождения рентгеноскопии остряки советовали пациенту стать между двух киевлян. А в одной из поликлиник на вопрос: «Где у вас рентгенкабинет?» — доктор-

ша раздраженно бросила: «У нас теперь везде рентгенкабинет!»

— Что такое «радионяня?» — спрашивали в те дни. И отвечали: — Это няня, приехавшая из Чернобыля.

Старая бабушка в троллейбусе рассказывала: «Сьогодні на Київському морі така радіація, така радіація! Пливе аж на три пальці, сама бачила».

Давая «высокую» оценку средствам массовой информации, люди задавали вопрос: «Чем будут питаться киевляне в будущем году?» Ответ гласил: «Той лапшой, которую вешают им на уши радио, газеты, телевидение».

Естественно, на рынке острословия появилась водка «Чернобыльская» крепостью 40 рентген, а за самые большие глупости, сочиненные об аварии, стали присуждать Чернобыльскую премию с выдачей лауреату 500 рентген. Из соображений благопристойности не буду затрагивать огромной массы анекдотов и пословиц, посвященных — как бы это поделкатнее сказать? — сексуальной теме и вопросам сохранения потенции. Весьма популярным стал лозунг: «Если хочешь быть отцом, оберни себя свинцом».

Характерно, что многие анекдоты носили явную научно-интеллектуальную окраску. Ядерный фольклор полностью соответствовал эпохе НТР. Нижеследующий анекдот из «черной» серии, вероятно, родился в среде генетиков: XXI век. Дед с внуком, родившимся после аварии. «Что здесь было, внучек?» — спросил дед, показывая на холмы. «Киев». — «Правильно, внучек», — и гладит его по голове. «А здесь что было?» — показывая на безжизненное русло. «Днепр». — «Правильно, мой умненький», — и дед нежно поглаживает его вторую голову...

Широко распространялись по городу различные иронические «рекомендации» и «памятки» вроде этой:

«В связи с неотвратимым улучшением радиационной обстановки в Киеве и его окрестностях рекомендуется соблюдать следующие меры индивидуальной защиты и правил поведения:

— на лице каждого киевлянина должна быть приятная, доброжелательная улыбка. Это придает уверенности в себе и дезориентирует гостей города в понимании происходящего;

— мокрая тряпка у дверей вашей квартиры укрепит ваш авторитет среди соседей по лестничной клетке, т. к. это в сложившейся обстановке явится свидетельством вашей интеллигентности;

— освежат интерьер и придадут неповторимый уют вашему дому мокрые тряпки на окнах, дверях и мебели;

— мягкую мебель необходимо чистить при помощи пылесоса, после чего его следует выбросить или сжечь, но в другом районе;

— ковры рекомендуем стирать ежедневно. Более эффективным средством является выбирание тяжелых металлов из ворса ковров при помощи пинцета;

— воду для питья необходимо кипятить не менее 7—8 раз в открытой посуде, после чего ее следует слить в канализацию, соблюдая меры предосторожности;

— из молока, подвергшегося тщательному радиометрическому контролю, рекомендуется готовить творог. После приготовления его следует закопать в землю в свинцовой таре на глубину не менее 1 м;

— молочная сыворотка из творога является радикальным средством для борьбы с мышами и тараканами. Хранить его следует в местах, недоступных для детей и домашних животных;

— из фруктов и ягод нынешнего урожая советуем приготовить варенье: на 1 кг фруктов — 1 кг сахара и 1 кг йодистого калия. При укладке в банки слои варенья советуем чередовать со слоями активированного угля;

— консервы из фруктов и овощей домашнего приготовления нужно закрывать свинцовыми крышками и употреблять в пищу через 25—30 лет, после полного распада радиоактивных веществ;

— для повышения защитных свойств вашего организма рекомендуется ежедневное употребление красного сухого вина типа «Каберне».

Первым признаком облучения является непреодолимое отвращение к работе и обострение похмельного синдрома.

Более подробные инструкции по самолечению и бесконтрольному применению лекарственных средств, приводящих к нарушению состояния здоровья, вы можете получить у ваших товарищей по работе и соседей по дому.

Ежедневное 5-кратное принятие душа на протяжении всего периода повышенного радиоактивного фона займет ваш досуг и отвлечет от нежелательных мыслей. Купание в открытых водоемах и принятие солнечных ванн без респираторов, комбинезона и резиновых сапог крайне нежелательно.

Если у вас выпадают волосы, не следует переживать — через год они начнут расти в самых неожиданных для вас местах. Если вы устали от ежедневной стирки ковров и тря-

пок, рекомендуем взять отпуск и провести его в санаториях Колымы, на побережье Баренцева моря или Гавайских островов.

Следует максимально сократить пребывание на воздухе домашних животных. По возвращении домой их следует тщательно вытряхнуть и прогладить утюгом через влажную тряпку, развернуть среди них широкую разъяснительную работу с целью предотвращения контактов с особами, не подвергшимися дозиметрическому контролю и не имеющими справку с печатью «проверено».

Анекдоты и пародии на то и существуют, чтобы преувеличивать, заострять до абсурда какие-то характерные черты изображаемого явления. Быть может, кое-что из приведенного выше покажется читателю безвкусным, пошловатым, мрачным. Как бы там ни было, но это — неотъемлемая, живая черта тех трудных дней, клоунская гримаса на трагической маске Киева. Ее тоже надо запомнить.

Острили не только анонимные анекдотологи и виршеплеты. Один киевский большой начальник на представительном совещании примерно так успокаивал собравшийся народ: «Опасности для Киева не существует. К СЧАСТЬЮ, во время взрыва ветер дул не в сторону Киева».

Ветер дул в сторону Белоруссии...

Можно вспомнить все вольные и невольные шутки весны 1986 года и посмеяться.

Только смеяться почему-то не хочется...

## «БЛАГОПОЛУЧНАЯ СТОРОНА»

**Василий Иванович Войтюк**, председатель колхоза имени Петровского Народического района Житомирской области:

«Наши люди восприняли аварию на диво спокойно, потому что практически были неосведомлены. Никто не знал — что это, почему. Хотя атомная станция от нас совсем недалеко — километров 60 по прямой. И выброс прошелся по нашей земле. Я считаю, что гражданская оборона не сработала. Да они, наверно, и сами не имели достоверной информации. Нас ежемесячно собирали на семинары по гражданской обороне, а даже самого простого дозиметра в колхозе не оказалось. Было всего четыре дозиметра на весь район. Один с батарейками и три — без батареек.

Мы мужики, или, как говорят в России, крестьяне, мы вообще все спокойно воспринимаем. Особенно сейчас. Сейчас много развелось таких «спокойных» — пожар горит, а он будет стоять и думать, догорит или не догорит. Чернобыль — это все казалось так далеко, и ничего угрожающего не было: ни зарева, ни дыма, ни копоти. Но потом через наше село бросились удирать — у нас тут рядом Киевская область. Перед аварией мы построили мост через речку Уж. Речка не очень широкая и глубокая, но редко-редко когда трактором ее переедешь, не то что легковой... После двадцать восьмого апреля пошли машины оттуда. А приблизительно третьего — пятого мая в день по пятьсот «Жигулей» селом нашим проезжало. Это те, кто бежал из Полесского и Иванковского районов. Некоторые даже деньги зарабатывали, из тех, кто имел свои машины: брали по 50 рублей, чтобы доставить в Коростель на вокзал, и 30 рублей — в Овруч. Едут селом, нагоняют пыль. Знаете, как этот «Жигуль» пылит, когда едет со скоростью 80 километров в час — ему же надо быстро проехать туда и вернуться обратно, чтобы второго клиента забрать, третьего, четвертого... Пыль страшная. Я звоню в райком: «Дайте машину хоть какую-нибудь поливать!» Асфальта у нас тогда не было, позже появился. Была сошейка (шоссеяка. — Ю. Щ.).

Мне в райкоме посоветовали перекопать перед мостом дорогу, чтоб не ехали. Мы поставили экскаватор — он выкопал траншеи, и в те траншеи опустили бетонные сваи, наподобие противотанковых надолбов. За день все сделали. Утром выхожу на наряд в шесть утра, смотрю — снова машины идут. Мой инженер по технике безопасности говорит: «А они уже всю ночь идут». Все то, что мы за целый день сделали с помощью техники, они за ночь ликвидировали: соберется двадцать частичников с лопатами, траншеею землей забросают и дальше едут. А на мосту срывать настил жалко было — нам самим надо было на ту сторону...

— А почему они ехали через ваше село, а не на Киев?

— Там посты были, туда не пускали. А мы — Житомирская область, мы вообще глухая сторона. Считалось, что мы — благополучная сторона... Можно представить себе, как эти люди нервничали, с какой интенсивностью они удирали, раз так работали ночью. Ну и на колесах они нам много радиации навезли. Представьте — я из Мотиек своих приезжаю в Житомир, а там пост стоит, меряет. И спрашивают: «Вы не ОТТУДА?» — «Оттудова», — говорю. «Идите на мойку».

Если за 250 километров радиация не раструсится, что ей 60 километров от Чернобыля или Припяти?

Такая в целом обстановка была оттуда, с той стороны. А мы здесь работали.

Коровы у нас уже тогда на лугу были. И через несколько дней приехали к нам работники райкома и дали нам непосредственные указания: там, где можно, не выпасать коров. Грозили выговорами, такие внушения были. Не знаю, откуда они сориентировались, но лично Анатолий Александрович Мельник, наш первый секретарь райкома, сюда приехал и меня чуть из партии не выгнал и с работы не снял. Потому что коровы паслись не там, где положено. Я сначала по-крестьянски думал: где лучший луг — держим на сено, а на худшем — пасем. А на худший луг как раз больше всего радиации упало. Цифры, конечно, мы узнали уже потом, когда нам приборы дали. Ну а вначале пасли где попало. Молоко продавали государству, его, насколько мы знаем, отдельно принимали, сохраняли и перерабатывали.

Коровы, принадлежавшие людям, тоже паслись. Ну, потом через неделю-другую утряслось все, людям выделили более-менее благополучные выпасы. И начали нам в магазин завозить молоко. Сначала завезли — а его никто не покупал. Все привыкли к своему. Привозное скисло. Это же лето. Потом начали ездить комиссии из Киева, Житомира. И по линии гражданской обороны, и врачи, и райком партии, и райисполком, и агропром — и таки заставляли людей пить государственное молоко. А свое — сдавать. Недели через три это было в основном отрегулировано.

— То есть если семья имела свою корову, то они еще две-три недели пили от нее молоко?

— Тут психология, понимаете... В селе так привыкли: свое молоко — это свое молоко. Привозят откуда-то молоко — там и жирность не та, и вкус не тот. Село это село, это же доярки. А доярка знает, как это молоко доится. И думает: «Нам такое же молоко везут откуда-то... Лучше пить свое».

Очень трудно было переломить психологию человека, заставить его не пить свое молоко, а пить привозное. Пока люди поверили, что нам возят хорошее молоко. А то думали — мы сдаем молоко, и его возят в Овруч и Коростень, а нам — оттуда, хотя там такая же обстановка. Потом нам сказали, что возят молоко из Радомышля... В целом мы заставили людей. Перестали пить свое молоко.

А их молоко мы собирали. Дважды — утром и в обед. У нас были тогда рекордные нормы по молоку: как Стаханов когда-то

на Донбассе, так и мы по молоку рекорды били. Платили людям хорошо — где-то 30 копеек за литр. С яйцами хуже было. Люди вынуждены были их закапывать, потому что их потом не принимали. Кое-кто варил яйца свиньям, кто-то курам отдавал. Люди перестали их есть. Но, конечно, нужно сказать, что имеются у нас и такие, кто с самого первого дня и по сегодня как пили свое молоко, так и пьют. Правда, детям не дают. Здесь у нас была такая семья — они ловили рыбу, ели, молоко свое пили и очень быстренько все получили высокий уровень и к врачам попали. И когда все увидели, что в больницу их забрали, то люди немного испугались. Мы собрали сельский сход и объяснили людям на примере этой семьи.

Партийные собрания проходили — чтобы люди молока не пили, выступали в коллективах — на фермах, перед механизаторами, разъясняли. Люди по-разному реагировали. Один сразу поверит, а другой говорит: «Что они там агитируют? Молоко на вкус нормальное, ничего в нем не плавает». Особенно упирались старые люди, малообразованные. Пока в молоке гвоздь плавать не будет — он не поверит.

Йод нам тоже давали, где-то между пятнадцатым и двадцатым мая. Но его мало кто пил. Я лично не пил. Прислали студентов Винницкого мединститута, а они больше паники посеяли, чем доброе дело сделали. Потому что они сами ничего не знали, а рассказывали такие вещи... И на вопросы не могли ответить.

А люди тем более ничего не знали. В конце апреля нам сказали, что к нам в колхоз будут эвакуировать людей из Чернобыля. А село разнородное по мышлению, по психологии. Почти треть села сразу отказалась брать эвакуированных. У них было такое представление, что радиация передается, как чума или чесотка. Я вам так скажу: когда-то село было бедное, но проще и доступнее... А сейчас люди стали лучше жить — и стало труднее. Вот тот мост, о котором я вам рассказывал, его военные строили. С большим трудом нам удавалось солдат устраивать на ночлег. Никто не хочет — хлопоты, обуза. Где это видано, чтоб на Украине такие обычаи? А теперь люди попривыкли: вечером двери закрыть, включить свой телевизор, еще раз пощупать свои деньги в матрасе, ага, есть — значит, все в порядке... И спокойно ложиться спать, а если чужой человек в хате, это, знаете... Поэтому мы сейчас строим двухэтажную гостиницу на сорок человек.

Я уже восемь лет председатель колхоза. Ох, как мне надоели эти хождения по хатам. Село стало трудным. Мы, конечно, знаем это философское выражение «роскошь губит людей» —

оно в полной мере касается и крестьян. А ведь я помню войну, как отступали. Бывало, в каждой хате по двадцать и по тридцать душ — и военные, и штатские, все помещались, и картошку последнюю варили, вместе ели, а сейчас? Слава богу, отменили к нам эвакуацию.

Если честно говорить про то время — это был кошмар, а не жизнь. Я выжил только потому, что это был мой долг, надо было жить здесь и организовывать людей. Это было что-то такое... полунеуправляемая стихия. У нас двадцать пять доярок. Представляете — одиннадцать доярок выехали с детьми в июне, когда детей вывозили. Государство вывозило трехлетних детей с мамами. А старших детей сами мамы вывозили. Выехали. Половины доярок у нас нет, пастухов нет. Мы тут с моим заместителем Василием Ивановичем по очереди телят пасли. Некому было пасти.

С доярками еще труднее. Я часов до пяти вечера расправляюсь с колхозными делами, а потом хожу по селу, ищу доярку. Чтобы она на следующий день утром заступила. С четырех часов утра. Вот так и хожу: девять вечера — не нашел, десять — не нашел, одиннадцать ночи — не нашел. Я уже шофера давно отпустил, потому что он такого темпа не выдерживает. И говорю заведующему фермой или бригадиру: «Все. Если до двенадцати ночи не найдем, то пойдем спать. А утром в три или четыре часа встанем и снова будем искать. Ну и где-то около полуночи найдешь Ганну, Мотрю или Оксану... будишь, потому что она уже легла спать... Это были пенсионерки, еще трудоспособные. Начинаешь просить. А из них не каждая пойдет и в хорошее время. А на коровах тогда знаете сколько миллирентген было, на шерсти? А ведь надо еще под нее сесть и подоить. Хотя их и мыли, но все же... Доярки жаловались на головные боли. Корова к тому же еще нагревается, это же масса четыре — шесть центнеров. И если у человека температура тридцать семь градусов, то у такой махины все пятьдесят. Плюс радиация. Жара тогда была страшная. Нам дождя не давали два месяца, самолеты разгоняли дождь...

Ну а когда никого не нашел — тогда свою жену беру, сажаю в машину и говорю: «Поехали доить!» Ну, уже когда доярки видят, что председательша доит коров, тогда и сами с полдороги возвращаются, сядут и так-сяк раздоят коров.

Бывало так, что уже сил нет. Звоню в райком: «Анатолий Александрович, все. Больше не могу. Умираю. Приезжайте успокоить людей». Анатолий Александрович берет с собой хорошего врача — был у нас в Народичах доктор Крижановский, берет дозиметры, приезжает. Собирали мы людей в сель-

совете, или на ферме, или на улице — проводили оперативные митинги. Люди видят, что из района приехал секретарь райкома и врач — им и полегчало.

Был даже такой эпизод: услышали, что водка лечит при радиации. Давай им водку! А тогда уже сухой закон вышел. Сначала сухой закон, а потом радиация. Требуют у меня люди: «Давай горилку для лечения». Должен был завезти ящиков десять водки в колхоз. Выдали мы нашим передовикам, в основном женщинам. По три бутылки — этой, этой, этой. Женщины пьяницам нашим не давали — сами пили по двадцать граммов. Кто в чай, кто так. А потом как в округе узнали — начали ко мне ездить из Полесского района, из-под Чернобыля, будили меня ночью: «Давай водку!» В два часа ночи приезжает какой-то полковник или капитан, ГАИ, милиция — там ведь разные люди есть, тоже не святые, что говорить. Так я продал мужественно последние литры или декалитры и сказал: «Все, лучше умереть от радиации, чем от перегрузок с той торговлей». Да я еще и проторговался, понимаете, рублей сорок у меня не хватило...

Психология у людей после аварии переломилась. То они молоко только пили, а потом начали минеральную воду пить. Берут по двадцать — сорок бутылок минеральной воды, у нас теперь ее хватает, даже «Тархун» возят... И смотришь — каждый из магазина по селу сетками несет минеральную воду, а бутылки тарахтят, как когда-то цыганские подводы немазанные. А своих коров начали продавать и уже не хотят приобретать коров: легче пойти в магазин и купить молоко. Сначала нам масло возили развесное. А потом еще лучше — в пакетах, в фольговой упаковке, лучшего качества. Так уже развесное не берут. Сметану в маленьких баночках берут. Съел — и за хатой выбросил. Как их потом приучишь держать коров? А ведь корова — главный регулятор сельской жизни. Она дисциплинирует — заставляет в пять часов утра вставать и вечером поздно ложиться. В соседних селах, где вообще позабирали коров в связи с этой радиацией, люди говорят: «Вот мы были глупые, сейчас хорошо жить. Спим до восьми часов, ложимся в десять». Но я сам держу корову, мой заместитель тоже. Молоко мы продаем государству. Если мы сдадим — скажут: «Видишь, как сам — то сдал, а нас учит...»

Радиация подбросила нам проблем... У нас после аварии семьдесят из села выехало. Часть возвратилась, а три семьи так и не вернулись. Две семьи выехало в Волгоградскую область, с детками полностью, с внуками, хаты продали. С выездами была такая история. Сначала одна семья выехала,

вторая, остальные начали паковать чемоданы. Многие насоби-  
рались выезжать. А тут, на нашу радость, выехала одна наша  
молодая доярка — такая симпатичная, пригожая, хоть Венеру  
с нее рисуй. Нина Петровна Кищенко. Выехала куда-то на  
Кубань. Мужа забрала с большим скандалом, детей взяла, все  
деньги с книжки забрала. Выезжала она через райком, потому  
что я не хотел ее отпускать. Я просил ее: «Не уезжайте, я  
знаю, что такое Кубань. Там жара, там черноземы, земля к  
ногам липнет». К такой земле наши люди не привыкшие, у  
нас ведь Полесье — прохладно, земля песчаная, леса. Через  
несколько месяцев она возвращается обратно. Бедная, ободран-  
ная, без денег и еще везет с собой доярку с мужем. Уговорила  
к нам приехать. Как пошла по селу пропаганду делать: «Люди  
добрые, никуда не уезжайте, что вы себе думаете, нигде нет  
такого добра, как у нас».

Она взяла с собой три тысячи, а приехала без копейки,  
последние копейки на автобус потратила. И дети ее вот такие,  
как жучки худенькие пришли. Понимаете, там жара — 35—40  
градусов. Это же не каждый из наших лесных людей выдер-  
жит.

И сразу все выезды прекратились. Как рукой сняло. А то,  
бывало, тракторист где-то выпьет, норму не выполнит, ты на  
него накричишь, а он: «Что? Не нравится? Я завтра же вы-  
еду!» Вроде он мне большую честь делает.

После аварии на здоровье люди начали нарекать. Трое от  
рака умерли — рак легких, печени, гортани. Многие кашляли,  
и в горле хрипота. Ну это ясно — ОНО же в воздухе — как  
растворимый кофе, дышишь ИМ, ОНО в бронхи садится, горло,  
легкие. Я немного меньше кашлял — у меня нос длинный.  
А голос у меня и так... альт. Очень большой фон был на  
овцах, на шерсти. Очень трудно было их стричь — на что  
уж я, физически здоровый, бывший шахтер по профессии, и  
то — как зашел в кошару — тошнит и голова болит, вроде я  
наркотиков нахватался, все плывет перед глазами. Женщины  
отказались стричь овец. Нашли в другом селе нескольких пен-  
сионеров, старых стригалей.

А возьмите вы проблемы с оплатой. Все села района раз-  
делили в зависимости от зараженности — в одном доплачива-  
ют человеку тридцать рублей в месяц — так называемые  
«гробовые», а в другом нет. У нас в трех километрах отсюда  
есть выселенные села. Под боком в километре есть село, кото-  
рое хотели выселить. Чудом осталось. А в нашем селе не пла-  
тят. В соседнем, рядом, — платят. Почему же не платить всем?  
Колхоз один, а платят по-разному.

Радиация — это же не ежик колючий: дырку закрыл, и он уже не вылезет. Мы же все в лес ездим заготавливать — а он заражен. Сегодня ветер туда подул, завтра — сюда. За 1986 год мы людям дополнительно заплатили восемьдесят тысяч рублей. Колхоз уже в убытке. Меня на всех совещаниях ругают, что не умею хозяйничать, словно я эту радиацию выдумал».

## ДОКТОР ХАММЕР, ДОКТОР ГЕЙЛ

### Из сообщений прессы:

«15 мая М. С. Горбачев принял в Кремле видного американского предпринимателя и общественного деятеля А. Хаммера и доктора Р. Гейла. Он выразил глубокую признательность за проявленное ими сочувствие, понимание и быструю конкретную помощь в связи с постигшей советских людей бедой — аварией на Чернобыльской АЭС... В поступке А. Хаммера и Р. Гейла, подчеркнул М. С. Горбачев, советские люди видят пример того, как должны были бы строиться отношения между двумя великими народами при наличии политической мудрости воли у руководства обеих сторон» («Правда», 16 мая 1986 г.).

Из книги Арманда Хаммера «Мой век — двадцатый. Пути и встречи». М., 1988, с. 17:

«Прямо с пресс-конференции мы с Бобом (Гейлом) поехали на открытие выставки, оттуда — в Кремль, в лимузине Анатолия Добрынина. Сопровождавший нас милиционер перекрывал поток транспорта, чтобы дать нам возможность проехать в Кремль.

Мы прибыли в Кремль точно в пять часов вечера, но немного задержались из-за очень медленного лифта — я помнил его еще со времени Ленина. Нас проводили на четвертый этаж в кабинет Горбачева, где нас встретил сам Генеральный секретарь. Поскольку мы встречались раньше и знали друг друга, он сначала приветствовал меня, а затем д-ра Гейла, после чего мы сели за длинный стол у него в кабинете.

Разговаривая через переводчика, Горбачев поблагодарил нас с Гейлом и сказал, что Советский Союз найдет способ выразить свою благодарность за усилия Боба и группы докторов. Затем, несмотря на то что он не повысил голоса, тон его стал более мрачным. Примерно в течение пяти минут Горбачев говорил без конспекта очень быстро и с большой силой.

«Что это за люди, ваши западные правительства и пресса? Воспользоваться человеческой трагедией в масштабах Чернобыля? — задавал он риторические вопросы. — Чего ваша администрация старается добиться? Меня критикуют за то, что я не объявил об аварии немедленно. Я сам не знал, насколько она серьезна, пока не послал туда специальную комиссию. Местное руководство скрыло от меня полную картину и будет за это наказано. Как только я получил информацию, я немедленно сообщил об известных мне фактах».

Утром двадцать третьего июля в Бориспольском аэропорту Киева приземлился белый «Боинг-727» с флагом Соединенных Штатов на фюзеляже и сине-красной надписью на киле: «№ 10ХУ» — что означает: первый номер в компании «Оксидентл Петролеум Корпорейшн», президентом которой является Арманд Хаммер. Неутомимый восьмидесятивосьмилетний бизнесмен ежегодно «накручивает» на этом самолете, оборудованном всем необходимым — от рабочего кабинета до ванной комнаты, — в среднем пятьсот тысяч километров, руководя сложным и многопрофильным хозяйством компании «Оксидентл».

Вместе с Хаммером в Киев прибыла его жена, а также доктор Роберт Гейл с женой и тремя детьми. Но прежде чем почетные гости Министерства здравоохранения Украины ступили на летное поле, из самолета вывалилась гурьба американских корреспондентов. Очень высокий плечистый оператор из телевизионной компании Эй-би-си приготовился к съемке (вел он ее весь день), женщина звукооператор направила на гостей длиннющий, похожий на черную резиновую дубинку, микрофон. Вместе с Хаммером приехал и не отходил от него ни на шаг его личный биограф Джон Брайсон — фотограф и журналист, создавший первый том блестяще иллюстрированной книги, носящей выразительное название «Мир Хаммера». Заглянув в эту книгу, можно еще раз убедиться, сколь ярка и удивительна жизнь Хаммера: фотолетопись его жизни зафиксировала встречи с подавляющим большинством выдающихся государственных и общественных деятелей XX столетия. В этом списке есть президенты, короли, премьер-министры, известные актеры, музыканты, художники, спортсмены. Но начинается и венчает этот список имя Владимира Ильича Ленина, с которым Хаммер встретился в 1921 году. Эта встреча сыграла в жизни молодого начинающего амери-

канского бизнесмена поистине судьбоносную роль: приветливость и мудрость вождя революции произвели на Хаммера огромное впечатление, определили его дальнейший жизненный путь как глашатая дружбы и взаимопонимания между народами американским и советским.

Встреча в аэропорту проходила быстро, в деловом американском стиле, без излишних церемоний и задержек. Уже через час я брал у Хаммера, приехавшего в Киев впервые, интервью для украинской телепрограммы «Актуальная камера».

— Я очень удивлен. Киев такой красивый, здесь так много цветов,— сказал Хаммер по-русски.— В своем родном городе, в Лос-Анджелесе, моя жена не видела так много цветов, как здесь, в Киеве. Наверно, люди на Украине очень любят цветы.

Оценивая перспективы развития американо-советских отношений, он подчеркнул:

— Известно, какие огромные усилия прилагает СССР для предотвращения ядерной войны. Мы должны стремиться жить в мире друг с другом. Необходимо не военное противостояние, а мирное сосуществование. Полезно обмениваться достижениями науки, культурными ценностями.

Ни на минуту не задерживаясь на отдых или завтрак, А. Хаммер и его свита приступили к выполнению насыщенной программы. Первый визит — в кардиологический корпус киевской клинической больницы № 14 им. Октябрьской революции. В тот самый, где в реанимационном блоке работал Максим Драч. Надев белоснежный халат и вспомнив свою медицинскую молодость (ведь он по образованию врач), доктор Хаммер совершил обход отделения, в котором после аварии на Чернобыльской АЭС находилось на обследовании свыше двухсот человек, побывавших в опасной зоне. Некоторая часть больных была переведена в КРРЛИ, в отделение профессора Л. П. Киндзельского. Все пациенты ко времени визита А. Хаммера были уже выписаны. В отделении в тот день находилось лишь пять человек, вызванных врачами для проведения повторного обследования.

С каждым из них участливо разговаривает по-русски доктор Хаммер, которому ассистирует доктор Гейл: полтора месяца тому назад, будучи в Киеве, Р. Гейл уже осматривал этих больных.

Степан Павлович Мильгевский, водитель автобуса одного из киевских АТП, эвакуировал жителей Припяти и Чернобыля. Он оживленно беседует с Арманом Хаммером, рассказывает ему о своем самочувствии.

— Вы герой? — спрашивает Хаммер.

— А как же! — смеется Мильгевский. — Если надо будет, еще поедем.

— Не дай бог, пусть больше не понадобится, — суеверно машет рукой американский миллионер. Он желает всем полного выздоровления, а Вере Дмитриевне Дзюбенко, гостившей у дочери и находившейся в нескольких километрах от реактора, рассказывает, что он врач, впервые приехал в Россию шестьдесят пять лет тому назад.

— Вы хорошо выглядите для вашего возраста, — замечает Вера Дмитриевна. — Я думала, вы моложе.

— Когда мне будет сто лет, я приеду к вам и спрошу — как ваше здоровье, — шутит Хаммер.

С балкона кардиологического корпуса — того самого, на котором мы стояли в мае с Максимом Драчем, Хаммер и Гейл осматривают Киев... Главный врач больницы Екатерина Степановна Паламарчук показывает американским гостям свое большое хозяйство, раскинувшееся на территории четырнадцати гектаров. Паламарчук — моя сокурсница по Киевскому институту, она была самой красивой девушкой у нас на курсе, а сегодня — самый красивый главный врач на Украине.

— Вы — Екатерина Великая, — улыбается Арманд Хаммер.

Там же, на территории больницы, А. Хаммер дал интервью телекомпании Эй-би-си. А в музее медицины УССР его ожидал сюрприз: после просмотра короткого документального кинофильма о двадцатых годах (гость всматривался в памятные ему картины разрухи, голода, эпидемий — вспоминал, видимо, свою молодость и свой первый приезд в нашу страну) Хаммеру был показан стенд с фотографией В. И. Ленина и дарственной надписью: «Товарищу Арманду Хаммеру. От В. И. Ульянова (Ленина). 10.11.1921». Рядом — фотография молодого американского бизнесмена, не побоявшегося приехать в «страну большевиков».

В 1986 году Хаммер снова не побоялся приехать к нам, полететь в Чернобыль. Перед вылетом нашего вертолета, пока уточнялся маршрут, я спросил доктора Хаммера, что чувствует он сейчас не как предприниматель, а как врач?

— Я очень доволен тем, что видел, особенно вашими больницами. Здесь работают способные, опытные доктора. Ваши больницы ни в чем не уступают первоклассным больницам в Соединенных Штатах. Я думаю, что люди в Америке не знают этого. Очень важно, чтобы они знали, что в случае аварии, подобной чернобыльской, есть возможность оказать

населению помощь. То, что вы эвакуировали население — это было очень умно и очень хорошо.

Наш вертолет довольно долго не взлетал — шли какие-то переговоры, нервничал представитель Минздрава СССР. Оказалось, что Джон Брайсон рвался на борт вертолета, чтобы отснять в воздухе своего патрона, а это НЕ ПОЛОЖЕНО. Есть у нас такая замечательнейшая безличная формула: НЕ ПОЛОЖЕНО. Наконец за фотографа вступился Хаммер: американцы поклялись, что не будут вести никаких съемок. Запыхавшийся седеющий Брайсон появился в салоне. Правый рукав его пиджака был почему-то надорван. Брайсон честно отработывал свой хлеб.

Мы поднялись в воздух и сделали полудугу над Печерском, выйдя к Днепру. И здесь отдышавшийся Брайсон резво вскочил с места, и — о чудо! — оказалось, что под пиджаком у него спрятано несколько фотокамер. Невзирая на скорбные мины представителя Минздрава СССР, фотограф начал съемку пассажиров вертолета. Впрочем, он действительно ничего не нарушил — при подлете к Чернобылю камеры были спрятаны.

...Меня во сне и наяву часто преследует это воспоминание: полет над четвертым реактором, парение над огромным, белым, безжизненным строением АЭС, уходящим в сумерки, над полосатой бело-красной трубой, над поблескивающим пространством мертвого пруда-охладителя, извилистым течением Припяти, фантазмагорическим переплетением проводов, опор, скоплениями подсобных строений, брошенной техникой. Как в любом воспоминании реальные формы постепенно искажаются, многое теряет четкие очертания, но чувство тревоги и боли остается неизменным, таким, каким оно было в тот летний предвечерний час. Прильнув к иллюминаторам, мы, пассажиры военного МИ-8, напряженно вглядывались в магическую, приковывающую взгляд картину: черное жерло четвертого реактора, разрушенные конструкции, обломки бетона у подножия четвертого блока.

Из книги Арманда Хаммера «Мой век — двадцатый. Пути и встречи», с. 20—21:

«В середине июля я тоже посетил Чернобыль. Мне хотелось самому посмотреть на причиненные разрушения. Два воспоминания об этой поездке будут всегда жить в моей памяти. Одно — это вид из вертолета при приближении к чернобыльскому реактору, который больше всего напоминал место взорвавшейся бомбы. Второе связано с тем, что я увидел, когда

мы продолжили наш полет к расположенному невдалеке городу Припять. Огромные жилые массивы стояли как стражи в обезлюдевшем городе. Кругом не было никаких признаков жизни. На веревках сушилось белье, копны сена стояли в полях, автомобили на улицах — и никого, кто бы мог воспользоваться всем этим. Ни кошек, ни собак. Министр здравоохранения Украины Анатолий Ефимович Романенко, сопровождавший нас с Бобом, рассказал, что раньше здесь были богатые животноводческие фермы. А теперь под нами простиралась зловещая неподвижная безжизненная равнина.

Мне на ум пришло сравнение с местностью после взрыва нейтронной бомбы, этого «чудесного» оружия, предназначенного для уничтожения жизни и сохранения архитектурных памятников. Для меня это — олицетворение величайшей человеческой глупости, и я могу только надеяться, что Припять близ Чернобыля останется памятником того, что никогда не должно произойти».

После облета четвертого реактора, стоя перед кино- и телекамерами, Арманд Хаммер сказал:

— Я только что вернулся из Чернобыля. Это произвело на меня такое впечатление, что мне трудно говорить. Я видел целый город — пятьдесят тысяч населения — и ни одного человека. Все пустое. Здания, большие здания — все пустое. Там даже белье висит, они не имели времени снять свое белье. Я видел работы, которые ведутся по спасению реактора, чтобы больше не было с ним проблем. Я бы хотел, чтобы каждый человек побывал здесь, чтобы увидел то, что я увидел. Тогда никто бы не говорил о ядерном оружии. Тогда бы все узнали, что это самоубийство всего мира, и все бы поняли, что мы должны уничтожить ядерное оружие. Я надеюсь, что когда мистер Горбачев встретится с мистером Рейганом, он Рейгану все расскажет и покажет фильм о Чернобыле. А потом, в будущем, когда Рейган приедет в Россию, я бы хотел, чтобы он приехал в Киев и Чернобыль. Пусть он увидит то, что увидел я. Тогда, я думаю, он никогда не будет говорить о ядерном оружии.

Удивительный это человек, Арманд Хаммер. Возможно, секрет его неувядающей бодрости заключается в том, что он умеет мгновенно расслабляться. После того как были закончены фотосъемки, Хаммер немедленно погрузился в дремоту. Доктор Гейл заботливо прикрыл его белым плащом. Но как только прозвучало слово «Чернобыль», этот старый, мудрый

человек словно преобразился, зорко вглядываясь в расстилавшийся под нами зеленый пейзаж, по которому мирно ползла тень нашего вертолета, словно призрачная сенокосилка. Все заметил — даже шестнадцатистажные дома в Припяти, даже белье на балконах — все застывшее и противоестественное. И на обратном пути снова заснул.

Вечером того же дня Арманд Хаммер вылетел из Киева в Лос-Анджелес.

А доктор Гейл с семьей остался на несколько дней, чтобы встретиться с киевскими коллегами, отдохнуть в нашем городе, познакомиться с его памятниками и музеями. Ведь во время его первого визита в Киев третьего июня доктору Гейлу было не до этого: надо было проконсультировать группу больных, находившихся на излечении в Киевском рентгено-радиологическом и онкологическом институте.

Доктор Роберт Питер Гейл («Боб») родился в Нью-Йорке 11 октября 1945 года. Отец — Харви Галинский (его дед переселился в США из Белоруссии) родился в Бруклине в 1908 году, работал в страховой компании. Для удобства ему довелось сократить, упростить и американизировать фамилию — так из Галинского он стал Гейлом.

Родители Роберта Питера увлекались музыкой и привили сыну любовь к Моцарту, Бетховену. После тяжелых часов работы в Шестой клинике в Москве он надевал наушники и включал плеер — звучала любимая музыка. Как и многие американские мальчишки, Гейл, учась в школе, зарабатывал деньги: работая по десять часов в неделю, он разносил газеты, получая 8—9 долларов за час. Собранные деньги пошли на оплату учебы в колледже.

После окончания школы в 1962 году Гейл поступил в Гобартский колледж в штате Нью-Йорк, затем на медицинский факультет университета штата Нью-Йорк в Буффало.

В 1968 году он впервые выехал за границу — в Эфиопию: хотел узнать, почему эфиопы так редко болеют сердечными заболеваниями. Взял с собою портативный электрокардиограф, да вот незадача: в эфиопских селениях не было электричества. Зато за три месяца пребывания в этой стране увидел оспу и проказу, познал всю степень нищеты и бедствий древнего талантливого народа.

В 1970 году, после четырехлетнего обучения на медицинском факультете, Гейл стал работать в отделении пересадки костного мозга Калифорнийского университета.

В апреле 1986 года доктор Гейл предложил Арманду

Хаммеру организовать медицинскую помощь жертвам Чернобыля.

А. Хаммер обратился к М. С. Горбачеву с нижеследующим письмом:

«Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Меня очень опечалила авария, происшедшая на Чернобыльской атомной электростанции вблизи от Киева. Нас особенно беспокоило то, что, возможно, часть населения подверглась радиоактивному облучению.

Как Вы знаете, одним из возможных последствий такого облучения бывает поражение крови и костного мозга, а это, в свою очередь, может вызвать смерть. Предыдущие аварии на ядерных реакторах были связаны именно с таким типом облучения, в результате чего жертвы умирали приблизительно через две недели после облучения без признаков каких бы то ни было немедленных симптомов болезни.

Людей, которые получили в результате облучения смертельное повреждение костного мозга, можно спасти путем пересадки клеток костного мозга от подходящего донора. Донорами могут быть родственники пострадавших или добровольцы, избранные с помощью компьютерных расчетов.

Доктор Роберт Питер Гейл, председатель Международной организации пересадок костного мозга, профессор медицины и глава Центра пересадок костного мозга при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, предлагает мобилизовать ресурсы Соединенных Штатов и международных трансплантационных центров для того, чтобы оказать помощь в диагностике людям, которым необходимо пересадить костный мозг для спасения их жизней. Я хорошо знаком с доктором Гейлом и по линии личных отношений, и по линии профессионального сотрудничества. Я работал с ним, когда исполнял обязанности советника президента Рейгана по вопросам раковых заболеваний. Доктор Гейл и его сотрудники могут быть также полезны в выявлении потенциальных доноров костного мозга в Советском Союзе и в использовании обработанных компьютерами картотек доноров Соединенных Штатов и европейских стран.

Доктор Гейл готов немедленно приехать в Советский Союз для встречи с советскими специалистами по лечению жертв радиации и гематологами, для оценки положения и принятия решения об оптимальных мерах по спасению жизни тех, кому угрожает опасность. Д-р Гейл может вылететь из Лос-Анджелеса завтра в три часа дня и прибыть в Москву в шесть часов вечера в четверг 1 мая. Я беру на себя все расходы,

связанные с его усилиями спасти граждан, подверженных облучению.

Господин Генеральный секретарь, прошу Вас принять мои самые глубокие сочувствия по поводу этой трагедии и мое самое искреннее предложение — быть в какой-то мере полезным в этом деле. Я пребываю теперь в Вашингтоне и со мной можно связаться через посольство СССР

С самыми теплыми чувствами и уважением  
*Арманд Хаммер*».

Москва немедленно ответила согласием.

Так началась новая страница в истории советско-американских отношений, страница, освещенная мудростью нового мышления, а не отвесами пещерных костров холодной войны.

Вместе с Гейлом в Москву приехали д-р Пол Тарасаки, специалист по иммунологическому подбору доноров для пересадки костного мозга, д-р Ричард Чамплин, работавший вместе с Гейлом в Калифорнийском университете, д-р Яир Рейзнер, израильский ученый из Института Вайсмана, специалист по специальной обработке спинного мозга перед пересадкой.

В пятнадцати странах мира были закуплены медикаменты и оборудование на сумму свыше миллиона долларов.

Мы познакомились с доктором Гейлом во время его первого приезда в Киев в июне 1986 года. При всей своей загрузке и стремительно-протокольном ритме обхода больницы Гейл согласился дать мне интервью для «Литературной газеты» и утвердительно кивнул на мою просьбу — выступить перед кинокамерами съемочной группы режиссера Роллана Сергиенко, снимавшего фильм «Колокол Чернобыля».

Доктор Роберт Питер Гейл выглядит моложе своих лет, он спортивен (по утрам — час обязательного «джоггинга» — бега трусцой), смугл, сосредоточен, немногословен, взгляд его серых глаз внимательно и испытующе останавливается на собеседнике. Несмотря на внешнюю сухость и типично американскую деловитость, он очень симпатичен и общение с ним доставляет собеседнику радость — так уважительно, толково и терпеливо отвечает он на многочисленные вопросы корреспондентов. И еще он элегантен. На нем — неизменный темно-синий блейзер с золотыми пуговицами, темно-красный галстук, серые брюки. И как-то очень смешно и трогательно поначалу выглядели его босые пятки: он носит туфли без

задников. Оказывается, это лос-анджелесская привычка — ходить босиком: на родине Гейла всегда тепло.

Перед входом в отделение мы все — гость и его сопровождающие — переоделись в белые халаты, надели шапочки и маски, завязали на ногах бахилы. И вдруг стали удивительно похожи друг на друга: не разберешь — кто американец, кто москвич, кто киевлянин. Семья врачей, объединенная общими интересами спасения человечества.

Я видел, как внимательно осматривал доктор Гейл больных, как задавал вопросы пострадавшим и врачам, вдумчиво изучал графики с данными анализов, расспрашивал о тонкостях примененных киевскими врачами методик. Особенно его интересовали случаи пересадки костного мозга.

Киевлянин, профессор Ю. А. Гриневич напомнил Гейлу, как был у него в гостях в калифорнийской клинике: Гейл, выслушав своих ассистентов, показавших ему больного, после некоторых раздумий четко и уверенно продиктовал схему лечения и, подняв вверх руку, произнес: «И да поможет нам бог». Гейл улыбается, вспоминая ту встречу, и его суровое лицо вдруг становится по-мальчишески задорным. И, видя киевских больных, выведенных из тяжелого состояния, он суеверно стучит пальцем по дереву: если не поможет, то и не помешает.

Позднее на мой вопрос — во что он верит? — доктор Гейл очень серьезно ответил:

— В бога. И в науку...

Тогда, в тревожные дни июня, визит его в Киев был очень короток и считанные минуты отводились на разговоры с прессой. Значительно свободнее чувствовал себя доктор Гейл в июле: на следующий день после отъезда А. Хаммера американский доктор вместе с женой Тамар — гражданкой Израиля, — трехлетним сыном Иланом и дочерьми — семилетней Шир и девятилетней Тал — поехал в Киевский институт педиатрии, акушерства и гинекологии, где гостей встретила директор института академик АМН СССР Е. М. Лукьянова.

Здесь, в этом, пожалуй, самом важном месте на земле — месте, где рождается человеческая жизнь, где ведется борьба за продолжение рода человеческого, — дети доктора Гейла очень быстро познакомились с маленькими пациентами, не ощущая никаких языковых или идеологических барьеров: обменялись подарками, вместе спели песню «Пусть всегда будет солнце», затем маленькая Тал играла на скрипке, а голубоглазая Шир жалела, что нет фортепиано — она бы тоже показала свое искусство...

В это время доктор Гейл вел профессиональные беседы с

педиатрами, акушерами и кардиохирургами. В реанимационном отделении мы долго стояли над пластиковыми кувезами, подключенными к сложной технике: здесь лежали крохотные создания, будущие люди века XXI, еще не ведающие никаких атомных тревог, волнующих нас сегодня.

В Музее В. И. Ленина внимание доктора Гейла привлекла символическая скульптура: обезьянка, сидя на книге Дарвина «Происхождение видов», рассматривает человеческий череп. Интересна история этой скульптуры. Во время своего второго посещения Москвы Арманд Хаммер передал В. И. Ленину эту купленную в Лондоне скульптуру. Рассказывают, что Владимир Ильич, принимая подарок, сказал: «Вот что может случиться с человечеством, если оно будет продолжать совершенствоваться и наращивать орудия уничтожения. На Земле останутся одни обезьяны»

Таково было провидческое предупреждение вождя.

У меня сохраняется много записей бесед с доктором Гейлом, который, кстати, живо интересуется литературой. Я постарался выбрать из этих записей самое главное:

— Доктор Гейл, что привело вас в медицину? Это случайность или сознательный выбор?

— Вначале я хотел изучать физику высоких энергий и ядерную физику. В какой-то мере это ирония судьбы, ибо впоследствии мне как врачу пришлось столкнуться с влиянием ядерной энергии на организм человека. Но позже, уже в колледже, я подумал, что хочу больше общаться с людьми, нежели заниматься теоретической физикой.

— Это решение зависело от особенностей вашего характера?

— Я принял решение осознанно. В нашем обществе профессия врача — одна из самых уважаемых. Я хотел стать врачом.

— Сколько лет вам было, когда вы приняли это решение?

— Я поступил в колледж в шестнадцать лет.

— Довольны ли вы выбором врачебной профессии?

— Многие теперь спрашивают меня: «Теперь, когда вы достигли признания во всем мире, что вы собираетесь изменить в своей жизни?» Я всегда отвечаю, что я полностью был удовлетворен своей жизнью и до того, как стал известен, и не собираюсь ничего менять.

— Доктор Гейл, я знаком со многими онкологами и гематологами и знаю, что психологически это очень тяжелая профессия. Ведь врач все время видит смерть и несчастья. Как вы к этому относитесь?

— Отчасти вы правы, доктор Щербак. Психологически это тяжелая профессия. Но с другой стороны — это же и привлекает меня. Ведь это — вызов. Онкологу и гематологу приходится очень часто решать сложнейшие вопросы, бывать в трудных ситуациях, зачастую оттого, что наши знания в этой области ограничены. Мне кажется поэтому, что именно в области онкологии существует огромный простор для медицинского творчества. Мы в колледже часто спорили: «Что лучше? Писать музыку или играть музыку?» Если занимаешься кардиологией — там ты «играешь музыку». А вот в онкологии «пишется музыка». Там все ново и все неизведанно.

Кроме того, я подготовлен и как научный работник, и как врач. Именно в онкологии и гематологии очень легко увязывать результаты лабораторных исследований с работой в больницах, с реальным лечением больного человека. Ведь не случайно первыми заболеваниями, при которых была осознана их генетическая природа, явились именно заболевания крови — нарушения синтеза гемоглобина, скажем. И вы знаете, что большинство Нобелевских премий в области медицины были в последние годы присуждены именно за разработку этих вопросов.

— В связи со сказанным вами — кем вы себя в большей мере чувствуете? Врачом? Или ученым? Или вы — за синтез?

— Быть хорошим врачом, лечить людей — это работа, которая должна занимать все время. Даже больше, чем все время. Быть настоящим ученым — это тоже больше, чем на всю жизнь. Иногда мне кажется, что никто не может заниматься и тем, и другим параллельно. Особенно в наше время, когда и медицина, и наука стали настолько технологичны, техникоемки, что ли. Но в то же время я сознаю, что нам именно не хватает людей, которые бы объединили эти два занятия. Это очень важно. По-моему, должен быть синтез. Именно в этом я чувствую свой долг — слить воедино в себе врача и ученого.

— Как распределяется ваше время в обычных условиях работы в калифорнийской клинике?

— Как руководитель клиники я трачу большую часть времени на обходы, осмотры больных и разговоры с ними. У моих больных часто бывают довольно обычные формы рака — например, рак легких. И я забочусь о своих больных как обычный врач. Некоторую часть времени трачу на управление небольшим исследовательским учреждением, которое занимается сбором статистических данных по результатам применения новых методов лечения лейкоза (белокровия), пересадок костного мозга и других данных. И наконец, очень важное

дело, которым я занимаюсь, — моя собственная лаборатория, где проводятся основные исследования по изучению молекулярных механизмов возникновения лейкозов.

Я понимаю, это звучит так, словно я распыляюсь, но я с этим не согласен. Я сосредоточен на этих трех направлениях, поскольку перед нами стоит сверхважная цель: мы хотим добиться эффективного излечения лейкоза. И мы думаем, что первые результаты будут получены в лаборатории.

К чему мы идем? Какова основная идея наших исследований? Ни один ребенок не должен погибать от лейкоза. Мы должны для этого делать все, что в наших силах.

— Есть ли случаи излечения в вашей клинике? Удастся ли вам переводить острые лейкозы в хронические?

— В 1986 году нам удалось излечить примерно 70 процентов детей, у которых развился лейкоз. И около 30 процентов взрослых. Если посчитать в общем, то получится, что ровно половину больных нам удается излечить.

— Это феноменальный результат!

— К сожалению, большинство населения очень мало понимает, как далеко мы продвинулись в лечении лейкозов. Но половина больных — это уже недостаточно. Ведь вторая половина умирает. Например, в этом году двести тысяч американцев умрут от рака.

— В прессе были сообщения о том, что вы имеете степень доктора философии. Какую проблему вы разрабатывали в своей диссертации?

— Моя тема — жизнь и смерть. Единство жизни и смерти в философском плане. В автобиографии, опубликованной в США, я касаюсь этой темы.

— Доктор Гейл, что говорите вы своим больным, когда ставите диагноз?

— Я всегда говорю своим пациентам всю правду, сообщаю все факты. Я не знаю — хорошо это или плохо, но мы исповедуем философию, согласно которой человек должен иметь всю информацию. Дело в том, что самые главные решения по лечению должны приниматься самим больным. А для этого им нужна достоверная информация. Не всегда это «работает» лучшим образом, но иного выхода у нас просто нет.

— Имели ли вы дело с лучевой болезнью перед тем, как приехали в Москву и начали лечить пациентов, пострадавших во время аварии на Чернобыльской атомной станции?

— Да, определенный опыт у нас имелся. В ряде случаев заболевания лейкозом бывает необходима пересадка костного мозга. И тогда мы сознательно подвергаем пациентов огром-

ным дозам радиации, иногда на грани смертельных доз. У нас достаточно большой опыт лечения больных, получивших огромные дозы радиации порядка нескольких тысяч бэр.

— Совпал ли ваш прогноз по поводу лечения больных в Москве с фактическими результатами?

— В общем, да — если говорить об общей закономерности в статистическом прогнозе. Но в каждом индивидуальном случае очень сложно давать верный прогноз. Вообще это очень сложная этическая проблема и тяжелое бремя: давать прогноз. Я в данном случае говорю не о лечении чернобыльских больных, а о лечении больных лейкозами в моей клинике. Допустим, я знаю, что из ста пациентов, которым необходима пересадка костного мозга, пятьдесят процентов выживут, излечатся. Но для тех пятидесяти процентов, которые умрут, — это утешение слабое. Их жизнь мы укорачиваем своим лечением. И потому каждый раз, когда у нас умирает больной, чья жизнь была сокращена в результате лечения, я чувствую свою личную ответственность. Мне приходится нести эту ответственность за их смерть, но у меня нет иного выбора.

Самым простым решением было бы вообще не делать пересадок. Но тогда мы будем отказывать абсолютному большинству больных в праве на жизнь.

— Доктор Гейл, кто из больных в Москве вам наиболее запомнился?

— Сразу хочу сказать, что я помню каждого из них — помню как человека, как индивидуальность. Но некоторые люди оставили наиболее глубокий след. Особенно запомнились трое больных.

Первый — врач, который работал у реактора, помогал пораженным. Как врач, он осознавал всю опасность создавшейся ситуации, он все понимал, но держался мужественно. Второй больной — пожарный. Когда я впервые выехал в Киев из Москвы — помните, в начале июня? — меня не было в клинике три дня. И когда я вернулся из Киева, он был очень зол и спросил меня: «Где вы были? Почему уехали?» И третий, тоже пожарный. Может быть, он не понимал, что над ним нависла опасность, может быть — понимал, а может быть — специально все делал для того, чтобы не обращать внимания на угрозу жизни. Он трогательно себя вел — во время обходов он все время меня спрашивал: «Как ваши дела, доктор, как вы себя чувствуете?»

Двое из этих больных умерли, один выжил...

— Какими чувствами вы руководствовались, когда решили поехать в Советский Союз?

— Прежде всего я врач — и я знаю о возможных последствиях такой аварии. Поэтому я счел нужным предложить свою помощь. Меня как представителя медицинской профессии политические разногласия не касаются. Наша первая обязанность — спасать людей, помогать им. Кроме того, аналогичные аварии могут произойти не только в СССР, но и в США и других странах. И естественно, что мы сможем ожидать такого же сочувствия и такой же помощи со стороны советских людей.

— Как вы думаете, можно ли провести аналогию между визитом доктора Хаммера в нашу страну в 1921 году и вашей поездкой сейчас?

— В каком-то смысле, да. Правда, Хаммер занимался тогда проблемами борьбы с сыпным тифом, а мы — борьбой с атомной угрозой. Обстоятельства совершенно разные, но суть — одна и та же. Врачи разных стран помогают друг другу. В этом смысле ничего не изменилось. Но ситуации, конечно, абсолютно несопоставимы. Подумайте только: насколько сама идея аварии атомного реактора в 1921 году была абсолютно невообразима, настолько сейчас невозможно себе представить эпидемию сыпного тифа таких масштабов, как в 1921 году. Человечество научилось преодолевать все ситуации, возникающие на его пути...

— Но при этом само создает новые проблемы.

— Так будет всегда (доктор Гейл смеется). И сегодня нам трудно представить, какие проблемы будут волновать человечество через шестьдесят лет.

— В этот свой приезд вы взяли с собой своих детей. Означает ли это, что их пребывание здесь безопасно?

— Многие в мире думают, что Киев полностью покинут жителями или что дети полностью эвакуированы. И одной из причин, которая заставила меня приехать сюда с моей семьей, — желание еще раз подчеркнуть, что ситуация полностью контролируется, а пациенты получили необходимую помощь. У меня не было никаких сомнений в безопасности моего приезда в Киев. Ни в коем случае я бы не привез своих детей, если бы существовала малейшая потенциальная опасность. Мне думается, что людям такой поступок легче понять, чем целый ряд медицинских заявлений и сложных обобщений.

— Считаете ли вы, что ситуация в Киеве улучшается?

— Конечно. Уровни радиации будут постоянно снижаться. Кое-что требует особого внимания. Например, проблемы защиты воды. Но предпринимаются все меры, чтобы город Киев был защищен. К примеру, пробурены артезианские скважины,

определены альтернативные источники водоснабжения, я считаю, что ситуация полностью контролируется. В этих вопросах я полностью полагаюсь на моих советских коллег. Я не верю, что они подвергали бы своих детей и себя воздействию радиации, которую считали бы неприемлемой.

— Удовлетворены ли вы полученной информацией?

— Со времени моего первого приезда в Советский Союз — и в частности, в Киев — меня поражало, как искренне и открыто мы ведем дела с моими советскими коллегами. Особо должен подчеркнуть, что на многих из нас глубокое впечатление произвело сообщение Политбюро ЦК КПСС о расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС. Я считаю, что оценка аварии была в высшей степени искренней. Пожалуй, она была даже более прямой и открытой, чем мы предполагали, и меня это глубоко радует. Я надеюсь — более того, я уверен, что ваш анализ медицинской информации будет таким же полным и откровенным, как и анализ физических причин аварии.

— Вам хотелось бы еще побывать в Киеве?

— Я не только хочу, но и буду в Киеве. Я вернусь в ваш город в октябре, когда откроется выставка работ из коллекции доктора Хаммера.

Роберт Гейл сдержал свое слово. Была осень, был тот же аэропорт, был американский самолет — на этот раз маленький «боинг» и на киле его значился номер — № 2 ОХУ. Вместе с доктором Гейлом приехал популярный американский певец и композитор Джон Денвер, исполняющий свои баллады в стиле «кантри». По поручению Арманда Хаммера доктор Гейл открыл выставку «Шедевры пяти веков». Выступая на церемонии открытия, он сказал:

— Чернобыль стал для всех нас напоминанием о том, что мир должен навсегда покончить с любой возможностью возникновения ядерной войны.

...Потом, вечером того же дня, был концерт во дворце «Украина», все средства от которого шли в фонд помощи Чернобылю. Очень искренне и взволнованно звучали слова Джона Денвера о Пискаревском кладбище в Ленинграде: после посещения кладбища он написал песню, в которой воспел силу, смелость советских людей, их любовь к своей земле... С огромной симпатией слушал зал чистый голос этого рыжеватого парня из Колорадо. «Я хочу, чтобы все знали, что я уважаю и люблю советских людей, — сказал Джон Ден-

вер. — Для меня очень важно быть здесь, в Советском Союзе, и петь для вас, и не просто петь, а делиться с вами моей музыкой. Я хочу, чтобы все знали, что я испытываю огромное уважение к жителям Киева и жителям Чернобыля — я уважаю их смелость, их мужество». Джону Денверу аплодировали не только тысячи киевлян, но и доктор Гейл и его жена. А потом был прощальный ужин — немного печальный, как всегда, когда расстаешься с добрыми друзьями. А потом, когда была уже ночь, мы вышли все вместе на берег Днепра и спели американским друзьям нашу народную песню «Реве та стогне Дніпр широкий». И Гейл, и Денвер внимательно слушали, а потом Денвер задумчиво спросил: «Где Чернобыль?»

Мы указали на север, в темноту, туда, откуда нес свои осенние воды Днепр.

## **«НА ЧЕМ ПРОВЕРЯЮТСЯ ЛЮДИ, ЕСЛИ ВОЙНЫ УЖЕ НЕТ?»**

**Л. Ковалевская:**

«Восьмого мая мы выехали из села в Полесском районе в Киев, на Бориспольский аэродром. Маму я отправила с детьми в Тюмень. Денег у меня уже мало было, да и те, что остались, я все раздала в аэропорту нашим припятчанам. Кому трехку, кому два рубля. Женщины с детьми плакали, жалко было. Себе рубль оставила, чтобы доехать до Киева. 80 копеек билет от Борисполя до Киева стоит, у меня в кармане осталось 20 копеек. Я вся «грязная», брюки «фоняют». Стою на остановке такси, звоню знакомым: того нет, тот уехал. Остался один адрес. Думаю — возьму такси, поеду, скажу таксисту, что друзья за меня заплатят. А если их не будет — запишу его координаты и позже рассчитаюсь. Стою. Подходит ко мне человек, занимает за мною очередь и спрашивает: «Который час?» Знаешь — как обычно подходят мужики и спрашивают, чтоб познакомиться. Я стою злая, страшная, грязная, немытая, нечесаная... Я смотрю на его руку — есть ли у него часы? Нету. Тогда говорю ему, который час. Не знаю почему, но нас сразу все отгадывали, что мы из Чернобыля. Припятть-то люди мало знали, все говорили и говорят: «Чернобыль». Или по глазам, или по одежде — не знаю, почему. Но без ошибки угадывали. И тот парень, что занял за мной очередь, спрашивает: «Вы что, из Чернобыля?» А я сердито ему: «Что, заметно?» — «Да, заметно. А вы куда едете?» А я отвечаю: «Не знаю, боюсь, что бесполезно туда ехать». А он спрашивает:

«Что, вам ночевать негде?» — «Негде». Он берет меня под руку и говорит: «Пошли». — «Никуда я с вами не пойду», — говорю. Знаешь, думаю, — мужик приведет меня к себе, и все такое прочее... Знаю я эти штучки. Нет. Он садится со мной в такси и везет в гостиницу «Москва». Платит за такси, платит за гостиницу. Потом везет меня к себе на работу, там дежурная какая-то бабушка, накормил — и привез обратно. Я привела себя в порядок, вымылась, а потом уже узнала его фамилию: Слаута Александр Сергеевич. Он в республиканском обществе книголюбов работает».

### А. Перковская:

«В начале мая мы начали вывозить детей в пионерлагеря. С чем только я тут не столкнулась!

Знали, что путевки будут в «Артек» и в «Молодую гвардию». Стали приходиться родители. Нажимать на меня, чтобы их чад обязательно в «Артек» отправили. Ну, я жестко говорила с такими родителями, не скрываю этого. Часто и мне приходилось брать грех на душу. Установка была такая: забирать в лагеря тех, кто закончил второй класс, — и по девятый класс включительно. Вот приходят ко мне и говорят: «А десятиклассники — они не дети? А первый класс куда девать?» Вот представьте: приходит мама, она одна, мужа у нее нет, она на вахте — и ребенок шести лет. Он что, должен второй класс обязательно закончить? Что она с ним будет делать? Естественно, я беру и пишу без зазрения совести другой год рождения этому ребенку. Потом, когда я поехала в пионерлагеря, я услышала много упреков в свой адрес. Но, извините, у меня не было другого выхода.

В общем, составили мы эти списки, потом начались такие дела. Киевляне звонили и просили взять их детей в лагеря. И так далее. Я когда начала просматривать списки, понаходила в них всякую липу. Пришлось объявить по радио, чтобы родители пришли с паспортами и предъявили припятскую прописку...

В августе я поехала в «Артек» и «Молодую гвардию» — везла детей. И вот представляете? Обнаруживаю почти взрослую девочку из другого города. К Припяти она никакого отношения не имеет. Нашла даже девочку из Полтавской области. Как попали эти дети в «Артек» и «Молодую гвардию» — я не знаю. Но они, как и все, по две смены отдыхали...

Когда в начале мая я привезла в Белую Церковь беременных женщин, вышла вельможа — третий секретарь горкома

партии — и говорит: «Надо мыслить по-государственному». А сами женщин наших встретили в костюмах противочумных, противогазах, дозиметрию на улице проводили. И детей в той же Белой Церкви до вечера не принимали, так как не было дозиметриста.

А когда отдыхала после больницы в Алуште, меня подруга предупредила: «Не говори, откуда ты. Говори, что из Ставрополя. Так лучше будет». Я ей не поверила. Кроме того, это ниже моего достоинства — скрывать кто я, откуда. Подсели за мой стол две девушки — из Тулы и Харькова. Спросили: «Откуда?» — «Из Припяти». Те сразу же сбежали. Потом ко мне посадили «друзей по несчастью» — женщин из Чернигова».

### А. Эсаулов:

«У нас в городе, на узле связи, двадцать девятого апреля телефонистка Надя Мискевич упала в обморок от перенапряжения. Она все время сидела на связи. А начальник узла связи Людмила Петровна Серенко тоже молодчина. Она первая в городе организовала вахты. Еще был такой случай, когда один псих вырубил электроэнергию на подстанции. Говорит: «У меня признаки лучевой болезни. Вывозите меня, иначе я выключу электроэнергию». Взял и выключил. Так Людмила Петровна сразу же перешла на аварийное питание. Это Человек с большой буквы.

И еще такой случай. Приходит ко мне замдиректора атомной станции по быту и социальным вопросам Иван Николаевич Царенко и говорит: «Помоги, Александр Юрьевич. Нам надо похоронить Шашенка — того оператора, что погиб на четвертом блоке. Его надо положить в гроб и похоронить, но Варивода из строительного управления не дает автобус. Он у него единственный». Ну, тут тяжело рассуждать — кто прав, кто виноват. У того единственный автобус, и он был нужен живым для решения каких-то сверхсмертельно важных вопросов.

Пошли мы к Вариводе. Я говорю: «Слушай, чего ты дурью маешься? Надо человеку долг последний отдать. Давай автобус». А он говорит: «Не дам». Я говорю «Ты чего, паразит, советской власти не слушаешься?» А он говорит: «Не дам все равно. Режьте меня, ешьте — не дам».

Ну, я тогда выхожу на дорогу, останавливаю первый попавшийся автобус, отдаю его Вариводе, а его автобус беру на похороны...»

**Ю. Добренко:**

«После эвакуации в Припяти осталось порядка пяти тысяч жителей — люди, которые были оставлены по указанию различных организаций для проведения работ. Но были и такие, которые не согласились на эвакуацию и остались в городе вроде бы нелегально. Преимущественно это были пенсионеры. С ними стало трудно, их долго еще вывозили. Я вывозил пенсионера двадцатого мая. Дед, имеющий награды, участник Сталинградской битвы. Как он жил? Он спустился к военным, взял у них респираторы, несколько штук, и даже спал в них. Света не зажигал, чтобы не заметили ночью. У него были сухари, водою он запасся. Когда я его вывозил, в городе уже воду отключили, она была нужна для дезактивации. Электроэнергия была, и он смотрел телевизор.

А нашли его так. Пришел его сын, эвакуированный, и говорит: «У меня остался в городе отец. Я долго молчал, но знаю, что в городе уже нет воды, а он сидит. Давайте поедем заберем». Мы приехали, и он говорит: «Ну ладно, воды нет, поеду». Надел респиратор и захватил с собой немного гречневой крупы, так что мог еще суп какой-то сварить. По селам тоже много было таких бабуль и дедов, которые ни в какую не хотели покидать свои дома. Мы их «партизанами» называли. Правда, среди них разные были. Были и такие, чьих дети просто «забыли». Не взяли с собой. Или с легкостью согласились — мол, сидите здесь, дом и вещи сторожите».

**София Федоровна Горская, директор школы № 5, г. Припять:**

«Не все учителя выдержали испытание, выпавшее на нашу долю. Не все. Потому что не каждый оказался педагогом. Будучи уже в эвакуации, некоторые оставили классы, оставили своих детей. Ребята прореагировали на это очень болезненно. Особенно старшеклассники, выпускники. Их очень огорчило, что пришли другие учителя. Педагоги, которые ушли, бросили детей, объясняют это тем, что неопытны, что не знали, как поступить в подобной ситуации, что делать. После того как по телевидению услышали, что все нормализовалось, — появились. Большой урок для нас — при подготовке будущих педагогов. Тех, кого мы отбираем из ребят и готовим два года для поступления в пединституты. Были среди педагогов «активисты», которые громче всех выступали на собраниях, а потом смылись. Да, были».

**Валерий Вуколович Голубенко**, военный руководитель средней школы № 4, г. Припять:

«Когда произведена была эвакуация, мы ни журналов школьных, ничего не вывезли. Ведь мы на короткое время выезжали, надеялись сразу же вернуться в город. Ну а потом, когда кончался учебный год, надо было десятиклассникам выписывать аттестаты зрелости. Журналов все еще не было, и мы предложили им самим поставить свои оценки. Сказали: «Вы же помните собственные отметки». Когда посмотрели — ни один не завысил оценки, а некоторые даже занизили».

**Мария Кирилловна Голубенко**, директор школы № 4, г. Припять:

«Уже когда мы были в эвакуации, здесь, в Полесском, меня назначили членом комиссии по посылкам при нашем Припятском горисполкоме. Что меня совершенно потрясло — это доброта нашего народа, которую мы ощущаем буквально физически, распечатывая посылки, сортируя подарки, читая письма. Часть вещей мы передаем в пансионаты для престарелых, туда, где сейчас находятся одинокие припятские старики, часть — в дома матери и ребенка, часть — в пионерлагерь, в частности одежду для малышей. Много книг поступает — мы их передаем в библиотечки для вахт строителей и эксплуатационников АЭС. Вот здесь, в комнате рядом, находится около двухсот посылок и еще триста посылок лежит в Киеве на почтамте. Очень много приходит ребячьих писем. Ленинградские дети прислали много посылок с книгами, детской одеждой, куклами, канцелярскими принадлежностями, в каждой посылке — письмо, а в каждом письме — тревога и забота. Хотя эти дети — третьеклассники, второклассники — находятся далеко от места аварии, они поняли, какое это горе. Много посылок из Узбекистана, Казахстана — дарят инжир, сухофрукты, земляные орехи, сахар домашний, чай, пенсионеры присылают мыло, полотенца, постельное белье, дети чаще всего кладут книжки, куклы, игры».

Но я прошу читателя не слишком предаваться благостному милленным чувствам, вспыхнувшим, быть может, под воздействием рассказа о посылках и письмах добрых, порядочных и искренних людей. Не надо расслабляться. Ибо чернобыльские события рождали и иное: осмеянные еще Салтыковым-Щедриным традиционные шедевры отечественного тупоумия и бюрократизма.

Приведу один из них:

«Ялтинский городской Совет народных депутатов Крымской области. 16.10.86. Председателю исполкома Припятского городского Совета народных депутатов товарищу Волошко В. И.

В соответствии с направлением Министерства здравоохранения СССР № 110 от 6 сентября 86, исполком Ялтинского городского Совета народных депутатов принял решение от 26.09.86 № 362(I) о предоставлении квартиры в Крымской области гражданину Мирошниченко Н. М. на семью 4 человека (он, жена и два сына), эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС. Просим выслать в наш адрес справку о сдаче гр-ном Мирошниченко Н. М. трехкомнатной благоустроенной квартиры № 68 жилой площадью 41,4 кв. м. в доме № 17 по ул. Героев Сталинграда города Припять местным органам.

Зам. председателя горисполкома П. Г. Роман».

Не остроумно ли? Вся страна знает, КАК и КОМУ «сдавали» свои благоустроенные квартиры жители Припяти. И только в солнечной Ялте думают, что в брошенную гр-ном Мирошниченко Н. М. 27-го апреля 1986 года квартиру площадью 41,4 кв. м немедленно, в обход установленного порядка, существующих положений и повышенной радиации заселились некие злоумышленники или родственники означенного гражданина.

Воистину — «на чем проверяются люди»?

Вспышка над Чернобыльской атомной ослепительным светом своим высветила добро и зло, ум и глупость, искренность и фарисейство, сочувствие и злорадство, правду и ложь, бескорыстие и алчность — все человеческие добродетели и пороки, упрятанные в душах как наших соотечественников, так и тех, кто пребывал далеко за рубежами нашей страны.

Вспоминаю майские номера популярных американских журналов «Ю. С. ньюс энд Уолрд рипорт» и «Ньюсуик»: зловеще багровые цвета обложек, серп и молот, знак атома — и черный дым над всем миром. Крикливые заголовки: «Ночной кошмар в России»; «Смертоносный выброс из Чернобыля»; «Чернобыльское облако»; «Как Кремль рассказывал об этом и каков действительный риск»; «Чернобыль: новые волнения по поводу здоровья. Опасный ознакомительный тур по Киеву». И первые, апокалипсически-торжествующие слова репортажей: «Это был невиданный кошмар XX столетия...» Допускаю, что сенсационные заголовки и истеричность тона — традиция прессы США, стремящейся любой ценой пробиться

к читателю, завлечь его. Все это так. Но при всех скидках нельзя было в этих материалах обнаружить простое человеческое сочувствие тем, кто пострадал от аварии, а за зловещими медико-генетическими предсказаниями не ощущалось и тени тревоги за жизнь и здоровье детей Припяти и Чернобыля. Особенно поразил меня холодно-политиканский тон статьи Фелисити Берингер в газете «Нью-Йорк Таймс» от 5 июня 1986 года: эта женщина (женщина!) с заданностью работа, манипулируя пером, будто скальпелем резала по живому: она вела репортаж из пионерского лагеря «Артек», где находились в то время дети из Припяти. Не было в ее словах извечного женского, материнского милосердия — одно лишь ненавидящее пропагандистское неприятие всего, что говорили одиннадцати-двенадцатилетние дети, ошеломленные происшедшим, тоскующие по своим домам, куда им уже не вернуться...

Эти слова я написал в 1986 году — и в них, вероятно, также сказалось МОЕ пропагандистское неприятие принципов, по которым строится работа западных средств информации. Во всяком случае, в мае 1988 года в Киеве, во время работы конференции, посвященной медицинским аспектам Чернобыля, ко мне подошла молодая, некрасивая, но умная и симпатичная женщина и представилась: «Корреспондентка газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве Фелисити Берингер».

Спросила — действительно ли я читал ее статьи и действительно ли они произвели такое впечатление? Я ответил, что читал, что произвели. Мы разговорились, и оказалось, что за эти два года, что минули со времени аварии, мы стали во многом одинаково оценивать чернобыльские и послечернобыльские события. Что же произошло? Изменились МЫ. Мы в большей мере стали людьми, а не механическими роботами противоположных идеологических систем.

Собственно, такие люди были и в США, и у нас, — и до перестройки и гласности. Люди, стоящие выше примитивных пропагандистских стереотипов.

В иностранной редакции Киевского радио Инна Константиновна Чичинадзе, главный редактор Гостелерадио УССР, в мае 1986 года познакомила меня с письмами, пришедшими в те дни из США и Великобритании.

Вот эти письма:

**Девид Парсонс, Челфонт, Пенсильвания, США:**

«Мы здесь, в Пенсильвании, достаточно хорошо знаем, как может случиться то, что произошло у нас на Тримайл-Айленд в 1979 году. Разве такое время не учит нас протягивать друг другу руку помощи, не учит понимать, что мы живем на одной планете?»

Я глубоко опечален судьбой тех, кто так или иначе пострадал в результате чернобыльской трагедии. Да поможет Бог вашим ученым разобраться, что произошло и как можно не допустить этого впредь. Эта информация будет так полезна и советской, и американской энергетике».

**Миссис Дод Шмирко, Хай Вайкомб, Бакс, Англия:**

«В то время, как вашим стремлением было как можно быстрее эвакуировать население из района беды, сделать это по возможности спокойно и человечно, фальшивые репортажи в прессе Британии, Западной Германии, США были злыми, позорными по своей жестокости. Их явным намерением было посеять панику, страх — и это в то время, как ваши люди проявляли мужество и благородство в беде».

**Мисс Эми Смит, бывшая крановщица, Оркни, Шотландия (ей 72 года; с палаткой за плечами она ездила в 1984 году в пикеты в Гринэм-Коммон):**

«Мое сердце было в глубокой печали, когда я узнала об аварии в Чернобыле. Мое сердце было в гневе, когда я наблюдала безобразную лживую свистопляску по этому поводу в прессе моей страны и США. Я припоминаю соболезнование, которое послал господин Горбачев Соединенным Штатам и президенту Рейгану, когда произошла трагедия с «Челленджером». Нужно быть по меньшей мере дурно воспитанным, чтобы так ответить на этот жест! И еще. От нас 5 недель скрывали утечку на одной из атомных станций в Британии, не сказали о затонувшей в Ирландском море подводной атомной лодке. В такой ситуации нужно быть очень дурно воспитанным, чтобы обвинять в своих грехах кого-то».

**Коллективное письмо членов общины Свартмор, Пенсильвания, США. Всего — 304 подписи:**

«Мы, члены общины Свартмора и Свартморского колледжа, помня сочувствие вашего народа по поводу происшедшей у нас аварии на атомной станции Тримайл-Айленд, хотим выразить свое сочувствие в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Мы глубоко сознаем, что все мы едины на этой хрупкой земле, что все происходящее в любом ее уголке касается нас всех. И потому, что мы понимаем эту связь,

мы раскрываем свои сердца и протягиваем вам свои руки с чувством этого общечеловеческого единства.

«...и все как океан; все течет и сочетается; прикосновение в одном месте порождает движение в другом конце земли» (*Достоевский, «Братья Карамазовы»*).

**Николас Снайдер, Уотербур, Коннектикут, США:**

«Я прошу вас принять взнос в 25 долларов в фонд помощи тем, кто пострадал от аварии в Чернобыле. Простите за скромность вклада, но расцените его как мое святое чувство к земле и народу моей дорогой мамы — Татьяны Кочирка, которая родилась в селе Хищевичи возле Львова».

**Клайв Бейкер, Норс Девон, Англия:**

«Я хочу выразить свое сочувствие людям, пострадавшим от аварии в Чернобыле, и сказать, что мне стыдно от того, что писалось в прессе Англии по этому поводу. Я хочу предложить вам себя, как донора костного мозга, если вы сочтете это возможным и это принесет пострадавшим хоть малую пользу»

**Роберт Ф. Уэллс, Клируотер, Флорида, США:**

«Держитесь и берегите себя, дорогие. Я надеюсь, что Чернобыль и его раны со временем станут не более чем тяжелым воспоминанием. Пусть только не станет воспоминанием урок, который все мы должны извлечь. Пусть вернуться те времена, когда мы встретились на Эльбе (я в это время был военным моряком), и тогда угроза ядерной гибели уйдет навсегда. Я знаю, что вы присоединитесь ко мне и к миллионам других в этой надежде».

А в самом начале июня в Киев приехал глава американской православной автокефальной церкви, архиепископ Вашингтонский, митрополит Американский и Канадский Феодосий, который отслужил службу во Владимирском соборе. В полном соответствии с реалиями XX века он выступал перед микрофонами, а речь его переводил Епископ Серпуховский.

— Как христиане мы очень сострадаем людям, которые были в Чернобыле, — сказал гость из Америки. — Мы молимся об их здоровье и возносим молитвы о тех, кто отошел в вечность. Ваши радости — наши радости. Ваше горе — наше горе. Мы исполнены сострадания, и не только мы, но и другие христиане Америки, понимающие эту беду.

В интервью, данном мне после службы, митрополит Феодосий сказал:

— Мы не должны забывать, что живем на одной маленькой планете, и мы должны научиться жить вместе. То, что случилось в маленьком городе здесь, могло случиться в любом

другом месте, и это учит нас более бережно обращаться с атомной энергией. Нам надо вместе сесть и задуматься над тем, что может быть хорошего или плохого от использования ядерной энергии. Несколько лет тому назад глава русской православной церкви патриарх Пимен подарил мне особый знак: две руки и эмблема между ними — как символ сохранения жизни. Инцидент в Чернобыле учит нас бережному отношению к тому, от чего может пострадать человечество. Наша церковь исходит из того, что это был несчастный случай, и мы молимся за то, чтобы его последствия не были тяжелыми. Мы очень беспокоимся за безопасность ваших людей, находящихся вблизи места аварии.

А еще через месяц, в июле 1986 года в пожарную часть Чернобыльского района, туда, где в апреле работал «дед» Хмель и его товарищи, из США был привезен необычный подарок: мемориальная доска с посланием 28-го отделения пожарных города Скенектади от имени ста семидесяти тысяч членов ассоциации пожарных США и Канады. Вот оно:

«Пожарный. Часто он первым приходит туда, где возникает опасность. Так было и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города Скенектади, штат Нью-Йорк, восхищены отвагой наших братьев в Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь, которые они понесли. Особое братство существует между пожарными всего мира, людьми, отвечающими на зов долга с исключительным мужеством и смелостью».

Передавая это послание советским представителям в Нью-Йорке, вице-президент Международной ассоциации пожарных Джеймс Макгован из Нью-Йорка и капитан Арманд Капуло из города Скенектади от имени всех честных американцев — а таких большинство, подчеркнули они, — с высоким уважением отозвались о наших людях. Они напомнили принцип, исповедуемый порядочными людьми всего мира: тем, кто попал в беду, сочувствуют, помогают, делают все, чтобы быстрее отвести несчастье.

## САРКОФАГ

**Станислав Иванович Гуренко, секретарь ЦК Компартии Украины (в период аварии работал в должности заместителя председателя Совета Министров УССР):**

«Моя чернобыльская вахта длилась с 24 июля по 14 сентября.

Работали мы в Чернобыле, в здании, где помещался штаб Правительственной комиссии. Наша роль — представителей республики — заключалась в обеспечении бесперебойной работы на всех объектах в Зоне.

Скажем, мы проводили в то время большую работу по подготовке Чернобыля к зиме. Ведь надо было разместить на зиму несколько тысяч людей — вахтовиков, создать им нормальные условия жизни. А город состоит в основном из индивидуальных строений с печным отоплением. Кроме того, было несколько угольных котельных, но их, естественно, нельзя было задействовать ввиду опасности взгонки радиоактивных аэрозолей. Поэтому занимались газификацией города. Следует сказать, что юридически и практически исполнительная власть в Зоне все время находилась в руках Киевского облисполкома. Всеми этими вопросами в нашей группе энергично занимался заместитель председателя облисполкома Юрий Каплин — кстати, физик по образованию. На него свалилась масса забот, начиная от того — кого куда поселять — и до поддержания в приличном состоянии дорог в Чернобыль. А ведь еще были проблемы водоснабжения, питания, охраны общественного порядка.

Главной нашей целью была организация в максимально сжатые сроки строительно-монтажных работ по сооружению саркофага. Для возведения этого уникального, невиданного в мировой практике сооружения потребовались десятки тысяч кубометров бетона. Чтобы бесперебойно работали бетонные заводы — а они выдавали свыше пяти тысяч кубометров бетона в сутки, — надо было их ежечасно «кормить». Мы должны были обеспечить поставку трех фракций щебенки в необходимом количестве.

Совмин УССР организовал дополнительную разработку щебня на карьерах республики. Перевозили щебенку по Днепру баржами речного флота. Для скорейшей разгрузки пришлось построить дополнительную пристань в Плютовцах — она и сейчас работает.

Когда наша «смена» приступила к работе, бетонные заводы уже были развернуты. Одна из основных наших задач — довести эти заводы до проектной производительности, потому что мало возвести саркофаг, его надо забетонировать. Заводы находились в относительно чистой зоне, а саркофаг — в Черной зоне. Бетон возили миксерами, и каждый этот многотонный самосвал-миксерочек надо было загрузить и перегрузить, чтобы уменьшить радиоактивную нагрузку на чистую зону.

Бетонные заводы расположили в Лелеве, а перегрузочный пункт — возле Копачей. Сейчас он как монумент стоит. А тогда, в те дни, самосвал въезжал на эту эстакаду и вываливал бетон в стоящие внизу миксера, которые шли в Черную зону. Эти миксера подъезжали к саркофагу и давали бетон на бетононасосы.

Кроме бетона мы занимались материально-техническим обеспечением всех нужд Зоны. Начиная от спецовки и кончая огромной металлоконструкцией — все это доставлялось через штаб Госнаба. В штабе сидел примерно десяток людей, работавших тоже в режиме 16—18 часов в сутки. В их задачу входило найти необходимое изделие, «выбить» его как можно быстрее и привезти. Шел огромный поток грузов со всей страны. Их надо было перегрузить в Дитятках, на КП. Поэтому там были сооружены перегрузочные пункты.

В районе бывшей чернобыльской Сельхозтехники развернули специальную базу, где велся монтаж и сварка металлоконструкций для сооружаемого саркофага. Затем их везли в Черную зону. Контрфорсы, фермы, подвесные конструкции, балки, положенные в основание крыши саркофага — все это изготавливалось на заводах и доставлялось сюда. Надо сказать, что монтажники блестяще справились с этой проблемой, они в короткий срок изготовили уникальные конструкции.

У нас в штабе работал диспетчер МПС, обеспечивающий грузам «зеленую улицу» по всей стране, поэтому доставлялось все туда очень быстро. Кроме того, мы строили автомобильную дорогу Зеленый Мыс — АЭС, призванную обеспечить быструю и безопасную перевозку оперативного персонала на станцию. Эту дорогу также строила республика — Миндорстрой УССР. Проложили ее в кратчайшие сроки — с мая по октябрь, в сложных условиях радиоактивного заражения местности — лесов и песков. Развернули большое количество асфальтозаводов, работали тысячи людей. Надо было решать массу бытовых вопросов — разместить их, накормить, наладить справедливую оплату их труда.

В нашей сменной Правительственной комиссии существовал железный закон: бывать везде, где работают люди. Поэтому мы с председателем сменной ПК Геннадием Георгиевичем Ведерниковым<sup>1</sup> ежедневно бывали на строительной площадке возле четвертого блока и закон этот соблюдали от первого и до последнего дня. Такого места, где бы люди работали, а мы не побывали, — не было в Зоне. Какая бы ни была дозовая

---

<sup>1</sup> Заместитель Председателя Совета Министров СССР.

нагрузка, но если она позволяла находиться человеку на рабочем месте, мы туда тоже обязательно приходили. И естественно, все время бывали в местах дислокации строителей — там, где они жили, питались, отдыхали — в многочисленных пионерских лагерях, базах отдыха. Приходилось заниматься вопросами доставки газет, налаживать междугородную телефонную связь. Представьте себе: в пионерлагере живет 700 человек строителей со всех концов Советского Союза. Нет газет, нет радио, нет междугородного телефона. Мы без промедления решали все эти вопросы, устанавливая жесткие сроки выполнения.

А вообще вся работа в Зоне делилась как бы на две части. Главное, чем занималась Правительственная комиссия, — это, конечно, локализация источника радиоактивного заражения, работа вокруг разрушенного реакторного блока.

Саркофаг.

Вот была наша цель номер один.

Концепция саркофага была полностью сформирована к июлю месяцу, нам надо было ее лишь реализовать. Проект максимально привязан и к сложившейся реальной ситуации, и к имеющейся у нас технике, и к накопленной нами инженерной практике. Сроки сооружения саркофага максимально сокращены за счет общей методологии его создания. Все это испытывалось впервые в мире, аналоги мне неизвестны. Если просто, по-человечески рассказать, то создавался своеобразный щит, за которым строители постепенно приближались к реактору. Под бетонным покрытием этого щита возводился следующий щит, и так по ступенькам, шаг за шагом, строители поднимались к вершине этой «пирамиды». Ну а потом ступеньки окончились — осталось только жерло кратера с самой высокой активностью.

Надо было ставить на саркофаг крышу.

А крышу надо было водружать практически на инженерной интуиции. Я закончил Киевский политехнический институт: нам, начиная с третьего курса, рассказывали, что есть понятие «из конструктивных соображений». Если инженер не может объяснить, почему он именно так нарисовал данный чертеж, он говорит: «из конструктивных соображений». Это и есть инженерная интуиция.

Но одно дело — рисовать на бумаге, другое — когда пора грузить многотонную конструкцию, ставить на развал реактора перекрытия фермы. Мы — вся наша комиссия — работали уже два месяца, и в тот самый момент, когда надо было уже закрывать развал крышей, нас сменили... Была ли там

борьба мнений? Была, конечно. Было кипение страстей. И когда мы уехали из Чернобыля, страсти вспыхнули с новой силой, потому что после нас заступила новая «смена», а сооружение саркофага вступило в завершающую стадию.

Это была одна часть нашей работы, самая главная.

Ну и, конечно, была вторая часть: персонал Чернобыльской АЭС под руководством директора станции Эрика Николаевича Поздышева — человека очень яркого, заслуженно награжденного орденом Ленина — вел работу по дезактивации, по ревизии и наладке оборудования первого и второго блоков. Они в очень сложных условиях занимались подготовкой к пуску станции. И наша задача — задача Правительственной комиссии — состояла в том, чтобы координировать эту работу. Ведь тогда на площадке находилось огромное количество техники, действия которой были подчас недостаточно скоординированы... Скажу, что железнодорожные пути у нас разрушались примерно раз в два дня — это как закон. Обязательно где-то переезжали колесо бронетранспортером, где-то тягачом, обязательно где-то монтажникам надо было ползть, что-то сделать. А железнодорожные пути — это старая, «довоенная» ветка — нам были очень нужны для того, чтобы завозить оборудование.

На площадке перед АБК-1 накопилось большое количество грязи — непрерывно проводилось пылеподавление, все время лили воду. Грязи — по пояс. Надо обеспечить проезжую часть. Я думаю, там на метр подняли уровень площадки: чтобы подавить радиоактивность, ее заливали бетоном, мостили плитами. А раз заливали бетоном — значит, неизбежно попадали где-то в ливневую канализацию, законопачивали ее, нарушали — и потому там в самую большую жару вода стояла; площадь перед АБК-1 буквально тонула в грязи.

В общем — пожар в дыму во время наводнения. Примерно так дело обстояло.

Всё победили — благодаря замечательнейшим людям, их творческой мысли и умелым рукам.

Если говорить о каких-то особенностях этого периода, то непременно надо отметить большую работу, проведенную в Зоне армией. Ведь самые сложные операции под руководством специалистов провела именно армия. Думаю, что все, кто видел документальный фильм покойного режиссера В. Шевченко и фильм Х. Салганика, отлично понимают это. Там работала кадровая армия — офицеры, солдаты срочной службы, специалисты. Но основную долю работы выполнили «приписники», так называемые «партизаны» — те, кто в ко-

роткие сроки был мобилизован для работы в Зоне. Это были люди в возрасте от 30 до 50 лет, сложившиеся специалисты своего дела, и работали они в основной своей массе хорошо, добросовестно.

Вообще на ликвидации последствий аварии трудилась вся страна. Об этом много уже говорили, но я хочу еще раз подчеркнуть это. Я встречал там людей со всех уголков нашей отчизны — из Средней Азии и Закавказья, из Прибалтики и Белоруссии, не говоря уже о русских и украинцах. Прибывали со своей техникой, и по номерам машин можно было изучить всю географию страны.

Много было добровольцев.

В период нашей «вахты» уже был установлен довольно жесткий режим, потому что в первые месяцы слишком много оказалось людей, болтающихся в Зоне. Пришлось режим ужесточить. И все равно, несмотря ни на что, к нам прорывались ребята, просили дать подработать на любых условиях месяца два. Что бы мы ни говорили о временах застоя, о духовных потерях в нашем обществе, но там — в экстремальных условиях — очень многие молодые люди показали себя с лучшей стороны.

Многие ребята туда приехали со своими отцами. Вот есть такой интересный человек — биолог Николай Павлович Архипов. Он занимается вопросами радиобиологии, работает в Припяти и сейчас. С ним с первых дней работает его сын.

Евгений Акимов, занимавшийся непосредственно на площадке вопросами дезактивации и монтажа оборудования — он с сыном вместе работал. Процветала такая «семейственность», причем ребята работали в самых острых местах не на страх, а на совесть.

Скажем, надо возвести разделительную стенку в машзале между третьим и четвертым блоками в условиях жесткой радиационной нагрузки. Дело очень тяжелое, люди работали строго расчетное время. Ну а начальники-то, руководители так называемых «районов» — они-то ведь работали круглые сутки! Это все молодые инженеры, такие как Геннадий Середа, Роман Канюк, Александр Приказчик. Был там очень славный парень с романтической фамилией Корчагин, Сережа Корчагин — настоящий корчагинец. Отличные ребята!

В нашу бытность они работали по месяцу каждый. И практически все время находились в зоне четвертого блока. Сегодня мы говорим, что это подвижничество, какие-то героические

усилия, а тогда это была просто работа. Работа на высоком накале, на высоком идейном уровне. Случайных людей в то время там уже и не было. К тому времени прошло уже два месяца после аварии, вполне достаточно было для стабилизации коллектива. Если «мусор» и попал — он сразу разлетался. Те, кто остался, — знали, зачем шли, во имя чего, что делали.

Я считаю, что мне очень повезло: благодаря Чернобылю я познакомился со многими замечательными людьми. Взгляните на это фото...»

Мы сидели поздно вечером со Станиславом Ивановичем в его служебном кабинете в здании Центрального Комитета Компартии Украины за просторным полированным столом, за которым, очевидно, проводятся заседания. На столе лежала груда фотографий, схем и записей. По схемам и фотографиям можно было проследить весь цикл сооружения саркофага, понять — КАК это делалось. Многие уже знакомо, многое повторяло кадры известных документальных фильмов. Но такой фотографии, какую показал мне Станислав Иванович, я еще в своей жизни не видел. Я чуть не вскрикнул от удивления: представил, как бились бы такие журналы, как «Ньюсуик», «Тайм», «Штерн» или «Огонек» за право ее опубликования: на вершине полосатой трубы, возвышавшейся над четвертым и третьим блоками, как ни в чем не бывало сидел... вертолет! Словно аист, вымостивший себе гнездо над мирной сельской хатой.

«Это было в начале сентября, перед завершающим этапом закрытия саркофага. Надо было установить контрольные приборы, чтобы проверить ряд параметров. И вот летчик-испытатель Николай Николаевич Мельник — человек очень застенчивый, очень милостивый, очень симпатичный, совершенно непохожий внешне на летчика-испытателя, каким его представляют, скажем, в кинофильмах, — взялся выполнить эту рискованную операцию. С ним был представитель головного завода Эрлих Игорь Александрович — инженер старой закалки, я думаю, ему было лет за шестьдесят, деликатный, подчеркнуто вежливый, резко отличающийся от всей нашей черновыльської спецовочно-тельняшечьей братии... Интересная пара была. Они опустили прибор в трубу, а прибор взял и зацепился за какие-то ребра внутри трубы. Надо вынимать,

а с лету-то не выдернешь. И Мельник сел на трубу. И прибор они вытянули.

Но это просто штрих, а если учесть, что он очень много раз летал над развалом, причем не просто пролетал, а висел над реактором, то станет понятно, какого мастерства и мужества этот человек. Там очень трудно было летать — и дело не только в радиации и торчащей трубе. Ведь еще стояли очень высокие краны, висели тросы, а лопасти вертолета имеют размах несколько метров, и очень легко черкнуться... и ничего хорошего от этого не будет.

У нас с Г. Г. Ведерниковым было больше пятидесяти вылетов на четвертый блок. С нами летало три экипажа вертолетчиков — и я знаю, какая у них тяжелейшая работа. Пилоты обливались потом. Радиационная нагрузка очень большая. Слева от пилота висит измеритель радиоактивности — там показания весьма и весьма... А рядом с ним стоит наблюдатель и говорит: «Давай левее... давай правее... повиси... дай посмотреть...» Надо или сфотографировать, или визуально в чем-то убедиться. А висит прямо над развалом. Несмотря на то, что у ребят под ногами и на сиденьях свинцовые листы, но все равно — остекление кабины ведь не может защитить... В те дни, когда заканчивалось сооружение саркофага, мы особенно часто летали. Потому что бетон уходил в страшном количестве, и порою мы не знали — куда же он девается? Те кубометры бетона, которые закачивались в ступени саркофага, не соответствовали реальному росту конструкций. Возник вопрос вопросов: куда дошел бетон, куда он девается?

Дело в том, что там были открытые каналы, откуда в свое время поступала вода на охлаждение реактора, имелись проломы, которые невозможно закрыть — и туда затекал бетон. И вот бетон только начинает выходить где-то, в каком-то вспомогательном помещении четвертого блока, как все начинают по новой думать: ага, значит, просачивается там-то и там-то.

В решении этих проблем нам очень помогли вертолетчики, такие замечательные люди, как Мельник. После того как он выполнил задание в Чернобыле, его приняли в партию. Он позвонил мне и поделился этой радостью. Он настоящий герой.

Или возьмем Юру Самойленко, вы его знаете. Я не могу назвать его своим другом, у нас не было дружеских отношений хотя бы потому, что между нами приличная разница в возрасте. Он молод, горяч и энергичен. Я с ним встретился

через день или два после приезда в Зону. Он пришел ко мне, и пришлось помогать ему в решении каких-то вопросов.

В Самойленко удивительно сочетаются два начала: с одной стороны, он человек дела, он всего себя отдает делу. Тогда, в те дни он был фанатично нацелен на то, чтобы дезактивировать крышу машзала и третьего блока. С другой стороны, он достаточно наивен в том, что всякому делу сопутствует. Непрактичен во всем, что касается многочисленных бюрократических надстроек — всех согласований, увязок, обоснований. Я считаю, что это его достоинство. Мне кажется, он очень чистый парень. Очень жаль, что в наше время мало таких людей. Будь побольше таких, как он, — искренних и бесхитростных, — стране было бы полегче решать все проблемы.

Ю. Самойленко очень смелый человек. Он работал в так называемой особой зоне. В АБК-1 у него была конторка — ее показывали в фильме «Чернобыль: два цвета времени», но основное место действия, основная его работа — на крыше машзала. Потом площадки третьего блока, потом труба... Человек он крутой, чернобыльцы к нему неоднозначно относятся. Он может кого-то припечатать, сказать все, что думает, — причем в выражениях не самых дипломатичных. Он вообще любит колоритные выражения, вроде «не напускай чаду» или «не заводи рака за камень». А когда начиналась схватка, то выражений он не подбирал... Порою это ему вредило. И еще — страшно не любил всяких меркантильных разговоров — о пятерных окладах, квартирах, о том — кто сколько «набрал» рентген и когда сможет уехать из Чернобыля.

Он не считался с опасностью. И сколько в действительности «набрал» — он один только знает, да и то неточно. Ведь ходил он в самое «пекло». Я, честно говоря, когда впервые увидел, как он работает, спросил у него — сколько у него детей, что за семья. Потом, осенью 86-го, Самойленко болел, и Голубев болел, и Черноусенко, и другие ребята. Непросто далась им эта крыша, очень непросто.

Я считаю, что Юра Самойленко образец самоотверженности, ответственного отношения к делу. Он достоин быть примером для молодежи, достоин стать прообразом героя литературного произведения или кинофильма.

Он настоящий человек».

## СТАЛКЕРЫ

Все, Зона! И сразу такой озноб по коже... Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят.

*А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Пикник на обочине».*

**Юрий Николаевич Самойленко**, Герой Социалистического Труда, заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС по ликвидации последствий аварии<sup>1</sup>:

«Страна обязательно должна быть готова к разного рода авариям. Нужно уметь спасти аварийный объект, спасти людей, живущих вокруг него, спасти нацию. Ведь нельзя же делать так, как поступали в первые дни чернобыльской аварии. Я далек от того, чтобы осуждать людей, принимавших там решения: были и хорошие решения, были просто отличные, были и ошибки, и никуда не годящиеся действия... но самое страшное — это когда дилетанты вмешивались в дело. Вот тут-то и начинались дикие вещи. Это все — плоды директивно-авторитарного стиля руководства. Возьмем, например, решение о засыпке реактора песком. Допустим, это делалось для того, чтобы создать теплоаккумулирующий слой. Но зачем же свинец было туда бросать?

— А можно ли было в первый-второй дни вообще понять, что и как надо делать?

— Можно. Только решение должны были принимать инженеры-специалисты. Надо было сделать тщательную разведку, произвести аэрофотосъемку с хорошим увеличением, рассмотреть, что осталось в аппарате, прежде чем его засыпать. Вот сейчас все говорят: пожар, пожар, пожар. А что горело? Кто знает? Крыша горела? Горела. Но ее потушили еще ночью. А реактор? Горел ли он? Станный вопрос, не правда ли? Реактор горел. Но его, между прочим, никто не тушил. Если четко говорить, то реактор разгорелся почти через сутки после аварии — к двадцати трем часам 26 апреля. И закончил он гореть к шести часам утра. Горел всю ночь. Механика такая: аппарат обезвожен, происходит естественный разогрев топлива, потому что охлаждения нет, плюс хороший доступ воздуха в результате разрушения какой-то зоны реактора. Загорелось топливо, поднялась температура. Где-то в пределах

---

<sup>1</sup> Ныне Ю. Н. Самойленко — генеральный директор ГПО «Спецатом» в Припяти.

1000 или более градусов началось интенсивное соединение графита и урана с образованием карбида урана. Вот он-то и горел. И когда оттуда все выдуло в виде радиоактивного облака, аппарат сам и загасился.

— Так быстро?

— Конечно. Все улетело в атмосферу. А остальные выбросы, которые теперь мы называем «протуберанцами», были вызваны забрасыванием реактора мешками с песком и свинцом. Вот к чему привела засыпка реактора. Это моя личная точка зрения, многие с ней не согласны.

— А что бы вы предложили, если бы в те дни были в Припяти, на месте тех, кто принимал решения?

— Во-первых, с самого начала — еще двадцать лет тому назад — я создал бы организацию, которая боролась бы с авариями. Собственно, такой серьезный разговор был уже в 1976 году, во время очень неприятной аварии на одной из наших АЭС. Кстати, также на реакторе РБМК. Я на той аварии не был, были мои коллеги, которые ликвидировали ее. Состоялся большой разговор о необходимости создания специальной аварийной службы, Минэнерго вроде соглашалось, но выводов не сделало, хотя за это время в стране произошли и другие аварии.

Совершенно ясно, что, создавая какое-то опасное производство — особенно если речь идет о радиоактивности, — нужно было побеспокоиться о том, что же делать, если, не дай боже, все это выйдет наружу? А не кричать, что у нас полная благодать.

Я ремонтник, перед аварией в Чернобыле работал на Смоленской АЭС. Поймите, ведь мы же голые и босые, у нас не было никаких дистанционных средств, никакой специальной одежды. Ни одного скафандра приличного. Что пожарный костюм дает? Он дает минуту пребывания там. А нужен надежный скафандр, чтобы в нем можно было дышать, работать, пребывать в высоких полях... Мы же врукопашную шли на ремонт аппаратов. У нас кувалда, ключ, в лучшем случае шлифмашинка — и крепкие русские выражения... Вы знаете, как работают ремонтники? Утром идут на работу — темно, с работы идут — темно. О смысле жизни думать некогда. Еще и ночью поднимают. Вот это — судьба ремонтника с атомной станции. И персонал ремонтников делится на две части: либо туда идет такое барахло... либо уж такие ребята остаются, которые пахнут не на жизнь, а на смерть.

Я даже не говорю сейчас о такой глобальной аварии, как чернобыльская. Представьте: на обычной станции обычная

технологическая авария. Так называемый «свищ»: разрыв трубы. И шурует струя пара под температурой 270 градусов и давлением 70 килограммов на квадратный сантиметр — и пробивает в бетоне вот такие воронки. А приборы на станции не реагируют на аварию, они поначалу ее не чувствуют. Идет запаривание бокса, в котором стоят датчики, и они потихоньку начинают отказывать.

Что делать?

Останавливать станцию? Значит, семьдесят часов расхлябивать реактор, чтобы можно было туда зайти. Теряем неделю, несем огромные убытки — из-за этой вот трубочки. А она же ведь не одна лопается. И вы думаете — мы останавливаемся? Ни черта подобного. Такие вот полудурки, как Самойленко, как Голубев — начальник цеха, — надевают фуфайки, берут шланги и — пошли в бокс. Рабочего же не пошлешь. Пар слаборадиоактивен, но все же... И в течение суток-двух, заходя туда на минуту, смотрят, выдумывают и делают, делают. А реактор работает. А главный инженер ходит вокруг: «Ребята, ну, ребята, ну...»

Реактор и в самом деле незачем останавливать. Только надо быть к любой аварии — маленькая она или большая — психологически готовым. Иметь тренированный персонал и соответствующее современным возможностям оборудование защитные костюмы.

Ладно. Вернемся к Чернобылю. Я приехал сюда двадцать девятого мая. Меня назначили заместителем главного инженера по ЛПА (ликвидация последствий аварии). Я занимался дезактивацией территории станции. Мне довелось работать вместе с генералом инженерных войск Александром Сергеевичем Королевым. Первые наши победы связаны, несомненно, с инженерными войсками. Они провели дезактивацию первого блока, произвели закладку бетонных плит на территории станции.

Но коренной перелом в ходе ликвидации последствий аварии произошел в августе — даже до того, как был построен саркофаг. Нам удалось локализовать источник радиоактивного заражения и немного улучшить обстановку вокруг станции. А это, в свою очередь, положительно сказалось на строительстве саркофага.

В результате аварии произошел огромный выброс радиоактивных веществ. Тяжелые частицы металлов легли в непосредственной близости от блока. А легкие — особенно йод — полетели далеко. Вокруг станции сложилась крайне тяжелая радиологическая обстановка. Как можно быстрее ее нужно

было нормализовать. Очень важным механизмом загрязнения окружающей среды был ветровой разнос пепла, гари, пыли. Вот в Киеве в то время все говорили: «Выброс, выброс, выброс». Это связывали с состоянием реактора, физическим процессом, идущим внутри. Но это не так. На самом деле активность поднималась в связи с наличием пылевых потоков, силой и направлением ветров в районе станции. Мы эту механику поняли, хотя непросто далось нам такое знание. Представьте: всюду лежит радиоактивная пыль. Блок высокий. В этом районе господствуют северо-западные ветры. Ветер, ударяясь о блок, создает своего рода «эффект насоса». Над блоком постоянно висит столб пыли. Летит вертолет — и придавливает этот столб. Активность на земле повышается. Нам очень физики помогли — они поставили планшеты и разобрались в этом явлении.

И мы сделали важный вывод: саркофаг, конечно, надо сделать срочно, надо срочно закрывать, но не менее важно предотвратить пылевой разнос, который был, может быть, даже более опасен, чем все остальное. Возникла идея: заклеить реактор.

— Как заклеить?

— А очень просто: полить его сверху какой-то гадостью и заклеить. Прекратить подъем в воздух радиоактивных веществ вместе с пылью. Наши враги — или по-научному «оппоненты» — говорят нам: там же лежит топливо, там температура повышена. Если мы польем, все это испарится и сведет на нет всю дезактивацию, которую мы проводили на территории. Боялись, что, если мы польем сверху реактор, оттуда произойдет выброс в результате испарения. Паровой выхлоп. На наше счастье, в те дни прошел страшный ливень — может, один-единственный за всю эту историю. Выпало сорок два миллиметра осадков. И вдруг мы увидели, что мощность дозы, измеряемой в районе реактора, резко упала. Это подтвердило нашу идею: пыль смыло вниз и мощность доз упала. И наше решение мы обосновали этим дождем: мы предлагали полить блок и заклеить его.

Наши ребята — Чуприн и Черноусенко — предложили специальный состав. Тщательно подготовились, разработали всю методику: от станции Вильча, где стояли цистерны с этим веществом, и вплоть до поливки реактора с вертолетов. Всю цепочку наладили. Идем к Геннадию Георгиевичу Ведерникову. Написали обоснование, остается только принять решение ПК. А перед этим Станислав Иванович Гуренко спрашивает нас: «С наукой вы согласовали?» — «Полное согла-

сие», — говорю. Заходим, докладываем. Все идет отлично. И тогда Ведерников спрашивает: «Как наука смотрит на это?» Он уже держит подготовленное нами решение комиссии, сидит с пером в руках, вот-вот поставит свою подпись... И вдруг... выскакивает один ученый, член-корреспондент. Там было много таких, которые вокруг нашего дела чаду нагоняли, хотели протолкнуть свои идеи, капитал научный заработать.

И вот он выскакивает и начинает поносить наше предложение. Мол, если полить раскаленное жерло реактора нашим составом, то будут выделяться вещества, опасные для жизни и деятельности окружающих. Это ложь. И он, и мы это знаем. И тут же он предлагает СВОЙ состав, разработанный ЕГО институтом. Но маленькая деталь: им понадобится еще месяца два на наработку этого состава и подготовку работ. А у нас уже все готово, завтра можем начинать.

И тогда встает Гуренко: «Товарищи, вы же сюда не Нобелевские премии приехали получать, я считаю, что предложение Самойленко надо подписывать».

Бумагу подписали.

Выходим, а Станислав Иванович нам говорит: «Мужики, сейчас этот ваш ученый конкурент по всем инстанциям раззвонит, поэтому поторопитесь». Мы — давай. На аэродром. Организовали срочную доставку вещества, заправку вертолетов, и на следующий день МИ-26 вылетели. Закрутилась карусель над блоком. Они поливают и поливают, а мы сразу отсняем обстановку — планшеты изучаем. Оказалось, что сразу же дозиметрическая обстановка на площадке улучшилась в десять раз! Саркофаг стало гораздо легче строить.

Затем мы пошли в четвертый блок, посмотреть механику этого дела. Вошли мы в те помещения, в которые со времени аварии никто не заходил. И увидели, что после нашей поливки там тоже улучшилась обстановка. Я на 35-й отметке прямо выходил на крышу, смотрел на развал, видел эту знаменитую «Елену» — крышку блока.

Через неделю мы снова провели массивированный налет на блок, облили его с ног до головы. И сразу воздух сделался чище, активность его упала. Это позволило отказаться от установки дорогостоящих вентиляционных систем вокруг первого и второго блоков для очистки воздуха. Мы сэкономили государству многие миллионы рублей, покрыли все затраты на примененный нами состав, на вертолеты и остальное.

— А если бы вы раньше это сделали, месяца на два — это бы улучшило радиологическую ситуацию?

— Конечно. Так мы заклеили четвертый блок. И обста-

повка вокруг него сразу разрядилась, и можно было спокойно продолжать строительство саркофага. С моей точки зрения, как инженера, это было красивое техническое решение, великолепно реализованное. Вы бы только посмотрели, как каруселью ходили над блоком вертолеты, а на земле стояли наводчики с радиостанциями, корректировали работу вертолетов.

Вторая наша задача — вы это видели в фильме «Чернобыль: два цвета времени» — убрать топливо с крыш. Это был самый страшный источник радиации. Это топливо после взрыва и пожара внедрилось в расплавленный битум крыши и «светило» всюду. У нас от этого эритемы на ногах появились, после того как мы по битуму ходили. С третьего энергоблока, из-под трубы и с самой трубы мы все убирали руками. Не было у нас иного выхода.

— Те костюмы, которые показаны в фильме, — самодельные?

— Конечно, самоделки... Не было у нас других костюмов... Почему мы так спешили? Самое главное — закрыть источник радиации в саркофаге. Но прежде чем закрыть саркофаг — а его уже полным ходом возводили — нужно сбросить топливо с кровли в развал. Иначе куда его потом денешь? Я сейчас ясно понимаю: не сделали бы мы этого тогда, не поспешили бы, не бросили бы на эту работу солдат, — всё. Это все и по сей день лежало бы на крыше. И тогда о пуске блоков и речи бы не могло быть. Топливо, лежавшее на кровле, угрожало, кстати, и Киеву: в случае сильных ветров его бы сдувало и несло на город.

Возле блока стояли огромные западногерманские краны «Демаг». Они очень были нужны на строительстве саркофага. Наша технология работы на кровле позволяла высвободить «Демаги» только для возведения саркофага. «Демаг» нам поставил только роботы на крышу, и всё.

Роботы...

Поначалу мы на них понадеялись, но... Вы знаете этот анекдот про роботов, которые сошли с ума?

— Знаю.

— С ума они не посходили, но ума у них явно не хватало. Много было отказов... Пришлось опереться на людей.

Человек был, есть и остается самой великой силой на Земле».

Из информации, представленной Советским Союзом в МАГАТЭ:

«Во время аварии радиоактивные материалы были раз-

бросаны по территории станции, в том числе попали на крышу машзала, крышу третьего блока, на металлические опоры трубы.

Территория станции, стены, кровли зданий имели значительные загрязнения также в результате оседания радиоактивных аэрозолей и радиоактивной пыли. Однако общий гаммафон на территории, создаваемый излучением от разрушенного четвертого блока, существенно превышал уровни излучения от загрязненных территорий и зданий. Следует отметить, что загрязненность территории имела неравномерный характер.

Для снижения разноса радиоактивных загрязнений в виде пыли территория, крыша машзала, обочины дорог обрабатывались быстрополимеризующимися растворами с целью закрепления верхних слоев грунта и исключения пыли» (*«Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия»*. Часть II. Приложение 3. 1986, с. 2).

**Юлий Борисович Андреев**, подполковник Советской Армии<sup>1</sup>.

«28-го мая 1986 г. я прибыл в Чернобыль. Вошел в состав спецгруппы военных специалистов. Сам я потомственный военный, родом из Питера. Отец был военным моряком, прадед — артиллеристом. Ходит такой слух, что он служил вместе со Львом Николаевичем Толстым... Нас прибыло в Чернобыль десять офицеров. Пять человек остались на штабной работе, а пять — на станции. В том числе один врач. Ну, врач имел слишком подробную информацию и по дороге пропал. Ребята были очень хорошие, а этот оказался скотиной. Уж не буду называть его. У него тряслись губы, он был весь белый и повторял одно словечко: «П-п-полутоний, п-п-полутоний...» Будто мы не понимали, куда идем.

Мое первое ощущение от столкновения с Зоной: я сразу же вспомнил фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Мы и себя сразу назвали «сталкерами» — и Юра Самойленко, и Виктор Голубев, и я. Все, кто ходил в самые значные места, — сталкеры. Первое, что я увидел на станции, — собака, бежавшая мимо АБК-1. Черная собака, она качалась, ее всю мотало, она облезла... Видимо, схватила здорово...

<sup>1</sup> С 1987 года Ю. Б. Андреев работал заместителем генерального директора НПО «Спецатом» в Припяти.

Нужно было определить свой статус. В принципе, мы приехали как научные консультанты. Это звучит солидно, но для того, чтобы быть консультантом, нужно, по крайней мере, иметь кого-то, кого ты должен консультировать. Нужно иметь задачу. Тогда, в конце мая — начале июня, было много неопределенного. Только-только начинались активные действия. И прозвучала задача: готовиться к пуску первого и второго блоков. Я думаю, что мудрый человек поставил эту задачу. И дело даже не в самом пуске, не в электроэнергии, а в необходимости провести тщательную дезактивацию АЭС.

Народу на станции тогда было очень мало. Можно было внутри станции пройти полкилометра и никого не встретить. Итак — дезактивация. Как ее проводить? Опыта нет. Поэтому, в принципе, там все были «голенькие», все задачки новенькие.

Жили мы в Чернобыле, работали на АЭС. На АБК-1 сидел я рядом с кабинетом директора АЭС. Это была первая научная контора непосредственно на самой станции. Все работы производили войска, мы эти работы курировали. Мне пришлось быть таким своеобразным «фильтром» — фильтровать разные идеи, среди которых и очень толковые, и нелепые. В той обстановке проявили себя не только порядочные люди, но и разные «толстолобики», для которых основной целью была не дезактивация станции, а собственное преуспеяние. Те, кто чувствовали обстановку мутной воды, пытались на этом гребне всплыть. Люди резко делились: для одних главное был результат, а для других основное — выскочить со своей идеей, нажать на ней капитал. Вот приходит ко мне один ученый, завлабораторией, и говорит: «Я слышал, что вы хотите дезактивировать крыши. Мы разработали способ, в один момент дезактивируем». Дает мне свой отчет. Читаю: нужно, оказывается, взять шланг с горячей водой и под давлением струей воды смыть все к черту.

У меня даже в глазах помутилось от злости. Думаю... Господи... Ведь перед этим мы по двенадцать часов в день ломали головы, напряженнейше думали — что же делать с этими чертовыми крышами? Ведь с них «светило» так, что в помещениях, расположенных под крышами, находиться было невозможно. Особенно возросла острота этой проблемы, когда началось строительство саркофага.

Надо разведать обстановку. Роботы давали совершенно фантастические данные, я им не верил. Надо самому провести разведку, разобраться, что к чему.

Вы думаете, мы крыши не мыли, как предлагал тот умник? В середине июня с лейтенантом Шаниным пытались помыть

одну крышу соляркой. Ничего не дало. На той крыше было еще более или менее уютно: можно находиться пять — десять минут. Но что касается крыш главного корпуса — на них никто не выходил. Полная неизвестность. Поэтому я решил выйти на крышу второго блока.

Правда, мне сказали, что дозиметристы там уже были. Я шел спокойно, можно сказать — безмятежно, на приборчик посматривал. Но чувствую — что-то не то. Поднимаюсь по крутой винтовой лестнице к выходу на крышу. Иду в белом костюме. И вдруг вижу — передо мной паутина огромная, миллиметров пятьсот диаметром, красивая, черная такая. Она у меня на груди вот здесь отпечаталась — черный знак паутины. И я понял, что ни черта, никто сюда не ходил. Когда вышел на крышу — появились совсем другие ощущения, не такие безмятежные. Там ведь напороться можно было на что угодно.

Собственно, чего мы боялись тогда? Боялись, что могут быть такие источники радиации, которые дают мощное направленное излучение. Если такой мощный луч попадал на вас — могли быть неприятности: например, если луч попадал на какой-то нервный узел, вы могли потерять сознание. Ну и неизвестность... Но к тому времени у меня появилось особое ощущение... как его назвать... распределения радиации, что ли.

К примеру — я иду. На мне обычный белый костюм. Никаких свинцов надевать нельзя было, потому что это резко снижало подвижность. Единственное лекарство от всех бед — мгновенная реакция. Мы, сталкеры, в принципе даже не по самому уровню радиации ориентировались, а по начальному движению стрелки. В этом был профессионализм, интуиция. Когда попадаешь на мощные поля радиации — стрелка начинает двигаться. Вот она резко пошла — и ты знаешь, что здесь надо прыгнуть, здесь — проскочить быстро, стать за углом, там, где поменьше. Даже в самых опасных местах были закутки тихие, где можно даже перекурить...

После похода на крышу второго блока надо идти на третий блок, на границу с четвертым. Мы там не делились — кто разведчик, кто научный сотрудник. Перед нами стояла конкретная задача. А для того, чтобы ее решить: что же там делать на крыше? — нужны точные данные. Кто их мне даст? Ну какое я имел право послать подчиненных, если сам не побывал там?

В конце июня я понял, что как ни крутись, а нужно туда идти. Как раз первого июля исполнялось двадцать пять лет

моей службы в армии. Юбилей. Я подумал, что сегодня, ребята, пора. Больше тянуть резину нельзя, и мне сегодня придется топтать туда — на крышу третьего блока.

Двинулись по крыше машзала. В районе первого блока было еще ничего. Легкая прогулка. Я там оставил ребят: Андрея Шанина — он парень молодой, мне не хотелось таскать его туда. И полковника Кузьму Винюкова, начальника нашего штаба. Он вообще не обязан ходить туда, но просился. «Хоть немного, — говорит, — пройду с тобой». За границей второго блока уровни начали резко расти, там уже попадались куски графита.

В общем, оставил там ребят, а сам пошел наверх. На вертикальной стенке пожарная лестница метров двенадцать. Я по ней до половины долез и понял, что дело серьезное... после взрыва крепления выскочили из бетонной стенки, и она моталась... Со мной прибор, а лезть по качающейся лестнице с прибором... страшновато. Высота ведь огромная.

Я был в белом комбинезоне, белой шапочке. Там по-другому нельзя. Все эти дурацкие истории про свинцовые штаны — ерунда. Фантома можно послать на небольшое расстояние, метров на 15—20. Больше человек в таком одеянии не пройдет. Одни только свинцовые трусы весят двадцать килограммов. А мне нужна была подвижность. Я теперь имею опыт — ни в каких свинцовых штанах на высокие уровни никогда не пойду.

В общем, залез я туда наверх, чтобы все рассмотреть, запомнить все уровни. «Уоки-токи» у нас появились позднее, когда Самойленко на крыше побывал. Да они и не нужны были, некогда было говорить. И вот когда я на эту площадку влез, первое чувство — чисто интуитивное: здесь стоять нельзя. Здесь опасно. Я прыгнул, проскочил метра три вперед, смотрю — уровень пониже. Единственный прибор, которому я поверил, — это ДП-5. Жизнь свою ему доверял. Потом, после первого путешествия я иногда брал с собой два прибора, потому что однажды один соврал.

Как оказалось потом, я правильно вперед прыгнул, потому что под этой площадкой, куда я вылез, лежал кусочек твэла. Только не такой, как описывают некоторые ваши коллеги по перу... Один из них написал, что перед героем лежал 20-килограммовый твэл! Вы вообще знаете, почему не может быть 20-килограммового твэла?

— Юлий Борисович, ну откуда мне, врачу, знать это?

— Твэл (тепловыделяющий элемент) — это трубочка толщиной с карандаш, длиной три с половиной метра. А об-

ломки твэла разной длины, они же ведь покорежены. Трубка сама из циркония, это серый такой металл. А на крышах серый гравий. Поэтому обломки твэла лежали как мины: **ТЫ ИХ НЕ ВИДЕЛ.** Невозможно было их отличить. Только по движению стрелки — ага, вот она пошла! — соображал И отпрыгивал. Потому что если бы стал на этот самый твэл, то мог бы и без ноги остаться...

Ну, я попрыгал по этой площадке, понял, что там не такие уже и жуткие, зверские уровни, спустился вниз по лестнице. Самое главное установил. Это было очень важно, потому что открывало путь людям. Они **МОГЛИ РАБОТАТЬ** на крыше. Пусть малое время — минуту, полминуты — но могли. Как раз тогда Самойленко занялся очисткой крыш, и мы с ним мгновенно сконтактировались. Он мужик деловой. Там немало было деятелей, которые старались увильнуть от работы, а Самойленко — наоборот. Эдакое стечение обстоятельств, когда в нужном месте в нужное время появляется нужный человек. Мы с ним спелись мгновенно.

— Вы что-нибудь заметили с этой огромной высоты? Или только были сосредоточены на стрелке дозиметра?

— Как сказать. Не только на стрелке. Хватал информацию и вокруг. Вот первая информация: все тогда боялись кусков графита. Когда я туда первый раз вышел, тоже почувствовал, что сзади что-то нехорошо. Повернулся, смотрю — в полтора метрах от меня кусок графита. Похож на лошадиную голову. **Громадный.** Серый. Поскольку расстояние всего полтора метра — мне ничего не оставалось, как замерить его. Оказалось — тридцать рентген. То есть не так уж и страшно. До этого считали, что на графите — тысячи рентген. А когда выяснили, что только десятки рентген, — ты уже почувствовал себя по-другому. Потом уже что я делал? Вот идешь где-то по маршруту — валяются куски графита. А ты знаешь, что возвращаться придется этим же путем. Чтобы лишний раз не «светиться» — ногой его просто хлопнешь, он и отлетел. Но как-то раз я на этом погорел: на «этажерке» мне попался один, я его ка-ак двину, а он, оказывается, к битуму прилип. Получилось как в кинокомедии.

А вообще-то не всё так весело. И не все это выдерживают. О враче я вам уже рассказал. И еще был один мужик. Когда надо было идти на крышу, он сказал, что у него голова от высоты кружится. И не пошел с нами. Я думал, что парень на минуточку струсил, и спросил: «А от пяти окладов у тебя голова не кружится?» Что он мог сказать? Заткнулся. Я пробовал на него прикрикнуть — ничего из этого не вышло. На

кой черт такой нужен? Пришлось снова одному идти. Конечно, одному особенно неприятно. Вот идешь, и сверху Припять видна. А Припять была тогда грязно-черного цвета. Город-то белый, но его дезактивировали, обливали дома темным составом...

Какие психологические особенности просматриваются у сталкера? Ты все знаешь, все понимаешь. Когда стоишь на облучении, знаешь, что у тебя в организме происходит — знаешь, что облучение в эти секунды ломает твой генетический аппарат, что все это грозит последствиями на раковом уровне. Идет, я бы сказал, игра с природой. Ты чувствуешь себя как на войне. Что помогало сохранять хладнокровие? Только знание. Ты знаешь — ты сделал эту работу, ты сюда зашел, залез, получил то-то и то-то, а мог бы — если бы был глупее — получить в тысячу раз больше. Само это ощущение очень сильное — что ты выигрываешь эту войну, что ты умеешь это делать, что можешь перехитрить эту глупую природу. Вот это-то ощущение все время двигало тобою. Постоянное ощущение борьбы. И понимание того, что ты хоть в чем-то продвинул дело на самой болевой точке планеты. Выиграл бой. Продвинулся хоть на миллиметр вперед.

Конечно, трудно было. Ведь это все сопровождалось бета-ожогами. У меня горло было все время заложено. Хриплый голос. Но ведь это не самое страшное из того, что ты можешь получить. Я расценивал это как элемент неизбежного риска.

Это о себе. А теперь о людях. Несмотря на отдельные случаи трусости, о которых я вам рассказал, мои представления о людях если и поменялись, то поменялись в лучшую сторону, несмотря на то, что у нас в 1986 году морально-психологическая атмосфера не очень веселая была. Очень мало было случаев откровенной трусости и делячества. Все-таки народ у нас в основном хороший. Смелый, беззаветный.

Я обрел в Чернобыле чувство братства, которое возникло среди сталкеров. Теперь уже попробуйте нас с Юрой Самойленко поссорить — не удастся. Мы прошли с ним через такие вещи... А всего настоящих сталкеров — мы с Самойленко как-то считали — наберется десятка два. Тех, кто хладнокровно мог работать в высоких полях. Это очень важно — ощущение собственной полноценности, чувство профессионализма, когда действуешь уверенно на фоне всех излучений, в обстановке разных непредсказуемых обстоятельств. И еще один важный аспект: ведь мы не просто ходили по крыше, мы постоянно решали инженерные, а иногда и научные задачи. Постоянно, каждый день. Занимались творчеством, искали

решения абсолютно новых проблем. Ведь в мировой практике ничего похожего не было. Это тоже придавало уверенности.

Человек сложно устроен... Что такое опасность? Она и сковывает, и на тебя давит — а с другой стороны, и заставляет быстрее решать технические, инженерные задачи. Это придает тебе уверенность. Ощущая уверенность в себе, как специалист, ты лучше себя чувствуешь и как человек. Я заметил: чем человек был технически грамотнее, тем он в Чернобыле спокойнее себя чувствовал».

## «ФИЗИКА — НАУКА О КОНТАКТАХ»

**Юрий Николаевич Козырев**, старший научный сотрудник Института физики АН УССР:

«Позвонил наш заместитель директора В. Шаховцов, сказал, что нужны люди для работы в Чернобыле. Я давно хотел туда поехать, своими глазами посмотреть. Начали собираться. Одного вписали в список для получения пропусков, а он пришел ко мне с воплем: «Кто меня туда вписал?» Черт с ним. На следующий день выехали, слегка возбужденные.

Было это 9 июля 1986 года.

Я ехал возбужденный, хотя казалось, что по мне этого не видно. Единственное, что беспокоило: а вдруг я приеду — и делать ни черта не буду? Прокачусь туда-сюда как экскурсант.

Приехали. Обстановка там была фронтовая во всех отношениях. У нас не спрашивали никаких документов, ни кто мы, что мы. Зашли в штаб, нас немедленно одели, на меня нашли какой-то балахон — он даже на мои габариты был велик, я его целых два дня носил, потом снял и рыбу им ловил. На ЧАЭС сидела очень приятная девушка Лида, она нам внятно рассказала, что и как, дала талоны на питание на несколько дней, потому что без талонов там — не проживешь. Жилье трудно было найти. Мы съездили в пионерлагерь «Сказочный», мест там, конечно, не было, но мы нашли. На сцене клуба — вернее, в примерной на сцене. Так что в нашем распоряжении оказалось предельное фойе в виде зрительного зала на пятьсот мест. В зале разместили склад, там хранились одеяла и матрацы, и, когда мы все проверили, выяснилось, что это, как ты любишь говорить, «маленький четвертый реактор». Фоново страшно.

Мы, как люди опрятные и понимающие, что мы делаем, — все-таки физики — старательно вымыли и вылизали помеще-

ние. Я завел жесточайший порядок: жилая комната — это жилая. Входить туда только в чистом, без обуви. Комнатушка была небольшая — метров двенадцать квадратных, а в ней жили пять мужиков, пять раскладушек стояло. Все ребята из нашего института. У нас был выход прямо на сцену — мы спускались по ступенькам, проходили через зал и выходили. Спасибо и за это, потому что пионерлагерь рассчитан на триста — четыреста детей, а там было тысяча двести взрослых.

Мне повезло: на следующий же день я и объехал станцию, и облетел на вертолете. Еще никакой стены не было. Только вторично убирали грязь из-под реактора. Вокруг блока ходили еще «безлюдники» — бульдозеры с дистанционным управлением, сгребали грязь и обломки... На станции у АБК-1 еще приличный фон держался, несмотря на то, что там сухого места не было. Там стояло озеро, жижа, которую ни пройти, ни обойти — ее можно было только проехать. Все время там поливали. У входа в АБК-1 везде стояли корыта с водой. В дверях дозиметрист проверял, чуть что: «Грязь! Нельзя! Назад!» АБК-1 произвел на меня жуткое впечатление. Все окна были завешены свинцом. Ну как это для нормального человека — вместо окна свинец? Причем он еще катаный, и по листу идут разноцветные разводы — от красного до фиолетового...

Тогда же увидел развал... Во всей его красе. Мы ехали на броневике, там есть дозиметр. Я смотрю — сначала стрелка не шевелится. Думаю — чего народ зря пугали? Потом, как увидел показания, когда стрелку зашкалило, понял, что не зря... И вот развал. Вид для неподготовленного человека страшный. Наши ребята просто замолкли. Они бы и рады были что-то сказать, но — ах! — на вздохе пролетали все это... Объехали мы тогда автобазу, выехали в районе «Рыжего леса»

День тот показался мне чрезвычайно длинным. Через два часа я полетел на вертолете с военными на рекогносцировку. Тогда очень остро стояла проблема пыли и существовало несколько научных групп, каждая из которых предлагала свой способ пылезадержания, свой состав. Мы летели, чтобы найти площадку и проверить на ней пылесвязующие составы.

Мы, группа физиков, должны были проверять и уровень радиации, и эффективность пылеподавления в разных точках вокруг АЭС. Для этого ставились матерчатые планшеты, которые собирали на себя пыль. Ежедневно через определенное время мы ездили, забирали эти планшеты и определяли уровень радиации. Самый близкий от развала планшет стоял

вначале на берегу пруда-охладителя. Но потом мы нашли еще три точки, более близкие к развалу: одна метрах в ста сорока от развала, вторая — в восьмидесяти метрах, но за машзалом, и третья — там, где мы с тобой ходили, где стояла высоковольтная мачта, тоже в восьмидесяти метрах.

Поездки на точки нам обходились сравнительно «дешево», потому что ребята наши грамотные, я им сразу объяснил: самая лучшая профилактика всех этих дел — это ВРЕМЯ. Допустим, уровень — один рентген в час. Возьми, раздели этот рентген на секунды. Уже получатся копейки. Водитель того броника, на котором мы ездили, говорил мне: «Юрий Николаевич, вас нужно в часть нашу повезти и показывать, как вы быстро меняете планшеты».

У нас уходило на это дело 20—25 секунд. Мы через люк вылетали из броника и мчались к планшету... Радиационная обстановка страшно пятнистая: буквально в нескольких метрах можно было найти место, где «светило» в сто раз меньше, чем на какой-то точке. Правда, в первое время мы вообще не выскакивали, а прямо подкатывали броником к планшету. Прямо с носа броника меняли планшеты, руками, надевали две пары перчаток и хватали... К сожалению, при таком методе мы запачкали броник. Потом я усовершенствовал работу: если на бронике ездили пятеро и все вместе получали какую-то дозу, то потом стали ездить на «Жигулях» по одному: и скорость намного выше, и меньше общая дозовая нагрузка... Мы разделили все свои планшеты на «сладкие» и «горькие» — в зависимости от того, сколько можно было «схватить», и по очереди туда ездили.

— А пробы, которые «светились», куда ты брал — прямо в машину? Или особое место какое-то было?

— В багажник. Все ведь познается в сравнении, Юра, ты же сам видел. Ты же понимаешь, что после того, как ты вылез на крышу саркофага, в Чернобыле носить респиратор просто смешно. Сутки носить в Чернобыле респиратор — это эквивалентно двадцатиминутному пребыванию на промплощадке. Вот мы ездили на бронике: внутри него был уже фон приличный, плюс заносишь туда пробы. Когда мы выходили из броника, мы выкручивали на себе верхнюю одежду. Мокрая, как хлющ. Практически мы каждый день меняли одежду, такая «грязная» была. А «Жигули» обеспечивали нам скорость.

Сначала пробы обрабатывали в Киеве. Возили к нам в институт. Но как-то раз в Чернобыле к нам зашел один парень, Боря, он просто влюблен был в нас. Его группа имела

прибор, который мерил по гамма-, бета- и альфа-активности. И при этом он еще выписывал спектры за пятнадцать минут. Только вот незадача — прибор не работал.

Ну а мой главный лозунг ты знаешь.

— Знаю: «физика — наука о контактах».

— Правильно. Я говорю: «Как это он не работает? Дайте мне, я посмотрю. Нашел спичку, вставил ее куда надо — и прибор заработал. Контакт был нарушен. Когда приехал Шаховцов и увидел возможности этого прибора — через месяц у нас было двенадцать таких приборов. Ведь в Киев не всякие пробы можно было провезти. Даже при тех сравнительно высоких предельных дозах вначале — и то нельзя было провезти. Как-то раз нас на КП дозиметристы остановили. От машины шло настоящее «сияние», хотя пробы перевозили в чистой машине, в свинцовых контейнерах. И кроме того — что толку от информации, которую получаешь с опозданием? Там надо было сразу же исправлять положение, а не ждать три дня.

Наша информация тогда имела чисто практическое значение. Никакого научного значения поначалу не имела. Наука появляется тогда, когда есть какая-то динамика, статистика, проникновение в глубь процесса. Мы как бы контролировали дыхание радиации в районе Чернобыльской АЭС. Мы уже в августе показали, что работы с вертолетами, особенно с этими огромными слонами — МИ-26 — это признак плохого тона, особенно для тех, кто работает на земле. Мы однажды с Шаховцовым были на площадке АЭС, а МИ-26 завис в районе пятого блока, это расстояние около километра. Пыль пошла такая... что я сказал: «Ребята, это не тот случай, когда мы должны ее нюхать. Надо срочно закрываться и сворачиваться».

Наша первая задача была — изучать эффективность пылеподавления. Мы летали на вертолетах везде, где поливали землю специальными составами для борьбы с пылью. Испытывали эти составы. Мы брали планшеты и проверяли — уменьшалось ли количество пыли после поливки? По-разному бывало. Были составы очень эффективные, а бывало — вертолет прилетит, польет каким-то барахлом, это барахло село, а сверху села та же пыль. Он улетит, мы приходим. Планшеты «грязные», воздух измеряем — воздух «грязный». Мы говорим: «Черт возьми, что вы давили? Кого вы давили?»

Через месяц нас уже искали. Мы стали чуть ли не главными специалистами по воздуху, мы были мобильны, давали информацию с листа — сегодня замерили пробы, сегодня же выдали информацию. И еще очень важно, что мы не «жглись»,

мы были достаточно квалифицированы. Я не трус, я просто считаю — лучше работать полгода и только через полгода «засветиться», чем «сгореть» в течение двух дней, не успев не то что ни черта не сделать, а еще и навредив.

Я живу в Киеве напротив больницы № 7, а на ней висит лозунг: «Здоров'я народу — здоров'я країни». Я сказал ребятам: «Здоровье физиков — это и наше богатство, и богатство нашей страны, его транжирить не надо...»

Всякие были смешные истории. Через некоторое время после приезда у нас появился такой чувствительный прибор, что возник ажнотаж: все бросились искать «горячие точки». Особенно отводили душу, когда у меня на кровати находили радиоактивную «точку». Я к этому с юмором относился. Но вот к нам приехал водитель, Игорь, он приехал в новом белом костюме. Вид — шикарный, настоящий заправский атомщик. А я, как человек грамотный, говорю: «Понимаешь, костюм-то новый, но они черт знает где валяются. Поэтому возьми у Ивана прибор и проверь». Начинаем проверять — и находим «точку» на очень интересном месте. Причем «точка» действительно «светит» по-черному. Я говорю: «Вытряхни». Он пошел — раз стряхнул, второй раз, третий. «Точка» все «светит» и «светит». Я говорю: «Остается самое радикальное средство». Он испугался. Ну, мы ему вырезали на новом белом костюме дырку. «Свечение» прекратилось.

Но Иван наш — человек настойчивый. Он находит еще одну «точку». Мы уже катаемся со смеху. Вырезаем ему две дырки на костюме, он перепугался, но свечения и в помине не осталось...»

## БОЛЬШОЙ БЕТОН

Памятная фотография: четверо улыбающихся людей в «чернобыльской» форме: черные или зеленые хлопчатобумажные робы; сапоги; белые, как у хирургов, шапочки на голове; респираторы, болтающиеся на груди. За спиной у этих людей — плакат: «Даешь 5 тысяч кубометров бетона в сутки!» Обняв за плечи своих товарищей, в центре стоит веселый гигант: Николай Федорович Исаев. Как и с В. А. Жильцовым, мы вначале познакомились с ним заочно. Я ответил на письмо Николая Федоровича, посланное им в «Юность», и вскоре получил от него объемистую рукопись с плотным — через один интервал — машинописным текстом. Дневник о пребывании в Чернобыле. И еще несколько рассказов и стихи.

**У Н. Ф. Исаева, несомненно, литературное дарование, и я надеюсь, что его рассказы, стихи, а особенно чернобыльские воспоминания «И я там был...» заинтересуют издателей. К сожалению, ввиду ограниченного объема моей книги я могу поместить лишь отрывки этого интересного документа.**

Но вначале процитирую письмо Н. Ф. Исаева:

«Обычно, рассказывая о чем-нибудь важном, показывают одну, самую эффектную сторону. Нужную, главную, но одну. А детали, мелочи, быт, вспомогательные факты — остаются за кадром. А в них — та же правда напряженного труда, забот, радостей, горечи.

Вечная память героям-пожарным, эксплуатационникам, тем, кто ценой своей жизни закрыл всех нас от страшной беды. Но давайте вспомним и тех, кто на ровном поле, недалеко от станции, в кратчайшие сроки построил три бетонных завода, а затем рядом и четвертый — в «зимнем» исполнении, кто непрерывно, не нарушая графика, выдавал бетон для сооружения саркофага, делал все для общей победы.

Большое спасибо тем ребятам, что разрешили мне не гасить свет, когда я записывал дневные впечатления в тетрадь, сидя на своей кровати. Они говорили: «Пиши, Нестор ты наш, пиши свою «Повесть временных лет», может, и о нас кто-нибудь вспомнит и узнает» Отворачивались лицом к стене и засыпали при свете, а просыпались рано утром почти автоматически — и ни разу не проспали.

Они не были тщеславны, никто не превозносил своих заслуг, хотя рядом со мной жили ребята, непосредственно соорудившие перегородки в машзале, и их рабочая смена длилась от двадцати минут до двух часов. Рядом отдыхали ребята из Москвы, Саша Кулагин и Геннадий Корягин: днем они колдовали на крыше с гидромонитором и еще какими-то приспособлениями по сбросу остатков топлива и графита.

К сожалению, есть еще много людей, не осознавших до сих пор в полной мере, что же это за Чернобыль такой, почему с ним так возятся, вспоминают. «Ну было и было, и забыли».

Нельзя так! Надо рассказывать обо всех мелочах подробно, ибо там мелочей не было.

Я был руководителем группы наладчиков на бетонных заводах, но нам же приходилось заниматься и электромонтажными работами. В общем, делали все, чтобы заводы работали в любых условиях.

О себе. Родился 14 октября 1948 года в г. Горьком, русский, член КПСС с 1980 г. В 1970 г. закончил Саратовский политех-

нический институт, энергетический факультет. Работал в электромонтажной организации Миннефтегазстроя — мастером, старшим инженером участка, главным инженером управления. Весь этот период можно назвать одной большой 13-летней командировкой. Все время разъезды, трасса, и, честно говоря, я устал от этой жизни. Поэтому перешел начальником лаборатории внедрения средств автоматизации на бетонных заводах, живу в Обнинске. В июле 1986 года добровольцем поехал в Чернобыль».

Итак, отрывки из дневника **Николая Федоровича Исаева:**

«— Послушай, а правда, вам в Чернобыле давали водку?

— Откуда родилась эта нелепость? Минеральная вода была без ограничений, раздавали ящиками, ну а тот, кто все же находил водку и появлялся «под газом», — немедленно удалялся из Чернобыля, лишался всех заработанных «благ», вывешивалась грозная «молния». Но такие герои были, в семье не без уroda.

— А мародеры были?

— К сожалению. Невозможно понять этих, даже и назвать их так не хочу, людей. Сволочи. А были еще и такие, что подъезжали ночами к границе 30-километровой зоны и пытались купить вещи, которые вывозили жители Припяти, Чернобыля, но из-за того, что «загрязнение» превышало норму, пользоваться ими нельзя было. Дозиметристы эти вещи «браковали»; и в дальнейшем они шли в захоронение. Ну а ночные «жучки» пытались соблазнить ребят, тех, кто дежурил ночью на КПП, предлагали деньги, ту же водку, чтобы им разрешили покопаться в барахле и отобрать, что их интересует. А дальше, видимо, планировали сдать в комиссионку, там ведь нет дозиметрического контроля. Гнали этих мерзавцев прочь, жаль — их наказать, в общем-то, нельзя. Нет статьи.

— А тебе было страшно?

— Если скажу, что нет, — ты же не поверишь? Говорят, что страха не испытывает только ненормальный человек. А нормальный человек управляет собою и делает то, что считает нужным, должным. И те, кто работал в Чернобыле, доказали делом, что человек всегда будет человеком — существом разумным, сильным, добрым.

— Многое написано, сказано, снято о событиях в Чернобыле. А ты бы мог рассказать о тех днях, о том, что видел и делал сам?

— Думаешь, это интересно?

— Мне — очень. И другим, наверное, тоже.

— Я вел дневник в Чернобыле, иногда две-три строчки, иногда несколько страниц мелким почерком.

— Дай почитать, я твой почерк разбираю.

— Ну что ж, смотри...

«...25 июля. Рано утром выехали в Чернобыль. Там уже работают три завода по непрерывному производству бетона. Монтаж и наладку всех систем автоматики выполнили наши ребята, сейчас поддерживаем все это в рабочем состоянии, занимаемся эксплуатацией автоматики заводов, так как непредвиденных поломок и неполадок более чем достаточно.

До заводов — а они расположены на северной окраине Чернобыля — чуть более ста километров от нашей «загородной» резиденции, а от заводов до ЧАЭС — где-то пять-шесть километров. Не удержался, залез на расходный бункер цемента — оттуда хорошо видны станция и окрестности.

В Чернобыле, в здании городского автовокзала, разместился штаб стройки, управление строительства по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Начальник стройки Е. В. Рыгалов, главный инженер — Виктор Тимофеевич Шеянов, я с ним встречался раньше. На территории заводов в вагончиках разместились руководители нашего пятого района, дирекция бетонных заводов. Раньше здесь было пшеничное поле, а сейчас — заводы в зоне № 2. Там, где АЭС, — зона № 1.

Здесь, рядом с заводами, мы обедаем в вагоне-столовой. Кормят очень хорошо, калорийно, разнообразно, бесплатно. Много зелени, лука, перец болгарский, свекла, апельсины, соки, в общем — всего вдоволь. Но, несмотря на это, никто не полнеет. Все ребята немного похудели, побледнели. Сказывается напряженный режим, ранний подъем, почти двухчасовая дорога до завода, работа, дорога обратно... Но еще бывают задержки на заводе, так что время на сон урезается, так как в 5.30 — обязательный подъем.

26 июля. Три завода дают бетон на «упаковку» четвертого блока, а уложить его нужно почти 500 тысяч кубометров. Расчетная производительность одного завода до 135 кубометров бетонной смеси в час, но ведь нужно выполнять и профилактические ремонты, и устранять неисправности по ходу работы, нужна бесперебойная поставка цемента, щебня, гранитного осева, воды, песка, а самое главное — нужны машины, а их, к сожалению, пока не хватает. А тут еще и неисправности в блоках управления дозаторами производства киевского завода, «летят» теристоры в цепях управления, выходят из строя платы. Обещают привезти из Киева запасное добро. Ребята

находят причины поломок — это и плохая пайка элементов, и излишняя сложность плат управления... Так что висящий на вагончике дирекции плакат «Даешь 4 тысячи кубометров бетона в сутки!» пока не выполняется. К этой цифре приближались, но возле саркофага пока не успевают переработать более трех тысяч кубометров...

*5 августа.* Утром туманы усиливаются, поднимаются выше, становятся обширнее. На обочинах дорог стоят знаки, запрещающие остановку и съезд на обочину.

Соседи по комнате, молодые лейтенанты, работают на самой АЭС, сооружают перегородку, отделяющую третий блок от четвертого. Условия там очень тяжелые, вчера один из лейтенантов «набрал» за смену два рентгена. Так что установленный максимум в 25 рентген можно получить очень быстро. Ну а на заводах почище, но смены длиннее.

Вчера на заводах впервые за сутки выработали более четырех тысяч кубометров бетона. Если все так пойдет, то планируемое на сентябрь завершение «упаковки» четвертого блока вполне реально.

...А на площадке заводов появилась и бегаёт маленькая черно-белая собачка по кличке Рентген. Молодые солдаты ее гладят, подкармливают, а ведь это — местный житель, к тому же бегаёт не только по дорожкам... А в одном из пятиэтажных домов Чернобыля, в окне второго этажа, горит постоянно лампочка, еще не перегорела с апреля. Вид пустого города вызывает очень печальные мысли.

*6 августа.* Сегодня весь мир вспоминает события, происшедшие сорок один год назад — атомную бомбардировку Хиросимы. То, что произошло здесь, на Чернобыльской АЭС, — событие во много раз меньшее, но горя, забот и затрат принесло более чем достаточно.

*8 августа.* За прошедшие сутки произвели 4900 кубометров бетона. А на вагончике уже новый лозунг: «Даешь 5 тысяч кубометров бетона!»

*10 августа.* Сегодня — День строителя. Для меня это особый этапный день. В такое же время — второе воскресенье августа 1958 года — мои родители и я с братом приехали на постоянное жительство в Саратов. Этот город стал самым родным и желанным городом, все самое лучшее в жизни связано с ним. И строительная моя жизнь началась в Саратове...

На дорогах вновь ЧП. На площадке у АЭС столкнулись бензовоз и «МАЗ», вспыхнул пожар. Затушили, водители живы. В автобус с пассажирами — сотрудниками милиции — врезался «КрАЗ»-трубовоз, есть жертвы. На трассе, недалеко

от нашей базы отдыха, машина сшибла майора. И все это за два дня.

*12 августа.* Позади пяти тысячный рубеж! За прошедшие сутки есть 5170 кубометров бетона! Так что все, что можно «выжать» теоретически из трех заводов, стало реальностью. И теперь, если не будет сбоев в поставках цемента и в автомашинах, ну и, конечно, если не закапризничает наша автоматика, заводы будут выдавать каждые сутки около пяти тысяч кубометров бетона. Для саркофага требуется чуть более трех тысяч кубов, но еще очень много бетона нужно на другие площадки станции.

Возвращаясь домой, увидели следы очередной аварии. Тягач «Ураган» столкнулся с самосвалом «КамАЗ», и заодно эти машины зацепили два «ГАЗа-51» с продуктами. Из «ГАЗов» по дороге разлетелись болгарский перец, картошка. Жертв вроде нет.

А рядом, во дворе соседнего дома устроились в гнезде аисты. Удивительно грациозная, красивая птица. В полете напоминает современный самолет и в то же время — доисторических птеродактилей. Сегодня довелось увидеть восемнадцать аистов.

*13 августа.* Мне пришлось после дневной смены съездить на базу, поужинать, сполоснуться — и вновь на работу, в ночную смену, а после ночной остаться на дневную. И видимо, эти варианты придется повторить. Возвращаясь с пересменок на базу, попали в сильную грозу с градом. Град величиной с голубиное яйцо. Бетонные дорожки в лагере усыпаны ветками и листьями дуба, сосновыми шишками и хвоей. Проезжая по дороге, увидели лежащий в кювете вверх колесами «КамАЗ»-самосвал, водителя не видно, но на стеклах кровь. А сосед, шофер Валентин из города Шевченко, рассказал, что около Бородянки подпитый «воин» на «Урале» сшиб четверых пешеходов. Эх, дороги! Учитывая, что на них здесь только профессионалы!

*16 августа.* Работаем в режиме и по образу медиков из «Скорой помощи». Большое дело быстро и правильно поставить «диагноз» и после этого «вылечить». Сегодня провели три таких скоростных «операции». Набираемся опыта, уже чувствуем, где причина поломки.

Утром на перекрестке, недалеко от базы, столкнулись «КамАЗ»-цементовоз и «ГАЗ-51». «КамАЗу» ничего, а водитель «ГАЗа» сгорел прямо в кабине. Когда мы проезжали мимо, он находился еще в машине. Дорогу расширяют по всему маршруту, увеличивают на два-три метра с каждой

стороны. На подъезде к Чернобылю завершается новый мост через реку Уж.

*18 августа.* Работы не бывает без конфликтов. Одни приносят какой-то прогресс, другие озлобляют, третьи вредят делу. Особенно все эти варианты конфликтов обостряются здесь, в экстремальных условиях. Кто-то пыжится показать свою значимость, разбрасывая лозунги и фразы типа «нас не поймут», «надо делать быстрее, качественнее». Но фраза всегда останется фразой, если не будет дела. И в который раз подчеркивать ответственность момента и важность нашего бетонного завода считаю передергиванием. Я коммунист, вполне четко осознаю все задачи и всю важность для общего дела нашей работы, так что «комиссарские» фразы для меня звучат трескотней. И свято верю, что любые наши обоснованные действия «поймут» и сделают правильные выводы. До конфликта дело не довел, сдержался, но постарался мягко поставить на место нового главного энергетика заводов, с которым «имел счастье» общаться и раньше. «Пастух» мне не нужен, сам никогда им не был и не люблю этого в других.

*20 августа.* За прошедшие сутки выпущено 5,5 тысяч кубометров бетона. Говорят, в послеаварийной ситуации прослеживаются три стадии: шумиха-неразбериха, наказание невиновных и награждение непричастных. В какой стадии мы сейчас? Между второй и третьей?

*22 августа.* Две ночи подряд шел сильный дождь, резко похолодало, видимо, простудился, ломит все тело, кашляю, но стараюсь держаться, растираюсь, прогреваюсь, а самое главное — внушаю, что болеть нельзя. Говорят, в штабе стройки на автостанции есть макет, где ежедневно отмечают процесс сооружения саркофага и разделительных перегородок. Надо как-нибудь побывать там, посмотреть, как все выглядит в деталях.

*24 августа.* Мне дали 5 суток отпуска. Будет хоть какая-то психологическая разгрузка. Чувствую, что нахожусь на грани срыва, многое приходится терпеть, сдерживаться. И хотя явного давления ни от кого не исходит, общая обстановка напряженная, расслабляться нельзя ни в чем.

*1 сентября.* Вот и осень. Позади сказочная Волга, жаркий Саратов. Вновь Чернобыль. На работе все идет ровно, только дорога стала «длиннее»: ГАИ очень серьезно следит за скоростью не более 60 км/час.

*5 сентября.* Утром на работе всех руководителей технических служб и руководство района собрал заместитель начальника стройки, наш шеф. Дал всем накачку, так как

вчера получил сам. Хотя заводы несколько сбавили темпы, но идут в пределах задания, а вот стройка в целом выбилась из ритма. Из четырнадцати позиций сетевого графика работ — отставание по одиннадцати позициям, а график утвержден Правительственной комиссией. Шеф призвал всех к новым высотам и очень всех застрашал. Поведал, что набрали шестьдесят добровольцев из солдат-«партизан» чистить крышу рядом с реактором. Там еще остались куски графита и топливо, выброшенное из реактора. Ребятам пообещали сразу после одного подъема на крышу — «дембель». Надо рискнуть здоровьем. Сколько его здесь останется — никто не знает и не считает. И конечно, никто не знает, сколько нервных клеток разобьется на пустяки, на объяснения с «мудрецами», обладающими мелкой местной властью...

*9 сентября.* Выезжаем — темно, приезжаем — темно. Ночью уже холодно... Информация о прошлом: из Чернобыля эвакуация началась в майские праздники. На балконах до сих пор висят полинявшие флаги.

*13 сентября.* Вчера приступили к монтажу электрооборудования и систем управления четвертого завода. Дело пошло споро, за день проложили все кабели. Конечно, это еще не показатель, так как много времени уйдет на разделку, прозвонку, присоединение, но зрительно ощущается объем кабелей, и на душе приятно за свою работу. Великое дело — получать радость от сделанного тобой лично, сознавать свою причастность к общему, большому, нужному. Срок завершения всех работ по заводу — конец сентября.

Последние кубометры саркофага даются очень тяжело, бетон все сложнее уложить в конструкции верхней ступени саркофага. Теперь бетона требуется намного меньше, все три завода работают с малой нагрузкой.

*16 августа.* Закончили работы по монтажу, приступили к наладке. Монтажные работы завершили за пять дней, это очень высокий темп. На заводах иногда доходит до курьезов. При очень хорошем снабжении порою приходят такие «комплекты»: вместо нужных сварочных трансформаторов пришли четыре... силовых трансформатора по 1000 кват. К нерадивым поставщикам принимают меры через КГБ. Так, Кокчетавский завод поставил бракованный блок управления для четвертого завода, на две телетайпограммы не дал вразумительного ответа. Вмешалась «серьезная» служба, вызвали начальника КГБ Кокчетавской области, и тот раскрутил это дело очень быстро. На другой день прибыл представитель завода с новым блоком.

*18 сентября.* Почти неделю работаем по тридцать часов плюс дорога. Вновь накопилась усталость, целый день болит голова. Ночью, в короткие часы отдыха, снятся кошмары, но наяву все в норме. Вчера возвращались из Чернобыля, переехали речку Уж, и перед поворотом на Зеленый Мыс сломался наш автобус. Ремонт длился около часа. И в это время, в 22 часа 15 минут, в течение почти пяти минут наблюдали интересное явление. На северо-востоке, где-то по направлению к ЧАЭС, но чуть правее станции, в небе как бы из тучи возник светящийся конус. Впечатление такое, что землю с неба осветили огромным прожектором. От нас до «конуса» было примерно 15 километров, угол — 25—30 градусов. Стояли мы на обочине дороги, нас было человек двадцать. Свет был довольно яркий, «звездный», светло-зеленоватый. Минут через пять «конус» постепенно рассеялся и исчез. Что это было? Диво дивное или творение рук человеческих? На массовую галлюцинацию не похоже. Вот такие у нас новости.

*21 сентября.* Вчера состоялся партийно-хозяйственный актив стройки. Начало в 21 час, но я туда не попал. Мне рассказали об активе. Там было отмечено, что возникла некоторая самоуспокоенность, ослабела дисциплина и, как результат, — срыв срока закрытия реактора, намеченного на 25 сентября. В стране складывается очень напряженная ситуация с энергоснабжением, и одна из причин — остановка на профилактические ремонты многих АЭС в целях предупреждения возможных аварий. Актив принял обращение передать заработок одного дня, 22 сентября, в фонд помощи Чернобылю.

Девятнадцатого сентября состоялся физический пуск первого и второго энергоблоков на ЧАЭС, так что скоро эти блоки вновь будут давать столь нужную электроэнергию.

А теперь спустимся с высот на землю. Недавно появился на горизонте один мой «кадр», Вадим. На основной работе он начальник патентного отдела, но так как его детство было связано с электричеством, послали его к нам на помощь. Мужичку сорок девять лет, уже дважды дед, а в этом году стал молодым отцом, но не проявляет никакой самостоятельности, к тому же жуткий демагог. В любом деле ему нужна нянька. Но этого мало, он заражен начальственной болезнью хочет быть хоть вшивеньким, но начальником. Я выпросил у начальника смены трех солдат, дал ему в помощь для установки датчиков-измерителей. Так он возомнил себя «руководителем звена монтажников», а на мой вопрос — почему не положил кабели от датчиков до клеммной короб-

ки — заявил, что на это дело у него нет людей, а сам он вроде бы и ни при чем. И выходит, раз я старший группы, я за все и отвечаю. В этом он прав. Я отвечаю. Как только днями приедут ребята из нашего отдела, отправлю его отсюда... далеко, чтобы не мучил воду здесь. Становится понятным негативное отношение к нашей «фирме» многих строительных организаций. Люди подобного типа, к сожалению, есть в нашей конторе, а «слякоть» никто не уважает.

*27 сентября.* На нашей улице праздник! Сегодня подписали акт сдачи четвертого завода. В «мирное» время заводы такого типа монтируются за 5—6 месяцев. А мы практически за две недели запустили его в дело. Вот и ускорение. Оказывается, можем работать, можем делать дело. За эти две недели сложился настоящий, хороший коллектив, никто никого не подстегивал, каждый делал свое дело, делал на совесть. Из нашего отдела оживляли завод пять человек — Джанаев, Кружков, Щетинин, Яшин и я. Помогали три электрика — Леня и Сакен из Степногорска и Сергей Кирпичиков из Обнинска. Оказывается, мы живем рядом, на одной улице. Очень много полезного сделал шеф-наладчик Славянского завода, душевный человек Петр Алексеевич Максимцев. Все мы остались довольны друг другом, совместной работой и конечным результатом. Настоящая работа проявляет, «просвечивает» людей, гниль удаляется. За все время таких оказалось двое. Настоящие люди всегда останутся людьми.

Выезжали из 30-километровой зоны. Потрясла картина: на грузовике, в кузове, вместе с дровами и домашней утварью, сидела бабуля и, плача, крестилась, прощаясь с родными местами. Все махала рукой по направлению Чернобыля, а слезы текли так, что и у нас в сердце защемило.

*1 октября 1976 года.* В 16 часов 45 минут первый энергоблок Чернобыльской АЭС поставлен под промышленную нагрузку. Вновь вступила в строй станция, жизнь продолжается! И сегодня же завершилось перекрытие саркофага. Хотя предстоит еще много работ: нужно закончить контрфорсную стенку, и еще много других площадок на станции требуют бетона и металла.

Чернобыль показал, что наш народ был, есть и будет сильным народом. Беда Чернобыля есть беда лично каждого из нас, и радость победы над атомным злом — наша общая радость.

А у меня закончилась командировка».

## ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ

Запустение чернобыльских дворов, усыпанных черными, опавшими на землю яблоками — словно легкоатлетическими чугунными ядрами, заготовленными впрок для каких-то абсурдных соревнований. Кучи хлама на задворках общежитий: выброшенные респираторы, старые вещи, которые «фонят», раскуроченные легковые автомобили с намалеванными на бортах номерами, горы казенных пожелтевших бумаг — остатки ушедшего навсегда «довоенного» бюрократического мира лживых отчетов и никому не нужных ценных указаний. И портрет Брежнева, венчающий одну из таких радиоактивных свалок. Какой-то неведомый шутник нашел достойное художественное воплощение минувшей эпохи...

Во дворе одного из общежитий я увидел типичного чернобыльского аборигена: некто в черном бесформенном комбинезоне, шапочке, респираторе, резиновых сапогах, с дозиметром на груди подошел к колонке с водой. Наклонился. И вдруг сквозь весь страшный, противоестественный маскарад проступили очертания женского тела — неуничтожимо прекрасные знаки жизни и любви. Некто сбросил шапочку и респиратор — и золотистые волосы разметались на ветру, засветились на солнце. Незнакомка подставила руку под струю воды и улыбнулась.

Господи, каким гением чистой красоты показалась мне эта обычная женщина здесь, в Чернобыле. Что привело ее сюда? Профессиональный долг, авантюрная страсть к острым ощущениям, любовь?

Женщина в Чернобыле... Словно кошмарный сон преследует меня видение самого обычного заурядного учреждения в Зоне: столовой. Единственной в мире. Местные остряки метко окрестили ее «кормоцехом». Развернутая в большом цехе бывшей чернобыльской станции техобслуживания автомобилей, эта суперстоловая могла одновременно принять и вкусно накормить шестьсот человек (а еще триста стояли в быстро продвигавшейся очереди). Вход в «кормоцех» охраняли дозиметристы, время от времени выгонявшие тех разгильдяев, что приносили со стройплощадки сюда свое «свечение». Потрясала черная одинаковость мужиков в бушлатах и комбинезонах, ватниках и спецовках, в чепчиках, «афганках» и беретах, молча уминающих свой обед, — у всех у них были не только одинаковые костюмы, но, казалось, одинаковые лица — серые от усталости и тревоги. И в этом угрюмом мире чернорабочих атомной аварии как-то особенно трогательно

выглядели милые разгоряченные лица девушек, работавших на кухне.

Весной 1987 года я уже встречал на темных, вымерших улицах Чернобыля влюбленные парочки в униформе. Непобедимые ростки жизни пробивались и здесь, сквозь радиоактивную пыль, сквозь напряженность работ по ЛПА (ликвидации последствий аварии). Законы жизни торжествовали и здесь. Очень интересно будет узнать о судьбе чернобыльских семей, родившихся в Зоне, — а таких было несколько — о судьбе их детей. Интересно не только генетикам...

В Чернобыле я познакомился с несколькими мужественными женщинами, которых привела сюда любовь: они жили и живут по сей день со своими мужьями в Зоне, работают здесь, деля со своими любимыми все тяготы этой полупоходной, неустроенной общежитской жизни. Народная молва сразу же окрестила их «декабристками». Как точно сказано...

Но я хочу рассказать о женщине, которая живет сейчас в Москве, хотя и продолжает работать на ЧАЭС. Она стала одной из самых ярких легенд чернобыльской аварии. Уже в мае ходили слухи о жене одного из сотрудников АЭС, попавшего в московскую клинику № 6. Женщина эта будто бы пошла работать в ту больницу, чтобы быть рядом с мужем, чтобы облегчить ему страдания. Рассказывали, как после смерти мужа она продолжала ходить по палатам и подбадривать обожженных, страдающих людей, говорить им, что муж держится молодцом и они тоже должны держаться, не падать духом, а эти ребята уже знали, что муж ее умер, — и плакали, отвернувшись к стенке.

...Лишенный всякой конкретики и бытовых деталей, рассказ этот звучал как легенда, как баллада о любви и верности — и если бы этого даже не было в действительности, то такую историю надо было выдумать во имя веры, надежды и любви.

Но потом я узнал, что история эта не выдумана; я разыскал эту женщину и записал ее рассказ.

**Эльвира Петровна Ситникова, инженер Чернобыльской АЭС по дозиметрической аппаратуре:**

«Я хочу, чтобы все узнали о моем муже. Это мой долг, это смысл всей моей жизни.

Анатолий Андреевич Ситников.

Он бредил этими атомными станциями. Он был курато-

ром строительства первого блока. Начальником смены реакторного цеха. Потом заместителем начальника смены станции, затем с 1985 года — заместителем главного инженера по эксплуатации первого и второго блоков ЧАЭС.

Когда появилась возможность поехать учиться управлять атомными установками, он не давал покоя своему начальству. Просил, требовал, чтобы его направили на учебу. Мы жили тогда в другом городе, далеко от Украины. Начальство его выгоняло, они не хотели его отпускать, но он настоял на своем. Уехал на учебу в Обнинск, а когда вернулся, сказал: «Ты представляешь, держать в своих руках миллион киловатт! Это же невероятно! Трудно себе представить, что это такое!»

Он любил атомную, энергетику, по ночам сидел над книжками, всю жизнь учился. Его мечта была — учиться в курчатовском институте. Но обстоятельства сложились так, что он все время был в разъездах, командировках. Когда спрашивали — кто поедет в командировку? — многие разбежались в стороны. У одного мать болеет, у другого ребенок. Доходит до Ситникова, он спрашивает: «Когда выезжать?» Был даже такой момент: меня кладут в больницу, а он говорит: «Понимаешь, не могу не поехать». Я ему говорю: «Не можешь — значит не можешь». Помню — нашей дочери год исполнился, а у нас с ней один день рождения. Мне исполнилось тогда двадцать пять лет. И вот он приходит в двенадцать ночи и говорит: «Ты знаешь, я мог бы прийти раньше, мог бы и шампанское принести, мог бы все. Но защищались наши операторы (сдавали экзамены.— Ю. Щ.) и я НЕ МОГ». — «Ну что ж, когда операторы защищаются — все понятно...» Когда он готовился к работе на атомных станциях, он вслух рассказывал все эти формулы, схемы. Я его слушаю, ребенок маленький не спит, а он говорит: «Мне надо перед кем-то выступать, понимаешь?» Я засыпала перед ним, он улыбался и говорил: «Ладно, иди спи...»

Я знала, что если он будет работать так, как он хочет, то жизни у него не будет. Понимаете? Потому что для него существовали только работа и долг. Больше ничего. Два понятия были только.

Когда началось строительство Чернобыльской АЭС, я два года жила в Николаеве, у родственников. А он здесь, в общежитии жил вместе с Орловым. Как они жили — это невообразимо. Я один раз приехала, посмотрела: голодные, условия ужасные. Но им не до того, они учились и работали — и им больше ничего не надо было. В то время я бы ему только мешала. А потом мы в 1977-м году получили квартиру в При-

пяти, приехали туда с дочерью, я была рядом с ним, вроде бы все стало нормально, спокойно.

Первый блок в сентябре пускали. Он приходил с работы... бывало, к стене прислонится, глаза сияющие, а сам аж падает от усталости. Говорит: «Боже мой, что сегодня было... мы держали... три минуты держали блок... А казалось — три года! Мы удержали блок!»

В блоке был для него весь смысл жизни.

Он приходил в восемь вечера и садился за книги. У нас осталась в Припяти богатая техническая библиотека. Я иногда смеялась над ним. Как суббота — он идет по магазинам и скупает технические книги, все новинки. В газете о нем писали, что он главный книголюб в городе. Но это касалось технической книги. Художественную он не покупал, считал, что только время зря на нее тратит. Если иногда и читал, то говорил мне, что жаль потраченного времени.

Он по телевизору смотрел только программу «Время» в девять часов. Смотрел и шел заниматься дальше. Часам к одиннадцати-двенадцати он одуревал, не мог работать. У нас дача была недалеко от Припяти. На дачу приедем, дочь старшая говорит: «Папа машину под парами держит, все спешит домой». В субботу после обеда мы ехали на дачу. Вечером возвращались, и он говорил: «Сколько времени я зря потерял».

Когда он работал заместителем начальника реакторного цеха, то сказал мне, что начальником никогда не будет. Он любил сам нести ответственность, не перекладывать ее на других. Предпочитал работать с механизмами, а не с людьми. И когда его назначили начальником цеха, я была удивлена. Спросила его. А он сказал: «А кто меня спрашивал? Принесли приказ и сказали расписаться. Вот и все».

Точно так же его назначили заместителем главного инженера. Сказали, что он достоин, и все. У нас обоих должен был быть тогда отпуск, в июне 1985 года. Дочка после травмы, ее надо было на море везти. А его Фомин, главный инженер, просто-напросто не пустил в отпуск. Тогда я мужу сказала: «Знаешь, я тебя всегда понимала, когда ты блоки свои пускал. Но сейчас не понимаю». У нас восемь лет машина была, но мы ни разу на юг не съездили. Все ему некогда было. Потому что отпуск у него всегда то в апреле, то в октябре, ноябре, когда дети в школу идут.

Так он и не пошел в восемьдесят пятом в отпуск. А потом... потом я через год компенсацию за два отпуска получила... Вот и все. Я им сказала, что если бы он тогда в отпуск

пошел, то выжил бы... а так из-за них он потерял столько здоровья...

Иногда приходил домой белее полотна. Говорит: «Оборудование неисправно, работать невозможно, а остановка не дают. Как хочешь, так и...» Страшное нервное перенапряжение было. Однажды будит меня ночью. Я спрашиваю: «Толя, что такое?» — «Следи за этим прибором, чтоб не зашкалило». — «Хорошо, Толя, буду следить». Утром ничего не помнит... Как-то раз он с группой в поезде ехал, и начали собирать по десять рублей с каждого. А он спал. Его разбудили. Он спронтанно вскочил и говорит: «Если будет разрешение с центрального пункта, я отдам десять рублей». Та, которая с ним ехала, как выскочит оттуда. Потом его растормошила и говорит: «Парень, успокойся. Я тоже болею за работу, но так нельзя».

Все работа и работа. До чего дело доходило: директор в отпуске, главный инженер у нас болен был, зам главного по науке в отъезде. Ситников оставался один. По станции шутки ходили: зачем, мол, администрация, если один Ситников есть.

Он не боялся ответственности. Все на себя брал. Подписывал все графики. Но все изучал, дома вечером все перечеркнет, исправит — только тогда свою подпись поставит. Я уверена, что если бы у него этот эксперимент шел, ничего бы не было, никакой аварии.

А в ту ночь... он просто встал да пошел, как всегда это делал. Чисто по-солдатски. Сказал мне, что случилось несчастье, надо быть там. И все. Я в тот день не работала на станции. Мы с дочерью проснулись и еще так смеялись...

Когда он пошел, я заснула и спала до утра. Мало ли вызывали. Никаких мыслей плохих не было. Мы собирались в обед поехать на дачу. Но часов в восемь мне соседи позвонили, сказали, что там случилось что-то такое... Я позвонила на станцию часов в 11, случайно наткнулась на мужа. Он говорит: «Ты меня не жди, я буду поздно». Я говорю: «Как ты себя чувствуешь?» На провокацию пошла, потому что сам бы он иначе мне ничего бы не сказал. Он признался: «Плохо очень». Я говорю: «Иди в медпункт». — «Меня рвет, я не могу». Я тогда стала звонить в медпункт: «Окажите Ситникову помощь». А она отвечает: «Я не могу, у меня много больных... Пусть он сам придет». — «Да он не может» Она говорит: «Хорошо». Потом... я звонила, но его уже отправили в больницу.

Я помчалась в больницу как сумасшедшая. А в больнице... зашла в вестибюль, там какой-то молодой врач как бросится

на меня (Эльвира Петровна плачет)... как он меня тащил, вытаскивал, видите ли... чтобы я туда не ходила. У меня так рука болела... я говорю: «Погодите! Не смейте, да как вы вообще можете!» А он просто исполнял свои обязанности. Тогда можно было всем кричать... и выкручивать руки, все что угодно.

Я вышла обливаясь слезами. За мной какой-то мужчина: «Что вы хотели?» Потом — женщина: «Ваш муж себя нормально чувствует».

В десять вечера знакомая позвонила и говорит: «Если хочешь попрощаться с мужем, беги. Их сейчас увозят...» Я побежала. Дочь говорит: «Мама, я с тобой». Я сначала боялась брать ее с собой, потом думаю — с отцом же хочет увидеться. Прибежали, автобус уже полон, я рванулась к автобусу и кричу: «Толя! Я здесь!»

Он приподнялся с сиденья и говорит: «Мне плохо...» «Куда вас везут?» — «Я не знаю куда». — «Толя, я тебя найду!» — «Не ищи. Я выздоровлю и вернусь». Они еще час там стояли. Я его веселила. Наконец он ко мне вышел. Я говорю: «Толя, почему ты в блок пошел?» А он: «Ты пойми, кто лучше меня знал блок? Надо было ребят выводить. Если бы мы... не предотвратили эту аварию, то Украины бы точно не было, а может быть, и пол-Европы». Я говорю: «Толя, ну, может быть, ты надышался дымом и тебе плохо, скажи». Он так печально посмотрел на меня и говорит: «Нет, я блок проверял...»

Их отвезли на самолет, а мы думали, что их повезут на вертолетах, бросились на стадион, а их повезли в Борисполь. И так мы с дочерью по Припяти бегали. Пришли домой, а у нас зрелище неопишное. Наш дом прямо на выезде из города, первый дом от станции. Труба как ракета — снизу светится огонь, и будто ракета уходит вдаль. Уже темно было. Никакой опасности мы не ощущали. Тепло, тихо, птицы поют. Весь день был какой-то необычный, весь день дети на улице гуляли.

Я считаю, что это не просто вредительство, это намеренное убийство следующего поколения. Я понимаю, что могло случиться на станции, понимаю, что там могли погибнуть люди, но чтобы вот так — чтобы никто не объявил по радио, не предупредил закрыть окна и двери — этого понять нельзя. И простить.

28 апреля я была у старшей дочери в Москве. У нее седьмого мая должна была свадьба состояться. Мы с мужем должны были ехать, уже ресторан заказали. Ирина, старшая дочь, удивилась, когда увидела нас: «Чего так рано?»

На следующий день нашла ту клинику, где муж лежал. Конечно, меня и близко не пустили. Я пошла в Минэнерго, в наш главк, и попросила как-нибудь меня пустить в больницу. Мне выписали пропуск.

Я стала работать в больнице. Носила ребятам газеты, выполняла их заказы — что-то им покупала, писала письма. Началась моя жизнь там. Мужу было очень приятно, он сам говорил: «Ты обойди всех ребят, надо их подбодрить». А ребята смеялись и говорили: «Вы у нас как мать... вы нам Припять напоминаете...» Как они ждали, что в Припять вернуться, как ждали...

Я переодевалась в стерильную больничную одежду и ходила по всей клинике, поэтому меня принимали за медперсонал. Заходишь в палату, а там говорят: «Подними его, помоги, дай ему попить». Я с удовольствием это делала. Меня спрашивали — боялась ли я? Нет, ничего не боялась — я знала только, что надо помочь, и все. Они такие были беспомощные... как они умирали...

(Эльвира Петровна долго не может успокоиться, рыдает.)

От мужа скрывала, кто умер. Он говорит: «Что-то не слышно соседа слева». Я говорю: «Да его в блок перевели...» Но он все понимал, все знал. Его переводили с места на место. То на один этаж, то на другой.

Первого мая прилетела сестра мужа, ее вызвали, она дала ему свой костный мозг. Гейла еще не было, Гейл опоздал. Гуськова лечила его. Я хотела с ней поговорить, а она: «Некогда с вами разговаривать. Ваш муж не умрет». Мне так хотелось потом ей сказать: «Убийца!» Она говорила, что времени у нее нет, надо лечить других, а муж умирал голодной смертью, он ничего не мог есть, только воду пил, я просила их обратить внимание на это...

У нас ведь нет золотой середины, в медицине нашей. Или — или. У нас платят золотом и валютой за лекарства, колют их, а в то же время суют бифштекс, на который смотреть невозможно. Один-единственный врач, не помню кто, спросил его: «Что бы вы хотели съесть?» Муж говорит: «Творожка бы съел». На том все и кончилось. Так он его и не увидел, этого творожка. Многие, особенно младший обслуживающий персонал, больных боялись как огня. Говорили: «Понавезли нам заразы...»

Хотя меня пускали беспрепятственно, но я старалась не ходить туда, когда врачи были в палатах, вы понимаете это. Вечером приходила, часов после шести. А потом ему все хуже и хуже становилось, хотя держался он очень здорово.

Он за свою жизнь два раза был на больничном. У меня такое впечатление, что пересадка костного мозга ускорила... Его организм не признавал никаких вмешательств... Последний вечер я осталась с ним. Это было двадцать третьего мая. Он мучился ужасно, у него был отек легких. Спрашивает: «Который час?» — «Половина одиннадцатого». — «А ты почему не уходишь?» Я говорю: «Да спешить некуда, видишь, как светло на улице». Он говорит: «Ты же понимаешь, что теперь твоя жизнь ценнее, чем моя. Ты должна отдохнуть и завтра идти к ребятам. Они ждут тебя». — «Толя, я же у тебя железная, меня и на тебя, и на ребят хватит, понимаешь?» Он нажимает кнопку и вызывает медсестру. Она ничего не понимает. «Объясните моей жене, — говорит он, — что ей завтра надо идти к ребятам, пусть уходит. Ей надо отдохнуть». Я до половины первого посидела, он уснул, и я ушла.

А утром прибежала, говорю: «Толя, тебя трясет всего», а он: «Ничего. Все равно иди к ребятам, газеты отнеси». Я только газеты разнесла, а его в реанимацию увезли. Меня в реанимацию пускали, там врачи хорошие, добрые. Пускали... Один врач кричал: «Ваш муж уже не должен по трем параметрам жить... Что вы хотите?» — «Ничего не хочу, — говорю, — только чтобы он жил». У него отек легких, почки отказали. Ожоги незначительные были.

Как-то прихожу в начале мая. Сестра его еще лежала в больнице. И она говорит: «Толя очень переживает, что волосы у него стали выпадать. Лезут прямо клочками». Я пошла к нему и говорю: «Ну и чего ты переживаешь из-за своих волос? Зачем они тебе? Давай разберемся четко: в кино ты не ходишь, в театр не ходишь...» Ну это я уже так, чтоб успокоить. «Сидеть, — говорю, — в кабинете или дома работать ты можешь и в берете. Зачем тебе волосы вообще?» Он смотрит на меня: «Это ты правду говоришь?» — «Конечно, правду, сущую правду. Во-первых, посмотришь со стороны, идет лысый человек. Вызывает невольное уважение. Видно, что умный. А во-вторых, я двадцать лет переживала, что ты меня вдруг бросишь, такой красавец, а тут кому ты, кроме меня, нужен будешь?»

Он так смеялся, все спрашивал: «Нет, правда? А как же дети?» Я говорю: «Глупый ты какой. Ведь они тебя так любят, зачем им волосы твои». Я старалась отвлечь его от мыслей об аварии. «Толя, вернемся только в Припять, заживем... Я тебе такие туфли на микропоре купила, только по песку ходить, на речку, куда же больше?» А он: «Да, поедем только в Припять. Но я не смогу работать, я ведь теперь в Зону

не пойду». — «Ну и что? Разве без Зоны нет жизни, нет работы?»

Он говорил, что ко всему можно привыкнуть, только не к одиночеству. И еще говорил, что я его спасла от голодной смерти своим киселем...

Я мужу обо всех ребятах рассказывала. Об Аркадии Ускове. О Чугунове, других. Я как связанная между ними была. Там рядом лежал парень, Саша Кудрявцев. Он уже выздоравливать начал, на поправку шел. У него ожоги сильные были. Я зашла, а его спиртом протирают. Он стесняется: «Не заходи». Я говорю: «Сашенька, ты стесняешься меня? Это же хорошо — значит, ты жить начал. Я завтра к тебе приду, а сегодня газетки положу».

Завтра прихожу, а мне говорят: «Нет Саши. Кудрявцев умер».

Меня это ударило в душу. Я говорю: «Неправда это! Он уже выздоравливает!» — «Правда». — «Не может быть этого». Выхожу — сестра моего мужа сидит. А с ней молодая женщина и старый мужчина. Сестра говорит: «Это Кудрявцевы». Я как стала — ничего не могу сказать. «Как Саша?» — «Тяжело, очень тяжело», — говорю. Тут врач подошла и спрашивает: «Кто Кудрявцевы?»

Я еле в те дни ходила. Ни спать не могла, ни есть. Чего-нибудь в столовой похлебаю, потом прижмусь к стенке, только бы не вырвало, только бы не вырвало, мне надо держаться. Мне надо.

В тот день я утром приходила, когда мужа увезли... Чесов в девять. Потом прихожу, в приемном покое ко мне подходит какая-то женщина. «Вас вызвали?» — «Нет, — говорю, — сама пришла». — «А что вы здесь делаете? Ваш муж умер». Какая-то сиделка, а сказала так, как будто она первая интересную новость сообщает.

Анатолий Андреевич умер в десять тридцать пять утра. Я переоделась, забежала туда.

«Василий Данилович, он умер? Мне к нему надо!» — «Нельзя». — «Как нельзя? Он же мой муж!» Он говорит: «Я не понимаю, что вы за человек. — Махнул рукой: — Пойдемте». Пошли. Я простыню откинула, трогаю его руки, ноги, говорю: «Толя, ты же не имеешь права, ты же не можешь! Ты же не должен! Ты же столько... энергетика твоя эта дурацкая теряет...» Я уже не ощущала, что мужа теряю, а вот то, что такой человек уходит... это... это меня бесило. Сколько он бы мог сделать...

На поминках Кедров встал и говорит: «Ребята вас про-

сят, чтобы вы вернулись в больницу. Они сразу почувствовали, что что-то случилось, раз вас нет». Я говорю: «Раз просят...» Анатолий Андреевич очень хотел, чтобы я была с ребятами, он говорил: «Жаль ребят, оставайся с ними... ты им нужна». «Хорошо, — говорю, — только три дня мне дайте, пока...» И я вернулась.

Анатолий Андреевич все сознавал. Но никогда об этом не заикнулся, не намекнул даже. Он хотел, чтобы ребята жили. Он сам распорядился своей жизнью — ведь он знал, на что идет. Мне кажется, что в ту минуту он думал о нас обо всех. Он ощущал опасность, всю меру этой опасности.

В той же больнице с ним лежал главный инженер станции Фомин. Я к нему ходила, разговаривала с ним. А потом он на кладбище, когда мужа хоронили, выступал с речью. Сказал, что Анатолий Андреевич наш золотой запас. Что мы все виноваты перед ним. Позже, когда я на станцию приехала, там начали говорить, что Толю на смерть послал Фомин, Фомин его загубил. Я сказала: «Да не говорите ерунды». Но такая легенда уже пошла.

Я проработала в больнице еще более месяца после смерти мужа — до седьмого июля. Заходила к Дятлову, тому, которого обвинили... Он был в очень тяжелом состоянии. Я с ним много разговаривала... Потом, когда меня спрашивали про Дятлова, я сказала, что если бы все повторилось сначала, я бы все равно пошла к нему. Потому что двадцать лет, которые нас связывают, — разве это так просто выбросишь? А то, что он что-то сделал не так, — он за это понесет наказание. Это не в моей компетенции... судить его. Врачи же всех лечат...

Очень горько было ходить на Митипское кладбище... там поначалу даже цветы с могил убирали. Поставишь — а через два дня цветов нет. Пошли такие разговоры, что чернобыльцы не заслуживают цветов. Дескать, у них даже цветы «грязными» на могилах становятся. Будто бы приказ был такой — убирать цветы. Тогда я пошла к Владимиру Губареву, тому, что «Саркофаг» написал. Рассказала ему об этом. После этого перестали цветы убирать...»

## ИСПОЛКОМ МЕРТВОГО ГОРОДА

С заместителем председателя Припятского горисполкома Александром Юрьевичем Эсауловым, Сашей Эсауловым, брызжущим энергией оптимистом, мы несколько раз бывали

в Припяти в разные периоды 1986—1987 годов. Беспрерывно в течение полутора лет, минувших со времени аварии, сотрудники Припятского исполкома жили в Зоне, ездили по служебным делам в свой смертельно больной, опустевший город, до сих пор способный убивать тех, кто попытается в нем жить продолжительное время

...Миновав милицейскую заставу, мы попали в пустую Припятть. Стоят в безмолвии 16-ти и 9-этажные дома, а строительные краны застыли над новостройками — кажется, что работы прерваны временно на обеденный перерыв. Колхозный рынок при въезде в город превращен в кладбище легковых автомобилей, на котором ржавеют сотни машин — им уже не суждено выйти отсюда. В городе нет птиц, — они улетели; не видно кошек и собак. Лишь время от времени по площади промчится бронетранспортер или милицейская патрульная машина да ветер посвистывает в огромных буквах, венчающих здание в центре. Из букв складывается иронично звучащий здесь лозунг: «Хай будет атом робітником, а не солдатом!»

Площадь перед исполкомом замело белым речным песком — как отмель в каком-то совершенно безлюдном месте. Следы наших атомных башмаков, их грубых рифленых резиновых подошв отпечатались на этом песке, словно попали мы на неведомую заброшенную планету... Мы приехали сюда с А. Эсауловым и главным архитектором Припяти Марией Владимировной Проценко. Ей, вложившей столько сил и таланта в убранство родного города, пришлось потом собственноручно вычерчивать схему ограждения Припяти рядами колючки... Эсаулов и Проценко пошли в здание исполкома — забирать какие-то свои бумаги, я же сел в машину, включил дозиметр, который сразу же засвистел, запел неумолчную песнь радиации, и стал записывать на фоне этого щебета свои впечатления. Было это в первую годовщину аварии.

На клумбе выросли сиротливые желтые гиацинты — Мария Владимировна сорвала их на память об этом дне. В сопровождении милиционеров в серых бушлатах вошли мы в дом номер тринадцать по улице Героев Сталинграда, в котором до аварии жила Проценко с мужем и двумя детьми.

Нам открылось зрелище, быть может, пострашнее саркофага. В выстуженном за зиму доме стоял мертвящий запах запустения. Отопление отключили, потом включили, и в части квартир батареи лопнули. Вода залила перекрытия — а это значит, что через несколько зим и весен дом будет разорван силами тающего льда и воды. На площадке пятого этажа

нас встретил цветной телевизор, кем-то и зачем-то выставленный из квартиры. Двери всех квартир на этажах, за исключением первого, были распахнуты настежь, на некоторых — следы взлома. В квартирах на полу валяются платья, книги, кухонная утварь, игрушки. В одной из квартир нас встречает детский горшочек. Дверцы престижных, до абсурда одинаковых югославских и гэдээровских «стенок» раскрыты, многие люстры срезаны.

Милиционеры пояснили, что начиная с июля 1986 года по апрель 1987 было несколько заездов жителей города, которым отводилось короткое время. Люди спешили, разбрасывали вещи. Почему распахнуты двери квартир? Потому якобы, что уходили отсюда навсегда. Правда, признают милиционеры, не исключено, что во время таких посещений иные любители поживиться заглядывали к соседям.

В доверительных разговорах со мной многие жители Припяти высказывали опасение в том, что не обошлось и без организованного грабежа: во время посещения своих квартир многие недосчитались ценных вещей — фотоаппаратов, магнитофонов, радиоаппаратуры. Мародерство, кража радиоактивных вещей, грабеж беззащитного города и окружающих сел. Что может быть омерзительнее?

В одной из квартир была поднята крышка пианино. Я притронулся к клавишам, попытался что-то сыграть, но холод пронизал мои пальцы. Угрюмые аккорды наполнили квартиру. На кухне стояла бутылка из-под кефира: в ней грязно-серый сухой комок. Кефир апреля 1986 г. Музыка звучала как реквием по городу.

С тяжелым чувством мы вышли на улицу. Если сам город напоминал выставленного на всеобщее обозрение покойника — умиротворенного в своем вечном сне, то посещение дома оставило после себя тошнотворное впечатление вскрытия трупа со всеми натуралистическими подробностями, известными врачам и служителям морга...

### Из письма Павла Мочалова, г. Горький:

«Я студент 5 курса Горьковского политехнического института, физико-технического факультета, специальность — «АЭСиУ». С 23 июля по 3 сентября я и еще 13 человек, таких же студентов ГПИ, работали в Зоне. Это был отряд добровольцев с необычной производственной практикой. Работали дозиметристами в Чернобыле, на АЭС, но главным образом в Припяти.

Единственным местом в 50-тысячном городе, где спустя 2 месяца после аварии неровно, но постоянно бился тихий пульс некогда кипящей жизни, был городской отдел УВД г. Припяти. Сюда стягивались тысячи нитей — сигнализаторов системы «Скала», а в камере предварительного заключения (КПЗ) было самое чистое в радиационном отношении место. Во время нашей работы 2-й и 3-й этажи здания напоминали кадры из фильма об отступлении. Раскрыты все кабинеты, поломаны стулья, везде разбросаны противогазы, респираторы, индивидуальные аптечки, форма с лейтенантскими погонами, литература по криминалистике, картотека с личными делами разных нарушителей, чистые бланки с грифом «совершенно секретно» и много других вещей... Очень четкая, предметная фотография тех трагических событий — немое свидетельство чего-то ужасного, нереального.

Спустя 2 месяца после аварии (а не через 3 дня, как обещали) жителям было разрешено приехать очень ненадолго, чтобы забрать кое-что из личного имущества.

В спецодежде не по размеру, с неумело завязанными респираторами, они подходили к своим родным домам. Редко кто из них не начинал плакать. Надо было видеть, как из-за дрожи в руках они не могли открыть квартиру, как потом хватали первое, что попадалось под руку, со словами: «Измерь это». Надо было видеть глаза невесты, когда ее свадебное платье оказалось «грязным». Надо было видеть состояние молодых супругов, когда в их общежитии, где-то по улице Курчатова, в их комнате оказалось разбитое окно и ничего из их скромного имущества нельзя было взять.

Был установлен очень жесткий норматив на вывоз. Нередко фон в квартире намного его превышал. Приходилось измерять где-нибудь в ванной, туалете. Очень немногие вещи укладывались в норматив.

Встречались такие, кто, выслушав увещевания о вероятности связи радиации и раковых заболеваний («Подумайте о своих детях!»), все предостережения насчет «грязи» в коврах, насчет повторного контроля на выезде из Зоны (кажется, в Диброве), выслушав и со всем согласившись, умудрялся каким-то образом вывезти все. О дальнейшей судьбе этих вещей остается только гадать. Были разговоры о сдаче их в комиссионный магазин. Если это так, то очень страшно. К сожалению, дозконтролем на выезде наш отряд не занимался, хотя несколько раз проездом мы бывали там. Можно только сказать, что там были условия для более точных замеров (фон был меньше во много раз), что дозконтроль

также проходил очень нервно, ибо на глазах людей забирали их вещи, бросали в железные контейнеры. Иногда с элементами вынужденного вандализма (били дорогую радиоаппаратуру, чтобы не было соблазна на «грязную» вещь).

Попадались и такие жители Припяти, которые, узнав о «загрязненности» своих вещей, брали топор и крушили, «чтобы вам не досталось!». Были и такие, которые совали деньги, водку и думали, что от этого их ковры станут «чище». Но все это — единицы, исключения».

### Из письма Игоря Ермолаева, г. Горький:

«В Киев мы приехали вместе с Пашей Мочаловым 22 июля. Мне удалось удрать в Припять примерно 9 августа 1986 г. Автобус привез меня в Копачи — село на полдороге между Чернобылем и АЭС. Неподалеку от Копачей расчищена площадка, на которой люди пересаживались из относительно чистых автобусов в «грязные», которые везли их до места работы.

«Грязные» — это обычные львовские автобусы, изнутри выложенные листовым свинцом<sup>1</sup>. Внешне они отличаются от незащищенных автобусов тем, что окна у них закрашены белой краской, а на крыше установлены два насоса с фильтрами против радиоактивной пыли. Внутри такого «броневика» сделан как бы защищенный отсек. Кабина водителя и задняя площадка лишены защиты, а в салоне, вдоль стен, установлены свинцовые листы, закрывающие окна почти полностью — лишь в верхней части остаются щели шириной 15—20 сантиметров. Салон отделен от кабины и задней площадки перегородками с герметичными дверями. До Припяти «броневик» идет минут 15. Мы выбрались из автобуса возле милиции. Было восемь часов утра, светило солнце, по земле стелился легкий туман. Меня поразила обыденность окружающего. Работали дозиметристами — определяли, что можно вывозить, что нельзя. Мне пришлось мерить квартиру семьи погибшего. Квартира была очень простая и даже, можно сказать, — бедная. Здесь не было ни ковров, ни мебели, чего очень много в припятских квартирах. В ванной на веревке висело детское белье. Я запомнил его потому, что случайно поднес к нему датчик и в наушниках услышал, что оно очень «грязное». Здесь невидимый огонь, медленная смерть. Это казалось несовместимым... В Припяти спали мы в камерах

<sup>1</sup> Остряки окрестили их «свинобусами». — Ю. Ш.

предварительного заключения. Они были оборудованы по последнему слову тюремной техники.

...Однажды утром мы открыли соседнюю комнату и увидели кота. Кот красивый, с длинной буро-коричневой шерстью. Он был болен, как и все здешние кошки. Голоса у него совсем не было, он только смотрел на нас огромными дикими глазами и разевал рот, пытаясь мяукнуть. Получалось только сипение. Мы ему предложили паштет из гусиной печенки — основной продукт нашего питания. Он лизнул пару раз и больше не стал, только сидел на подоконнике и сипел. К вечеру он куда-то исчез.

Когда мы работали в Чернобыле, к нам приبلудился похожий кот. Он тоже был без голоса и все спал, а ходил как-то боком, слегка покачиваясь. Ему таскали сметану из столовой, упаковки по три на раз. Он все съедал, потом ложился и спал...

В Припяти особенно много кошек собиралось, когда приезжали автобусы с жителями. Они кошек подкармливали, но с собой не брали.

Еще запомнилась история про кота по имени Чернушка. Этот бедолага просидел в запертой квартире четыре месяца, пока его хозяйка была в эвакуации. Почему она его заперла — не знаю. Может, забыла, а может, думала, что уезжает дня на два-три, как говорили. Когда мы с ней вошли в квартиру, пол на кухне и в коридоре был усыпан слоем разорванных пакетов и кульков с продуктами. Впечатление полного разгрома. Сам котенок, черненький и симпатичный, бегал среди этого разгрома и орал во все горло. Он был очень тощий, но больным не казался. Хозяйка стала спрашивать меня, чтобы кота не убивали. Я сказал, что котов мы не трогаем, и пытался его померить. Он вертелся, не хотел спокойно стоять возле датчика, но резкого повышения фона от него не было».

#### А. Эсаулов:

«Первый раз — сразу же после аварии — людям дали по пятнадцать рублей по линии профсоюзов. Давали одежду бесплатно. Грубо говоря, наши органы торговли на этом прилично погрели лапу. Они спихнули эвакуированным просто все свои неликвиды. Машина с одеждой приезжала в село, открывала двери, и каждый брал, что ему нужно было.

Потом давали по двести рублей на каждого члена семьи. Это было где-то во второй декаде мая. Всю выплату организовал наш исполком. Мы работали тогда круглосуточно. В наш

штат временно ввели 12- или 16 кассиров и бухгалтеров. Была вывезена картотека жэков, и согласно данным о прописке выдавали деньги. Был разработан специальный бланк. Потом начали выплачивать и в других областях. Находились, конечно, нечестные люди, которые брали дважды. Потом их ловили, когда все списки свели воедино.

Многие не имели документов. Человек приходил и говорил: «Я — Сидоров Иван Иванович». Вот он стоит перед тобой, ты меряешь — у него все «звенит», ему надо во что-то одеться, что-то купить поесть. Я выдавал ему написанную с его слов такую справку вместо паспорта. Это единственный в своем роде документ в стране.

Конечно, большинство нормальных людей попадалось. Я думал так: если по моей вине кому-то — двум-трем, десяти человекам — переплачено, но если при этом я помог пятидесяти человекам, то овчинка стоит выделки.

Сначала мы работали в Припяти (об этом я уже рассказывал), потом в Полесском и Иванкове, а с 1 сентября 1986 года исполком — несколько человек — переехал в Чернобыль. А база наша была в Ирпене.

Не хочу умирать от скромности и потому скажу, что идея использования личных машин, оставленных в Зоне, принадлежит мне. Ее поддержали на заседании Правительственной комиссии — и оттуда появились все эти «Жигули» с большими номерами на бортах. По праву авторов мы присвоили исполкомовским машинам номера 001, 002, 003. Машины очень и оченьгодились в Зоне — и нам, и ученым, и прочим разным организациям. Этим мы спасли сотни «чистых» машин.

Конечно же владельцы «грязных» машин получали за них компенсацию. Положение о сдаче машин я разрабатывал. Платили за машины, исходя из стоимости и износа, примерно так, как в комиссионном магазине. Мы также разработали положение о посещении Припяти. Страшно вспомнить, как это тяжело было. Надо организовать автобусы от Тетерева до Полесского, от Полесского до Дибровы. В Диброве пересадка на «грязные» автобусы — и вперед на Припять. Водителей этих надо поселить где-то, накормить, людям, посещающим Припять, дать возможность переодеться, обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Во время посещения Припяти можно было брать фотографии, документы, книги, семейные реликвии, постельное белье, кроме детского. Все не очень громоздкое, такое, что можно почистить и увезти. Мебель нельзя вывозить. Особым

пунктом было запрещено вывозить ковры и телевизоры. Они очень пыльные, «грязные». Мы долго ломали головы над этим пунктом, решали, а потом согласовывали со всеми инстанциями.

Драм, связанных с вывозом, было сколько угодно. Тому не разрешили, тому запретили что-то вывозить. Как можно разрешить, если вещь «звенит»? Люстры — пожалуйста. Радиоприемники, фотоаппараты, магнитофоны можно вывозить. Посуду — пожалуйста. Стеклашки легко отмываются. Вещи везли в пластиковых мешках. Количество мешков лимитировано, поэтому на человека давали 5 мешков.

Конечно, многого не заберешь. Ведь каждый обрастает барахлом, в обычных условиях это незаметно, а когда такая ситуация... Я, например, забрал новый костюм, обувь, зимние вещи. Они не «звенели», потому что находились в плотно закрытых шкафах.

В начале августа 1986 года Совет Министров СССР принял решение о материальной компенсации тем, кто пострадал во время аварии.

Предусматривалась такая выплата: на одного человека (одиночку) — четыре тысячи рублей. На семью из двух человек (муж, жена) — семь тысяч. Семья из четырех человек (муж, жена, дети) получала десять тысяч рублей, то есть на каждого ребенка выходило по полторы тысячи рублей.

Человек приходил в исполком со специальным заявлением. ЖЭК проверял по картотеке — действительно ли человек этот был прописан и проживал в Припяти — и делал свою отметку: мол, все правильно. Мы тут же оформляли банковские документы и направляли в сберкассау на счет, указанный в заявлении жителем Припяти. Деньги человек получал через полтора-два месяца. Но это был идеальный случай. А сколько выявилось нарушений паспортного режима, людей без прописки, но проживавших в Припяти, сколько всяких сложностей, непредвиденных обстоятельств. Сколько приходило жалоб на волокиту. Это был полный кошмар.

Огромная работа, горы папок с документами — ведь люди поразъезжались по всей стране. То в заявлении буква перепутана, то неправильная запись в книгах, то неразборчиво написано. Одних Вохрамовых оказалось в городе душ двадцать. Вахрамов или Вохрамов? У нас было больше двадцати тысяч заявлений. А ведь суммы немаленькие, и кое-кто хотел поживиться. Получить дважды. Были и семейные трагедии — люди разводились, спорили из-за этих денег — кому получать

четыре, а кому три тысячи. Все было... Насмотрелся я за это время такого...

Если же человек не соглашался с суммой компенсации — вещей, допустим, у него было больше, чем на семь — десять тысяч, то все решала конфликтная комиссия при исполкоме. Допустим, человек говорит: «У меня в квартире вещей на восемнадцать тысяч». Он составляет опись этих вещей, указывает примерный год приобретения — потому что учитывалась и степень износа. Мы собираем эти заявления, и раз в месяц комиссия выезжает в Припять, приходит в квартиру и оценивает вещи. В комиссии — опытные товароведы, экономисты по ценам. Представляешь?

Из-за шмоток, из-за денег, из-за барахла люди ездят в зараженный город, подвергают свое здоровье опасности! Но куда ж денешься? Были такие ситуации, когда мы соглашались — и доплачивали человеку. Туда все входило — мебель, носильные вещи. За день комиссия могла проверить восемь — десять квартир, и то с трудом — дело-то конфликтное. Работали от темна до темна.

Изменились ли мои представления о людях и жизни? Наверное, да. Мы пережили настоящую войну, а это бесследно не проходит. С одной стороны, Чернобыль учит нас быть более сострадательным к людям, понимать людей. А с другой стороны, — становишься каким-то толстокожими, что ли. Почему? Вот приходит человек, слезно просит помочь. Раскисаешь, помогаешь, а потом выясняется, что это все он тебе лапшу на уши вешал. Рвачей немало оказалось. Особенно трудно было с общежитиями разбираться. Город наш молодой, масса приезжих, командированных на два-три месяца. И такие тоже претендовали получить четыре тысячи. Приходит мужик, пишет: у меня был японский телевизор «Панасоник», радиоприемник «Грюндиг», и все такое прочее. Сразу на четыре тысячи. Я ему в уголочке пишу: «С выездом на место». А он не хочет ехать. Он за горло берет и требует — дай мне немедленно деньги. Мы ему говорим: «Товарищ, ты здесь в командировке был, не могло быть у тебя добра на четыре тысячи...»

Пенсионерам выдавали направление на жилье в разных городах Украины. Допустим, была разнарядка в Чернигов пятьдесят человек, Винницу — двадцать человек. Были такие, что брали одно направление, второе, третье, вымогали самые лучшие квартиры, писали жалобы и анонимки. Зло начинало брать. Совесть же надо иметь! Допустим, была у неких пенсионеров трехкомнатная квартира в Припяти. Дети взрос-

лые, разъехались, устроены. Остались люди вдвоем. Дать им трехкомнатную квартиру — значит, у кого-то ее забрать. Тяжелейший был год...»

В прессе много писалось о героическом труде военнослужащих, дозиметристов, строителей саркофага. Но нигде не встречал я рассказа о работе «низовых» представителей советской власти — сотрудников Припятского горисполкома — А. Веселовском, А. Эсаулове, А. Пухляке, М. Проценко и других, которые непрерывно в течение полутора лет после аварии ездили по служебным делам в свой родной город. Они жили и работали в сквернейших бытовых условиях, с пренебрежением зачастую относились к правилам безопасности и дозиметрическому контролю (так, А. Эсаулов до сентября 1986 года вообще не имел дозиметра), но, невзирая ни на что, делали свое малоприметное, но очень нужное дело.

Обыденность? Бюрократия? Рутинка? Железная инерция Административной Системы? И то, и другое, и третье. Но какая же обыденность может быть в экстремальных, почти фантастических условиях, в которых не доводилось действовать ни одному исполкому, ни одной мэрии в мире? Ведь речь шла о городе, навсегда вычеркнутом на всех географических картах, умершем как социальная единица.

Что же касается бюрократии, то она, конечно, была, родимая наша, привычная. Куда же ей деться? Только в Зоне она становилась еще абсурднее.

С человеком, рассказ которого приведен ниже, я познакомился в Ирпене, на первом этаже местного исполкома, давшего приют Припятскому горисполкому. В то время здесь стояли толпы людей, требовавших получения компенсации, решения своих неотложных вопросов. В вестибюле я заметил крепкого мужика лет сорока пяти, со злостью мявшего в руках зимнюю шапку. Мужик тихо матерился. Познакомились.

**Александр Иванович Хорошун**, бывший житель г. Припят, ныне проживающий в г. Мегион Тюменской области:

«Я приехал сюда издалека, уже две недели обиваю пороги всех инстанций. Из семейного бюджета выброшены на ветер деньги на проезд Мегион — Нижне-Вартовск — Усть-Каменогорск — Зырянск — Усть-Каменогорск — Москва — Киев — Ирпень плюс местные переезды Ирпень — Киев — Диброва — Припят — Полесское — Термаховка — Иванов — Диброва — Киев — Ирпень. Исключая местные расходы на транспорт, сумма составит четыреста рублей. Это как

раз жене сапожки, пальтецо, то да се. Я потерял пятнадцать дней отпуска, жена потеряла пальтецо, сапожки, то да се. Что приобрели? Надежду!

Дело вот в чем. Я раньше работал на строительстве ЧАЭС, потом там дела пошли плохо, заработки упали — и я уехал в Сибирь на шашашку. А жена осталась в Припяти, работала на ЧАЭС. У нас была машина «Запорожец». После эвакуации жена с детьми ехала ко мне через Москву. Ее в Москве «отловили» дозиметристы, положили в больницу. Ключ от гаража и «Запорожца» изъяты. Известное дело — женщина растерялась, ключи отдала.

Когда я узнал, что можно посетить квартиры и получить деньги за машины, приехал сюда. Капитан Ключко сказал мне, чтобы я снял номера с машины и привез их ему Еду в Припять. Ключей от гаража нет, гараж закрыт. Ладно. Я прокопал траншею под гараж, снял номера, привез их Ключко. Он требует ключи от гаража и машины. Но ключей нет! Здесь и началось. Он вернул мне номера и потребовал, чтобы я пригнал машину, на что я ответил, что машина не на ходу, аварийная. Ее сын за год до аварии где-то стукнул. Меня направляют к товарищу Польскому — флегматичному молодому человеку, который с каким-то недовольным видом взирает на меня. Объясняет, что нужно ждать товарища Печерского, представителя Припятского горисполкома. Печерский потребовал вскрыть гараж. Я снова прорыл траншею, влез в гараж, открыл внутренний запор, ножовкой, взятой в гараже, спилил дверные проушины — гараж вскрыт! Номера деталей, узлов машины совпадают! Хотя, между прочим, в гараже довольно высокий уровень, и у меня башка трещит, словно принял пятьсот граммов. От радиации. Но я тихо радуюсь. Все, кажется, отлично. Но! Теперь надо, чтобы приехала сюда комиссия и оценила машину. Но зачем тогда Польский и Печерский? Кто они? Зачем они? Я их об этом спросил.

Сколько я могу торчать в Диброве?

Что мне делать? Я за этого «Запора» отвалил 5100 рублей, я его покупал за «голую» зарплату. Нет у меня и не было нетрудовых доходов. Пусть бы я потратил на новый кузов тысячу рублей — зато у меня новый «запор». Сорок семь тысяч километров — это не пробег. Есть комплект резины, запчасти, лаки-краски, гаражное оборудование. И у меня душа болит от того, что я бросаю свою «железку» — попробуй снова ее наживи! Но я понял, что на комиссии я споткнулся — их не заманишь и калачом в гараж, в котором радиация. Справку двухгодичной давности о том, что я никого не

убил на своей машине, я в припятской ГАИ не найду, потому что самой припятской ГАИ уже нет, я еле нашел ее остатки в Зорине. Даже постовые не знали, где ГАИ. Но все-таки я нашел. Начальник был болен, температурил. Принял меня начальник угрозыска. Послушал и сказал, что, по идее, Польский-Печерский должны были отметить в техталоне НАЛИЧИЕ машины, не входя в радиоактивный гараж, посветив только фонариком.

А в отношении справки, что я никого не задавил (машина-то битая) — это забота угрозыска. Он меня заверил, что я (то есть сын) был бы найден максимум через полгода после совершения ДТП. Я все это доложил Польскому-Печерскому, согласился на пятьдесят процентов износа, в конце согласился даже на 60—70 процентов износа, только чтобы эти мытарства не были зря. Жалко ведь оставаться без колес. Но не стреляться же! Махнул рукой и уехал из Дибровы. У меня была тогда только обида, я поделился ею с секретарем Припятского горисполкома Марией Григорьевной Боярчук. Она меня выслушала, посоветовала все описать и подарила надежду. Спасибо ей! Спасибо капитану милиции Филипповичу — без проволочки дал мне пропуск в Зону, спасибо старшему на КПП Припять капитану милиции, дежурившему 22 ноября 1986 года, — он без проволочек допустил меня в гараж...

С тем и уезжаю...»

Через некоторое время, весной 1987 г. я получил от А. Хорошуна письмо из Сибири, в котором он рассказывал дальнейшие подробности своей «запорожской» одиссеи:

«Предгорисполкома Припяти Веселовский выслал мне назад техпаспорт и мое заявление и написал, что машину нужно сдавать лично самому владельцу с 4 апреля. Надо добывать авиабилеты, снова пустить на распыл не менее 500 рублей. Бюрократы! Волокитчики! Старорежимцы! Неужели снова ехать в Припять?! Снова обивать пороги инстанций?! Небось придется доставать подъемный кран, платформу и везти машину на сдачу. Где я достану эту технику? Да ведь очень просто вычесть из стоимости машины стоимость кузова, стоимость затрат за использование техники, износ. Остальное выплатить владельцу. Ведь это жуткое дело — вылететь в апреле в Европу. Только в Мегроне желающих вылететь

1708 человек, не считая Нижне-Вартовска, да и в Усть-Каменогорске столько же. Боже, как я не люблю Европу! Я с первого кола строил АЭС и Припять, а мне такое наказание. Хотя бы тыщонки полторы компенсировать из 5100 рублей».

Я передал это письмо в горисполком, они обещали разобраться. Но Хорошуну все-таки пришлось приехать в Припять. Порядок есть порядок. Только порядок ли это?

## «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» И «РЫЖИЙ ЛЕС»

При съезде с шоссе в низкорослый молодой сосняк заметили табличку: «Хозяйство Степанова».

Через несколько минут были в «хозяйстве». Казенный порядок военного лагеря. КПП. Ряды потемневших от сырости (с утра зачастил дождь) палаток. Плац для построений. Доска почета. Штабной модуль, офицерские домики, алюминиевый сборный клуб. Под палатками прячутся домики, очень жаркие; нары, запах как в парилке, под потолком — телевизор. На экране что-то щебечет коротко стриженная певичка. На нее молча уставились усталые мужики.

**Полковник Александр Николаевич Степанов:**

«Мне тридцать шесть лет. Я потомственный военный — отец и сейчас служит в Средней Азии. всю жизнь был на колесах вместе с родителями — за десять лет учебы я поменял семь школ, вплоть до Веймара в ГДР, где и закончил десятилетку. Выбор профессии после школы однозначен — военное химическое училище.

Я прибыл сюда 1 августа 1986 г. Этот лагерь мы начали строить 5 сентября, а 24 октября уже сюда переселились. Можете представить эти сроки — а ведь мы не отрывались и от основной работы. Работали на АЭС в три смены. Первая смена находилась на станции уже с шести часов утра, последняя смена возвращалась в два часа ночи. Практически все тогда смешалось — день, ночь.

За нами была закреплена южная зона — начиная с так называемой «Красной площади», где до аварии были хорошие цветники, а к моему приезду — гималайские горы бетона, металла, техники, земли. И вот потихонечку, метр за метром, за двадцать четыре дня «Красную площадь» эту с гималайскими горами сделали ровной, вывезли весь грунт

зараженный, завезли свежий грунт. Работали скреперы, бульдозеры, потом грейдерами все ровняли и клали на свежий грунт бетонные плиты, а поверх плит — холодный асфальт. Моя первая работа на станции начиналась с «Красной площади», возле моста через канал.

Я удивлялся — как можно было в кратчайшие сроки, никого не подгоняя, а зная одно: «надо!» — выполнить такую работу... И организованность была высочайшая, и люди знали, что делать, и материал шел. И все делали, чтобы быстрее подобраться к четвертому блоку.

Подопшли.

И пришлось нам дедовскими способами — вениками — подметать все это, собирать с помощью трактора «Беларусь», потом сгребать лопатами и сбрасывать в контейнеры. В тракторе была освинцована кабина. Бойцы работали в нем где-то три-пять минут, потом выбегали, и следующие садились... В то время у меня через пятнадцать дней происходила замена людей. Но ни одного случая получения радиации сверх нормы не было, мы регулировали это, старались не «пережигать» людей. Очень трудно было с трактористами и крановщиками. Крановщики по семь минут только работали на укладке плит.

Ну а возле развала... Надо было пробежать где-то метров сто пятьдесят, подмести быстренько, бросить веники и убежать назад. Другая группа уже то, что подметено, лопатой сгребала в контейнер, потом это все грузилось и вывозилось. Зону первого, второго, третьего и четвертого энергоблоков мы закончили где-то в ноябре месяце.

Затем нас перебросили на «Рыжий лес». Определили энное количество гектаров леса и поставили сроки: убрать это к 23 февраля 1987 года, ибо там надо было проложить железнодорожную ветку для подвоза оборудования. Лес был рыжий, а в районе стройбазы — практически цвета кофе.

Но не мы валили «Рыжий лес», а другие, с помощью ИМРов (инженерная машина разграждения), другой техники. Они его повалили кое-как, создав бурелом, а мы делали мартышкин труд. Не надо было этого делать, надо было оставить лес таким, каким он был, чтобы легче подходить к нему и срезать. Мы бы производительность в пять раз больше имели. А его навалили, наломали, как на картине Шишкина.

— Почему же так сделали?

— Мотивировали тем, что если будем мы его валить, то посыплется елка рыжая и загрязнит обмундирование и все

прочее. Но я уверен, что сделали хуже. Все равно деревья надо было из земли выкорчевывать, таскать, рубить их. Потом рыли котлованы невдалеке, в двух-трех километрах от повала и все это дело закапывали в глубокие котлованы, зарывали и сравнивали с землей.

— А котлованы бетонировали?

— Нет.

— Так деревья же сгниют, и все пойдет в воду...

— Это уже наше «давай-давай»... (А. Н. Степанов глубоко вздыхает.) Часть на подготовленные могильники вывозили, а часть — в котлованы. К намеченному сроку мы это выполнили. Потом работали на стройбазе и Яновской нефтебазе. Там наши люди отличились — восемь человек были представлены к премии, но эти премии уже несколько месяцев неизвестно где гуляют... Нам говорят: «Представить списки на премию». Представляем — и все как в Лету кануло.

Сейчас работаем на АЭС, в химцехе, сталкиваясь с трудностями и с недостойным поведением некоторых гражданских должностных лиц, которые пытаются практически саботировать нашу работу. Дело доходит до того, что нам не дают необходимых для работы инструментов и приспособлений. В чем причина? А в том, что персоналу АЭС наша быстрая работа невыгодна: они получают тысячи в месяц за работу в «грязной зоне», а мои солдаты — только выезды на станцию.

В настоящее время — я не боюсь этого сказать — мы работаем первобытными методами и первобытными орудиями труда. Для того чтобы в помещении снять зараженный слой бетона, мы сами сделали леса, по этим лесам залезали, брали молоток и зубила и сантиметрик за сантиметриком снимаем этот бетон... Представляете? Сидит солдат под потолком и долбит, сидит на наших же лесах. Пока за горло не возьмешь кого-то, чтобы привезли материал для лесов — ничего не будет. А ведь это высота порядка шести метров.

Станционным невыгодно быстро делать, потому что они получают большие деньги. Бывали и такие позорные случаи — мы вымоем, обработаем помещение, закроем пленкой, сдадим его, на следующий день приходим — там все позалито водой, грязь, пленки сброшены... Я вам откровенно скажу: в первые месяцы после аварии работать проще было — в плане принятия решений, ясности — что надо сделать и как. Но незаметно наступил перелом... Когда саркофаг поставили, территорию очистили от опасных очагов, началось царство бюрократии. Примерно после февраля 1987 года.

Давайте называть вещи своими именами: невыгодно кому-то лишаться кормушки, в которую они попали. И ведь людям нашим ничего не можешь толком объяснить. Они на партийных собраниях этот вопрос поднимали. Народ-то не дети, народ-то взрослый. От тридцати до сорока пяти лет у нас солдаты».

**Майор Сергей Николаевич Кирилов:**

«Я бы хотел сказать о том впечатлении, которое произвел «Рыжий лес». С детских лет мы привыкли, что сосновый лес — это что-то вечнозеленое. Если бы я не увидел собственными глазами — трудно было бы представить такое: абсолютно сухой и действительно рыжий. Сердце сжимается, жалко это богатство.

Меня что еще поразило. Мне второй раз в жизни пришлось работать с таким контингентом — со взрослыми людьми, призванными на сборы. И я поражаюсь — насколько эти люди понимают важность задачи, насколько всего себя отдают. Человек работает на жаре два-три часа, смотришь — гимнастерка вся мокрая, а когда подсыхает во время перерыва — соль на спине выступает.

Утром в пять подъем, умываемся, завтракаем, потом инструктаж по мерам безопасности, выдача дозиметров, «лепестков». Рассаживаемся в машины — и поехали на место. Ехать полтора часа. Когда люди понимают технологию, не приходится даже вмешиваться. Сами понимают.

Запомнил я такой случай. Работал у нас механик-водитель бульдозера Александр Анатольевич Егоров. Сам он из Новоградской области, ему сорок один год, четверо детей. Он работал на совесть: валил деревья, а лес этот был толстый, его с первого раза не повалишь. Необходимо поднимать ножи бульдозера повыше, чтобы действовать как рычагом. Так вот Егоров даже во время перекура что-то делал, возился у бульдозера. Я его спросил — почему? Он сказал: «Я хочу служить и работать так, чтобы мне не было стыдно перед моими детьми». Часто от людей приходилось слышать: «Я на гражданке так не работал».

Все здесь необычно... Когда мы возле АЭС работали, то после обеда оставалось десять — пятнадцать минут. И наши ребята выходили на берег водохранилища и удочки самодельные забрасывали. Только закинул — вытянул рыбу. Там ее много. Рыба живая, в ведре плавает. Через несколько

минут — ведро полное. Ее выливают обратно в канал и снова начинают ловить. Есть ее нельзя, рыбалют не для улова, а для спорта».

## О «СОЛОВЬЯХ ЧЕРНОБЫЛЯ»

...И вот уже два года минуло со времени чернобыльской аварии. Замелькали годы, словно телеграфные столбы в окне поезда, набирающего скорость. Не успеем опомниться, как придет пятая годовщина катастрофы, десятая... Чернобыль начинает уходить в глубь времени, откладывается в дальних пластах памяти, обрастает легендами.

Но это вовсе не означает, что боль и тревога, рожденные чернобыльским шоком, уже освободили людские сердца, ушли, развеялись навсегда по ветру, словно то радиоактивное облако, что успело весной 1986 года несколько раз облететь земной шар. След Чернобыля стойким радиоактивным пятном лег на души сотен тысяч людей на Украине, в Белоруссии и России.

После публикации этой повести в журнале «Юность» мне часто приходилось встречаться с читателями — рабочими и студентами, военными и крестьянами, учеными и партийными работниками. Десятки встреч, тысячи слушателей, сотни записок. Я берегу записки. В них — дыхание нашего беспокойного времени перемен и надежд, они — словно бы запечатленная на клочках бумаги кардиограмма настроений народа. И если из всего вороха «чернобыльских» записок, из всего многообразия вопросов, задаваемых на встречах, выбрать самое главное, то окажется: более всего людей волнуют сегодня, через два года после аварии, проблемы «медико-информационные». А проще говоря — проблема гласности Чернобыля, его радиологических, медицинских аспектов.

Не отказываюсь от собственных слов о том, что «не медики командуют каналами массовой информации», поскольку это и вправду так.

Но, будучи допущенными к каналам массовой информации, иные из моих коллег нагородили столько лжи, полуправды и противоречивых сведений, круто замешенных на бездумном оптимизме, особенно неуместном в условиях глобальной трагедии, что просто диву даешься — зачем это им? Солидные ведь вроде люди — академики, доктора наук, профессора, высокие должностные лица...

Бодряческая позиция официальной медицины вызвала гнев и негодование подавляющего большинства народа, живущего на огромных пространствах вокруг центра взрыва. Послушали бы функционеры Минздрава, что говорят о них люди на собраниях, встречах, в кругу друзей и семьи. Почитали бы письма, тысячами приходящие в редакции газет и журналов, на радио и телевидение. Я собрал многие из таких писем для истории.

Народ окрестил медицинских златоустов, заполнивших эфир своим бодрым щебетом, «соловьями Чернобыля». Амбивалентное словосочетание, совсем по М. М. Бахтину, вроде города «Тьфуславль». Характеристика, мягко говоря, малолестная для тех, кто должен был быть заступником людей, целителем ран не только физических, но и душевных. Ведь здравоохранение наше, вышедшее из медицины земской, получило в наследство высокие и благородные отечественные традиции милосердия и правдолюбия, ответственности перед народом за слова свои и дела. Видно, растеряли все это дореволюционное богатство на казенных путях ублажения сильных мира сего, в спецстоловых и прочих местах соприкосновения с кастой «избранных».

Говоря все это, я нисколько не преуменьшаю заслуг тысяч рядовых врачей и медсестер, лаборантов и санитарок, честно выполнивших свой профессиональный и гражданский долг в трудные дни Чернобыля. Писал об этом и буду писать, так что вряд ли меня можно обвинить в «очернительстве».

Но из песни слова не выкинешь. А чернобыльская медицинская «песня» наша достаточно была испорчена именно словами.

Впрочем, давайте цитировать, сопоставлять, думать.

«Если говорить о тенденции, — рассказал профессор М. Шандала, — то по нашим графикам радиационный фон в Киеве возвратится к норме где-то к 19 мая... Сегодня весь город переведен в нормативы аварийной ситуации и «планка» радиационной нагрузки поднята до 10 рентген в год... Нужно соблюдать гигиену, в помещении не допускать скопление пыли, протирать его мокрой тряпкой, ограничить пребывание маленьких детей на улице...» («Известия», 10 мая 1986 г.)

И это говорит академик АМН СССР, директор Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены! Через 6 дней появляется информация, прямо противоречащая «графику» М. Шандалы:

«К настоящему времени наибольшее внимание привлекает

обстановка за пределами 30-километровой зоны отселения. Это главным образом районы Киева и Киевской области, земли которой ближе других регионов примыкания к зоне аварии. Согласно данным Госкомгидромета СССР, уровень радиации в Киеве... составлял в среднем величину порядка 0,2—0,5 миллирентгена в час (т. е. превышающую нормальный уровень в 10 раз! — Ю. Щ.). Содержание йода-131 в молоке колеблется от  $1 \cdot 10^{-9}$  до  $(1-3) \cdot 10^{-7}$  кюри на литр (т. е. в 10—100 раз превышает обычные показатели). На территории, примыкающей к району аварии, введены временные нормативы содержания йода-131 в пищевых продуктах... дети централизованно снабжаются молоком, содержащим не более  $1 \cdot 10^{-8}$  кюри на литр, а взрослые —  $1 \cdot 10^{-7}$  кюри на литр» (Заведующий лабораторией радиационной гигиены населения Института биофизики профессор В. А. Книжников — «Медицинская газета», 16 мая 1986 г.).

Наконец, 13 ноября 1986 г. газета «Літературна Україна» сообщает в заголовке, что «Уровень радиации приближается к норме», а профессор И. А. Лихтарев успокаивает читателей:

«Это придает уверенность, что к маю 1987 года в Киеве, например, гамма-фон снизится приблизительно до 0,03 миллирентгена в час, то есть станет почти таким, каким был до аварии на АЭС (от 0,015 до 0,04 миллирентгена в час).

Итак, нормальный уровень отодвигается ровно на год... С первых дней аварии телевизионной «звездой» № 1 стал заместитель министра здравоохранения УССР главный государственный санитарный врач Украины А. М. Касьяненко. Не будучи специалистом по радиационной медицине (помнится, кандидатскую диссертацию он написал в Днепропетровске на темы некоей болезни, передающейся от коровы к человеку), он тем не менее взял на себя нелегкую — скажем прямо, неблагодарную — роль главного успокоителя населения республики. Роль эта была ему явно не по плечу, ибо А. Касьяненко игнорировал основополагающие принципы психологии и информации: умеренность, доказательность, правдивость. Здесь же все было наоборот: чем более пылко уверял Касьяненко своих слушателей, что все прекрасно в этом чернобыльском мире, тем меньше верили ему люди. Вот далеко не полные (по газетному изложению) образчики этой «пропаганды»:

«На территории нашей республики в большинстве областей все возвратилось к норме, которая была до аварии... В городе Киеве нет предпосылок для того, чтобы предпринимать

какие-либо особые меры... Вызывает удивление некоторых женщин прервать свою беременность. Не имеет под собой реальной почвы и желание некоторых из них выехать на период беременности и родов за пределы Киева и даже нашей республики... Не следует отказываться, как это делают некоторые, от употребления в пищу куриных яиц... Рыбу... в Киевском море, Днепре и Десне... можно спокойно ловить, жарить, варить, употреблять в любом виде...

А как быть с купанием? Об этом уже писали газеты. Если стоит хорошая погода, если светит солнце, если хорошее настроение (! — Ю. Щ.), то можно идти купаться. Это относится к Киеву, области, за исключением тех районов, где введены ограничения... Ныне здоровью детей ничто не угрожает... Нет оснований отказываться от употребления малины, клубники, черники... Другое дело — смородина и крыжовник. Не рекомендуется их употреблять в свежем виде — в Черниговской, Киевской и Житомирской областях... Требование уборки помещений с пылесосом всегда остается в силе» (Из беседы по республиканскому телевидению заместителя министра здравоохранения УССР А. М. Касьяненко и других специалистов-медиков, «Вечерний Киев», 1 июля 1986 г.).

Вы уловили срок опубликования этой беседы? С момента аварии минуло едва более двух месяцев. Полный порядок. Но вскоре поступает иная информация:

«Пыль оседает, поэтому, понятно, на земле (речь идет о Киеве) уровень радиации несколько выше фона... Скошенную траву просто вывозят из города, чтобы избавиться от дополнительных, хоть и незначительных следов радиоактивности... А вот от даров леса, как считают медики, киевлянам в этом сезоне лучше воздержаться» (А. Линева, зам. директора Института ядерных исследований АН УССР, «Известия», 24 июля 1986 г.).

И уж совсем дезавуирует призывы своего непосредственного начальника к наслаждению дарами природы заместитель главного санитарного врача Киева Л. И. Коваленко, который резонно предупреждает:

«Желательно лишь воздержаться от игр в песке, собирания гербариев, изготовления игрушек из каштанов, других растений, как это любят школьники... Процесс очищения лесных массивов происходит медленно... Отсюда рекомендации не злоупотреблять пребыванием в лесу, где ограничена природная вентиляция, а зелень может фиксировать в себе определенные радионуклиды. И вообще... надо чаще мыть руки с мылом, принимать ванну, душ, тщательно чистить и мыть ово-

щи и фрукты. Тогда можно быть полностью спокойным за свое здоровье» («Вечерний Киев», 5 сентября 1986 г.).

Но неистощимый в своем оптимизме главный защитник здоровья народного не успокаивается. Вот фрагменты нового выступления А. Касьяненко по республиканскому телевидению («Вечерний Киев», 26 сентября 1986 г.):

«На всей территории республики радиационная обстановка, по сути, возвратилась к тому состоянию, которое было до аварии на Чернобыльской АЭС. Гамма-фон практически нормализовался... В выступлении поднимались вопросы рыбной ловли, сбора грибов. При этом подчеркивалось: никаких ограничений сегодня нет... Специальные исследования рыбы были проведены в Киевском и Каневском водохранилищах, в Десне и Конче. Повода для опасений они не дали. Такое же положение и с грибами. Нужно лишь быть предельно внимательным и осторожным при их сборе, брать только съедобные грибы. И при этом помнить: грибы быстро портятся, образуя ядовитые вещества... В выступлении был затронут вопрос об уборке нынешней осенью листьев на улицах, в парках и скверах Киева. Говорилось, что в результате дождей радиоактивных веществ на листьях осталось мало. Как и в прошлые годы, уборка и вывозка листьев будет вестись в плановом порядке».

Вспоминаю, как после этого выступления заместителя министра возмущались рядовые врачи Полесского района, ибо прахом пошла вся их разъяснительная профилактическая работа; часть населения района, особенно дети, ринулась в леса по грибы, хотя леса эти, лежащие в полосе выброса, еще «светили»...

Стыдно, друзья-коллеги (бывшие) медики... И грустно. Стоит ли удивляться, что в ответ на такие откровения посыпались возмущенные письма вроде этого:

«Мы возмущены неоднократными выступлениями по телевидению главного государственного санитарного врача УССР т. Касьяненко. Это, как правило, беспочвенные необоснованные утверждения, что все в порядке. Разве не о Касьяненко слова писателя-киевлянина Бориса Олейника из «Литературной газеты» от 24 сентября 1986 года: «А мы даже эти высшие духовные и душевные чувства нередко пытаемся перевести в общий, абстрактный словесный вал, отчитаться в своей добродетели «по валу», отчуждаясь от конкретного, живого человека, от его судьбы, моральных устремлений. А подчас и в карьеристском устремлении спеша «первыми» поведать обществу о том, что уже все в порядке».

Как Касьяненко посмел с этого высокого кресла на всю Украину поведать о том, что все в порядке? А послушать его доводы — так «листья всегда убирали в могильники», «пыль всегда убирали по 2—3 раза в день», «охота тоже отменялась всегда», «голову всю жизнь мыли ежедневно по 2—3 раза в день», и т. д., и т. п.

На кого рассчитана такая информация? Выступая уже дважды, Касьяненко не приводит ни единой цифры, ни одного результата анализов или замеров. Он даже не упоминает об огромной беде, которая затронула такие территории, загрязнила и оставила следы. Из его слов следует, что можно и реакторы взрывать и, видимо, атомные бомбы бросать, — все будет в порядке. Причем основные доводы у него — «я вам говорю, что все в порядке». Все это представляется на фоне выступлений «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Літературної України» и многих других источников, где выступают честные ученые и видные деятели, которые называют вещи своими именами, недопустимой дезинформацией. Не замечает Касьяненко и свои же противоречивые сведения: «Молоко хорошее, а сыры возят из других областей», «укроп загрязнен, а листья чистые», и т. д.

На кого рассчитаны такие выступления? От таких сведений у людей еще больше тревог. Просьба давать правдивую, пусть и неприятную информацию, и регулярно, а не от раза к разу.

Киев, 1 октября 1986 г., ул. Энтузиастов 29/2, кв. 25, Проклов — и еще десять подписей».

Кстати, о листьях. Вот что сказал об этом кандидат биологических наук, заведующий лабораторией радиационной гигиены (то есть специалист!) НИИ общей и коммунальной гигиены И. П. Лось:

«Для Киева принята такая цифра: 10 процентов радиоактивного загрязнения — на листьях. Эту часть мы заканчиваем убирать. Как совершается захоронение листвы? Решено разместить ее в специальных бетонных траншеях и плотно закрыть» («Вечерний Киева», 15 ноября 1986 г.).

Но вершиной творчества киевских медицинских анестезиологов, неуклюже пытающихся успокоить общественное мнение, их идеологическим манифестом стала брошюра В. П. Антонова, начальника управления Минздрава УССР: «Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты», изданная в 1987 году в Киеве обществом «Знание» немалым тиражом — 92 175 экземпляров. Представленный как «врач-

радиолог», автор вторгается в совершенно ему неизвестную область психологии и совершает здесь ряд открытий:

«Поскольку в г. Киеве было *меньше всего оснований для тревог и беспокойства* (здесь и далее курсив наш. — Ю. Щ.) и вместе с тем именно среди его населения циркулировало наибольшее количество тревожных слухов, необоснованных рекомендаций и домыслов, есть необходимость кратко остановиться на радиационной обстановке на его территории. Тем более что численность его населения составляет значительную часть всего населения, *вовлеченного в сферу чернобыльских тревог*.

Между прочим, это закономерное явление, которое можно назвать «психологическим феноменом большого города». *Его причина в значительной прослойке интеллигенции — основном носителе и источнике «психологического отвращения» к радиации, воспитанного долголетней антивоенной — в частности, антиядерной — пропагандой. Никто так глубоко не впитал неприязнь к этому новому поражающему фактору, свойственному только ядерному оружию, который эмоциями многих журналистов окрашивался в более (!!!) мрачные краски, нежели более привычные факторы (!), с которыми связаны давно знакомые виды поражений (ранения и ожоги).*

Об этом свидетельствуют хорошо известные киевлянам факты невозвращения части школьников к началу учебного года, трудные семейные дилеммы по поводу возвращения детей младших классов, изобретательность в поисках «чистых кормов» за пределами даже республики. О глубине фобических («фобия» — боязнь. — Ю. Щ.) реакций свидетельствует также анализ рекламных объявлений граждан по обмену квартир, подтверждающий «падение акций» такого прекрасного города, как Киев, в системе международного обмена. Число граждан, желающих въехать в Киев в 1986 г., по сравнению с 1985 г. сократилось на треть, а желающих выехать из Киева — увеличилось в 3 раза» (с. 41—42).

«Не следует удивляться, что и к этому объективному материалу, основанному на анализе многочисленных исследований и измерений, со стороны некоторых людей, особенно представителей интеллигенции, можно ожидать проявлений скепсиса и недоверия, в основе которых — трудное расставание со своими убеждениями, тем более со своим «авторитетом» в глазах окружающих... Многочисленные тревоги... базировались не на строгом научном знании, а на домыслах, рожденных некомпетентностью, и эмоциях. В их основе *психологическая неподготовленность к радиационной аварии такого*

*масштаба (!)*, породившая в условиях дефицита информации и искаженной тревожными слухами оценки реальной обстановки застойную мысль: «Не может быть, чтобы было хорошо, если все плохо».

Это позиция, установка тех, кто охвачен радиофобией, на всякую официальную информацию, на всякие доводы, противоречащие этой позиции» (с. 44—46).

Итак, во-первых, у киевлян нет оснований для тревоги и беспокойства. Во-вторых, большинство их все-таки вовлечено в сферу черныбыльских тревог. Установлена и причина страхов: не беспрецедентная авария, потрясая весь мир. Не те возможные последствия, о которых знает каждый грамотный человек. Главная причина всех неприятностей — интеллигенция! Вот бы нашим минздравовским анестезиологам да неграмотный народ. Вмиг бы его успокоили!

Ну а возьмите отношение В. Антонова к такому «бумажному тигру», как атомная бомба, и к антиядерной пропаганде! Это же прелесть! Прочитаешь брошюру, написанную в нескольких шагах от Украинского комитета защиты мира, и удивисься: зачем вообще борьба против ядерного оружия?

Касаясь будущего, автор заявляет:

«Еще раз хотим твердо подчеркнуть, что у подавляющего большинства населения ожидать каких-либо осложнений в состоянии здоровья или заболеваний, непосредственно связанных с воздействием радиации, нет никаких реальных оснований. Но несомненно, главными проблемами являются психологические, последствия которых могут оказаться неизмеримо более неблагоприятными. Имеются основания ожидать опосредованные последствия в виде различных отклонений в показателях здоровья и даже некоторых заболеваний у той части населения, которая оказалась во власти необоснованных страхов и тревог, во власти радиофобии.. Для изучения этих вопросов в результате аварии на ЧАЭС созданы уникальные возможности. Это, между прочим, и является одним из важных направлений деятельности созданного в Киеве Всесоюзного научного центра радиационной медицины АМН СССР. Мы подчеркиваем это, так как в связи с его созданием циркулировало немало кривотолков и слухов, способствующих психологической напряженности: «Раз создан такой центр — значит, плохи наши дела» (с. 39—40).

Расправившись с интеллигенцией, атомной бомбой и безосновательными страхами, В. Антонов обращает свой взор к доктору Гейлу:

«Остается прокомментировать напугавшее некоторых

граждан заявление Гейла в известном телестудии. Во-первых, доктор Гейл гематолог, но никак не специалист в области радиационной безопасности, тем более эксперт, как он был представлен с телеэкрана.

Во-вторых, многие услышали и запомнили количество названных раковых заболеваний, но пропустили мимо ушей — на какую численность населения или на какое количество естественных случаев рака... Во всяком случае, будучи врачом, Гейл обязан был с учетом силы психологического воздействия таких заявлений более четко изложить это, подчеркнув необходимость их относительной оценки, но не сделал этого, *то ли в силу своей некомпетентности в этих вопросах, то ли других причин, которые нам неизвестны*» (с. 37).

В апреле 1987 года на пресс-конференции в Минздраве СССР я задал вопрос об отношении киевских медиков к прогнозам доктора Гейла.

Вот что мне ответил заведующий отделом Всесоюзного научного центра радиологической медицины АМН проф. И. А. Лихтарев, уже упоминавшийся нами:

«Декларация каких бы то ни было цифр через эфир о будто бы возрастании в будущем раковых заболеваний без их сопоставления со спонтанным уровнем увеличения болезней от воздействия химических загрязнений, нездорового образа жизни, ухудшения экологической обстановки в промышленных городах — ничего, кроме вреда, принести не может... Вот уже третье поколение японцев там выросло (после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. — Ю. Щ.), а генетических изменений там нет. Ученые много спорят, изучают этот феномен. Однако факт остается фактом. И обо всем этом хорошо известно доктору Гейлу, *решившему на нашем горе сделать своей персоне неплохую рекламу* («Вечерний Киев», 21 апреля 1987 г.).

Итак, мало того что доктор Гейл некомпетентен, как уверяет нас В. Антонов, — оказывается, д-р Гейл еще и негодяй, делающий на нашем горе себе рекламу. Кто же поучает врача Гейла? Профессор Лихтарев, не медик, а физик по профессии (!), не имеющий вообще морального права оценивать врачебные качества д-ра Гейла.

Послушайте, мы когда-нибудь станем нормальными, воспитанными людьми, умеющими вести корректную научную дискуссию, а не лакейски-кухонную свару с приклеиванием ярлыков в стиле сталинских времен? Почему же нравственное чувство людей без медицинских дипломов безошибочно под-

сказало им, что так нельзя, так неприлично? Вот что написала мне читательница из Киева:

«Совершенно случайно обнаружила вырезку из газеты «Вечерний Киев» за 21.4.87. Я сохранила ее, так как была возмущена отношением к профессору Р. Гейлу наших украинских медиков. Ведь это не секрет, что доктор Гейл оказал очень большую помощь нашей стране после чернобыльской аварии. Зачем же поносить его, да еще с такой высокой трибуны? Ведь эту пресс-конференцию слушала вся Украина?

Экономист О. В. Глазова, Киев, Владимирская, 18/2, кв. 46».

Эффективность всей титанической «санитарно-просветительской» деятельности медиков достаточно ясно оценивает в своем письме А. П. Опанасенко, Киев:

«Прошло больше года с момента чернобыльской катастрофы, но до сих пор отсутствует аргументированная достоверная информация, что приводит к возникновению слухов, сплетен и радиофобии. Голословные, бездоказательные утверждения о том, что «все прекрасно», что на ЧАЭС такой же уровень, как в Киеве, бодренькие репортажи о героизме, о счастливой жизни эвакуированных никогда никого не убеждают. Нужна полная картина — во сколько раз увеличилось содержание радионуклидов в воде и пище, какие предельно допустимые суточные нормы поступления в организм, сколько стронция-90 и цезия-137 было в выбросе, и т. п.

Ничего не делается, чтобы восстановить доверие народа к средствам массовой информации, подорванное изложением событий в мае 1986 года. Во всех специализированных НИИ (гигиены питания, профзаболеваний, коммунальной гигиены) — заметьте, не оборонного профиля — созданы 1-е отделы. Значит, есть что скрывать от населения.

Муссируется вопрос об отсутствии опасности острой лучевой болезни. Так ведь в этом никто и не сомневается. Но почему-то при этом «забывают», что стронций-90 и цезий-137 накапливаются в организме. «Забывают» о том, что предельно допустимые дозы накопления для детей в 10 раз ниже. Ссылаются на рентгеноскопию. Но ведь это кратковременное и локальное облучение.

Мало того, уже несколько раз официальные лица Минздрава заявляли, что вот-де в Хиросиме и Нагасаки не наблюдается никаких последствий. Да как же у них язык поворачивается произносить такое кощунство! На протяжении 40 лет нам рисовали совсем иную картину.

Эти и другие «ляпсусы» дискредитируют органы массовой информации, наносят вред советскому строю. Забыты слова В. И. Ленина: «...Ложь и полуправда развращают человека». Пора бы это понять»,

Но вернёмся к доктору Гейлу и восстановим истину, которую упорно пытаются не замечать (или не знают се?) украинские медицинские авторитеты.

Из сообщений прессы: «Копенгаген, 31 августа 1986 г (ТАСС). В здании датского фолькетинга проходит симпозиум по проблеме оказания гуманитарной помощи населению в катастрофических ситуациях... Участники обсуждают вопрос «О праве людей на гуманитарную помощь в свете катастрофы в Чернобыле».

Американский врач Р. Гейл весьма высоко отозвался о докладе, представленном советской стороной в МАГАТЭ... Он заявил, что Советский Союз дал неожиданно довольно мрачную оценку последствий аварии в Чернобыле. «Русские считают, что около 150 тысяч человек во всем мире заболеют раком вследствие чернобыльских событий, из них половина умрет. Эта цифра весьма завышена. Я считаю, что она должна быть в десять раз меньше», — указал Р. Гейл. Он заявил, что эта цифра не столь велика, если сравнить ее с числом заболеваний раком в течение 70 лет из-за курения и использования угля в качестве топлива. «Общее число заболеваний раком вследствие аварии на советской АЭС возрастет лишь на один процент», — сказал Гейл.

И это подтвердил вице-президент АМН СССР Л. А. Ильин: «Другими словами, серьезные люди занимают серьезную позицию. Более того, если кто-то и завышает возможные последствия, то это, скорее, мы. Когда в августе 1986 года мы приехали в Вену на совещание экспертов МАГАТЭ, то представили свой расчет полученных коллективных доз, в частности, для людей, живущих в европейской части страны.

Так вот, эти дозы мы *сознательно, из гуманитарных соображений*, завысили, поскольку к тому времени еще не было информации, насколько эффективны все проводимые мероприятия. Реальные дозы облучения, нынче это уже ясно, оказались приблизительно в десять раз ниже, как мы и предполагали («Вечерний Киев», 6 февраля 1988 г.).

Выходит, прогнозы Гейла и советские прогнозы в общем совпадают? Из-за чего же тогда разыгрывается вся эта недостойная комедия? Кто же тогда более невежествен — доктор Гейл или его киевские оппоненты?

1 апреля 1988 г. в газете «Правда» появилась статья докто-

ра Гейла «Точка жизни во Вселенной», поставившая последнюю «точку» в странной «дискуссии»:

«Сейчас многих интересуют долговременные последствия аварии. Превалировало научное мнение, что поскольку их размеры не определены, то результатом публичной дискуссии может стать неоправданное беспокойство, и она может нанести вред. Хотя эта точка зрения и оправданна, такую политику надо сбалансировать равнозначно важным и убедительным обсуждением: право общества на полную информацию. Более того, информационный вакуум часто ведет к нереалистической обеспокоенности, спекуляциям и обвинению в утаивании».

**ЛУЧШЕ** не скажешь.

Эту простую истину, кажется, полностью игнорирует влиятельная часть медиков, забывших, что они несут ответственность перед своим народом, а не только перед начальством.

Я не знаю, какая «болезнь» поразила верхушку Минздрава СССР, но симптомы ее идентичны: беззаботные, самоуверенные соловьиные трели, полное отсутствие каких-либо тревог за будущее. Так, бывший первый заместитель министра здравоохранения СССР А. Н. Зелинский в интервью газете «Вечерний Киев» (11 сентября 1986 г.) на вопрос о состоянии здоровья людей, вывезенных из Зоны, заявил: «Беспокоиться за их здоровье в плане последствий воздействия радиации нет никаких оснований... Кстати, была обследована, и довольно большая, группа киевлян, в том числе и лиц, участвовавших в тех или иных работах в районах, прилегающих к тридцатикилометровой зоне, а также в ней самой. Все они полностью здоровы».

Пожалуй, дальше всех продвинулся профессор О. А. Пятак — заместитель директора новообразованного в Киеве Всесоюзного центра радиационной медицины АМН СССР. В статье с идиллическим названием «Мирный атом: сосуществование необходимо» («Вечерний Киев», 1 февраля 1988 г.) он заявляет:

«Врачи с полной ответственностью утверждают: при нормальном функционировании атомные станции не представляют опасности как для окружающей среды, так и для персонала, который там работает. Ну а обеспечение нормальной работы станции — это уже другой вопрос, к которому надо подойти со всей ответственностью. Думаю, что авария в Чернобыле многому нас научила. *В то же время, признаемся, разве не связана с определенным риском работа водителя или шахтера, летчика или врача-рентгенолога?*

...Теперь стало ясно, что меры, предпринятые после аварии,

оказались настолько эффективными (я имею в виду и эвакуацию, и особенности хозяйственной деятельности в затронутых выбросом районах, и контроль за продуктами, и обвалование водостоков, и так далее), что состояние здоровья людей практически осталось таким же, как и до нее... Человечеству не обойтись без «мирного атома». Значит, надо учиться с ним взаимодействовать».

Вы только подумайте, что говорит почтенный профессор, сравнивая чернобыльскую аварию (возможность которой полностью исключалась создателями реактора РБМК-1000), в которой пострадали ни в чем не повинные люди — десятки тысяч людей! — с риском водителя и т. д.! Иначе чем цинизмом это не назовешь.

С такой же невероятной легкостью О. Пятак клянется в полном отсутствии какого-либо вредного воздействия радиации на здоровье людей, хотя прекрасно знает, что последствия сказываются много позже — через 5, 10, 20 лет. Впрочем — знает ли? Я не поленился, сходил в республиканскую медицинскую библиотеку, просмотрел список трудов О. Пятака: ни одной статьи по вопросам радиационной медицины. Заурядные терапевтические работы. Вот как «взаимодействуют» некоторые медики Киева с «мирным» атомом.

Поймите меня правильно. Я врач и знаю, что такое деонтология (наука о должном поведении врача). Я не призываю к раздуванию панических настроений, к запугиванию людей возможными последствиями. Дай бог, чтобы их вообще не было. Но я против того, чтобы делать из людей дураков. И превращать Министерство здравоохранения в Министерство примитивной пропаганды. Кому-то кажется бедой, что слишком много у нас развелось интеллигентов — то есть информированных людей. Людей, которые могут прочитать в книге Дж. Коггла «Биологические эффекты радиации» (М., Энергоатомиздат, 1986, с. 175—176) расчет гипотетической аварии ядерного реактора неизмеримо меньшего, чем Чернобыль, масштаба:

«Вдыхание йода-131 может вызвать рак щитовидной железы у людей на расстоянии до 24 км от эпицентра со степенью 20% вероятности через 10—20 лет у 1000—10 000 человек. Из них только у 10% будет зарегистрирован летальный исход...»

Этим интеллигентам нетрудно будет найти в той же книге следующее сообщение:

«Комитет по изучению последствий атомной бомбардировки изучил смертность в 1950—60 гг. среди 100 000 выживших в Хиросиме и Нагасаки и сравнил со смертностью необлученных людей. Комитет обнаружил увеличение на 15% смертно-

ти среди людей, находившихся в пределах 1200 м от эпицентра взрыва. Смерть наступила исключительно от лейкемии».

В монографии Итсузо Шигематсу и Абрахама Кагана «Рак у переживших атомный взрыв» (Токио, 1986) сообщается, что ядерные взрывы вызвали острую лейкемию с пиком заболеваемости на 5—7-й год после облучения и возникновение опухолей тканей лишь через 15—20 лет с возрастанием заболеваемости спустя 40 лет.

При большом старании интеллигенты, столь не любимые Минздравом УССР, могут обнаружить и такое:

«...многие заболевания, которые никогда ранее не связывались с уровнем радиации — например, инфекционные заболевания (грипп и пневмония), а также хронические заболевания (эмфизема, болезни сердца, диабет, заболевания почек и паралич), в действительности существенно зависят даже от малых доз облучения» (В кн.: Химия окружающей среды. Под ред. Дж. О. М. Бокриса (Австрия). М., 1982, с. 424).

А уж совсем просто будет самому обычному читателю развернуть газету «Правда» за 15 февраля 1988 года и прочитать в статье А. Лютого «Рядом с ядерным дьяволом» (название-то какое?!), посвященной аварии в реакторе номер один ядерного комплекса Уиндскейл, Англия, в 1957 году:

«Специалисты полагают, что по своим масштабам и степени радиоактивного заражения авария в Уиндскейле уступает лишь чернобыльской (уступает! — Ю. Щ.). Тогда, в 1957 году, ни на пульте управления, ни в районе, прилегающем к нему, никто не погиб. Но уже спустя несколько лет начался отсчет жертв трагедии. Первым был скончавшийся в 1960 году от острой формы лейкемии мальчуган из местной деревни Саймон Бойд. По данным национального совета радиологической защиты, число скончавшихся от радиоактивного облучения достигло на сегодняшний день 33 человек».

Можно вспомнить и потрясающую статью В. Губарева, С. Свистунова и Д. Шнюкаса «Кувалдой по атому» («Правда», 11 января 1988 г.) о бедах, кои натворила в Бразилии ампула с радиоактивным цезием-137, не идущая ни в какое сравнение с чернобыльским выбросом.

Может, достаточно?

Итак, люди информированы. Люди встревожены вполне обоснованно. Не делайте из них дураков. Разговаривайте с ними на уровне, достойном нашего сверхсложного века НТР, на уровне гласности. Не запугивайте их, но и не распевайте соловьиные песни. Думайте о будущем. Думайте о чистоте вашего медицинского халата — нравственной чистоте. Не под

певайте тем, кто побыстрее хотел бы забыть о Чернобыле. Есть такие люди. Есть и такие, кто с очень короткой, мизерной дистанции двух лет, когда еще все свежо в памяти, пытается представить события, разыгравшиеся в первые дни после аварии, на уровне плаката по гражданской обороне, на котором нарисовано все как надо, ну просто идеально.

«В реальной ситуации, возникшей после чернобыльской аварии, распространение радиоактивности имело чрезвычайно сложный характер, что затрудняло составление прогноза. А чтобы эвакуировать население, надо точно знать радиационную обстановку, дать рекомендации, куда именно вывезти людей, чтобы вновь не попасть в опасные районы. 26 апреля такой ясности не было. Более того, в этот день радиационная обстановка в самом городе Припяти была относительно благополучной — об этом часто забывают, а то и искажают факты. *Сразу после аварии (!) было рекомендовано жителям сократить пребывание вне помещений, а занятия на открытом воздухе во всех детских учреждениях были запрещены, медицинские бригады провели йодную профилактику детей.* Таким образом, кто находился в помещениях, подверглись значительно меньшему воздействию гамма-излучения.

В ночь на 27 апреля радиационная обстановка начала резко ухудшаться, поэтому в 12 часов дня и было принято решение об эвакуации... Замечу, кстати, что критерий «б», *когда эвакуация обязательна, так и не был достигнут (!)* — это показали наши исследования» («Диагноз после Чернобыля». На вопросы корреспондентов отвечает академик АМН СССР Л. А. Ильин. — «Вечерний Киев», 6 февраля 1988 г.).

О том, как было сразу после аварии «предупреждено» население Припяти, неоднократно рассказывалось на страницах этой книги и в других публикациях. Одно из самых потрясающих свидетельств — документальные кадры из фильма режиссера Р. Сергиенко «Порог». Кадры, снятые припятским кинолюбителем 26 апреля 1986 г.: по городу ездят бронетранспортеры, милиционеры ходят в противогазах, разъезжают свадебные машины с невестами в белых платьях, и дети роются в песочницах как ни в чем не бывало. При желании можно получить еще не одну тысячу свидетельств. О «качестве» йодной профилактики детей можно будет судить по состоянию их щитовидной железы. Ну а то, что эвакуация вовсе не была обязательна, — одно из самых замечательных открытий после Чернобыля. В дополнение к нему мне остается лишь привести фрагмент из судебного приговора.

«Узнав о том, что уровень радиации в некоторых местах значительно превышает допустимый, Брюханов из личной заинтересованности — с целью создания видимости благополучия в сложившейся обстановке — умышленно скрыл этот факт. Злоупотребляя своим служебным положением, представил в вышестоящие компетентные организации данные с заведомо заниженными уровнями радиации. Необеспечение широкой правдивой информацией о характере аварии привело к поражению персонала станции, населения прилегающих к ней местностей» («Московские новости», 9 августа 1987 г.).

Если прав академик Л. А. Ильин, то, стало быть, надо немедленно освободить Брюханова, как невинно пострадавшего. Если же наоборот...

Уже в первые дни после аварии в лексикон украинской официальной медицины прочно вошло это удобное и эластичное, словно резиновый чулок, слово: радиофобия. Страх перед радиацией. В щебете «соловьев Чернобыля» слово это заняло почетное место: ведь им можно было пояснить все что угодно — все отклонения от здоровья, все естественные страхи, порожденные дезинформацией.

Выслушаем два противоположных мнения, чтобы уяснить себе суть проблемы.

#### **А. Мостепан:**

«В первые дни после аварии, когда мы еще плохо знали лучевую болезнь, был у нас такой грех: гипердиагностика, то есть диагноз ОЛБ (острая лучевая болезнь) в ряде случаев ставился необоснованно. И теперь весь мир знает, что у нас столько-то больных ОЛБ, потому что они вошли в регистр. А у нас их, наверное, меньше. В то же время не исключено, что у кого-то ОЛБ развилась в те дни, но его не «засекли», он перенес ее где-то и теперь уже не числится в списке больных. Диагноз задним числом поставить практически невозможно.

Парадокс? Да. Это создает ряд проблем. Переболевшие ОЛБ имеют ряд существенных социальных преимуществ. И вот, бывает, я вижу человека с неправильно поставленной ОЛБ: по-человечески, он не заслуживает тех льгот, что правительство выделило нашим больным. Но разве можно теперь снять диагноз? Никто не может этого сделать.

А рядом есть люди — я могу предположить, — которые действительно перенесли ОЛБ. Но на основании чего я теперь поставлю ему диагноз? На основании анализов? Он вообще сразу после аварии находился вне поля зрения медицины.

Но есть еще более серьезная проблема. Проблема больных.

которые получили дозы радиации, не вызывающие ОЛБ. Ниже ста рентген. Допустим, они получили суммарно 50—60 рентген. Это те, кто был во время аварии на станции. Они больны. У них есть какая-то патология. Это, скажем, не лучевая болезнь, но, возможно, лучевая травма, повлекшая за собою спазм сосудов. Нервная патология наблюдается.

Есть на этот счет две теории. Одна — что это никакая не патология, а радиофобия (боязнь лучевой болезни). Просто стрессовая ситуация. А другая — что все-таки радиация поражает нервные окончания, вызывает какую-то не познанную еще нами патологию. Большинство киевских медиков считает, что это все-таки действие ионизирующего излучения. Москвичи настроены так: по их мнению, это — психотравма, социальная, эмоциональная травма.

Я много думал над этой проблемой — ведь все-таки вижу этих больных с первого дня и по сегодняшний день. Вначале думал, что основную роль играют лучевые поражения. Потом все-таки примерно двадцать процентов больных я отнес к разряду страдающих радиофобией.

И самое горькое — не хочется даже говорить об этом, но придется: после того, как Совет Министров, ВЦСПС, Госкомтруд установили льготы для больных ОЛБ, резко увеличилось количество симулянтов. Рвачи — это очень мягкое слово. И среди моих больных таких примерно двадцать пять процентов.

Конечно, у них находят разные болезни: гастрит, бронхит, радикулит. Давайте мы с вами ляжем в больницу — и у нас найдут патологию. Тем более, эти люди действительно пережили стресс. Кто-то в Зоне пил, кто-то, извините, дрожал от страха, а кто-то что-то непонятное ел... А теперь они требуют связать свое состояние с лучевой патологией. Прикрываясь своим заболеванием, выбивают для себя льготы. Есть у меня больной, который жил в двухкомнатной квартире, трое их. Выбил себе трехкомнатную. А для того, чтобы выбить, надо иметь железное здоровье! У него не было лучевой болезни, это знают все. Он пришел в КРРОИ<sup>1</sup>, устроил скандал, побил медсестру. И получил диагноз ОЛБ.

Рвачи недовольны всем. Но как только решаются их проблемы социальные — они сразу становятся всем довольны. Вот лежит у меня такой. Ну ничегошеньки у него нет. Он пишет одну жалобу, вторую, третью. Кормят его не так, лечат не так.

---

<sup>1</sup> Киевский рентгенорадиологический и онкологический институт.

Все плохо. Только ему какую-то льготу дадут — он пишет благодарность.

Но есть еще группа больных, которые не больны ОЛБ, но и не симулянты, не рвачи. Я с ними до сих пор не могу разобраться. Вот почему я ушел от киевской точки зрения, но полностью к московской не пришел. Эти люди не умирают. И социальные вопросы у них решены. Но что-то у них не так.

— Что же?

— Не знаю. Жить бы да жить этому человеку, но что-то в нем сломано. Он и не трус, он не боится, честно работал в Зоне, он ест, пьет и работой тяжелой не измотан. Но появились у него утомляемость, головокружение, какая-то апатия. Их не так уже и много, этих людей, но разобраться с ними я не могу... В нашем отделении работает психоневролог, стараемся как-то восстанавливать таких людей. Здесь бы нужен социолог — нет его у нас. Так вот такие больные — загадка для нас. Никаких объективных данных нет, а он говорит: «Умираю, и все. Теряю сознание». Мы обследуем тщательно — ничего не находим. Объективно — немного учащен пульс и немного повышено давление. Нельзя даже сказать, что это гипертонический криз. Мы собираем консилиум за консилиумом, но так и не знаем — в чем суть этого явления».

Из письма Владимира Семеновича Палькина, Киев:

«Мне 45 лет, которые я прожил хоть и трудно, но честно. С раннего детства познал труд. С девяти лет пахал, полол на совхозных полях, убирал сено, работал в совхозном саду. Мои сверстники отдыхали в школьные каникулы, а я работал, так как мама зарабатывала старыми деньгами 300 рублей (30 руб.), а нас у нее было трое. Вот и приходилось мне на одежду для следующего учебного года зарабатывать самому ежегодно, в каникулы. Об этом я не жалею. Это навсегда определило мое отношение к честному труду. Да и в дальнейшей моей взрослой жизни только труд помогал мне преодолевать все невзгоды. Мой трудовой непрерывный стаж 30 лет, из которых четверть века я работаю на реакторе. На Чернобыльской атомной электростанции работаю 11 лет в должности старшего оператора реакторного цеха. Много сил отдал пускам блоков (а сейчас еще и здоровье). Считался лучшим специалистом. Имею правительственные награды. Дипломант ВДНХ СССР (диплом I степени). Ветеран труда. Участвовал в общественной жизни цеха, станции. Был председателем производственно-массовой комиссии. В общем, жил настоящей

жизнью. Дома — семейный уют, здоровая обстановка и все здоровы. Все это было. А что сейчас? Сейчас я выброшенный из колеи жизни. Больной человек, без средств к существованию, пытающийся встать в эту колею жизни, быть полезным обществу, семье, обрести то, что потерял. А сейчас получается, как будто и не работал я 30 лет на благо нашей Родины. Как будто и нет у нас законов, охраняющих мои права. Не верю в это! Всё у нас есть! И законы, и права! Только некоторые высокопоставленные товарищи еще боятся гласности и преподносят свою работу и отчетность в «розовом свете». В ущерб нам (народу), но для пользы своей карьеры. Мало того, они развернули кампанию за сокращение числа пострадавших после чернобыльской аварии. Сократить любой ценой, принося даже в жертву моральные и материальные блага больных и уважение к себе. Кто же они? Это люди в белых халатах, которые стоят на страже нашего здоровья. Парадокс? Да! Но судите сами. Вот суть дела.

До чернобыльской аварии я был здоровым человеком. Ежегодно и поквартально проходил в обязательном порядке медицинскую комиссию. Никаких отклонений по здоровью не было. Заключение медкомиссии всегда гласило: «Здоров. Годен к работе». Чувствовал себя прекрасно, занимался спортом, сдавал нормы ГТО. Но вот пришла беда. Беда для всей нашей Родины. 26 апреля 1986 года произошла авария на ЧАЭС, в глобальность которой я не верил. Окна моей квартиры напротив атомной станции, жена весь этот день моет их, готовится к 1-му Мая, зная уже об аварии. Я был на выходных. Сразу на улицу, узнать информацию. Встреча с коллегами. Целый день в спорах, в обсуждении. А утром, в 6 часов 40 минут, 27 апреля я приехал на станцию и отработал смену по ликвидации последствий аварии на II очереди. Составлен был новый график работы, по которому мне нужно было выходить в следующий раз на работу 1 мая. 28 апреля меня три раза пытались забрать «скорая помощь» в больницу, но я отказался, объяснив им, что 1 мая мне на работу. Но когда мне стало плохо: сильные головные боли, рвота, то меня увезли в больницу рейцентра Полесское, а оттуда в Институт рентгенрадиологии и онкологии г. Киева. В институте я находился в тяжелом состоянии: сильные очень головные боли, боли в костях. Огнем горел пищевод, есть не мог. Из горла шла кровь, из заднего прохода шла слизь с кровью. Сказали: «Радиационный ожог пищевода». Отстали десны от зубов. Пот лил ручьем. Температура поднималась до 39°C. Капельницы работали на всю мощь. В первые два дня в меня влили пять литров всевоз-

можных лекарств, в том числе и кровь. И так полтора месяца: капельницы, уколы, таблетки и пр. Два раза приезжал бывший министр здравоохранения СССР т. Буренков, осматривал меня; два раза — министр здравоохранения УССР. Навещали меня журналисты, интересовались моим диагнозом у начмеда. Тот отвечал: «У него лучевая болезнь I степени».

Но вот подошло время к выписке (в это время приехал из Москвы главный гематолог т. Воробьев). По институту пошел слух, что диагнозы будут на порядок занижать. Так оно и вышло. Вместо «лучевой болезни» ставят «лучевую травму». Вместо радиационного ожога пищевода ставят «эрозивный эзофагит». Когда я спросил у начмеда: «В чем дело?» — тот объясняться не захотел. Да и я особо не настаивал. Бежал оттуда без оглядки, очень рад был выписке. Не думал я в то время, что диагноз сыграет большую (отрицательную) роль в моей судьбе.

Так вот. Был здоров, а вышел я из института с болезнями: эрозивный эзофагит пищевода, гастродуоденит, колит, холецистит, остеохондроз, фарингит, стенокардия, атеросклероз, гипертрофия левого желудочка сердца, миокардотрофия, простатит. Видите, какой «букет», но это еще не все. В течение года добавляются: вегето-сосудистая дистония, гепатит, гипертония. Но об этом ниже, все по порядку. В институте корреспондент радиожурнала «Подвиг» меня спросила: «После того, как вы перенесли столько мук, пойдете ли вы еще работать на станцию по ликвидации последствий аварии?» Я ей ответил: «Пойду». Слово свое я сдержал. Вернулся на станцию и успел отработать на II очереди, более 500 часов (три месяца), но меня «вычислили», что я работаю с таким диагнозом, и приказом директора ЧАЭС вывели из зоны строгого режима в чистую зону. Может быть, и вовремя, так как через некоторое время я стал падать, теряя сознание, обострились все болезни, состояние точно такое же, как было в институте. Опять попадаю в больницу, в отделение лучевой патологии клиники № 25 г. Киева. Лечили меня вдвое дольше, чем в институте. Поставили дополнительные диагнозы, о чем я выше писал, но главный диагноз снимают. Это «лучевую травму», а все остальные, дюжину диагнозов, выводят в формулу — «хронические». Не странно ли? Правда же? Спрашиваю у заведующего т. Мостепана: «На каком основании сняли диагноз «лучевая травма», вы что, меня вылечили, что ли?» Отвечает: «Такового диагноза в медицине не существует». Странно, раньше существовал, а теперь не существует. Сейчас-то я знаю, что он мне лгал. Про-

шу допустить на комиссию ВТЭК, не допускает. Тем самым нарушая закон, так как по положению, если больной лечился четыре месяца и более в течение года в стационаре, он обязан пройти ВТЭК. Спрашиваю: «Если у меня повторится обострение, могу ли я рассчитывать на лечение в вашей больнице?» Отвечает: «Нет. Так как у вас сняли связь с ионизирующим излучением, а у нас отделение лучевой патологии, специализированное».

Все! Взяли и выкинули. Сначала сняли связь, потом закрыли за тобой дверь на ключ. Все очень просто делается. Так что? Мне обращаться теперь за лечением, может, в другую страну? Обращаюсь за консультацией в Москву. Приезжают два доктора из Шестой клиники — гг. Тарубаров, Баранов. И... проконсультировали Тарубаров заявил: «Ну и что, что вы до аварии были здоровы, а сейчас больны? Вчера еще была девочка, а сегодня женщина Разве так не бывает? Эти болезни у вас не от аварии, и связи с ионизирующим излучением у вас нет». Так что? Я работал на кондитерской фабрике? Съелся конфет, отсюда и все болезни? Выходит, так. А акт Н-1 о несчастном случае — мне его выдали на ЧАЭС, а не на кондитерской фабрике? Разговаривать с людьми, которые только защищают честь мундира, бесполезно. Позже приехала член-корреспондент АН СССР, профессор Гуськова А. К. И я в этом убедился еще раз и понял, откуда все идет. Рассказал я ей все подробно о себе. И что я работаю в атомной промышленности 25 лет, и что после ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в тяжелом состоянии находился на лечении, и как это протекало, и что за лето пять раз упал без сознания, и что на солнце не могу находиться и десяти минут, и что до сих пор не прекращаются боли в пищеводе, в желудке, селезенке, костях, и т. д. Все это ею оставлено без внимания. Она только спросила: «Что вы перед тем ели, как забрала вас «скорая помощь»? Я сказал: «Яичницу на сале». Она: «Вот почему у вас поражен пищевод, вы с салом занесли инфекцию». Даже врачи в комиссии, опустив головы, заулыбались. Нет, уважаемая Ангелина Константиновна, не салом я сжег пищевод. Не на мясокомбинате я работал, а на аварийной атомной станции. И в акте Н-1 о несчастном случае у меня запись: «Травмирующий фактор — ионизирующее излучение». Так что это далеко не сало. И мне непонятна ваша позиция шапкозакидательства. Подумаешь! Радиация! Она к советским людям не пристаёт. Вот за границей — там да! Там радиация коварней и сильнее нашей. Почему они там и болеют. А у нас никто не болеет. Нам она только на пользу пошла. С таких позиций может

смотреть кто угодно, но только не медики. Профессия врача — самая гуманная профессия. Вот почему мы им слепо верили. Я даже больше скажу, что это святая святых, охрана здоровья нашего народа. А здоровье народа — богатство страны! Так откуда же такое отношение? А вот откуда. Это не только мое мнение. Первое: чем больше спишут таких, как я, тем выше показатель «вылеченных» от радиации. А это плюс Минздраву. Второе: не дать тех льгот, которые установили для нас партия и правительство. Оплату больничных листов в пятикратном размере, бесплатные лекарства, процент потери нетрудоспособности, группу инвалидности, легкий труд, пенсия, и т. д. Третье: «святая святых» редко контролируется комиссиями, неспециалистам в ней трудно разобраться. Хоть куда пожалуйся — для проверки приедут коллеги. И как я уже писал, честь своего мундира они всегда защитят. И последнее: просто все хотят поскорее забыть чернобыльскую аварию. Может, это и правильно. Не знаю. Зачем беречь раны! Я тоже не хочу вспоминать об этом. Но мое здоровье не дает мне пока этого сделать. Болезни прогрессируют... О нас забыли... Одни пишут диссертации о наших болезнях, другие выжидают, что с нами будет дальше, а помощи — ниоткуда. Подождем перестройки в Минздраве!!!»

Тысячи жалоб подобного типа поступают в самые высокие инстанции страны. Сотни людей, прикоснувшихся к чернобыльскому огню, лежат в больницах с диагнозом «вегето-сосудистая дистония (ВСД)», ставшим своего рода эффе-мизмом, шифром причастности пациента к аварии. Допустим, есть среди больных симулянты. Но таких, убежден, единицы. Я не верю, что здоровые мужчины (а я видел таких больных, и не одного) способны долго симулировать, валяться по больницам, изображать из себя инвалидов — невозможно это!

Итак, проблема существует. Но решается она казенным способом «отрицаловки». Порою кажется, что некоторые медики, причастные к радиологической медицине, служат не здоровью людей, а могущественным атомным ведомствам, оберегают их финансовое благополучие. Выйдя из недр предельно засекреченной до самого последнего времени системы, такие медики ревностно заботятся об интересах своих хозяев. Пагубная болезнь ведомственности еще раз показала свое об-лицье...

Припятская поэтесса Любовь Сирота, пострадавшая во время аварии (у нее обнаружена лучевая катаракта), очень точно сформулировала в своих стихах симптомы этой болезни:

## РАДИОФОБИЯ

Только ли это — боязнь радиации?  
Может быть, больше — страх перед войнами?  
Может быть, это — боязнь предательства,  
трусости, тупости и беззакония?!  
Время пришло наконец разобраться:  
что же такое радиофобия?  
Это —  
когда не умеют смиряться  
люди, пройдя через драму Чернобыля,  
с правдой, дозируемой министрами  
(ровно вот столько сегодня глотните!).  
С лживыми цифрами,  
с подлыми мыслями  
мы не смиримся, хоть сколько клеймите!  
Не пожелаем — и не предлагайте! —  
мир созерцать сквозь очки бюрократа! —  
мнительны очень!  
И, понимаете,  
каждого павшего помним, как брата!..  
В стекла оконные брошенных зданий  
смотрим теперь мы на хрупкую Землю.  
Эти очки нас уже не обманут!  
В эти очки нам, поверьте, виднее:  
реки мелеющие,  
леса отравленные,  
дети, рожденные, чтобы не выжить...  
Сильные дяденьки, что вы им дали,  
кроме бравады по телевизору?!  
Как, мол, прекрасно детишки усвоили  
некогда вредную радиацию!  
(Это у взрослых — радиофобия,  
а у детей — все еще адаптация!)  
Что же такое с миром случилось,  
если гуманнейшая из профессий  
тоже в чиновничью переродилась?!  
РАДИОФОБИЯ,  
стань повсеместной!  
Не дожидаясь добавочной встряски,  
новых трагедий,  
чтоб новые тысячи,  
пекло прошедшие,  
делались зрячими, —  
радиофобией, может быть, вылечим  
мир  
от беспечности, алчности, сытости,  
от бездуховности, бюрократизма,  
чтоб не пришлось нам по чьей-либо милости  
в нечеловечество переродиться!

...В середине мая 1988 года в Киеве состоялась научная конференция «Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской АЭС» В конференции приняли участие ведущие совет-

ские специалисты в области радиационной медицины, врачи из США, Франции, Швеции, Индии, ряда других стран. На открытии присутствовали министр здравоохранения СССР Е. И. Чазов и Генеральный директор МАГАТЭ Х. Бликс.

Несмотря на очень спокойную академичную атмосферу, царившую на конференции, ей был свойствен скрытый внутренний драматизм: две основные проблемы, беспокоящие как медиков, так и представителей печати, допущенных на конференцию, время от времени прорывались на поверхность — распространение радиофобии среди населения и отдаленные последствия воздействия малых доз радиации на большую массу людей, живущих вокруг Чернобыльской АЭС.

Врачи выразили большую озабоченность широким размахом радиофобии и возможными последствиями этого недуга для здоровья людей. Назывался целый ряд причин, породивших это явление, и, в частности, упреки были высказаны в адрес органов массовой информации. Как заявил один специалист, «врач отвечает за здоровье одного больного, а пресса — за здоровье нации». Но разве только органы печати несут за это ответственность? Врачи, что ли, безгрешны?

На мой вопрос — можно ли бороться с радиофобией, давая только сверхоптимистическую информацию, уклоняясь от прогнозов или заверяя, что «здоровью населения абсолютно ничего не угрожает», — медики ответили раздраженными атаками на отдельных представителей творческой интеллигенции, которые, мол, раздувают тревожные настроения среди населения. В частности, речь шла о Белоруссии — республике, очень пострадавшей от первых — самых мощных — выбросов радионуклидов. Бедная творческая интеллигенция... Как бы спокойно без нее жилось тем, кто упорно не замечает, какое время нынче на дворе.

В пылу полемики профессор (фамилию его не хочу называть), обвинявший творческую интеллигенцию, обронил: «Два миллиона умрет от рака или два миллиона семьдесят пять тысяч — меняет ли это картину?» С точки зрения больших чисел статистики — не меняет. Но если в эти 75 тысяч раков сверх «обычного» уровня внести самого профессора, его жену, дочь и внука — то меняет существенно. Побывав на конференции, я еще раз пришел к выводу, что проблема нравственного уровня врачей сейчас едва ли не самая главная для нашей медицины.

Сверхоптимистическую концепцию, касающуюся отдаленных последствий аварии на ЧАЭС, выдвинул академик АМН СССР Л. Ильин. Суть ее заключается в том, что по

следствия в виде раковых заболеваний могут проявиться лишь после неких пороговых доз радиации, оцениваемых на уровне выше 25—30 бэр. Не буду оценивать научную суть этой, вероятно, небезукоризненной гипотезы; скажу лишь то, что могут воспользоваться ею недобросовестные люди, которые в угоду чьим-то интересам получают возможность манипулировать статистикой. Допустим, этого не будет. Но вот чего не могу понять, так это тревоги академика Л. Ильина за будущее атомной энергетики, прозвучавшей в его установочном докладе. Неужели врачу, защитнику здоровья людей, необходимо пекся о развитии атомной энергетики, которая аварией в Чернобыле начисто уничтожила безмятежную веру многих в гармоническое сосуществование «мирного» атома и человека?!

Сторонники «пороговой» концепции обвинили доктора Р. Гейла, в четвертый раз за последние 2 года приехавшего в Киев, в некомпетентности, в том, что его прогнозы, неоднократно звучавшие по радио и телевидению, вызывают у населения «всплеск тревоги». Между тем на своей пресс-конференции доктор Гейл представил очень умеренный, минимализированный прогноз дальнейшего развития событий, подчеркнув, что это не его личное сочинение, а мнение ряда ведущих американских экспертов в области радиационной медицины.

Ох уж этот наш оптимизм! Десятки лет при помощи этого нехитрого инструмента мы «обгоняем» все страны мира по самым разным показателям — от количества обуви до числа коек в больницах, от показателей смертности и заболеваемости до надоев в стаде коров, пребывающем под мудрым руководством самого академика Т. Д. Лысенко... Что получается на поверку — мы знаем. Только вот уже не с кого бывает спросить за большую и беспардонную ложь.

Я не хочу бросить тень на киевскую конференцию. Прделана большая и важная работа по осмыслению огромного материала, накопленного медиками в ходе аварии и ликвидации ее последствий. Конференция весьма демократична: было аккредитовано более 60 советских и 40 зарубежных журналистов, представляющих органы массовой информации ряда стран — в частности, такие «киты» печати, как ТАСС, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, Рейтер, Синь-хуа и другие. МИД УССР организовал ряд весьма ценных прессконференций, на которых журналисты могли детально обсудить с ведущими специалистами сложные проблемы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Все это так. Но вопросы остались. Тревоги не унялись.

Разве можно игнорировать тот факт, что накануне конференции в Киеве снова ухудшилась психологическая обстановка, поползли зловещие и нелепые слухи о том, что будут взрывать (!) саркофаг, о предстоящей эвакуации детей. И бороться с этими настроениями при помощи бездумного оптимизма и всеотрицающих заявлений о полном отсутствии каких-либо последствий аварии — психологически неверно и медицински безграмотно.

Этими сюжетами не исчерпываются медицинские последствия Чернобыля, как они видятся сегодня.

Читатель уже познакомился с рассказом В. И. Войтюка — председателя колхоза из Народичевского района Житомирской области. Люди на земле, загрязненной радионуклидами, — разве это не проблема, ради решения которой медики должны бросаться в бой, искать выход, бить в колокол тревоги? Ведь она касается обширных территорий Киевской, Житомирской, Черниговской областей, ряда областей Белоруссии.

Взять тот же колхоз имени Петровского. Для работы на землях хозяйства нужны трактора с герметизированными кабинами, а за все время, минувшее после аварии, колхоз получил два трактора... и ни одной кабины. А тракторный и автомобильный парк здесь изношены, кабины разбиты, ни о какой герметизации при работе на пыльных полесских землях не может быть и речи... Затеяли организовать душ для доярок — шкафчиков для одежды купить не могут, Василий Иванович показал мне новые шкафы... книжные. Проблема проблем — достать плитки на облицовку бани. В селе есть хороший фельдшерско-акушерский пункт. Но некому в нем работать. Вахтовым способом приезжают сюда девушки из медучилища. У части детей установили повышенное содержание радиоактивного йода в щитовидной железе — целыми семьями вызывали людей в Житомир и Киев на обследование. Особенно потряс односельчан Войтюка прием в Киеве, когда их принимал врач в респираторе. Люди говорили, что почувствовали себя белыми экспериментальными мышами... Мелочь? Нет. Человек после такого «приема» смотрит на себя как на прокаженного. Вот куда надо направлять свою энергию «соловьям Чернобыля»...

И на Житомирщине, и на Киевщине в районах, которых коснулось черное крыло радиации, вся партийная и хозяйственная работа практически вертится вокруг этой проблемы — об этом рассказывали секретари райкомов. И руководители, и рядовые в тех районах получше иных профессоров знают «уровни», «дозы», «точки», «пятна»... Об этом все раз-

говоры, думы и тревоги. И не столько о себе пекутся люди, сколько о детях.

...Зазвонил телефон, и женщина, не пожелавшая представиться, таинственно попросила встретиться с ней. Единственное, что я понял, — речь идет о Чернобыле. Не впервой были мне эти встречи — порою очень интересные, порою пустые, — и я вышел к памятнику Ленину. Торопливо подошла женщина средних лет и вручила мне пакет. Сказала, что это — письмо, направленное в высокие инстанции и подписанное несколькими тысячами жительниц Полесского.

И сразу же ушла.

Вот текст этого письма:

«Может, наше письмо и не увидит свет, может, никто и не прочитает горькие слова правды, может, и не стоит писать туда — в воздух, но мы уже больше молчать не можем.

Пишут вам жители Полесского, что лишь в 45 км от Чернобыля. Как мы здесь живем, думаем, вам известно, но все ли известно?

Известно ли, что земля, по которой ходим мы, ходят наши дети, — это не земля, не та земля, за которую отдали жизнь наши деды и отцы, а пепел радиоактивный, зараженный, смертоносный для босых детских ног, для хлеба. Воздух леса, воздух речки — это уже повышенный фон. Созревала клубника — а есть нельзя было, созревали ягоды — есть нельзя, а яблоки и вишни — хочешь, ешь, хочешь — нет, а детям (как нам говорят) вообще нельзя. Все это растет, живет — все нельзя нам, нашим детям. А как можно втолковать в детский ум, что всего НЕЛЬЗЯ! — того, чего с такой жадностью ждали всегда детские ручки, того, что радовало глаз — яблочек, пышных вишен? Как рассказать ту горькую обиду, ту горькую правду, которую от нас, взрослых, так явно скрывают? Этого нельзя, этого нельзя, а почему? Детское «почему».

А разве в силах мы, матери, чем-то помочь своим детям?

— Мы живем в мирное время, боремся за мир во всем мире, а сколько детей в нашем маленьком Полесском, в нашем маленьком мире?! Почему мы не можем их сохранить? Мы — песчинка во всем большом мире. А жить хотят все. Мы, матери, наши матери, наши дети — уже родившиеся и еще не родившиеся — просят вас: «Помогите нам! Сохраните нас! Ведь мы так хорошо жили! Так радовались яркому солнцу, голубому небу. И сейчас хотим жить, а не ждать чего-то. Разве для этой песчинки нет места в большом мире?»

Нам говорят местные власти, что у нас все нормально. Нет никакой радиации. Но мы имеем глаза, уши, видим, что землю

со всей красотой срезают и увозят, а увозят на другую сторону поселка, где также живут люди. Моют дома по нескольку раз подряд, а улицы моют без конца. Из улиц вообще сделали помойные ямы. Везде грязь, и только. Зачем сотни солдат в нашем городе? Если все «нормально»?

От государства мы никогда ничего не требовали. Сколько было сил — работали. Растили хлеб, кормили скот, сдавали государству излишки сельскохозяйственной продукции. С каким удовольствием мы каждое лето укрепляли свое здоровье, набирались сил наши дети! Здесь! Мы никогда не просили путевок для оздоровления детей, мы не нуждались в них. А сейчас нам дают их бесплатно. Зачем нам эти поездки?

Мы не просим у вас ничего чрезмерного. К нам приезжают много разных комиссий, но ни одна комиссия не говорила с нами открыто.

Дайте нашим детям чистый воздух, чистый песок, не забирайте у них беззаботное детство. Почему от нас уехали все врачи, которые уже много лет работали в нашей больнице? К кому нам сейчас обращаться за помощью?

Под любым предлогом уехали и многие руководители района: одних перевели, другие уехали на курсы. Нам кажется, что мы живем обычной жизнью, но это только кажется. Для нас нет той радости, что была раньше. Мы любим, женимся, рождаем детей. Но каких детей? Детей, умирающих в роддоме. Многие дети школьного и дошкольного возраста стали на учет по радиологии в больнице. Для наших детей делают все бесплатно. Но для чего? Мы с детьми живем только для опытов. Мы нужны для будущих аварий.

Колокола Хатыни, колокола Чернобыля!.. Так зачем же еще колокола Полесского?!

В некоторых селах нашего района уже повывозили скот. Для скота этот воздух, это питание вредно, но детей оставили и дали им накопители радиации. А вдруг выживут?

Многие села вокруг нашего райцентра выселены. Мы остались в кольце. Так с какой целью нас здесь держат?

К вам обращаются с надеждой матери маленького поселка на Украине.

Ждут, веря в ваше сочувствие и помощь».

Страшный текст, в котором, я надеюсь, далеко не все правда. Есть, по-видимому, переборы. Но и правды немало. Этот текст свидетельствует о психологической атмосфере после аварии. Я был бы счастлив, если бы и Минздрав, и

прочие организации убедительными фактами открыто, доказательно опровергли страхи женщин из Полесского. Это было бы полезнее и гуманнее всех бодрых заверений.

А пока будет молчание, пока будет раздаваться соловьиное пение — ждите массовых панических реакций и страхов. Таковы суровые истины послечернобыльского мира.

## ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

На тихой (а ныне — мертвой) улице Богдана Хмельницкого, что в городе Чернобыле, выросло сияющее бронзированным алюминием двухэтажное сборное здание, в котором расположилась Правительственная комиссия по ликвидации последствий аварии.

Ушли в прошлое сумасшедшая нервотрепка 86-го года, ежедневные заседания ПК, бэтээры, грохочущие по дороге к АЭС, неустроенность быта. Внешне все вошло чуть ли не в привычные рамки — хотя можно ли привыкнуть к аварии и ее размерам?

Но это только внешнее впечатление. Ибо работа осталась: разминирование радиоактивной мины замедленного действия, дезактивация огромных площадей Зоны, строений, складов, ряда помещений АЭС. Для проведения этой работы было создано мощное производственное объединение «Комбинат». Кроме разных технических служб при нем в феврале 1987 года образован не совсем обычный отдел — информации и международных связей. Этот отдел располагается в одном из отсеков «подводной лодки», как фамильярно именуют старожилы Чернобыля новое здание ПК, в котором все есть для автономного «плавания». гостиница, кухня и столовая, средства связи со всем миром, пост дозиметрического контроля и рабочие помещения.

При входе в отдел висит карта мира — из разных континентов, из многих стран мира связующие линии тянутся сюда, в Чернобыль. Руководитель отдела — Александр Павлович Коваленко<sup>1</sup>. Хотя Коваленко по образованию историк, он имеет опыт работы на атомных станциях, а в 1986 г. исполнял обязанности заместителя директора ЧАЭС по эвакуации и потому изнутри знает многие болевые точки аварии.

В годы своей работы в Чернобыле А. Коваленко был

---

<sup>1</sup> В настоящее время А. П. Коваленко находится на учебе в Москве.

более известен за границей, чем у нас в стране. Так уж сложилось, что в 1987—1988 гг. на Чернобыльскую АЭС приезжало больше иностранных корреспондентов, нежели советских. Коваленко отвечал на их вопросы и сопровождал их в поездках на АЭС и в город Припять.

### **Александр Павлович Коваленко:**

«Мировой опыт крупных аварий и испытаний на атомных объектах показывает, что руководители атомной промышленности всегда пытаются представить положение в более светлых тонах, чем оно есть на самом деле, будь то американская Тримайл-Айленд, атолл Бикини или английский Уиндскейл. И в СССР, к сожалению, этот принцип долгие годы был возведен чуть ли не в закон. Старая закоренелая привычка «сглаживать и приукрашивать», «превращать беду в победу», по меткому выражению одного из московских журналистов, сослужила во время аварии на Чернобыльской АЭС печальную службу.

Неоперативное оповещение населения и даже своего правительства отмечается во всех достаточно крупных ядерных инцидентах. В некоторых случаях речь может идти о прямой дезинформации.

Период, когда опубликованная в СССР информация о чернобыльских событиях часто носила противоречивый и успокаивающий характер, нанес глубокую рану общественному мнению о ядерной энергетике в СССР и во всем мире. Иностранные корреспонденты летом 1986 года на территории 30-километровой зоны не допускались. Однако зарубежная пресса этого периода изобилует статьями о последствиях событий в Чернобыле: это и абсурдные измышления о «конце ядерной мечты» человечества, слежение за движением «зловещего радиоактивного облака над Европой», о «нарушении экологического баланса в природе вследствие аварии», «политических и экономических последствиях аварии», о том, что «взрыв» в Чернобыле отразился на экономике сельского хозяйства и здоровье населения СССР, а также нарушатся отношения СССР с западноевропейскими странами». В начале мая правительства Западной Германии, Италии и Франции, чьи территории западные обозреватели посчитали наиболее пострадавшими, запретили населению торговлю определенными видами продуктов, запретили людям, живущим в сельской местности пить воду, молоко, а также питаться свежими продуктами, экспортируемыми из СССР, НРБ, ВНР ПНР,

ЧССР. В некоторых странах в это время запрещают пасти скот, предупреждают, что опасно попадать под дождь, и тому подобное.

Появилось множество «сенсационных» сообщений о тысячах погибших, о взрыве двух блоков станции, об отсутствии систем защиты реакторов. Прогнозы о смерти в ближайшем будущем половины населения города Припяти, гибели всех малых городов и деревень Украины и Белоруссии, постепенном вымирании Киева — буквально захлестнули страницы многих изданий стран США и Западной Европы.

Отсутствие нашей достоверной информации порождало информационный вакуум. А природа не терпит пустоты. Корреспондент журнала «Штерн» Марио Рене Дедерикс, который много писал по проблемам Чернобыля, откровенно сказал мне: «Если я не могу получить информацию от официальных лиц, то я ее получаю на Бессарабском рынке». Его первые публикации как раз и были взяты из «источников» Бессарабского рынка. Много позже он был у нас в Чернобыле.

«Представители Советского Союза выступали мало. Своим бездействием Советы отдали контроль за потоком информации в руки на Западе. В течение более чем двух недель от советских государственных служащих, врачей, инженеров, физиков и простых граждан информация поступала только в оптимистических тонах. Это снижало доверие к ней. Часть информации — в частности, об уровне радиации за пределами станций — вообще не распространялась или выдавалась поздно. В результате появилась проблема доверия к советским источникам информации» — так писал профессор Дэвид Рубин в брошюре «Уроки Тримайл-Айленда и Чернобыля», подготовленной в Нью-Йоркском университете осенью 1986 года.

Уже 5 мая газета «Интернэшнл геральд трибюн» опубликовала карту распространения радиации с подробными сведениями об уровнях в СССР и Европе, а жители Киева не имели об этом ни малейшего представления. Разве это нормально?

Когда же Советский Союз начал проводить брифинги и передавать информацию в МАГАТЭ, которое пресса считала надежным источником, Запад стал терять контроль над освещением аварии.

Следует вообще отметить характерную тенденцию в освещении событий в Чернобыле. В разные периоды работы по ликвидации последствий аварии проводилась различная политика относительно информированности. И чем меньше оперативной информации о Чернобыле появлялось на страницах советской печати, чем жестче становился информационный

режим, касающийся 30-километровой зоны, тем больше появлялось невероятных слухов и сплетен внутри страны, тем обширнее и разнообразнее становилась «достоверная» информация западных государств. И наоборот. Когда в феврале 1987 года в зоне начал работать Отдел информации и международных связей, когда были проведены первые телефонные мосты Чернобыль — западные средства массовой информации, когда в Чернобыле появился прямой справочный телефонный провод, а в зоне была организована работа всех желающих к нам приехать иностранных корреспондентов, ситуация начала выправляться, появилась возможность влиять на распространение информации.

Недооценка зарубежного опыта ликвидации последствий аварии в плане необходимости подготовки руководства и населения к трезвой оценке их относительной опасности и важности регулярной и объективной информации о складывающейся обстановке, закономерно привели к распространению у нас сильно преувеличенных представлений и оценок опасности, а затем возникновению среди части населения психологической напряженности.

Население всех стран настороженно относится ко всему, что связано с ядерной энергией, поскольку эта сфера секретна, а правительства в случае аварии не проявляют откровенности. Правительство Франции, например, в течение 10 дней после Чернобыля не сообщило населению о том, что уровень радиации в некоторых районах во много раз превышал обычный, в Италии сообщение об уровне радиации дали в единицах измерения, не понятных простому человеку.

В докладе, распространенном сенатором Джоном Гленном во время аварии в Чернобыле, упоминается 151 «значительная» утечка радиации, происшедшая в последние годы в мире. Почти обо всех этих утечках не было ничего известно.

Кому и зачем нужна эта секретность?

Покрытая тайной информация о загрязнениях окружающей среды, жертвах стихии и аварий, бессмысленные запреты на использование карт и въезд в обширные «зоны пропусков» — все это и у нас в Советском Союзе превратилось в большую и хорошо оплачиваемую отрасль. Этим занимаются высококвалифицированные специалисты и лица, не умеющие подчас делать больше ничего, кроме как не разрешать. Они кровно заинтересованы в сохранении прежних порядков. Одно освобождение этих людей от такого рода деятельности, сокращение их штата уже принесло бы ощутимый экономический эффект обществу. Конечно, это многим из них не понравится.

Вряд ли такие действия вызовут радость и у определенных категорий начальства. Жить в условиях гласности им тяжелее.

— Каковы вкратце результаты работы нашего отдела?

— Всего мы приняли на сегодняшний день 230 иностранных корреспондентов из таких органов печати, как «Тайм», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Ньюсуик», «Монд», ведущих газет Бразилии, Японии, Югославии, Индии, ряда других стран. Нет ни одного крупного мирового агентства, корреспонденты которого не посетили бы нас — «Рейтер», ЮПИ, агентство Франс Пресс...

Многие корреспонденты написали правду о Чернобыле — среди них Итон, представитель «Лос-Анджелес таймс», Том Шеппер в «Чикаго трибюн».

Также здесь было 16 ведущих телекомпаний мира — это и Си-би-эс, и Си-эн-эн, и «Антилопа», и две японских телекомпаний — «Эн-эйч-кей» и «Асахи-Тереби». Дважды работало в Зоне Итальянское телевидение. Один из фильмов снимало Итальянское государственное телевидение, режиссер Серджио Дзавалли. Оператором у него был известный Франческо Лазаретти, специализирующийся на съемках разных ужасов — он снимал фильмы о «Челленджере» и Анголе, Вьетнаме и Сальвадоре. Это была очень серьезная работа.

Вопросы они задают разные. Если корреспонденты чувствуют, что с ними говорят серьезно, искренне, не водят их за нос — а они это чувствуют, — они тогда верят, пишут объективно. Я вообще считаю, что сегодня главная проблема мировой атомной энергетики — это, если хотите, не технология, а общественное восприятие этой энергетики. Особенно после аварии.

Ведь мы тридцать или сорок лет твердили людям, что атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, — самое страшное, страшнее не бывает. И забывали рассказать о выбросах разных ангидридов и кислот. И у нас в стране, и во всем мире люди проявляют огромный интерес ко всему, что связано с радиацией. К сожалению, у нас не изучали общественное мнение, общественное восприятие этих проблем, потому что мы жили авторитарно. А на Западе — скажем, в США или во Франции — этому уделяют большое внимание.

Кроме сбора информации, мы проводим также анализ всех сообщений о Чернобыле. Проанализировали все советские публикации на эту тему.

Чернобыль и его уроки не должны быть забыты. А ведь есть люди, которые хотели бы забыть об аварии. С января по апрель 1987 года в нашей прессе царило по поводу Чернобыля

почти полное молчание. Этого нельзя допускать. И надо почаще возить сюда гостей — как советских, так и зарубежных. Побывав в Припяти, Лури, очень известный американский тележурналист, сказал: «Поклонники нейтронной бомбы! Вот что вас ожидает!» И показал это в фильме, снятом компанией Си-эн-эн.

— Ваши иностранные гости пользуются своими дозиметрами?

— Да. Дозиметры любых типов.

— А пробы земли они пытаются брать?

— Пытаются. Мы не ограничиваем. Главное — чтобы информация была объективной.

— Александр Павлович, этот раздел, в котором будет помещен ваш рассказ, я решил назвать: «Знать и помнить». Что бы вы как руководитель отдела информации назвали «памятью Чернобыля»? Что мы в первую очередь должны знать и помнить?

— Я бы эту проблему разделил на две части. Думаю, должна быть проделана большая работа по сбору воспоминаний нескольких сотен тысяч участников ликвидации аварии. Эти воспоминания показали бы суть нашего народа, суть тех процессов, которые происходят в стране.

— А вам не кажется, что их могли бы отредактировать таким образом, что они стали бы единообразны, так уже делалось не раз. Ведь можно выбросить, умолчать, можно причесать правду...

— Я не веду речь о том, что их нужно непременно сразу же печатать. Нужно просто собрать. Мы, наш отдел, собрали уже более пятисот разных воспоминаний участников чернобыльских событий — от самых малых «уровней» до самых высоких. Это одна сторона проблемы.

Вторая сторона заключается в том, что мы заплатили восемь миллиардов рублей за Чернобыль, заплатили бесценными человеческими жизнями, горем тысяч людей, выселенных из Зоны. Мы заплатили очень высокую цену. Взамен получили очень важный опыт ликвидации аварии подобного рода, познали какие-то технические, технологические вещи, не изведенные еще человечеством. Это тоже нужно помнить, не размазать, сохранить. Аварийно-технический центр, который создается во главе с Юрием Николаевичем Самойленко, должен, по идее, справиться с этой задачей — задачей технической ПАМЯТИ аварии, технического ОПЫТА ее ликвидации.

В чернобыльской аварии, как в капле воды, отразились все

проблемы нашей страны. Все. И техники, и медицины, и образования, и морали... Авария показала, что мы хорошо справляемся с целевыми программами, когда нужно что-то сделать конкретно. И слабо у нас идут дела, когда нужно организовать, наладить какое-то дело «вообще».

— Александр Павлович, каких узловых и драматических моментов аварии касаются воспоминания, записанные вами?

— Скажем, эвакуации. Я там не был, знаю только на основании документов и воспоминаний участников. Мне думается, это очень важная и пока еще неизвестная страница аварии. Непосредственно после взрыва на ЧАЭС в Припятском горотделе внутренних дел сработала сигнализация. Дежурил тогда некий товарищ Шевченко, который направил туда оперативную группу. В нее входили старший участковый инспектор Колпак, инспектор Качан и старший оперуполномоченный уголовного розыска Беленок. Они передали через несколько минут, что там — пожар. Для руководства мероприятиями по охране общественного порядка в связи с такой аварией был создан оперативный штаб. Его возглавил начальник Припятского ГОВД майор Кучеренко. В первые часы после аварии возле станции дежурил наряд вневедомственной охраны. Несмотря на сложные условия никто самовольно не оставил своего поста.

Более того, узнав о беде, находящийся в отпуске лейтенант Матюша незамедлительно прибыл в горотдел, попросил прервать отпуск и направить его на выполнение задания. Были созданы КПП, перекрыты дороги на ЧАЭС, сформированы дополнительные наряды патрульно-постовой службы. Это все происходило ночью.

Сведения взяты из боевого журнала Припятского горотдела внутренних дел. Когда рассвело, то милицейский вертолет сделал посадку возле здания атомной станции. В нем прилетели старший инспектор ГАИ капитан Игнатуша, майор Кушниренко, старший лейтенант Коновалов и Кищенко, которые заступили на дежурство в месте повышенной радиации возле автомобильного моста. Их задача состояла в том, чтобы перекрыть движение транспорта из города в опасную зону. Если помните, мы с вами, Юрий Николаевич, стояли на том мосту...

— Помню.

— И если бы жители Припяти пешком пошли по этому мосту — а другого пути из города тогда не было, — то они бы попадали в зону «пятна», лежавшего где-то на дороге напротив

станции. А там была очень высокая радиация — «след» выброшенного топлива.

26 апреля в десять утра эксперты-криминалисты УВД Киевского облисполкома Лукашенко и Евтушенко осмотрели с вертолета АЭС и сделали *первые* фотографии. Затем с участием заместителя прокурора области Даниленко был составлен *первый* официальный документ — протокол осмотра места происшествия.

В пять утра в Припять прибыл заместитель министра внутренних дел УССР генерал-майор милиции Бердов. Вообще замечу, что мы очень много и часто ругаем милицию, но конкретно изучение документов и свидетельств очевидцев показывает, что милиция сработала великолепно. Бердов взял в свои руки руководство по охране общественного порядка и организации всех служб. Из области вызвали дополнительные силы. В боевом журнале записано, что «на 8 часов утра 26 апреля было госпитализировано 33 работника милиции». О том, как они работали в тот напряженный момент, можно сделать вывод из рассказа генерала Бердова, который я позволю здесь привести:

«Припятский горотдел внутренних дел предпринял все возможное, чтобы исключить радиационное поражение людей. Весь город был оцеплен. Но мы еще полностью не ориентировались в обстановке, так как милиция своей дозиметрической службы не имела. А с АЭС сообщали, что произошел пароводяной выброс. Эта формулировка считалась официальной точкой зрения руководства атомной станции. Я приехал туда в 8 утра. Сначала зашел в пустой кабинет Брюханова. Увидел полную беспечность. Окна открыты. На столе стояли цветы. Людей нашел уже в кабинете Фомина. И первый вопрос, который я поставил: «Что произошло?» Он опять сказал: «Разрыв паропровода». Но когда я смотрел на Фомина, понял, что все серьезней. Сейчас понимаю, что это была трусость, сопряженная с преступлением. Ведь они какую-то реальную картину уже имели, но честно об опасности не сказали. Может быть, в ином случае не попали бы многие в больницу. Вернулись в горотдел. Начали прибывать дополнительные силы. Прилетел министр энергетики СССР Майорец. Ему тоже, как выяснилось, не докладывали полной картины. Но он сориентировался и принял решение о глушении первого и второго реакторов блоков, против чего *возражали* представители Минэнерго УССР. Я присутствовал, когда Майорец разговаривал по телефону с Н. И. Рыжковым об обстановке на станции. Была неразбериха. Бывший заместитель министра здраво

охранения СССР Воробьев бегал и кричал: «Ну чего вы здесь паникуете? Чего вы здесь паникуете?»

В 16 часов в зале заседания Припятского горкома партии появились Фомин и Брюханов. И впервые главный инженер сказал, что реактор взорван, а на территории станции валяется графит. В 15 часов прибыл замминистра МВД СССР, и где-то к 19-ти часам прилетел председатель Правительственной комиссии Борис Евдокимович Щербина, который после ознакомления с обстановкой уже к 22 часам 26 апреля принял решение об эвакуации Припяти. Развивалось это таким образом:

*«Медики были категорически против эвакуации!»* (Курсив наш. Ю. Щ.).

— Александр Павлович, меня особенно интересует моральная, да и профессиональная, позиция медиков. Кто из них был в Припяти?

— Был бывший заместитель министра здравоохранения СССР Воробьев и заместитель министра здравоохранения УССР Касьяненко. В общем-то, в чем-то понять их можно, поскольку для эвакуации населения существуют определенные нормы. Эвакуация производится при радиации, достигающей 15 миллирентген в час. На этот момент таких полей в Припяти еще не было. По всем документам и свидетельствам очевидцев, я так понимаю, медики думали не о том, что делать с населением, а о том, как они будут выглядеть в данный момент перед собственным руководством.

Когда Б. Е. Щербина ознакомился с обстановкой — это было где-то около 22 часов (ему докладывала аварийная команда Минатомэнерго СССР), он сразу дал команду готовиться к эвакуации.

— Таким образом, выходит, что медики не были инициаторами эвакуации?

— Нет. Это однозначно. Медики и гражданская оборона возражали против эвакуации. Инициатором был Борис Евдокимович Щербина. Я думаю — чем вызван такой подход Б. Е. Щербины к эвакуации? Всего семнадцать часов понадобилось, чтобы подготовить и провести эту масштабную беспрецедентную операцию. Одних автобусов было собрано 1251.

Мне пришлось работать долгие годы в Западной Сибири, где Б. Е. Щербина был сначала первым секретарем Тюменского обкома КПСС, а затем — министром по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности. В Тюменской области нередко случались ситуации, которые требовали принятия немедленных решений. Экстремальных решений. Например, когда была крупная авария на линиях электро-

передач, питающих Нижне-Вартовск, — разлилась нефть и затем загорелась, — и город остался без тока; или когда, например, поселок Мамонтово остался без топлива — слабая подготовка к зиме вызвала аварию. И сама жизнь учила тогда, что лучше в таких ситуациях эвакуировать население на один-два дня, чем потом расхлебывать это гораздо большими усилиями.

И вообще, я думаю, очень здорово, что председателем ПК стал именно Б. Е. Щербина, поскольку опыт Западной Сибири — это, с одной стороны, опыт экстремальных ситуаций, и с другой — это опыт реализации целевых программ, когда нужно выполнить какую-то задачу во что бы то ни стало. И конечно, опыт принятия самостоятельных ответственных решений, а не трусливого ожидания указаний свыше. В Западной Сибири вообще был иной стиль работы, чем на Украине до аварии. Я вам скажу, что когда попал на аварию в Чернобыль, я почувствовал себя вроде бы ТАМ, на Ямбурге или в Новом Уренгое, где между решением и действием не стоит огромное количество инстанций и длинных согласований.

— А когда же медики все-таки подписали акт об эвакуации Припяти?

— Когда обсуждались вопросы эвакуации, то выдвигались различные предложения. Было много споров о возможности широкого использования поездов и паромов. Но, учитывая компактность и мобильность, приняли решение вывозить людей автобусами. Окончательное решение об эвакуации было подписано 27 апреля в 12 часов дня. Оно было бы подписано гораздо раньше, если бы не медики. Они тянули время и подписались последними.

— Мне очень неприятно слышать эти вещи о моих коллегах. Но правда превыше всего. История еще скажет свое слово об их деяниях. Но возвратимся к информации. Вот мы говорим, что во время аварии погибло тридцать человек — от острой лучевой болезни. Это понятно. Но ведь там все драматичнее было — там погибали люди и во время автомобильных катастроф, разных происшествий... Ведь каждому понятно, что такая огромная стройка — если это вообще можно назвать стройкой — не могла обойтись без ЧП. Почему же мы скрываем это, ничего об этом не говорим?

— Конечно, было всякое... Зачем это скрывать — мне непонятно. Так, 6 октября 1986 года, во время проведения работ над саркофагом разбился военный вертолет. Экипаж из четырех человек погиб. Существует много версий, почему это произошло. Но ясно одно: они задели лопастями за тросы кра-

на и вертолет перевернулся... Эта трагедия случайно снята на киноплёнку... Мы должны знать, какой нелегкой ценой нам досталась победа над «мирным атомом».

И последний вопрос. Александр Павлович, вот вы сейчас стали жителем Киева, ваши дети уже киевляне. Вы очень информированы и точно знаете все, что происходит на АЭС. Скажите, а как бы вы оценили информацию с точки зрения обычного жителя Киева? Вас удовлетворяет то, что сегодня сообщают — весьма редко — украинские газеты, радио, телевидение? Ведь народ все еще волнуется?

Нет. Информация совершенно недостаточная. Нам вообще нужно смотреть и анализировать — как развиваются слухи? Надо давать населению такую информацию, которая бы мобильно реагировала на появление различных домыслов. Мы в нашем отделе ввели «прямой провод». И теперь знаем, какие слухи возникают среди населения. Мы объявили номер нашего телефона в Чернобыле — 5-28-05 — и отвечаем каждому, кто позвонит нам. Кстати, порою случается так, что из-за рубежа идет звонков больше, чем из Киева.

Но когда мы пытаемся мобильно реагировать и давать информацию по Украинскому радио или телевидению — то она гибнет в недрах этих организаций. Слухи нам удавалось отсекать только при помощи разговора по прямому проводу. Но это частный разговор, и эффективность его не очень велика. На массовые каналы телевидения выхода нам не давали.

Вообще проблема информации по Чернобылю — не в нежелании ее дать и не в ее «закрытости». Мы готовы ее дать. Это проблема готовности органов массовой информации. Такая информация необходима, она бы «гасила» все волны домыслов, до сих пор валом идущие по Киеву и Украине, доходящие порою и до Москвы»

**Знать и помнить.**

Знать все. И медицинские последствия аварии, как бы ни было тяжело их признавать. И технические подробности ликвидации чернобыльской беды. Помнить все — не только имена героев.

Знать душевное состояние людей, еще не оправившихся от шока. Помнить многосложное, противоречивое сплетение всех обстоятельств, всего доброго и злого, что сошлось в этом страшном слове: Чернобыль. Все знать, все помнить — но уметь и пожалеть тех молодых людей, что, не ведая, сотворили на Земле репетицию Апокалипсиса. А пожалев — простить их. Особенно тех кто поплатился своей жизнью.

**А. Усков:**

«Митинское кладбище, 26 апреля 1987 г. Наш святой долг — быть здесь сегодня. Поклониться могилам наших товарищей, погибших в ту страшную ночь 26 апреля 86-го. Я не оговорился — они еще жили неделю, месяц, три! Но они были обречены — слишком велики их дозы, слишком тяжелы ожоги. «Мирный атом» сурово наказал всех. В одном ряду лежат жертвы и виновники аварии, герои и просто случайные люди... Подлецов здесь нет. Все, кто в ту ночь работал на IV блоке, — сражались до последней возможности! Люди плакали, когда их уже под руки вводили в медпункт; в периоды временного улучшения возвращались обратно на блок. Что это было? Сознательный поиск смерти? Чувство громадной вины за содеянное? Стремление хоть что-то сделать, чтобы облегчить ситуацию? Думаю, что все вместе.

А ведь ребята прекрасно понимали, что означает рвота и дозприборы в зашкале.

Не лучшим образом, преступным образом они вели тот эксперимент в ночь на 26 апреля, но смерть приняли как люди, на поле боя, лицом к опасности... Трудно сказать, смыли ли они свой позор смертью — но презрения, злости к ним я не испытываю. В таких случаях ничего не говорят.

Будем объективны. Без целого ряда грубейших нарушений «концевой эффект» не привел бы к катастрофе. Реактор к взрыву подготовили ВЫ — своей готовностью выполнить, угодить большому начальству. Страшно сказать: «Нет! Нельзя!» В его руках ваша карьера, благополучие, спокойная жизнь. «Жиранф большой — ему видней!»

...А нам нести и за тех, и за других тяжкий крест виновников страшной беды. Мертвым проще, мертвые сраму не имут. А как мы объясним простому народу, который не знает, что такое реактор, что такое «концевой эффект», что эксплуатационный персонал ЧАЭС — это полторы тысячи людей, а к аварии отношение имеют единицы! Остальные же, кому выпала тяжкая судьба в ту ночь работать, не раздумывая пошли в пекло. Поступили так, как подсказала совесть советского человека. 17 из них спят вечным сном на Митинском кладбище. Какие ребята здесь остались навеки!!! Анатолий Ситников, Анатолий Кургуз, Виктор Лопатюк, Анатолий Баранов...

Это он, Анатолий Андреевич Ситников, покуда мог ходить, руководил спасательными работами на 4-м блоке, организовал подачу охлаждающей воды в аварийный реактор. Наша группа

лично от него получала команду на подачу воды через питательный узел барабана-сепаратора.

Это он, Анатолий Кургус, уже обожженный паром, успел закрыть стальную гермодверь в центральный зал реактора № 4.

Это он, Виктор Лопатюк, после страшного взрыва, когда плитами перебило кабели питания аварийных насосов, когда под угрозой была безопасность 3-го блока, с группой товарищей сумел запустить важнейшие агрегаты. Он был младше Толи Баранова (у Толи — сын 1983 г., дочь 1978 года рождения), намного младше, но в ту ночь доказал делом, жизнью! — что достоин быть Человеком с большой буквы! И возраст здесь ни при чем...

Два ряда могил на центральной аллее Митинского кладбища. Могилы-близнецы. Белый камень, золотые буквы. Могилей Ходемчука стал саркофаг. На погосте деревеньки Чистоголовки, покинутой жителями, — скромная могила Володи Шашенка<sup>1</sup>.

Сегодня первая годовщина аварии. Год, как случилась эта беда на Украине, а будет ли конец этой беде? Поймут ли люди, как страшна эта сила, попавшая в руки тех, кто в угоду спесивым руководителям готов нарушить все регламенты. Нарушить, чтобы удовлетворить их честолюбивые амбиции. А ведь это не единичный случай! Это ведь система! Система, у которой принцип прост и короток: «Я начальник — ты дурак. Ты начальник — я дурак».

Мы годами растили скромного исполнительного специалиста. Личности думающие, имеющие собственное мнение и готовые его защищать, невзирая на должности и звания, безжалостно изгонялись. Без них спокойней. А сейчас удивляемся, почему это директор станции в самые тяжкие часы, когда надо было решать, был в шоке? Главного инженера вообще не было на станции — спал.

«Гласность должна стать нормой нашей жизни», — призывает нас Политбюро ЦК КПСС. Призывает и тех, кто искренял долгие годы даже робкие попытки критики, этой самой гласности.

А тут еще такая авария на Чернобыльской АЭС! Как только не пытались скрыть масштабы аварии! В мае — июне газеты были полны дешевых публикаций, что все идет хорошо, авария ликвидируется, обстановка нормализуется.

А чтобы народ не волновался, на «съедение» прессы кину

---

<sup>1</sup> В 1988 г. В. Шашенок был перезахоронен на Митянское кладбище.

ли виновников аварии — эксплуатационный персонал ЧАЭС. Вось. Вот так. А пожарные герои. Все. И не меньше.

Я с глубочайшим уважением отношусь к ребятам-пожарным из расчетов Кибенка и Правика. К тем, кто потушил огонь на крыше машзала 2-й очереди и 3-го блока.

Но нельзя же перечеркивать весь труд эксплуатационников в ту ночь. Нельзя об этом забыть. Ведь сколько было сделано! Под взрыв попали 7-й и 8-й турбогенераторы (4-й блок), а в каждой турбине и ее маслосистеме почти 100 тонн масла. В каждом сепараторе — водород. Ребята-турбинисты успели слить масло в аварийные емкости, вытеснить водород. Вот здесь-то и сторел Александр Лелеченко...

Я своими глазами видел, как ребята с блочного щита управления № 4 уже с признаками лучевой болезни просили, чтобы их не отправляли в медпункт. И вместе с нашей группой из РЦ-1 они пошли в очередной раз подавать воду в аварийный реактор... Нам повезло, мы выжили, — а для них эта попытка оказалась роковой.

Ребята из этой ночной трагической смены искали и нашли всех своих раненых товарищей. На руках вынесли обожженного оператора ЦЗ Анатолия Кургуза, Дегтяренко. Никто не бросил своих товарищей в беде. Старшего оператора ГЦН Валерия Ходемчука искали без перерыва два дня!!! Уже зная о тяжелейшей дозобстановке, о мощнейших полях гамма-излучения. Прекратили поиски после неоднократных категорических запретов, когда стало ясно, что могилой Валеры стал громадный завал с бешеным фоном...

Чернобыль. Для всей страны, для всего мира этот скромный украинский городок стал символом страшной беды, для нас, выживших, — это еще и голос, который не дает спать спокойно, жить тихо — требует, чтобы не забыли мы в мелочной суете, не растеряли мужество рассказать правду об этой трагедии 26 апреля...

На центральной аллее Митинского кладбища 26 могил, и мы сегодня приехали к вам, наши дорогие товарищи. Пусть не всех мы знали лично, пусть имена ребят из эксплуатации ЧАЭС обошли стыдливым молчанием, но мы помним о вас.

На кладбище очень много народа. Теплый весенний день. Все уже собрались. Алые гвоздики привезли с собой — позаботились наши товарищи, которые после лечения тяжелых степеней ОЛБ остались в Москве. Они тоже с нами. За жизнь многих врачи не ручались, а они выжили!

Подожли к могилам наших ребят, каждому на могилу — букет гвоздик. Наши скромные гвоздики утонули в массе

венков на могилах пожарных. Они в одном ряду с нашими парнями. У могил почетный караул пожарных в военной форме, все внимание фотокинокорреспондентов — здесь. Подходят люди, кто с цветами, кто просто. У могил работников АЭС не задерживаются... Цветов им никто не кладет... И дело не в количестве цветов и венков на их могилах, просто люди не знают, кто лежит рядом с пожарными из Чернобыля, что они сделали, кроме того, что сообщено в прессе. Сейчас мы видим плоды упорного молчания о людях, которые удостоены посмертно орденов Советского Союза. Горько и обидно.

Люди шепотом спрашивают друг у друга:

— А здесь кто?

— Да со станции, кто радиацию большую получил.

Это в лучшем случае. У меня пожилой мужчина спрашивал — не ребята ли из Афганистана здесь похоронены? Я чуть не сорвался, но он не виноват. Откуда ему знать, кто здесь похоронен?

На кладбище приехал пионерский отряд в праздничной форме, тоже с цветами. Детишки с букетиками кладут цветы тоже пожарникам. Одна девочка растерялась, положила цветы на могилу Саши Кудрявцева. Капитан-пожарный (наверно, старший здесь) замахал руками: «Не туда!»

Девочка торопливо переложилась свой букетик на могилу пожарного. И это все на наших глазах! Не видеть бы это безобразиие...

С тяжелым чувством идем к своему автобусу Ребята мрачные.

Надо обязательно поставить здесь, на Митинском кладбище, мемориал, или памятник, или просто памятный знак, но что-то делать надо и сказать честно, кто есть кто! Должны люди знать, кто такой Ситников, Лопатюк, Кургуз, Кудрявцев, Баранов, Бражник...

Едем к Виктору Смагину. Помянуть надо ребят. Первый раз собрались вместе. Да и когда было собираться? Ребята только-только встали «на ноги» после неоднократных пересадок кожи, у нас работа и жилье в Киеве. Масса проблем нерешенных, почти у всех семьи, дети.

Но сегодня мы здесь, и это главное. Это уже до конца наших дней — 26 апреля, день памяти наших товарищей»

Из письма Е. А. Сидоровой (Харьков), написавшей по поручению 6 персональных пенсионеров:

«Просим Вас всем нашим миром, очень просим!

В день Чернобыля, горя всенародного и победы над бедой, бить в набат по радио или телевидению в память и назидание потомкам!»

Знать и помнить.

На встрече с представителями движения врачей М. С. Горбачев сказал:

«Надо преодолеть идеологию «ядерного сдерживания», на которой строится политика НАТО. Мы подвергли очень серьезному анализу все аспекты этой «теории». Сторонников ее, видимо, ничему не научили ни Хиросима, ни Чернобыль, уроки которого стали забываться. Кому-то это, видимо, выгодно. Но мы-то знаем, что это такое» («Правда», 3 июня 1987 г.).

Кому-то выгодно... И на Западе, и у нас в стране. Кому же? Послушаем рассказ Юлии Дмитриевны Лукашенко — бывшей припятской учительницы, а нынче — учительницы школы № 7 Белой Церкви.

**Ю. Лукашенко:**

«Нас, припятчан, в Белой Церкви около двух тысяч. Учителей тридцать пять человек. Землячество припятское еще существует, но уже распадается. По каморкам своим люди начинают разбегаться. Особенно детям тяжело. Порой приходит сын и говорит: «Мама, ты знаешь, мальчишки говорили — убирайтесь в свою Припять, убирайтесь в свой Чернобыль. Вы должны нам в ножки кланяться за то, что мы вам здесь квартиры дали». Очень тяжело такое слушать, но я при детях держусь. Только потом, когда одна,— плачу.

И вот у нас родилась мысль о встрече всех припятцев. Особенно она укрепилась, когда мы поняли, что уже не попадем в свой город. Мы должны встретиться. Когда? Другой даты быть не могло — только 26 апреля 1987 года. В первую годовщину аварии.

Начали мы эту мысль обсуждать. Но потом прошел слух, что нам запретят встречу, будто бы бояться какой-то демонстрации. Мы хотели встретиться в Киеве, на Крещатике. Почему в Киеве? Потому что здесь большинство с АЭС живет. Почему на площади Октябрьской революции? Потому что это — центр, запоминать не надо, все знают. Это сердце Киева, куда все стекаются. И поэтому я решила выразить мнение всех людей.

За месяц до предполагаемой встречи я написала письмо первому секретарю ЦК Компартии Украины товарищу В. В. Щербицкому:

«Уважаемый товарищ Щербицкий. Ходят слухи, что 26 апреля 1987 года встречи припятцев и чернобыльцев не будет, так как якобы кто-то боится демонстрации. Да, это будет демонстрация. Но демонстрация борьбы за мир, демонстрация за ядерное разоружение, это будет демонстрация, когда мы скажем всему советскому народу спасибо за поддержку. Было бы очень хорошо, если бы эту встречу организовали по-настоящему, чтобы мы имели возможность встретиться с работниками ЧАЭС, с героями, писателями, артистами...»

Ответа я не получила. Пришло почтовое уведомление, что письмо вручено... Но я никогда не предполагала, что они могут меня так понять. Они поняли так, будто я... просила концерт. А я имела в виду артистов, читающих что-то о Припяти. Думала, что мы все пообщаемся. Еще была мысль у меня — написать письма какие-то, возвания, письмо Рейгану написать обязательно, потому что мы это пережили. Хотя это и крупница, тысячная доля процента того, что человечество может пережить в случае войны, — но это нас коснулось. Крылом, но коснулось. И ничто нас, никакие силы не могут разъединить, потому что сейчас мы все — знакомые и незнакомые — роднее, чем самые близкие. Вот что-то такое я написала.

Последствия были интересные. Сразу же в Киеве, на Троещине, где живет много наших, в Белой Церкви, везде по области провели собрания с просьбой не ехать на встречу. У нас собрание проводил человек из Киева, из КГБ, я не помню фамилию, интересный мужчина, он довольно высокий чин имеет. А потом учителей наших — 35 человек — отдельно собрали, и он говорит: «Если вы поедете, вы поступите очень дурно. Если хотите — я просто запрещаю вам это делать».

Но меня сразу не сломаешь. Я все-таки была настроена ехать. Тогда буквально через день-два ко мне приезжает наш заведующий киевским облоно Выговский. Побеседовал со мной. И спрашивает: «Меня послал министр просвещения узнать — чего вы хотите?» Я ему сказала, чего я хочу. Он: «Юлия Дмитриевна, мне велено вам передать, что у нас победы над атомной электростанцией еще пока нет. Мы еще не можем успокоиться на том, что сделано, еще не можем радоваться, не можем устраивать вам концерты в первую годовщину».

Я говорю: «А кто просил это? Это же кощунство. Нельзя же так, ведь мое письмо было иного содержания». — «Да? А мне так передали...»

Потом меня вызывает товарищ Лендрик, заведомо пропаганды у нас в Белой Церкви. Ведет меня к нашему первому секретарю Юрию Алексеевичу Красношапке. Со мной беседа там в таком стиле: чего я хочу? и почему написала? и кто мною, быть может, руководил? Я говорю: «Я одна писала, выражая мнение людей. Подписалась одна».

Он меня долго уговаривал, чтобы я отказалась от этой цели. В конце концов... я уступила. Смалодушничала самым настоящим образом. Уговорили меня. Больше того — уговорили, чтобы я создала инициативную группу и сделала все возможное, чтобы никто из Белой Церкви не был на Крещатике. Мне помогла в этом одна подруга. А вторая подруга, когда попросила, та сказала: «Вы предатели! Как вы можете? Я поеду!» Я ей говорю: «Ну просили же. Товарищ из КГБ приезжал, наверно, чем-то это все мотивировано. Говорили, что за граница бомбы готовит. Чтобы бросить в толпу и смятение вызвать. Он сказал, что это будет использовано во враждебных целях». Я точно знаю, что меня на связь с заграницей проверяли... Это было. Не руководит ли мною кто из заграницы.

Это старое мышление. Ограниченное. Я видела, что им самим противно, я это чувствовала. Они в глаза не смотрели, когда говорили.

Это еще не все. В воскресенье, 26 апреля, нам устроили воскресник в школе. Ко мне приходили разные люди — из облоно, школы, смотрели так на меня, словно... Обложили меня со всех концов. Было настолько противно и возмутительно... Я не выдержала, пошла к первому секретарю и сказала все, что думаю. «Я понимаю, — говорю, — я человек чужой, незнакомый. Но я никогда не пойму — за что вы меня оскорбили этим воскресником? За что, какой воскресник?» Оказывается, это по Киевской области устроили воскресник, по линии министерства просвещения. Чтобы удержать наших детей и родителей от поездки в Киев...»

Теперь расскажу, как была «отмечена» у нас вторая годовщина Чернобыля. 13 апреля председателю Киевского горисполкома тов. В. А. Згурскому было подано заявление:

«Просим Вас разрешить проведение митинга общест-венности «Памяти Чернобыля» в воскресенье 24 апреля 1988 г. в парке Дружбы народов. Предполагаемая продолжительность митинга — с 13 до 17 часов, количество участников около 1000 человек.

Цели митинга:

1. Почтить память погибших от аварии и поклониться мужеству героев.

2. Рассеять ложные слухи о якобы ухудшившейся радиационной обстановке.

3. Призвать граждан к широкому участию в экологическом движении.

Митинг будет проходить под лозунгами: «Чернобыль — грозное предупреждение!», «Приветствуем ликвидацию ракет!», «К безъядерному миру!», «Новое мышление — надежда всего человечества!», «Поддерживаем курс партии на демократизацию и гласность!», «Больше гласности в экологических вопросах!».

На митинге предполагается выступление героев Чернобыля, ученых, писателей.

Инициативная группа также просит горисполком оказать содействие в проведении митинга:

1. Дать информацию о митинге в городской прессе.

2. Предоставить для озвучивания митинга радиотрансляционную установку.

3. Наладить работу выездного буфета.

4. Выделить наряды милиции для обеспечения общественного порядка.

В целях успешного проведения митинга инициативная группа предполагает все вопросы решать во взаимодействии с советскими и партийными органами».

Это заявление подписали восемь членов инициативной группы: Гудзенко Г. И., геофизик, инженер Института геологических наук АН УССР; Кириенко П. Н., инженер треста «Киевгеология»; Кошманенко В. Д., доктор наук, ведущий научный сотрудник Института математики АН УССР; Ольштынський С. П., кандидат наук, старший научный сотрудник Института геохимии и физики минералов АН УССР; Поташко А. С., старший научный сотрудник временного творческого коллектива «Отклик» при Киевском университете; Сотникова Р. В., инженер треста «Киевгеология»; Федоринчик С. М., аспирант отделения ЦНИИ связи; Яковенко Ю. В., кандидат наук, научный сотрудник Института кибернетики АН УССР.

О том, как развивались события дальше, рассказывают участники инициативной группы.

**Галина Ивановна Гудзенко:**

«Приближалась вторая годовщина чернобыльской трагедии, вошедшей в жизнь миллионов моих земляков. В пред-

шествовавшие месяцы и недели наше телевидение провело ряд «круглых столов» по атомной энергетике и по экологическим проблемам республики. Город полон слухов — один другого невероятнее. Митинг! Вот где можно почтить память погибших при аварии, дать возможность общественности встретиться с учеными, врачами, участниками ликвидации последствий аварии и, возможно, рассеять вздорные слухи.

Инициативная группа собралась у Мариинского дворца, где разместился Украинский комитет защиты мира, в рамках которого начала действовать экологическая организация «Зеленый світ». Но, увы, — слаб пока наш защитник природы и человечества: взять на себя ответственность за проведение такой акции, как митинг трудящихся, «Зеленый світ» не решился. Тут же было решено обратиться за помощью и разрешением на проведение митинга в горисполком. Согласовали текст и отправили гонца в приемную. Все в рамках Конституции. Поскольку сроки поджимали, попросили решить наш вопрос побыстрее. Когда мы пришли в понедельник 18 апреля за ответом (а митинг планировался на 24 апреля), взволнованная девушка в приемной сообщила, что наше заявление только сейчас попало «на доклад к т. Згурскому», что вопрос очень серьезный и может быть решен только на пленуме горисполкома, и, естественно, никто не знает, когда будет пленум. Ответ, мол, получите в течение месяца. Какая уж тут годовщина... Наконец после долгих уговоров милостиво разрешила справиться о результате в среду, 20 апреля»

### Станислав Петрович Ольштынский:

«До 20 апреля подписавших письмо подвергли проверке с целью установления реальности личностей, образа жизни, благонадежности и лояльности по линии райотделов милиции с посещением места жительства участковыми уполномоченными и наведением справок у соседей и дворников домов. С нами были проведены беседы представителей бюро первичных партийных организаций и сотрудников режимных отделов по месту работы. Эти беседы носили характер «промывания мозгов» с увещеваниями в стиле «почему вы с нами не посоветовались?», «почему не поставили нас в известность?» При всей внешней вежливости этих «бесед» они носили характер бюрократического нажима.

20 апреля 1988 года мы были приглашены на прием к заместителю председателя Киевского горисполкома В. Н. Ко

черге, однако прием был перенесен им на следующий день. 21 апреля пятеро из нас были приняты В. Н. Кочергой. В кабинете присутствовали также директор Института коммунальной гигиены М. Г. Шандала, заместитель председателя городского Комитета общества охраны природы А. Т. Лупашко, завприемной горисполкома И. К. Билевич и еще один мужчина в сером костюме, которого нам не представили. В течение всего приема он молчал.

Кочерга зачитал наше письмо, затем сказал, что исполком провел предварительные консультации с заинтересованными ведомствами и общественными организациями по данному вопросу. Никто из них это предложение не поддержал. Затем Кочерга сказал, что уже проведен ряд мероприятий, в том числе в г. Славутиче и у пожарных г. Киева. Вопросы чернобыльской аварии достаточно освещались в печати и на различных собраниях, и исполком считает нецелесообразным использовать для митинга выходной день. Далее он рассказал о радиационной обстановке в Киеве и ее безопасности, об удовлетворении городскими властями нужд переселенцев и строителей, проживающих в Киеве.

Хотя Кочерга высказался одобрительно о лозунге «Больше гласности в экологических вопросах», но на нашу просьбу окончательно сформулировать позицию исполкома по вопросу проведения митинга заявил, что исполком это предложение не одобряет и не поддерживает. Обещал выдать краткое письменное заключение.

Мы заявили, что в связи с фактическим отказом горисполкома в разрешении на проведение митинга мы прекращаем работу по его организации, оповещаем людей о том, что митинг не разрешен и никого не собираем для его проведения. Просим различные стихийные попытки выступлений с работой нашей группы не связывать.

Однако, как выяснилось, 24 апреля в парке Дружбы народов работали усиленные наряды милиции, был задействован вертолет наблюдения, а в Витутинском райкоме КПУ в течение пяти часов находились собранные туда «на всякий случай» директор Чернобыльской АЭС М. П. Уманец, директор Института коммунальной гигиены М. Г. Шандала, член-корреспондент АН УССР В. М. Шестопалов, завлабораторией дозиметрии центра радиационной медицины АМН И. А. Лихтарев и многие другие руководящие работники партийных, советских органов и учреждений. А митинга не было! Получается, что Киевский горисполком впустую проделал огромную работу, оторвал от отдыха уважаемых людей совершенно зря, без

всякой пользы для хорошего гражданского дела. «Как бы чего не вышло». Апофеоз бюрократизма!

Вот какова гласность и демократизация «по-киевски»

**Галина Ивановна Гудзенко:**

«26 апреля этого года маленький зал Союза писателей Украины, где состоялся вечер, посвященный второй годовщине аварии, не мог вместить всех желающих. Люди стояли в проходах, сидели на подоконниках, томились в коридоре. А в это время на Крещатике наряды милиции и дружинники «героическими усилиями» пресекали стихийную демонстрацию по этому же поводу. И силы нашлись, и средства, а вот разрешить митинг — это пока выше возможностей наших городских властей. Удастся ли дожить до сотрудничества с «избранниками народа»? Очень хотелось бы этого».

28 апреля 1988 года в газете «Вечерний Киев» появилось сообщение Управления внутренних дел горисполкома, выдержанное в грозных, столь знакомых тонах:

«26 апреля 1988 года, в 19.00, во время проведения подготовительных и ремонтных работ к первомайской демонстрации на улице Крещатик и площади Октябрьской революции группа экстремистски настроенных лиц, состоящая в основном из числа членов так называемого «украинского культурологического клуба», пыталась спровоцировать беспорядки, усложнить проведение этих работ, мешать движению транспорта и пешеходов.

Используя как предлог вторую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, участники собрания стремились провокационными выкриками и надписями на транспарантах подстрекать прохожих к противоправным действиям, сознательно спекулируя на их чувствах.

Руководители и активисты так называемого УЖК были официально предупреждены правоохрнительными органами о недопустимости подобных действий в соответствии со статьей 187<sup>3</sup> Уголовного кодекса Украинской ССР, которая предусматривает ответственность за организацию или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.

Поскольку, невзирая на предупреждения, участники собрания продолжали свои антиобщественные действия, сотрудники органов внутренних дел и народные дружинники были

вынуждены доставить в Ленинское РОВД 17 правонарушителей.

После рассмотрения и соответствующего предупреждения 14 из них в тот же день были отпущены (следуют фамилии)».

Это «перестройка» по-киевски.

Вспоминаю, как долгие годы в Киеве шла глухая борьба вокруг Бабьего Яра: кому-то очень не хотелось, чтобы на месте кровавых гитлеровских злодеяний собирались люди, вспоминали своих близких... Сколько административного рвения было затрачено на все запретительные меры — и какой ущерб мы наносили сами себе, престижу нашей страны. Потом наконец разум восторжествовал — и что случилось? Киев стоит на месте, красные флаги на месте, только в сентябре приходят к памятнику жертв Бабьего Яра люди, кладут цветы, выступают, встречаются, думают, вспоминают.

Я убежден, что Киевский горисполком и лично его председатель Згурский несут полную ответственность за то, что произошло в Киеве 26 апреля 1988 года. Вместо того чтобы отсиживаться под охраной милиции в служебном кабинете и разъезжать по городу в черной «Волге», В. А. Згурский (человек, совершенно недоступный для подавляющего большинства киевлян) был обязан проявить интерес к предложению вполне благонамеренных и законопослушных граждан Киева и подумать: что же лучше? Организованный и проводимый ответственными людьми митинг или стихийная демонстрация (кстати, тоже вписывающаяся в рамки Конституции), явившаяся следствием необоснованного запрета городских властей?

Трусливая, в сущности, антиперестроечная позиция (почему бы, кстати, после этой истории Згурскому как человеку, несущему моральную ответственность за нее, не подать в отставку?) только льет воду на мельницу различного рода экстремистов, пытающихся использовать неуклюжие запретительные меры безнадежно устаревшей Административной Системы для реализации своих корыстных целей.

Да неужели у вас, «отцы» нашего древнего города, нет иных аргументов и решений, кроме полка милиции и катков, перегородивших Крещатик? Стыдно за вас.

Я убежден, что «чернобыльские встречи» надо узаконить. Надо делать все возможное, чтобы не сработал период полураспада памяти, период нашего полузабытья. Ведь уроки Чернобыля жизненно необходимы нам для построения будущего.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

КПП в Дитятках напоминает перевалочный пункт на границе двух государств. Широкая многополоска шоссе, помещения для караульной службы, шлагбаумы, предупредительные надписи. Это и есть граница Зоны — нового, невиданного мира, возникшего в 1986 году и надолго утвердившегося на этих полесских землях, полных печальной прелести.

Стоит перед шлагбаумом автобус. Обтерханный, выдавший виды «пазик». Сидят внутри люди — старухи в черных платках, старики. Молоденький милиционер проверяет пропуск. Старается не смотреть на желтый профиль покойника. Неловко цепляется за железный венок стоимостью 8 рублей 50 копеек. Грохочут окрашенные зеленой краской листья

Едут в Зону хоронить земляка. Возвращают его этой земле, родным местам, где вырос, где прожил всю жизнь. Поднят шлагбаум, автобус въезжает в Зону. При выезде он пройдет тщательный дозиметрический контроль. А поминки устроят уже на новом месте — где-нибудь в одном из 52-х выстроенных летом 1986 года сел на Киевщине.

### Возвращение.

Осенью 1987 года мы с режиссером Марком Орловым жили несколько дней в Чернобыле — ездили по Зоне, были на АЭС, встречались с разными людьми. В отделе информации и международных связей смотрели все, что снято о Чернобыле у нас в стране и за рубежом. Кино- и телефильмы, программы западного телевидения и отечественные видеосъемки судебного процесса над виновниками аварии.

Потом мы поехали по Зоне в сторону Белорусии. Было нас несколько человек, все в одинаковой форме цвета хаки в фуражках-афганках на головах, в тяжелых башмаках. Выехали на околицу Чернобыля, к Припяти, через которую переброшен понтонный мост. Опять вспомнилась война, детство, возвращение весной 1944 года в Киев — и женщины с котомками (на Украине их называли «клумаки») за плечами..

И только наш автобус въехал на мост (по нему в мае 1986-го эвакуировался из села Красно отец Леонид), как впереди мы заметили нескольких старых женщин, бредущих на левый берег Припяти. В черных плюшевых жакетках, с мешками на спинах. Увидев автобус, женщины замахали руками. Мы остановились, взяли их.

Что делают они здесь, в строго охраняемой Зоне?

Это — возвращенцы. Или, как называют они сами себя, «самоселы». Те, кто самовольно, невзирая на все запреты, вер

нулся домой, в родное село. Так мы доехали до села Парышев, что в нескольких километрах от переправы. А возвращались женщины из Чернобыля, куда ходили купить хлеба и молока — ведь в селе ничего нет — ни магазинов, ни почты, ни медицины, ни власти. Мы сели на скамеечке возле сельсовета, на дверях которого — увесистый замок, и я записал бесхитростные рассказы этих людей.

### Ульяна Яковлевна Урупа:

«Я возвратилась в село три недели тому. Почему вернулась? Жили мы в Барышевском районе, село Лукьяновка. А перед тем три с половиной месяца жили в Бородянском районе. У людей. Люди нас не обижали, приняли хорошо, очень хорошие хозяева. А потом в августе 1986 года приехала колонна грузовиков, и нас перевезли в Лукьяновку. Там построили домики, рядом с селом построили. Нам дали отдельный домик — мне пятьдесят семь лет, — я пенсионерка, муж пенсионер, и мать старенькая калека. Что я скажу? Беда, да и только. Домик сырой. Холодно. Обои поотпадали. Никто внимания на нас не обращал. Никто не понимал. Там совхоз. Угля путного не дали. Домики неплохо построены, но они сырые. Что же за два месяца можно было сделать?»

А совхоз что? Совхозу рабочие нужны. А не пенсионеры. Рабочим директор дает по восемьсот килограммов угля, и из совхоза еще помощь. А мы вроде сами по себе. Мы пенсионеры, нам в могилу надо идти. И все. Так чего ж я там буду скитаться? Сидеть и погибать? Мы зиму одну перезимовали — хватит. Очень холодно было в доме. Вот так в фуфайках и жили. А ночью не ложились, боялись, что батареи полопаются. Так мы и бегали. Пойдем к тому углю, помешаем, а он и потух. Там котлы были. Мы дрова искали, палку любую. Если б хоть сделали по государственному котлу — мы бы платили деньги и были бы довольны. А тут — нагрелось, а потом сразу и потухло.

Молодые остались. Стонут. Только что дети, потому некуда деться, а если бы не дети — все бы сюда вернулись. «Только домой, — плачут люди, — хотим домой. Установите нам власть, давайте скот, давайте жить, давайте сельсовет».

Скот мы сдали, когда выезжали отсюда. Сначала скот погрузили на машины, а потом нас. Пошла колонна скота и колонна людей. Если бы вы увидели, что тут делалось... Война. Самолеты летят. Скот ревет, дети плачут... Война настоящая, только не рвались снаряды. Хуже войны... Чего ж мы будем

там жить? Хотя бы один раз к нам приехало какое-нибудь начальство, чтобы было кому пожаловаться, с кого потребовать, сказать — помогите нам; мы же люди, сдвинутые с места, расстроенные, разнервенные, хоть бы дров дали. Сырость — одежда мокрая, к телу липнет, спать нельзя, все смердит. Тяжелая была зима... Много наших людей там умерло. Много».

### **Хима Мироновна Урупа:**

«Я поехала со всеми в эвакуацию, ну и поселили меня к племяннице. Тут я имела хату, все хозяйство... а там по одной дощечке ходи, да если что не так — то племянница кричит на меня. Я терпела-терпела, одна, у меня никого нет — ну и добралась до Парышева. Месяца два пошаталась, а больше нет. В июне 86-го вернулась. Границы тогда никакой не было. Прошла всю Зону пешком. Солдат не было. Вот я дома хожу, туда-сюда, когда откуда ни возьмись — милиция пришла: «Здравствуйте, бабушка». — «Здравствуйте». — «Давно вы, бабушка, тут?» А я говорю: «Да в среду приехала. А в какую среду — то лучше не знаю». — «Вы, бабушка, здесь долго не будьте, потому что много будете набирать этих... рейганов...» Я говорю: «Сынок ты мой, голубчик, — их, правда, двое было, — детки вы мои коханные, я же больше не наберу, чем набралась, и оно было здесь и раньше, только никто не мерял». Ну, они пошли, а я продолжаю дальше.

Люди, когда выбирались в эвакуацию, так забирали вещи с собой. А я ямку выкопала и закопала. Вещи, разную ерунду, одежду. Она чуть не погнила. Так я ее вывесила сушиться. А там всякое разное — и красное, и синее, и розовое. Тут слышу — самолет летит. В-в-ву... Я — одежду прятать, чтоб не видели... Он и полетел. Продолжаю жить. Уже больше стало людей — то один, то двое, то трое проникают и проникают. Вот я и дожилась, что надо картошку на осень возить. Своя плохая, пропала в земле. Я пошла по полям, за стебель, смотрю где хорошая. Так и навозила картошки мешков пятнадцать на зиму. Куры у меня были и три собаки.

Так и перезимовала. Ничего не боялась. Я на краю села жила, сама ночевала. Попросила, чтобы мне радио на батарейках купили, слушаю себе. Хоть бы что. Керосиновая лампа. А керосин брала в магазине, там его много — так нам милиция открыла, дали керосину. А дров сколько было! На этот год еще хватит. Печку натоплю, лежу себе, тепло, красота. А хлеб нам начала Белоруссия возить — лавка приезжала. Вот так зимой в нашем селе душ двадцать жило. А всего было перед

аварией душ четыреста. А уже под весну начали люди съезжаться - больше, больше.

Спасибо милиции, они за нас заботились. Приезжали, смотрели — где там наши бабки? И снег разгребали, когда большие заносы были. Они нас не выгоняли. Поговорят, поговорят, что нельзя - а мы их послушаем. Куда они нас повезут?

Сегодня уже в селе живет сто двадцать человек. Восемьдесят дворов заселено. Не только пенсионеры, есть те, кто работает в Чернобыле. Но детей сюда не везут».

### **Олена Кондратьевна Бондарь:**

«Я на пенсии уже два года. Муж тоже на пенсии. Дети — один в Киеве, в Академии наук работает, второй был в Чернобыле. Дети в прошлом году сюда нас не пускали, невестка прямо гвалт! А я говорю: «Да у вас в Киеве больше той радиации, чем у нас. Приезжал один милиционер, мерял, говорил, что у него в Киеве на подушке больше, чем у нас здесь». В этом году сын молчал. Ничего не сказал. Я ему говорю: «Сынок, как хочешь, я иду домой, потому что тут я умру».

Я жила в Барышевском районе, отдельная хата. Но там ничего не растет. Одна осина в огородах. Они не знают, что такое яблоко. Разве что поедут в Киев и купят. А здесь я картошки напыхала, четыреста тыкв вырастила, мешок зерна — уже и продала, лук есть, и морковь, и свекла, и огурцы — все есть. И помидоры, и груши.

Врачи были у нас, кровь брали. Я думала, что эта радиация на пользу человеку. Кто там был болен, в эвакуации, здесь все здоровы. А там много наших умерло — душ восемнадцать. Старики все — позамерзали, простудились. Почти всех их здесь и похоронили.

Церковь закрыта. Говорят, что на Илью много чернобыльцев приехало. Вокруг церкви собрались люди... Батюшки не было, а людей много. Сами молились богу. Это такая наша жизнь.

Все хотят домой. И никуда мы отсюда не выслемся. Ни за что. А если кто-то нас будет отсюда забирать — мы будем хаты жечь и сами будем гореть. Или — вон рядом речка: возьмемся за руки и так прямо в речку бросимся. Если нас будут трогать нахально.

Возвращались сюда на машинах. И поросенка привезли, и кур. Коров люди держат. Кто пьет молоко, кто поросяткам отдает».

### **Хима Мироновна Урупа:**

«Ой, коровы, коровы... Горе одно. Вы знаете, откуда люди коров взяли? Из Черной зоны. Не купили корову, а просто поймали. Черная зона — это десятикилометровая. А наша считается Зеленая зона. Черная зона за проволокой — от нас в шести километрах... Люди рассказывали, что в Черной зоне две коровы ходят. И двое теляток. «Заберите, — говорят люди, — жалко». Когда коров вывозили, видать, выпрыгнули из машины. И полтора года жили сами в Зоне.

Вот эту картину можно перенести?

Коровы были тельные, когда спрыгнули с машины, они растелились. И та, и та с телятком. Перезимовали и ходили. Разве можно на это спокойно смотреть? (Плачет.) И одна корова у меня. Она стоит у меня в сарае, я ей сено даю, свеклу, тыкву. Молоко у нее есть, но я не пью. А телятка уже нет. Волки съели. Сейчас здесь много волков появилось. Двух коней разорвали... И лисицы есть. Говорят люди, что в Старых Копачах еще одна корова ходит, килограммов девятьсот весу в ней, вымя такое большое. Они уже зверями стали. Люди из того села ходили и просили, чтоб кто-то забрал ту корову. Она идет к людям и руки всем лижет. А люди боятся... Уже зима наступает. Что будет с тем бедным скотом?»

### **Алексей Федотович Коваленко:**

«Я здесь зимовал. Мне восемьдесят лет, я радиации не боюсь. Воевал. Был на финской, потом на польской, потом на Алтай и оттуда — на Отечественную. Пять лет отбыл. Закончил войну в Праге. Имею медали, орден. Жена была в эвакуации, а я здесь. Потом весной привез жену. Здесь лучше. У меня зимой света не было — я милиции сказал. Они позволили в Чернобыль, приехали оттуда и провели электричество.

Живем очень хорошо. Земли сколько хочешь — хоть пять гектаров бери. Только нечем пахать. Власти никакой. Белорусы берут наши совхозные уголья. Здесь Белоруссия в семи километрах от нас. Так они под самым моим домом выкосили сено и вывезли к себе. Из Белоруссии приезжали машиной закупать картошку. Потом возят ее в Москву, Ленинград. По двадцать копеек платят за килограмм. Как можно понять — что это такое?

В милиции тоже меряют эту «радиацию». Там один милиционер со мной ходил. Меряет, меряет — нет... нет... есть! И до черта есть! Ну, я взял лопату, срезал раднус метровый.

Потом взяли воду из колодца и давай лить. Они меряют — нет! И куда ОНО улетело? В воздух? Или в землю?»

После этих разговоров мы ехали молча. Слов никаких не было. Может, слезы в глазах... На земле уже явственно проступали признаки запустения: кустисто росла само-сеяная пшеница, бурьяны подступали к самой дороге, запущенной сверх всякой меры, заглушали дворы сельских школ. Леса, подернутые осенней дымкой, были угрюмы, села — вымерли. В одном селе увидели роскошный двухэтажный дом. Белым газовым шлейфом выхваченная из открытого окна развевалась по ветру кружевная занавеска. Милиционеры, ехавшие с нами, рассказали, что хату эту, в которой только бы жить да жить да детей рожать и добро наживать, построил перед самой аварией молодой механизатор. Три года работал не покладая рук, сам выкладывал по кирпичику...

Потом Украина внезапно закончилась. Началась Белоруссия, о чем извещала едва заметная, замшелая, засыпанная пылью табличка.

Белоруссия — сестра Украины, многострадальная и героическая, простодушная и работающая. Авария в Чернобыле жестоко прошла и по белорусским пескам, лесам, болотам (там, где радионуклиды, труднее всего очистить). И только совесть и мужество Алеся Адамовича, его взволнованный голос заставили местные власти взглянуть в лицо беспощадной правде, признать тот факт, что радиоактивный факел опалил и Белоруссию.

...Через полчаса мы катили по короткому заасфальтированному отрезку улицы, ведущей в центр белорусского села Гдань (если помните, именно сюда советовал мне поехать Аким Михайлович Старохатний).

Село это, между прочим, находится в 30-километровой зоне.

В отличие от украинских сел, здесь кипела жизнь. Мы зашли в местную школу, дивясь звонким ребячьим голосам. Ведь никто же вроде бы не отменял режима Зоны, такими строгостями обставленного с украинской стороны.

**Василий Михайлович Самойленко, завуч школы имени Героя Советского Союза П. И. Шпетного, деревня Гдень Брагинского района Гомельской области:**

«Нас выселили 4-го мая. А некоторые деревни выселили

лишь в конце мая. Выселение организовано проходило — раз надо, так надо. А вот возвращение, заселение деревни проходило, как говорится, по-партизански.

Нас сначала вывезли в деревню возле Брагина, но потом оказалось, что мы из лучшей зоны попали в худшую. Нам сел настроили. Но конкретно никуда не определили. В конце августа мы еще толком не знали — где будем. Я интересовался — мне же работать надо с 1-го сентября. В Гомеле и в облоно, и в облисполкоме бывали. Нам говорили, что пробы все чистые. А еще раньше в то село, в котором мы временно жили, приезжало к нам руководство республиканское, они заявили, что скоро возвращение назад. Приезжали Таразевич — председатель Президиума Верховного Совета БССР, Камай — первый секретарь Гомельского обкома.

Но чтобы конкретно, чтобы была команда заселять Гдень такой команды не было. Люди постепенно стали возвращаться. Колхоз стадо коров погнал сюда, пастухи пришли. Где-то к октябрю месяцу деревня была заселена. А учебный процесс в школе мы начали после Октябрьских праздников.

Когда руководители выступали, они обещали нам благоустроить деревню, проложить асфальт, но, видимо, сразу же за все деревни ухватились — поэтому у нас начали, немного асфальта проложили, щебень насыпали, одно начали, другое не кончили — и все. Только пыль теперь поднимается. Куда-то убрали всю технику, никто толком не знает. А живем мы нормально. Только медики работают вахтенным способом. И половины учителей не хватает.

Зона со стороны Белоруссии открыта, люди на своих машинах ездят. Колхоз наш полностью вернулся к хозяйственной жизни. В школе учится пятьдесят один ребенок. Трое детей не вернулись.

Молоко завозят в магазин. Молока недостаточно, но у людей есть коровы, люди употребляют молоко от своих коров. У меня у самого корова, я пью свое молоко. Слава богу — живу».

**Учительница химии и биологии Надежда Михайловна Самойленко:**

«Я думаю, что выскажу мнение многих: сюда мало кто бы вернулся, если бы нам было где жить. А так уже на носу был декабрь 86-го, надо было вернуться, потому что те хозяева не очень-то хотели, чтобы мы там жили. И никто нам ничего не обещал — построить села, как это сделали, на Украине.

Нам платят двойную зарплату, говорят, что у нас чистая зона. Но мне не очень-то верится, что она чистая. Если Украина всех своих выселила из 30-километровой зоны, считая ее нечистой, то почему же у нас в Белоруссии чисто? Вы знаете, сколько здесь километров до АЭС? Семнадцать. В хорошую погоду от нас станция видна. Как же может быть здесь чисто? Если в Бразилии ампулка от рентгенкабинета столько дает, то я думаю, что в Гдене повыше радиация будет, чем там.

Мы *вынуждены* были вернуться, это я смело заявляю. Нам некуда было деваться. Если бы нам предложили дома и квартиры, разве бы мы вернулись?

Перед аварией у нас был постоянный медработник, фельдшер. У него маленькие дети, как раз его жена родила двойню. Он здесь жил, хозяйство вел. После аварии уехал и не вернулся.

Когда мы возвратились сюда — мы только половину своих вещей застали. А у некоторых и того меньше. Вот даже в нашей школе пропали вещи, магнитофон — и теперь надо отвечать директору, потому что они пропали во время эвакуации. Какое отношение к этому имеет директор?

Когда мы возвращались — нам золотые горы наобещали. И водопровод, и крыши, асфальт. И клуб. Асфальт не проложен. Водопровод недавно проложили, но он работает ненормально. Топим в основном дровами. Пытаемся проводить разъяснительную работу, чтобы дети в лес не ходили по грибы, но...

Психологическое состояние напряженное».

### **Из сообщений прессы:**

«Условия необычные — на поле всегда дозиметрист. Он проверяет каждый тюк сена, продукты, воду. Работать нужно в респираторе — даже на лугах много пыли. Попробуйте в двадцатиградусную жару надеть «лепесток» — больше двадцати минут никто не выдерживает.

Еще труднее трактористам. Земля по-прежнему является источником радиации. Во дворе коммунхоза растут прекрасные розы. Невольно потянулся к нежному цветку, но меня опередил дозиметрист, старший инженер А. И. Ковалев. Придержал за плечо, а потом поднес к вспаханной полоске мембрану прибора — стрелка резко отклонилась.

Так пахнут у нас розы, — пошутил Анатолий Иванович» (Из статьи В. Левина «Трудное возрождение», газета «Советская Белоруссия», 19 июля 1987 г.).

«Брагинщина сильно пострадала во время аварии. Из 137 населенных пунктов в строю осталось 92. Население насчитывало 39 тысяч человек, уменьшилось до 24 тысяч. Остальные переселились в другие районы. И среди них много специалистов. Не хватает учителей, медицинских работников, продавцов... В прошлом году из пяти распределенных в Брагин хирургов приехал только один специалист из Гродно... Вахтовым методом работают и многие учителя». (Из статьи В. Левина «Мужество и клятва Гиппократа», «Советская Белоруссия», 30 июля 1987 г.)

...Выезжая из деревни Гдень, мы заехали в полуразрушенный медпункт. Новый заканчивали строить. Пришла медсестра с удовольствием готовилась уезжать отсюда — она уже отбыла свою вахту... Дети с ранцами за спиной, возвратившиеся из школы, весело бегали по улице. Пыль стояла столбом. Куры копошились в навозе. Двое мужиков лениво возились на разобранной крыше клуба. И вдруг мы увидели кошку.

Лысую. Только лысина была не на голове, а на брюхе. Мы переглянулись... А через несколько месяцев я прочитал замечательный рассказ белорусского писателя Ивана Пташников «Львы»: герой рассказа — сельский простоватый пес Джуки, повествующий о том, как висело над селом коричневое облако, пахнущее йодом, как люди в страшных намордниках убивали сельских собак. А собаки были облезшие, словно львы.

Думаю, это — лучшее, что написано на темы аварии в прозе нашей.

**Из письма Т. Г. Петровой, инженера Гомельского вагоноремонтного завода:**

«В сентябре этого года (1987) я была на сельхозработах в д. Рассвет Октябрьского района Гомельской области. Жила у переселенцев из деревни Колыбань Брагинского района. Дома с удобствами, но радости в домах нет. Каждый вечер они собираются — и все про одно и то же. И теперь не теряют надежды, что их переселят обратно. В войну их деревню сожгли немцы. Остались одни печки. Но, говорят, что легче было беду переживать. Знали, что пришли чужие люди и сожгли дома, их нет. А здесь все цело, все на месте, не сгорело, а они должны жить на чужбине...»

## КТО ВИНОВАТ

...Одну из своих очередных поездок в Чернобыль я приурочил ко времени, когда начался суд над виновниками аварии. Меня никто не приглашал на этот суд, более того — все попытки получить разрешение разбились о стену вежливого молчания.

Впрочем, мои коллеги по перу, попавшие на процесс, тоже не бог весть какую информацию получили.

### А. Коваленко:

«Сейчас, работая с информацией, я ощущаю какое-то непонятное чувство. Мне кажется, что мы начали свою информацию делить, как медики лекарства: для наружного и внутреннего употребления. Причем если мы раньше старались вообще не давать никакой информации ни нашим, ни чужим, то сейчас ударились в другую крайность: мы на Запад даем информации значительно больше, чем внутрь страны.

Наверно, это вызвано нашими старыми комплексами, в соответствии с которыми иностранцев пропускают в первую очередь, и т. д., — это же сбрасывает очень часто и в Чернобыле. На суд было допущено 36 советских корреспондентов. Но только на открытие и закрытие. И 13 иностранных корреспондентов — на тех же условиях.

Ни один из советских и иностранных корреспондентов не находился в зале суда в течение всего судебного процесса. Но в то же время наши корреспонденты были заведомо ограничены в возможностях передачи какой-то информации, кроме официального сообщения ТАСС. А западные агентства сразу же организовали работу. Эти 13 корреспондентов — цвет западной прессы, представители самых могущественных агентств и компаний. Через час после начала процесса корреспондент Би-би-си Джероми уже передавал первую информацию. И наши люди для того, чтобы узнать о происходящих на суде событиях, вынуждены были обращаться к различным «радиоголосам», сообщавшим такие детали и подробности, которые придавали достоверность сообщению.

А наши корреспонденты посидели на первом и последнем заседании и прочитали сообщение ТАСС о суде. Единственная газета в стране, сообщившая что-то о процессе, — «Московские новости»

...В Чернобыле стояли жаркие дни. Центральная улица, ведущая к отремонтированному зданию Дома культуры, в котором состоялся суд, была перегорожена несколькими барьерами. Увеличено число патрулей в городе. Мои друзья физики, с которыми я пребывал в полукилометре от места проведения процесса, предупредили меня, чтобы не шлялся без дела по улицам. Говорили, что кто-то бдительный меня разыскивал по общежитиям с целью «отловить», не дать попасть на суд, выдворить из Чернобыля...

Комедия, да и только! Прискорбная комедия. Открытый суд в тщательно закрытой Зоне. Только те, кто пытался заглушить информацию о суде, — об открытых (!) его заседаниях — просчитались. Потому что все равно мне — и не только мне — в подробностях стало известно все, что там происходило. Нет, я не проникал в секретные помещения, не вскрывал сейфов с протоколами, не вмонтировал в стены Дома культуры магнитофонов. Просто я поговорил с несколькими участниками суда, которые и рассказали мне самые важные его события, не забыв осветить ряд подробностей. Это к сведению тех, кто пытался скрыть от писателей, журналистов, от общественности картину происходящего.

Пусть знают, что времена полного и эффективного глушения информации канули в Лету.

...Ушли в прошлое те жаркие дни, когда мы с физиками и с сотрудником «Литературки» Сашей Егоровым ездили на четвертый блок, бродили по Припяти, а рядом шли ежедневные заседания судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР. Итог их известен: бывший директор станции Брюханов приговорен к десяти годам лишения свободы. К десяти годам — бывший главный инженер АЭС Фомин и заместитель главного инженера Дятлов. В зале суда взяты под стражу бывшие начальник смены Рогожкин, приговоренный к пяти годам лишения свободы, начальник второго реакторного цеха Коваленко — к трем годам, старший государственный инспектор Атомэнергонадзора Лаушкин — к двум годам. Приговор обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит.

*Из приговора:* «Согласно выводам судебно-технической экспертизы уровень технологической дисциплины на Чернобыльской АЭС не соответствовал предъявляемым требованиям. На станции имели место систематические нарушения технологического регламента, значительное количество остановок блока по вине персонала. Не во всех случаях выявлялись причины нарушений, в отдельных случаях истинные причины

нарушений скрывались... За период 1980—1986 годов в 27 случаях из 71 расследования вообще не производилось, а многие факты отказа в работе оборудования даже не регистрировались в журнале учетов» («Московские новости», 9 августа 1987 г.)

Это — приговор юридический, вытекающий из процесса, проведенного в строгом соответствии с существующими законами, с учетом обвинения, защиты и экспертов. Правосудие свершилось, виновные наказаны.

Но все это время, что минуло после аварии, вершился один суд, суд негласный, моральный, на котором тоже сталкивались разные мнения, а защита пыталась парировать выпады обвинения.

Давайте же побываем на заседании этого суда, послушаем голоса его участников.

Вначале приведу письма, полученные мною как раз в то время, когда я пытался реконструировать подлинную картину аварии.

*Письмо первое:*

«В 6 и 7 номерах журнала «Юность» напечатана Ваша документальная повесть «Чернобыль». Мы очень внимательно прочли ее, пытаюсь найти ответ на вопрос: за что погиб наш единственный сын, работавший на ЧАЭС старшим инженером управления реактором — Топтунов Леонид Федорович

Во время аварии в ту трагическую ночь 26 апреля он находился на смене в пультовом управлении реактором 4-го энергоблока.

Мы увидели его 30 апреля в 6-й клинической больнице Москвы, когда он был еще не в таком тяжелом состоянии. Мать была донором костного мозга для сына, но и это не помогло.

Мы были рядом с ним последние 14 дней его жизни. Матери он сказал, что ни в чем не виноват, что строго выполнял должностные инструкции.

После смерти сына из слов его товарищей по работе, которых нам довелось встретить, мы кое-что узнали о его работе в ту трагическую ночь. Нам рассказали, что наш сын был не согласен с решением технического руководителя о поднятии мощности. Однако дали команду на поднятие мощности вторично. А повторные команды выполняются беспрекословно. Нам кое-что известно и о том, что он принимал самое активное участие в локализации аварии и в проведении спасательных работ.

Ребята в первоначальный момент не знали о разгерметизации блока и об уровнях радиации. Если бы они были ин-

формированы о радиационной обстановке, наверно, было бы намного меньше жертв. Мы задали вопрос парткому ЧАЭС о действиях нашего сына и о возможной его вине, однако партком отделался отпиской, да и то после напоминания.

Приводим дословный ответ:

«Уважаемые Вера Сергеевна и Федор Данилович! Прежде всего разрешите выразить вам свое глубокое соболезнование в связи с постигшим вас горем. Трагические события на Чернобыльской АЭС оборвали жизнь вашего сына и нашего товарища...»

(Это через год и два месяца после того, как сына не стало.)

«...Ваш сын достойно вел себя в сложнейшей радиационной обстановке после аварии на станции, проявил твердость духа и мужество, выполняя свой долг по локализации аварии на Чернобыльской АЭС.

Что касается поставленного вами вопроса, довожу до сведения, что в предаварийный период Леонидом Федоровичем Топтуновым был допущен ряд нарушений инструкций при управлении реактором блока № 4, что не позволило предоставить его к правительственной награде.

С уважением — секретарь парткома Е. Бородавко<sup>1</sup>.

23.07.87 г.».

Вот такие противоречия между тем, что говорили нам товарищи по работе, оставшиеся в живых, и что ответил нам тов. Бородавко.

Мы почему-то уверены, что тов. Бородавко кривит душой, зная, что покойники защищаться не могут... Наш сын рос и воспитывался в семье военнослужащего. Детство его прошло в местах, связанных с развитием ракетно-космической техники. Мы долгое время работали на космодроме Байконур. Он был честным и добросовестным сыном. Не мог пойти на какие-либо нарушения. А если и было что — значит, обстоятельства заставили. Нам кажется, что товарищи из парткома ЧАЭС не хотели сказать правды, а отделались отпиской.

Если Вам известны хоть какие-то данные о действиях нашего сына в ту трагическую ночь, в чем его ошибки, просим написать нам правду, какая бы горькая она ни была.

Вера Сергеевна и Федор Данилович Топтуновы, г Таллин»

---

<sup>1</sup> Осенью 1988 г. на партсобрании коллектива ЧАЭС Е. Бородавко был исключен из партии как двурушник.

### *Письмо второе:*

«Все, что написано о Чернобыле во всех наших изданиях, мы по нескольку раз перечитываем и храним их у себя. Чернобыльская авария — это наша общая беда, но для нашей семьи это страшная трагедия.

26 апреля 1986 г. в 00 часов заступил начальником смены наш сын Акимов Александр Федорович. Вышел он из 4 блока АЭС в 8 часов 30 минут. 28 апреля к нам в г. Северодвинск Архангельской области пришла телеграмма из больницы № 6 г. Москвы. 29 апреля мы были у сына в больнице.

Пересадка костного мозга от одного из братьев, лучшие лекарства не помогли. Сын получил 5 смертельных доз радиации и 11 мая 1986 г. скончался от острой лучевой болезни 4 степени. 6 мая ему исполнилось только 33 года.

У Александра Федоровича остались жена и двое сыновей — Алеша 9 лет и Костя 4 года. Его семье дали в Москве квартиру, назначили пособие, помогли материально. Правительство все сделало, чтобы помочь семьям Чернобыля. Но разве нам, родителям, от этого легче?! Самое тяжелое горе — это когда родители хоронят своих детей.

Но согласитесь с нами: зная, что наш сын сделал все от него зависящее по недопущению и ликвидации аварии, сознательно пошел на самопожертвование ради предотвращения более тяжелой катастрофы (об этом сказал начальник главка Минэнерго на траурном митинге 13 мая 1986 г. во время похорон сына), мы нередко читали и продолжаем читать оскорбляющее и унижающее честь и достоинство инженеров, а значит, и их семей, в том, что они (технический персонал) якобы были слабо подготовлены, нарушали трудовую и технологическую дисциплину, и т. п., и т. д., т. е. они главные виновники аварии. Возможно, были и такие, кто плохо подготовлен и технически и морально. Даже не «возможно», а действительно были. Но ведь в публикациях обвиняется весь инженерно-технический персонал...

...Наш сын с отличием окончил 10 классов, с отличием — МЭИ в 1976 г. по специальности «инженер АСУ АЭС», 10 лет проработал на АЭС, член КПСС с 1977 г., избирался членом ГК КПСС г. Припяти. Трижды за эти 10 лет учился по 3—4 месяца с отрывом от производства. Последний раз — сентябрь — ноябрь 1985 г. в г. Обнинске. Учебу заканчивал только на «отлично». Имел блестящие характеристики. Он и в тяжелейшей ситуации показал себя грамотным, умным, умелым инженером-руководителем.

Уже после смерти сына на наше имя 4 февраля 1987 г.

пришло письмо от замминистра Минатомэнерго, в котором он дает блестящую характеристику сыну и до аварии и во время аварии.

Наш сын, находясь в больнице № 6, уже был на смертном одре и, зная свой исход, до конца оставался мужественным, в высочайшей степени волевым и нежным человеком. Врачи гг. Гуськова, Баранов и др. искренне удивлялись его мужеству, терпению.

Очень хотелось бы, уважаемый тов. Щербак, чтобы сочетание таких Ваших профессий, как медик и писатель, позволило Вам точно, правдиво и вместе с тем гуманно написать горькую правду об аварии на Чернобыльской АЭС.

Зинаида Тимофеевна и Федор Васильевич Акимовы, Северодвинск, Архангельской области»

Эти письма — как два выстрела в мое сердце. В упор. Ничто не освобождает писателя от высочайшей ответственности за каждое его слово, когда прикасается он к свежей, еще кровоточащей ране, к горю человеческому. Я не могу позволить себе ни одной неточности, не имею права на домыслы и догадки.

Не хочу, не могу, не имею права быть и обвинителем — особенно тех, кого уже нет в живых. Ведь мертвые молчат. А о живых сказал свое слово суд. Так, может быть, просто промолчать? Никого не обидеть, не причинить боль? Не касаться событий, вокруг которых еще не улеглись страсти? Может, обойти аварию, словно ее не было, не называть конкретных участников эксперимента, а рассказать лучше о героических деяниях людей в Чернобыле — благо есть о чем поведать, есть чем гордиться.

Нет. Это недостойная позиция. Слишком уж громки и грозны взрывы, прозвучавшие на четвертом блоке и разбудившие все человечество, чтобы можно было обойти их молчанием. Ведь авария — это раскаленная сердцевина всего того, что зовем мы сегодня Чернобылем. И одновременно — все еще не до конца раскрытая его тайна.

Вспомним, как развивались события: Игорь Иванович Казачков (начальник смены блока № 4) работал с 8 до 16 часов 25 апреля 1986 г. *Это на его смене должен был проводиться пресловутый эксперимент, который мог закончиться взрывом: блок мог взлететь в воздух еще 25 апреля в 2 часа дня.*

Только распоряжение диспетчера Киевэнерго заставило руководство станции перенести эксперимент.

Следующей сменой — с 16.00 до 24.00 руководил Юрий Юрьевич Трегуб. *И эта смена имела шанс взорвать блок* Однако по целому ряду случайностей эксперимент снова был отложен.

Судьбе было угодно, чтобы самая сенсационная авария XX века произошла на смене А. Акимова. Еще раз послушаем рассказы товарищей Акимова.

Ю. Трегуб подвергся воздействию радиации, перенес острую лучевую болезнь. Когда этот молодой человек вспоминает о подробностях аварии, у него дрожат руки. А Игорь Казачков — молодой бородатый увалень — все время нервно посмеивается, хотя ему вовсе не смешно.

### И. Казачков:

«Почему ни я, ни мои коллеги не заглушили реактор, когда уменьшилось количество защитных стержней? Да потому, что никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать этого нельзя, но не думали... Никто не верил в опасность ядерной аварии, никто нам об этом не говорил. Прецедентов не было. Я работаю на АЭС с 1974 года и видел здесь гораздо более жесткие режимы. А если я аппарат заглушу — мне холку здорово намылят. Ведь мы план гоним... И по этой причине — по количеству стержней — у нас ни разу остановки блока не было.

— А если бы вы остановили реактор при снижении запаса стержней ниже допустимого. Что бы вам было?

— Я думаю, с работы выгнали бы. Определенно бы выгнали. Не за это, конечно. Но придрались бы к чему-нибудь. Именно этот параметр — количество стержней — у нас не считался серьезным. По тому параметру, кстати, «защиты от дурака» не было. И до сих пор нет. Защит очень много, а вот по количеству стержней нет. Я так скажу: у нас неоднократно было менее допустимого количества стержней — и ничего. Ничего не взрывалось, все нормально проходило.

Но, конечно, ребятам не следовало поднимать мощность после ее падения. Если бы они не подняли мощность, у них не было бы такого тяжелого «отравления» реактора и не было бы взрыва. Здесь сыграли свою роль моральные факторы. Им хотелось до конца довести испытания.

— А вы бы это сделали, Игорь Иванович?

— Пожалуй, да.

— Вы бы сами это сделали или по приказу?

— Думаю, что по приказу. Дятлов приказал поднимать мощность. И я бы дал команду на подъем.

- Это было самое роковое решение?

- Да. Это было роковое решение... Я знал тех ребят, что сидели за пультом, — Акимов, Топтунова, Столярчука, Киршенбаума. Это молодые ребята. Топтунов СИУРом работал совсем мало.

Саша Акимов — развитой парень, культурный. Он интересовался не только работой, но и культурой, читал много. Очень любил своих детей и нежно о них заботился... Дети были его гордостью — они начинали с пяти лет читать, он постоянно занимался ими и любил об этом рассказывать. Автомобилист — ходил свою машину. Он был членом Припятского горкома партии. Одно время его хотели выдвинуть на партийную работу, он был парторгом цеха. Но Саша Акимов — турбинист, он, пожалуй, реактор знал похуже...

Ребята, которые были в ту ночь, рассказывали, что Леня Топтунов не справился при переходе с автомата и провалил мощность. Там много приборов, можно это проглядеть... Тем более он наверняка нервничал: такая ситуация была впервые — снижение мощности. Он ведь четыре месяца только СИУРом работал, и за это время ни разу не снижали мощность на реакторе. Хотя, в общем-то, ничего сложного в этой ситуации не было. И в том, что он провалил мощность, тоже ничего страшного не было. Ну а потом... я затрудняюсь сказать. Разные люди по-разному рассказывают. Даже одни и те же люди по-разному говорят. То ли была команда Дятлова на подъем мощности, то ли Саша Акимов дал эту команду. Дятлов на суде отрицал, говорил, что вышел во время этого то ли в туалет, то ли куда — и «провала» не видел. Вернулся якобы тогда, когда они уже поднимали мощность.

Один свидетель показал, что Дятлов лжет, что он был при этом.

Но Дятлов говорил, что не отдавал приказа о подъеме мощности. Я не отрицаю такой возможности — вполне могло быть, что сам Акимов дал приказ поднять мощность. И если бы он был жив, то, думаю, ему дали бы самый большой срок, как начальнику смены блока.

Я был на суде... Они в своем деле специалисты — что судья, что прокурор — это чувствуется. Все правильно, конкретно. Но я думаю, что на эту аварию надо смотреть шире. Я об этом сказал на суде. Моя мысль заключается в том, что рано или поздно такой аппарат должен был взорваться. Он мог взорваться на Чернобыльской станции (кстати, вы знаете, что мы были лучшей станцией в Союзе?), но мог взорваться и на Смоленской, и на Курской станциях. Понятно,

что есть какие-то организационные моменты, которые обеспечивают безопасность этого аппарата, но на человека все переложить нельзя. Все дело в недостатках самого реактора РБМК. Нигде в мире такие реакторы не строят. Только этот реактор может при аварии сам себя «разогнать», увеличить свою мощность, вызвать дополнительное парообразование. Поэтому человеческий фактор не дает стопроцентной гарантии.

Если совсем точно сформулировать, то персонал ЧАЭС стал жертвой как своих ошибок, так и недостаточно устойчивой работы реактора. И недостаточной информации. Система СКАЛА, установленная там, выдавала информацию через определенные промежутки времени. Она постоянной информации не выдает. А бывает, ломается, происходит сбой программы, и мы остаемся без информации...

После аварии у меня со здоровьем было плохо, я здорово мучился, были у меня депрессии... Я много думал о причинах аварии. И думал — если бы я оказался на месте судьи — какое бы вынес решение? Говорят, что понять — это оправдать. В данном случае я ребят понимаю. Как бы я наказал виновников? Вина директора Брюханова не в аварии, а в действиях после аварии. Главный инженер Фомин — я убежден — во взрыве не виноват. Может быть, вину несет за послеаварийные действия. Вина Дятлова есть, хотя до сих пор неизвестно — давал он команду на подъем мощности или не давал. Но не 10 лет, по-моему, он заслужил меньше. Начальнику смены станции Рогожкину я бы дал больше. Он был на центральном щите, когда это случилось, — и даже побоялся прийти на БЩУ-4. Знал, что там радиация. И полностью самоустранился от ликвидации последствий аварии.

Начальнику смены блока Саше Акимову — то есть самому себе — я бы дал лет восемь. И если бы это случилось на моей смене, я бы понимал, что это справедливо. Только, наверно, я бы вообще не жил. Даже если бы выжил, то не вынес бы таких моральных мук. Мне очень жаль Акимова. Ведь он наверняка понял свою ответственность за происшедшее. Через день, через два — но понял. Он очень мужественный человек, он умирал в муках, но прогонял от себя свою жену, потому что от него очень сильно «фонило»...

Я вот сейчас думаю — что надо, чтобы это не повторялось? Не говорю о технике, я о ней все сказал. Говорю о людях. За пультами должны сидеть не только высококвалифицированные люди, но и *более свободные*. Свободные от страха. Не боящиеся постоянного меча, висящего у них над головой. Вот

вы знаете, что такое — быть выгнанным с работы в Припяти? Это все, конец. Это ужасно, понимаете? У нас был начальник смены реакторного цеха Кириллюк. В 1982 году на ЧАЭС обнаружено нарушение штатного режима, его выгнали с работы, со станции. И куда он устроился? Ведь Припять — маленький городок. Главное здесь — АЭС. Так вот этот Кириллюк устроился инженером по снабжению на 120 рублей. Это кошмар, как вы понимаете. Нами правил страх. Страх, что выгонят. Этот страх диктовал неправильные действия.

— А как стать свободным человеком?

— Не знаю. Не берусь сказать. Может быть, на эту работу надо выбирать головастых ребят-физиков из Киева, Москвы, независимых, из научно-исследовательских институтов, сроком на 5 лет. Не зависящих от квартиры, от отношения начальства. Приведу вам пример. Когда я был СИУБом, у меня сложилась такая ситуация, что мы жили впятером в однокомнатной квартире в Припяти. Я прихожу с ночной смены — мне надо поспать, а где? Все толкутся в одной комнате. Я пошел к директору на прием по личным вопросам. Чтобы как-то ускорить дело. Тем более незадолго до этого взяли на работу уборщицу, дали ей трехкомнатную квартиру. Говорю: «Дайте лучше мне. Она уборщица, а мне нужно отдыхать. Я отвечаю за блок». А Комисарчук — начальник отдела кадров — спрашивает: «А почему ты считаешь, что ты лучше уборщицы? Она советский человек, ты — советский человек...» И все. Что я могу на это сказать?

И потому, будучи СИУБом, я боюсь проявлять самостоятельность. Я полностью зависю от станции. Сейчас я зависю в меньшей степени. А до аварии — полностью. Во всех аспектах — моральных, финансовых. Я связан по рукам и ногам. Со мною могут сделать что хотят. Если бы Саша Акимов был свободен, тогда у него была бы возможность принимать правильные решения. Оператор АЭС должен быть как летчик. Даже больше, чем летчик или космонавт. Космонавт погибнет — трагедия. Но не такие страшные последствия, как здесь».

### Ю. Трегуб:

«Если исходить из тех инструкций, что были перед аварией, все действия персонала правильны. Их вины нет. Все, что делалось, было в пределах полномочий смены. Если бы это оговаривалось особой опасностью, тогда другое дело. Самой высшей властью обладал тогда на блоке Дятлов. Его авто-

ритет и наше доверие... сыграли определенную роль. Лея Топтунов — молодой парень. Его жаль. Я думаю, что если бы сидел на его месте, у меня это просто бы не произошло. Хотя, может быть, я чего-то не знаю... Готовился Топтунов долго — по крайней мере за пультом СИУРа около восьми месяцев, а работал самостоятельно — минимум два-три месяца. Может быть, сыграло определенную роль и то, что раньше мы работали без автоматических регуляторов (ЛАРов) и потому постоянно были сами включены как автоматы. Все время в напряжении. Проводились замеры — СИУР в минуту совершал от сорока до шестидесяти управлений стержнями. Потом поставили ЛАРы, которые значительно облегчили работу, но они изменили ее характер — и такого оперативного опыта Топтунов уже не имел. Для того чтобы не потерять навыки ручного управления реактором, каждую ночную смену надо 2 часа работать в ручном режиме. Практически все было оговорено, все учтено, но Топтунов мог и хуже работать... все-таки это не то что работать год не разгибаясь. У нас доходило до того, что мы по 8 часов не выходили, извините, в туалет от пульта. Но это было еще до введения ЛАРов.

Я сочувствую этим ребятам. Мне кажется, мы судим их не за ошибку, а за последствия. Дятлов же наказан больше за характер свой, чем за незнание. Он был очень самоуверен. Отличная память. Если бы не эта самоуверенность, он бы и программу не положил на свои плечи. Он был для нас самым большим авторитетом. Недостигаемый авторитет. Его слово было закон».

**А. Усков:**

«Никогда не думал, что так тяжело ответить на простой с виду вопрос:

— Будь ты на месте тех инженеров на БЩУ-4 в ночь 26 апреля 1986 года — ты бы пошел на нарушение Регламента, чтобы провести тот эксперимент?

И сразу просится на язык категоричное: «Никогда!»

Это говорит спустя почти два года после катастрофы на Чернобыльской АЭС мой разум, прочувствовавший с первых часов до последних дней — как огромны и тяжелы последствия происшедшего в ту ночь. В памяти уже, наверно, на вечно останутся темнота, развалины блока, страшное уханье пара, реакторный графит, выброшенный на территорию ЧАЭС, а потом обожженные до неузнаваемости лица ребят в московской клинике.

Сейчас мы поумнели. Какой же это ценой нам досталось!

Но если постараться отбросить этот испытанный на собственной шкуре опыт и постараться вспомнить — каким ты был «до войны», то не просматривается категоричного «Никогда!».

А если говорить честно — то я мог нарушить Регламент (наверное...). Будь я работником Блочного Щита Управления (БЩУ), я, пожалуй, мог возразить главному инженеру станции Фомину (или его заму Дятлову), но категорически отказаться выполнить его команду — на это бы духу не хватало!

Почему так?

Может, я трус?

Да нет, вроде не трус. Орден<sup>1</sup> за ночь 26 апреля говорит сам за себя. Может, в голове пусто? Конечно, не самый крупный специалист в атомной энергетике, но знаний достаточно, чтобы понять — тебя толкают на нарушение Регламента..

Постараюсь разобраться, если смогу... Первое. Мы зачастую не видим необходимости неукоснительного соблюдения наших законов, поскольку эти законы нарушают сплошь и рядом на твоих глазах, и неоднократно! Впрочем, это называется «обойти закон» И нарушают люди, которые должны быть образцом выполнения долга: гражданского, партийного, профессионального, наконец.

И растлевающее действие таких примеров куда больше, чем от десяти радиостанций «из-за бугра». Потому что эти примеры на наших глазах! Разве не знала государственная комиссия, принимавшая 4-й блок в эксплуатацию, что принимает его с отступлениями от проекта? Конечно, знала...»

*Из приговора:* «31 декабря 1983 года, несмотря на то, что на четвертом энергоблоке не были проведены необходимые испытания, Брюханов подписал акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса на блоке как энергоблока в опытную эксплуатацию» («Московские новости», 9 августа 1987 г.).

**А. Усков:**

«...но посчитала — ничего, потом доведем! Вот и пришлось два с лишним года спустя проводить на 4-м блоке эксперимент,

---

<sup>1</sup> А. Г. Усков награжден орденом Дружбы народов за героизм, проявленный при ликвидации аварии на ЧАЭС.

чтобы довести систему безопасности до требований проекта! Вот и довели блок «до ручки»! Если смотреть глубже, авария началась не в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года, а в декабре 1983-го, когда директор АЭС Брюханов поставил свою подпись в акте Госкомиссии как ее полноправный член. Поставил, не видя необходимости настоять на проведении испытания выбега турбогенератора для питания собственных нужд блока. А московским товарищам и тем более этот выбег был не нужен: «4-й блок пущен и пойдет в рапорт за этот год! Как приятно...»

А ведь совсем другая была бы картина, проведи этот злощастный эксперимент тогда. Реактор со свежим топливом, со значительным количеством поглощающего материала в активной зоне имеет отрицательный мощностной коэффициент, то есть *не приводит к разгону на мгновенных нейтронах!*

Вот так мы и работали.

Но самое главное, почему персонал в ту ночь нарушил Регламент (а это тоже Закон!), — из-за отсутствия четкого объяснения: почему *категорически нельзя* работать при оперативном запасе реактивности меньше 15 стержней. Ребята и представить себе не могли, что *находятся в ядерно-опасном режиме!*

Нигде ни полстрочки, об этом даже не упоминалось. А еще с институтской скамьи было крепко вбито в голову: *реактор взорваться не может!* Это уже после аварии оперативный запас установят 30 (!) стержней, и не меньше. Это уже в октябре 1986 года введут в Регламент грозное предупреждение: «...при запасе менее 30 стержней *реактор переходит в ядерно-опасное состояние!*»

Говоря простым языком, при запасе 29 стержней мы попадаем в ядерно-опасный режим, а до аварии этот запас был регламентным и считался нормальным.

Где же были раньше товарищи ученые, проектанты, конструкторы?

Как ответила экспертная группа на вопрос суда в Чернобыле?

*Вопрос суда:* Почему в (старом) Регламенте персонал не предупрежден, что при работе реактора на мощности менее 700 МВт (тепловых) и с запасом менее 15 стержней — реактор переходит в ядерно-опасное состояние?

*Ответ экспертов:* Считали это ненужным. Думали, что на станции работают грамотные физики (?!). Сейчас были вынуждены сделать это.

Детский лепет. Стыдно слушать.

Одни считали ненужным объяснить (а может, сами не знали) природу очень важного запрета, мы же, персонал, считали, что этот запрет можно «объехать». Вот и доработались.

Но на суде одни сидели на скамье подсудимых, а другие — за столом экспертов и сурово спрашивали за все (в том числе и за свои грехи).

Второе. Очень важным моментом (как это ни странно слышать) я считал и считаю высокий уровень оперативной дисциплины на атомных электростанциях. Впрочем, это характерная черта многих режимных предприятий, где работники имеют более высокую зарплату, определенные льготы и дорожат своим местом. Уровню технической подготовки, технологической дисциплины оперативного персонала уделяли особое внимание!

Корни тщательного отбора и подготовки персонала растут из тех «закрытых» объектов, где создавалось наше ядерное оружие. Конечно, со временем отбор стал проще, требования к анкетным данным помягче, но оперативная дисциплина поддерживалась на высоком уровне.

И не имеет права подчиненный не выполнить распоряжения своего начальника. У него есть возможность аргументированно возразить при неправильном распоряжении. Но при повторе распоряжения — немедленно выполнить! А потом уже обжаловать... И беда в том, что аргументированно возразить было тяжело в той ситуации, потому что имелись лазейки. Впрочем, возражать почти никто и не пытался, настолько был велик авторитет физика — заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Дятлова. Сейчас мы подошли к третьей важной причине.

Третье. Рискованно возражать руководителю высокого ранга. Не нравятся строптивные, как правило. Не возражают безграмотным начальникам, молчат и согласно кивают грамотным начальникам.

Потому что живет в наших душах холопская исполнительность, желание расшибить лоб на виду у начальства. А там, глядишь, и заметят твое усердие. А если еще и со знаниями слабовато?.. Тут уже не до аргументированных возражений, и без этого есть грешки в работе.

Я не работал на БЩУ и не знаю — каким был бы СИУРом, но уверен, что эти три основные момента в разной степени влияли и на меня тоже.

Не очень приятно говорить об этом, но нет у меня полной

уверенности, что я не мог бы повторить ошибки ребят с блочного щита управления блока № 4 26 апреля 1986 года. Я тоже мог оказаться на их месте».

Теперь выслушаем мнение такого авторитетного эксперта, расследовавшего причины аварии, как Валентин Александрович Жильцов.

«Авария на ЧАЭС показала, насколько надо быть компетентным, щепетильным в вопросах атомной энергетики. Здесь нет мелочей. Здесь нужно все проверять и перепроверять. Я часто вспоминаю слова одного из своих учителей сподвижника И. В. Курчатова: «С ядерным реактором надо обращаться на «вы», он ошибок не прощает; аварии происходят тогда, когда об этом забывают...» Огромную роль играет квалификация персонала. Взять хотя бы СИУРа Л. Топтунова. Сейчас совершенно определенно установлено, что в момент перехода с ЛАРов (локальных автоматических регуляторов) на АРы (автоматические регуляторы) произошло падение мощности реактора. Мощность «потерял» Топтунов она была провалена до нуля. Однако, положив руку на сердце, я бы не обвинял в этом Топтунова. Его вины в том нет. Есть недостаток опыта, квалификации. В сложном переходном процессе, который в этот момент происходил, даже квалифицированному СИУРу было бы трудно скомпенсировать аппарат Режим аппарата в той ситуации очень нестабилен. Собственно, вся цепь несчастий началась именно с той злополучной потери мощности реактора. Чтобы стать квалифицированным СИУРом, надо пройти через переходные процессы, познать их. А их, судя по тому короткому времени, в течение которого Л. Топтунов работал на 4-м блоке, практически не было. Тренажера на ЧАЭС тоже не было. Ему негде было научиться. Если бы Топтунов прошел через такой переходный процесс поднятия и снижения мощности реактора, понял бы его динамику, — он бы, на мой взгляд, справился. Потому что и раньше на реакторе были подобные ситуации. За это Топтунова осуждать нельзя, можно только сочувствовать.»

Но вот все, что связано с поднятием мощности после ее «провала», это уже явно неправильные действия. Потому что был очень мал оперативный запас реактивности. Это означает, что в реакторе осталось только несколько стержней, полностью или частично введенных в активную зону для коррекции распределения поля энерговыделения по объему. Все остальные были извлечены. В таких условиях поднять мощ

ность очень трудно, и тем более сложно управлять распределением нейтронного поля.

— Валентин Александрович, кто давал приказ о поднятии мощности?

Дятлов. Они хотели провести испытания любой ценой.

А если бы СУИР Топтунов отказался поднимать мощность? Он имел на это право?

Имел. Он мог нажать кнопку АЗ-5 и остановить реактор. Как раз Регламент этого и требовал. Реактор прошел бы «йодную яму» в течение суток — и все.

А начальник смены блока Акимов мог это сделать?

Да. И Акимов мог это сделать.

Валентин Александрович, это очень большой — особенно для родных и близких погибших — вопрос: если бы Топтунов и Акимов остались в живых, они были бы на скамье подсудимых?

— Да. К сожалению, были бы. Если бы они заглушили реактор, их бы никто не наказал. Потому что они бы действовали тогда в соответствии с Регламентом. К тому же, как я понял, как поняло большинство моих коллег, на суде игра шла в основном в одни ворота: доказать бесспорную вину эксплуатационного персонала. И, как видно из приговора, это вполне удалось.

С точки зрения закона, может, все и верно: порок наказан... Но полностью ли порок наказан? А как быть с Добродетелью? Торжествует ли она? Вопросы... Вопросы...

Персонал нарушил Технологический регламент — в частности, требование о недопущении снижения оперативного количества стержней, находящихся в активной зоне, ниже 15-ти, хотя при сложившейся ситуации формальное соблюдение Регламента в данной части вовсе не означает полной гарантии безопасности; все зависит от конкретных условий. В то же время я был свидетелем, когда приходилось работать при значительно меньших запасах реактивности, когда осуществляли подъем мощности после кратковременной остановки (особенно после ложного срабатывания АЗ) и когда требование прохождения «йодной ямы» было необязательным. Но чем это чревато?.. Об этом действительно нигде не упоминалось. Разве только в техническом задании или описании системы управления и защиты реактора в таком ключе: «...оперативный запас необходим для улучшения маневренности при управляемом частичном снижении мощности в режимах АЗ-1 — АЗ-3...» Не гарантирую точность формулировки, но что возможна ядерно-опасная ситуация — об этом действительно

нигде никакого намека. Была также нарушена программа испытаний. Как бы плоха она ни была, но мощность реактора в ней была указана не ниже 700 — 1200 тепловых МГв.

Реактор должен был автоматически глушиться по сигналу «отключение двух турбин». Но одна турбина уже стояла, а на 8-й, на которой проверялся тот злополучный «выбег», была заблокирована защита, так как ее «забыли» разблокировать после окончания вибрационных испытаний. В этом серьезная вина персонала. Поэтому реактор продолжал работать еще почти 30 секунд после отключения турбины, после чего была предпринята попытка заглушить его кнопкой АЗ-5. Сделал это, согласно записи в «Оперативном журнале» СИУР Л. Топтунов. Он же через несколько секунд повернул ключ «снято питание муфт». Об этом мы тоже узнали из записей в журнале (кстати, наиболее честно и аккуратно их вел Л. Топтунов) и из распечаток «черного ящика».

Но в чем персонал прав, так это в том, что они действительно не представляли всех особенностей реактора и его конструктивных недостатков. При снижении запаса реактивности реактор РБМК практически теряет способность управляться, защитные свойства ухудшаются. Более того, возникла та редчайшая ситуация, когда система аварийной защиты (АЗ) послужила стартовым толчком к разгону реактора. Была бы аварийная защита нормальная — реактор никогда бы не разогнался, каких бы ошибок СИУР Л. Топтунов ни наделал. Ибо тормозная педаль должна тормозить, а не разгонять автомобиль.

Если еще говорить о смягчающих вину обстоятельствах, то испытания должна была проводить не смена Акимова и Топтунова, а предыдущая смена — Казачкова или Трегуба. Те смены лучше изучили программу, они были готовы к испытаниям морально. Но вы знаете, что днем диспетчер Киевэнерго попросил продержат блок на мощности до вечера. Начальник смены станции Рогожкин мог отказаться сделать это. Он мог заявить, что реактор сейчас работает в переходном режиме и АЭС не может выполнить требование Киевэнерго. Но оказалось, что Рогожкин с этой программой даже не был знаком. Так он нам заявил, когда мы его вызывали и спрашивали. Знаете, Юрий Николаевич, у меня даже язык отнялся, когда я это услышал... я не знал, что спросить... Он сидел на ЦЩУ — центральном щите управления — и *обязан* был знать, что творится на блоке.

Это что касается «человеческого фактора».

Но есть еще и «технический фактор». И об этом надо тоже

говорить откровенно. Ведь мы досконально разобрались во всем, что произошло в реакторе, только благодаря наличию мощной вычислительной техники, которой мы сейчас располагаем. Но на уровне того времени, когда создавался реактор РБМК-1000, разработчики не располагали такими мощными ЭВМ, трехмерными программами и надежной системой констант, которые позволили бы создать полную математическую модель реактора и «проигрывать» на ней все возможные и невозможные ситуации и находить оптимальные решения по их преодолению. Поэтому до аварии на четвертом блоке ЧАЭС многое оставалось непознанным, конструктивные недостатки — неустранимыми.

Первый блок РБМК на Ленинградской АЭС был запущен в 1973 году. За это время в стране вошло в строй 14 энергоблоков РБМК. Мы считали, что хорошо его знаем. Увы... далеко не все нам было известно.

Надо честно признать, что сложнейшая техническая система, созданная человеком, в чем-то оказалась еще не познанной непредсказуемой. Эта непредсказуемость как раз и проявилась в сочетании с нарушениями Регламента и ошибками персонала. В другой ситуации это бы не проявилось.

Один из недостатков реактора РБМК — отсутствие достаточной информации об оперативном состоянии активной зоны. С точки зрения физики реактора, сложнейших процессов, происходящих в нем, недостаточным оказалось и количество существующих датчиков, их чувствительность. Информация их существенно отстает от развития событий в реакторе.

Очевидно, что и само построение БЩУ могло быть более рациональным. Например, на Игналинской АЭС — новой станции — информация представлена более полно и удобно, она более сепаративна и оператор быстрее ориентируется в ситуации. На Чернобыльской АЭС информация не обладает функцией советчика — как лучше поступить? Оператор здесь должен иметь большой опыт работы.

Будем откровенны. Пришло время сказать горькую правду.

Во всем обвинять одну эксплуатацию — это слишком просто и не требует особых доказательств, так как ошибки действительно были и от них никуда не скроешься. Но авария на 4-м блоке ЧАЭС высветила прежде всего многие конструктивные недостатки реакторов типа РБМК, инженерные и физические просчеты, а также порочность существовавшей (да и сейчас существующей) системы ведомственной разобщенности Генпроектировщика, научного руководства, Главного конструктора, эксплуатирующих организаций.

В принципе, то, что случилось на ЧАЭС, могло произойти на любой другой АЭС с блоками типа РБМК, но случилось именно там, потому что Чернобыльская АЭС лучше была к тому «подготовлена», отчасти в силу именно тех причин, которые справедливо отмечены вами в повести — то есть это какая-то «роковая капля» в общей совокупности всех факторов.

ЧАЭС по сравнению с другими АЭС была наиболее ослаблена, с точки зрения технического руководства. К тому же добавьте высокие темпы строительства ЧАЭС, когда кадров попросту не хватало и на ответственные участки выдвигались слабо подготовленные лица, иногда без учета предшествовавшего практического опыта.

Кроме того, ЧАЭС находилась в более сложном по сравнению с другими АЭС административном подчинении: с одной стороны — республиканское Минэнерго УССР, а с другой стороны — «Союзатомэнерго» Минэнерго СССР. А была еще и третья, и четвертая стороны — это контролирующие, лимитирующие и предписывающие организации. Одни требуют план, перевыполнение плана, досрочное освоение мощностей. Другие — выполнения требований «Регламентов», «Норм», «Правил», соблюдения сроков ремонта, и т. п. Руководству Чернобыльской станции приходилось маневрировать, чтобы увязать порою неувязываемые вещи, идти на компромиссы, «ублажать» тех, от кого зависит согласование того или иного отступления от проекта, «Норм» и «Правил»... Вот здесь и проявилась порочность существующей системы разделения возможностей и ответственности: АЭС несут ответственность за выполнение плана по выработке электроэнергии, за соблюдение графиков ремонта, за обеспечение безопасности работы энергоблоков, за развитие и реконструкцию АЭС, не имея в руках возможности «влиять», «обеспечивать», «поставлять», так как вся экспериментальная, конструкторская база, поставщики находятся в других руках — за межведомственным барьером, а эти руки, как правило, ни за что не отвечают, что и подтвердилось в ходе судебного разбирательства.

Так, с благословения того же Главного конструктора и научного руководства допускались некие «временные» отступления, освоение мощности с недоделками и целыми нефункционирующими системами, разрешение на работу на форсированных режимах, чтобы дать план «любой ценой», и тому подобное.

Почему же взыскивать с одной эксплуатации, если идео-

логия реактора и его конструкция содержит серьезные изъяны, а всякие отступления от проекта, допускаясь в процессе сооружения, санкционировались, как правило, авторским надзором, который есть на любой АЭС?

И еще одно. До сих пор (до аварии) все тщательно измерялось и проверялось только в начальный период, на «свежей» зоне в период физического пуска реактора. Исходная, «пулевая» точка всегда была надежной. Но что происходило с реактором в процессе его работы — тем более что каждый реактор работал и вел себя по-разному, — никто и ничего не знал. Либо довольствовался тем минимумом знаний, который удавалось получить расчетным путем по упрощенным моделям. Проведение же каких-либо экспериментов с целью уточнения физических характеристик реактора в процессе работы категорически пресекалось, поскольку это шло в ущерб плану по выработке электроэнергии. Да и с точки зрения дилетантов, это было не нужно: дескать, реактор работает нормально, и что с ним вообще может быть?..

Как это все могло произойти?

Я считаю, что причина всех причин — монополия отдельных лиц, институтов, ведомств на истину в последней инстанции. Любые решения, иногда с откровенными техническими просчетами, отступлениями от действующих «Норм» и «Правил», утверждались рукой непререкаемого Авторитета, без проверки, без объективной технической экспертизы.

Но даже в атмосфере такого силового и авторитетнейшего давления раздавались голоса, предостерегавшие, призывавшие к трезвому взгляду на вещи... Их не послушали.

Произошла авария.

Вот какая цена была заплачена за пренебрежительно-барское отношение ко всему тому, что исходило из других ведомств. Здесь со всей очевидностью проявилась порочность системы, когда неапробированные и недостаточно обоснованные расчетами и экспериментами решения сразу внедрялись и широко тиражировались. Я не раз был свидетелем того, как решения принимались вопреки мнению экспертизы, а иногда мнение экспертизы подменялось окриком сверху или заранее подбирались только угодные эксперты...

А вспомним — сколько десятков кандидатских и докторских диссертаций было сделано на реакторе РБМК! Многие стали лауреатами Государственных и даже Ленинских премий, многие получили высокие правительственные награды. Насколько заслужены были эти награды? Думаю, далеко не все.

Все, что уже сделано и продолжает делаться на реакторах типа РБМК (а сделано после аварии очень много, поверьте!) для повышения их надежности и безопасности, делается, как правило, за счет снижения их экономических показателей. Если бы все это было учтено на стадии проектирования, то реактор РБМК (я в этом почти уверен) не был бы утвержден к серийному производству, как неконкурентоспособный и не отвечающий требованиям безопасности. А разве можно сбросить со счетов, что сооруженный энергоблок по фактическим затратам на 20%, а иногда в 1,5 раза превосходил, как правило, утвержденные проектные сметы!

Иными словами, преступление *стало совершаться еще на стадии разработки.*

Я лично как специалист, отдавший атомной энергетике всю свою жизнь, вовсе не противник этого направления — и реактор типа РБМК вовсе не так уж безнадежно плох. Но до сих пор нет института, нет человека, который бы отвечал за АЭС в целом и именовался: «Генеральный Конструктор АЭС» (как, например, в авиации, космонавтике).

А что же есть? Генеральный проектировщик — это в основном проектирование зданий и сооружений АЭС, систем электро- и водоснабжения, выдачи мощности, и т. д. Главный конструктор реактора проектирует и отвечает только за реакторную установку в пределах своей «зоны проектирования». Научный руководитель отвечает только за физику реактора и обоснование пределов безопасной эксплуатации.

Есть еще масса разработчиков и поставщиков отдельных технологических систем и оборудования, турбин, насосов, разгрузочно-загрузочных машин, и т. д., которые работают по соответствующим техническим заданиям, выдаваемым им вышеперечисленными институтами.

Говорю это все с одной лишь целью: подобное никогда не должно повториться».

*Из приговора: «Уголовное дело в отношении лиц, не принявших своевременных мер по совершенствованию конструкций реактора, органами следствия выделено в отдельное производство» («Московские новости», 9 августа 1987 г.).*

...Осенью 1988 года, во время одной из моих встреч с бывшими жителями Припяти (теперь живут они в новом киевском жилом массиве Троещина), ко мне подошла пожилая женщина и представилась как жена Дятлова. Попросила встретиться. Во время встречи, плача, рассказала, что муж ее очень

болен (перенес острую лучевую болезнь третьей степени), на ногах — незаживающие язвы, время от времени лежит в больнице — в колонии, где отбывает свой десятилетний срок. У меня защемило сердце, когда я смотрел на эту самоотверженную женщину, которая где только ни была, с кем ни встречалась, чтобы как-то облегчить участь мужа. Почему-то вспомнились жены «зеков» сталинских времен, очереди с посылками, отправляемыми в неведомые «почтовые отделения» и «лагпункты»... К этому времени, когда я уже основательно разобрался в причинах аварии и в вине персонала — подлинной и мнимой, выкипел весь мой благородный гнев на этих «злодеев»; несчастные люди, сотворившие глобальную катастрофу, не ведая, что творят... Изабелла Ивановна Дятлова передала мне письмо мужа из колонии, где заключенный Дятлов, инвалид II группы, трудится в библиотеке. Это письмо, наряду с другими свидетельствами, — бесценный документ аварии, независимо от того — полностью ли прав Дятлов или что-то лукаво не договаривает. Публикую письмо с незначительными сокращениями:

«Уважаемый гражданин Ю. Щербак!

Беспокоит Вас Дятлов Анатолий Степанович. Да, тот самый Дятлов — бывший замглавного инженера Чернобыльской АЭС по эксплуатации.

Прочитал Вашу повесть «Чернобыль» в журнале «Юность» № 9, 10. Что же? Повесть правдивая, есть попытки вскрыть истинные причины аварии. Правда, нет даже попытки назвать конкретных виновников аварии, кроме эксплуатационников, с которыми все ясно Вам и тем, с кем вы говорили. Виновны, и баста! Доморощенные Прокуроры даже сроки определяют.

Только, гр. Щербак, так ли это ясно? Конечно, Вам, неспециалисту в этой области, самому трудно разобраться в технических вопросах, и Вы судите со слов специалистов. Не могу сказать, почему так судят Казачков, Усков, Жильцов — то ли из-за недостатка информации, о чем писал в «Литературной газете» Ушаков, когда на совещании спецов-реакторщиков даже вопросы задавать о причинах аварии было запрещено, то ли чужая боль нам...

Мне кажется, Вам интересно будет знать и мое мнение об этом кошмаре. Смее думать, что лучше меня никто не знает обстоятельств аварии. Смее также думать, что из живых нет более заинтересованного в выяснении и обнародовании при-

чин аварии. Я буду говорить только за себя и оперативный персонал, в первую очередь за Акимова, Перевозченко, Топтунова, т. к. они за себя уже ничего не скажут, а обливание их грязью продолжается. Вы правильно в повести отметили, что порочить человека мы научились — и с рвением, даже с какой-то радостью бросаемся на это, не задумываясь вовсе о справедливости. О гуманности я и не говорю. На гуманность или снисхождение вовсе не рассчитываю. Здесь я полностью согласен с Казачковым — не жил бы, чувствуя за собой вину в такой аварии. И выжил, думаю, только потому, что хотел предстать перед судом, когда увидел, куда клонят все дело. Поверьте, я давно не карась-идеалист и во всеобщее торжество свободных идей давно не верю, но был в шоке, когда увидел всю эту ложь. И о суде у Вас необоснованно розовое представление: «...из процесса, проведенного в строгом соответствии с существующими законами...» Я законов не знаю, но по-человечески так быть не должно.

К примеру:

когда свидетель Дик Г. А. стал давать показания в мою пользу, на него сразу же последовало давление, запугивание со стороны Прокурора и Судьи. Аналогично и с Трегубом, человеком слабым, нестойким;

— среди полусотни показаний свидетелей только в одном моя квалификация ставилась под сомнение, так Прокурор выбрал именно его;

— кажется, в интересах истины нужно бы выяснить: а годился ли тот реактор к эксплуатации? Я задал 24 вопроса в письменном виде (по требованию судьи), направленных в основном на это, — судья все их отклонил;

— мне по физическому состоянию в то время вообще было трудно говорить, так еще постоянно перебивался судьей. Можно и еще продолжать.

Не знаю, может, по существующим законам так и надо, но, думаю, в цивилизованном обществе таких законов быть не должно. Мои показания никто не опроверг, но и во внимание их не приняли. Что это, как не презумпция виновности в полный рост? Так что, гр. Щербак, у меня несколько иное мнение о суде. А формулировка: «Уголовное дело в отношении лиц, не принявших своевременных мер по совершенствованию конструкции реактора, органами следствия выделено в отдельное производство»? Но, простите, за это «несовершенствование...» только можно премию не платить, ну, снять с работы. А вот то, что реактор по целому ряду требований не отвечал принятым в стране нормам, на что я указывал и на

предварительном и в судебном следствии, об этом ни слова Суд этого не захотел выяснять. Почему? И как результат того суда над теми «лицами» так и нет. Прав Жильцов: «на стоящие виновники (творцы апокалипсиса) ушли от наказания». Мое твердое убеждение, основанное на мучительном многократном анализе материалов и известных мне после аварийных расчетов, — *оперативный персонал и с ним я не преступники, а жертвы.*

Не подумайте, что я жажду, чтобы усадили как можно больше. Нет — на собственной шкуре знаю, как это «хорошо». Но на этом судебном процессе должно быть выяснено, что реактор не соответствовал вполне конкретным пунктам основополагающих документов, имеющих силу закона по ядерной безопасности. А судить их можно и нужно именно за это. И тогда обвинения оперативного персонала рассыплются сами собой. Не зря же вся эта камарилья, признавая у реактора «недостатки, «особенности» (тут некуда деться!), делает вид, что таких документов: «Общие положения безопасности... ОПБ-82» и «Правила ядерной безопасности ПБЯ—04 -74» — не существует. Ведь если перевести эти «недостатки» и «особенности» реактора в конкретные пункты требований НОРМ, то окажется, что несколько тысяч человек оперативного персонала (это в первую очередь) преступно держались под ударом. Если оперативный персонал этого не знал, то наука обязана была знать! И принять необходимые меры! И напрасно В. Жильцов сетует на отсутствие в оное время мощных ЭВМ. После аварии выяснилось, что наука знала те моменты, дефекты, которые явились определяющими в возникновении аварии. А что не знала, то вполне узналось бы и без современных мощных машин. Не буду голословным.

Еще в 1983 г. при физическом пуске реактора 4-го блока ЧАЭС выявилось, что стержни СУЗ<sup>1</sup> при движении вниз первоначально вносят положительную реактивность и только через 5 сек. начинают вносить отрицательную. Комиссия в составе работников ИАЭ, НИКИЭТ, ВНИИАЭС, ЧАЭС провела опыт по одновременному опусканию 15—18 стержней и определила, что в первые 5—8 сек. вносимая реактивность равна нулю. Комиссия абсолютно безосновательно посчитала задачу выполненной. Но аварийная защита реактора обязана вносить отрицательную реактивность, притом с достаточной эффективностью с первого мгновения; 18—15 стержней это не все стержни; реактор холодный, разотравленный с совершен

<sup>1</sup> Стержни управления защитой.

но другой загрузкой, чем при стационарной работе. Как же можно было экстраполировать результат на рабочее состояние?

Далее. Госинспектор по ядерной безопасности отмечает это и... допускает реактор в эксплуатацию. Далее. В декабре 1983 г. научный руководитель пишет в конструкторскую организацию письмо об устранении этого дефекта стержней. Там за год, в декабре 1984 г. закончили разработку технического задания на новые стержни объемом листка на 2—3. А вот далее уже ничего не было до самого взрыва. При чем же здесь мощные ЭВМ? Вот почему АЗ не глушила реактор, а разогнала, или, по меньшей мере, не предотвратила рост мощности.

Давайте, Юрий Николаевич, перейдем теперь к тому злополучному дню и проследим действия оперативного персонала в части нарушения Регламента и Инструкции. При оценке действий исходить надо из того, что персонал до аварии знал или мог (и должен был) знать из существующих документов и ни в коем случае не применять то, что стало известно после аварии. Видимо, Казачков и Жильцов невольно применяют все, что известно теперь. Но ведь это неправомерно. Простите, пожалуйста, за вольное вышеприведенное обращение к Вам, но уже переписывать лист не стану.

Итак. Я пришел на 4-й БЩУ где-то перед 00 час. 26-го. Сразу же с Акимовым обсудили ход работ, обстановку. Реактор был на мощности 720 МВт, и согласно этому мощность на генераторе восьмой турбины. Запас реактивности, Акимов мне сказал, в 26 стержней. Уже после аварии я по записям уточнил: 26 стержней было в 23 ч. 10 мин. 25.04, а в 24.00 было 24 стержня. Это запись Трегуба, но тогда, когда я спрашивал, ее еще не было.

Затем я поговорил с техническим исполнителем программы выбега Метленко, отметили в его экземпляре, что уже выполнено из подготовительных работ,— готовность людей, приборов. Сказал Акимову сделать замеры вибрации турбины-8 на холостом ходу и ушел на блок. Так я делал всегда: последний осмотр перед останом блока, когда мощность уже сброшена и можно смотреть помещения с высокой дозой нагрузкой, не очень переоблучаясь. Когда вернулся на БЩУ-4 (после я уточнил время по диаграмме мощности — 00 ч. 40 мин.), то мне четко запомнилась картина: я в дверях БЩУ, а у щита СИУРа склонились Акимов, Кудрявцев, Проскураков. Возможно, был кто-то еще. Сразу же подошел туда. Мощность реактора 50—70 МВт. На вопрос Акимов

сказал, что мощность «провалилась» до 30 МВт при переходе с ЛАР на АР.

АР уже был включен, и мощность поднималась. Не верить Акимову у меня не было оснований, да и по времени мощность до нуля не могла упасть. За короткий промежуток они бы не смогли поднять до 50 МВт от нуля. Вопросов у меня не возникло, и я отошел от пульта СИУРа к Метленко, с которым стали уточнять готовность. Ни слова недовольства ни Акимову, ни Топтунову я не высказал. Да и причин не было. Я не знаю таких операторов, которые бы не проваливали мощность по тем или иным причинам. Это во-первых. Во-вторых, человеку за пультом нельзя выговаривать, можно только подсказать. Там ходил слух, что я отстранил Топтунова. Нет. Я его удалил с БЩУ-4 вместе с СИУТом, когда после аварии увидел, что сделать они ничего не могут, а обстановка тяжелая. Оставил Акимова и СИУБа Столярчука. Топтунов после вернул сам.

В подъеме мощности нет никакого нарушения.

Мощность до провала в 00 ч. 28 мин. была 520 МВт, и отравления реактора до 15 стержней за полчаса быть не могло. Замерить запас реактивности на 30—50 МВт нет возможности, не меряет «Скала». Можно только по кривым отравления и мощностному коэффициенту прикинуть. Согласно Регламенту провал мощности до 30 МВт есть «частичное снижение мощности» и для подъема не нужно запаса в 30 стержней.

Здесь надо остановиться на двух моментах.

1. Переход с ЛАР на АР Топтунов сделал при мощности 520 МВт, чего я не заметил, т. к. вплотную к прибору-самописцу СФКРЭ не подходил. Оказывается, они начали снижение мощности. Кто дал команду? Я уверен, что дал ее начсмены Рогожкин. Как у них проходил разговор с Акимовым — неизвестно. Рогожкин отрицает, хотя в разговоре с диспетчером Киевэнерго он говорит, что через 10 минут будет мощность нуль. Это электрическая. А какой разговор у них был по тепловой мощности? Я такой команды не давал — это точно. Во-первых, я знал, что по «Программе выбега» мощность 700 МВт, и если бы она почему-либо меня не устраивала, то внес бы в Программу. Допускаю — забыл, но тогда бы Акимов после провала не подходил ко мне согласовывать подъем мощности до 200 МВт, а не до 700.

К сожалению, и следствие и суд мои просьбы прослушать магнитофонную запись БЩУ-4 с начсмены станции оставили без внимания. Не знаю почему. Это первичный документ.

2. Давал ли я распоряжение на подъем мощности после

провала? Нет. Когда 2—3 человека показали, что я был все время на пульте, то я начал сомневаться — верно ли сохранила моя память зрительный образ. После кошмара той ночи и болезни — возможно. Но на суде Метленко сказал, что я от пульта СИУРа подошел к нему и вытирал капли пота со лба. А это абсолютно точно означает, что я пришел из какого-то помещения с высокой температурой, т. к. снижение мощности вплоть до нуля после разрешения диспетчера меня не только вспотеть не заставит, но даже, наоборот, вздрогнуть. Следовательно чуть из штанов не выпрыгнул, когда я сказал, что не помню, куда выходил. Уж если бы хотел соврать, то нашел бы что. А главное — причин нету. Говорю прямо: если бы был на пульте и мощность упала до 30 МВт, то сказал бы поднимать. Как я уже говорил выше — нет здесь нарушения. И уверен — сказал бы: расхолаживать блок при падении мощности до нуля. Такой случай был. Как раз на смене Казачкова. При останове блока на самом первом пункте ложно сработала защита. Все было исправно, но не было «Регламентного» запаса реактивности, и я дал команду расхолаживать блок, не выполнив ни одного пункта, намеченного на останов. Здесь же практически все было выполнено. «Программа выбега» меня вообще не волновала, т. к. использование выбега ТГ уже было введено на основе частичных испытаний, а полностью ее вообще нельзя испытать.

Удивительно! Но вынужден констатировать следующее.

Ни один человек не мог привести примера, когда бы я дал распоряжение по реактору в нарушение Регламента. И 25 и 26/IV — 86 никто не слышал, чтобы я давал такие команды. Однако:

— команду на снижение мощности от 700 до 200 МВт я отдал;

— команду на подъем мощности после провала я отдал;

— команду вывести защиту по останову 2-х турбин я отдал.

В приговоре: «Дятлов приказал вывести ряд аварийных защит АЗ-5».

Каких, для чего? Не говорится.

Что это случилось с Дятловым, что он из думающего, осторожного и грамотного инженера в одночасье превратился в лихого гусара, направо и налево раздающего команды заблокировать, перекосить и...

Вот, гр. Щербак, что значит следствие ь суд, проведенные с обвинительным уклоном. Вы, я думаю, не представляете себе. И избавь Вас бог от этого. Следствие напридумывало

Дятлову всяких действий (это не все), а потом стало задавать вопросы людям, в больнице — уж не чокнутый ли он? Нет, господа! Психически всегда был нормален. И теперь могу сказать, что психически исключительно устойчив, если выдержал апокалипсис той ночи, ужас болезни, непрерывные в течение года физические боли, подлое заключение судебно-технической экспертной комиссии, суд несправедливый и последующие моральные и физические страдания.

А все дело в том, что тот реактор взрывался и без каких-то особых условий.

Однако продолжу. Мощность до нуля не падала, как это заключили эксперты Михан и Мартыновченко. Школьное заключение людей, не управлявших никогда реактором. И следствие и суд отклонили мои ходатайства о повторной экспертизе с моим участием и привлечением опытного СИУРа. Да уж если бы до нуля падала, то комиссия Мешкова обязательно бы это отметила. Однако там были и люди, не раз исследовавшие диаграммы, и они пришли к выводу о снижении мощности до 30—40 МВт, а уж в той комиссии «доброжелателей» хватало.

Когда более-менее подобрались с СИУРом и он начал поднимать мощность, ко мне подошел Акимов и предложил поднять мощность до 200 МВт. При этом он сказал, что по «Программе выбега» 700 МВт. Но поскольку работе был уже конец — «Программа выбега» выполняется на заглушенном реакторе, а подъем до 700 МВт при нулевой мощности генератора осложнен, — я принял решение подъем остановить на 200 МВт. Да, я учитывал возможность отравления, но по моей прикидке до 01 ч. 30 мин. запаса было достаточно. И я не ошибся, это можно и сейчас проверить. Но откуда же мне было знать, что мощностной коэффициент реактивности положительный, если по данным НИКИЭТ и отдела ядерной безопасности станции он отрицательный. Это *теперь* известно, что надо было учитывать и снижение реактивности от снижения мощности.

Где-то в районе 01 часа я спросил у Топтунова, каков запас реактивности, и получил ответ — 19 или 18 стержней, точно не помню. На цифровом табло и Трегуб видел 17 или 18, т. е. Топтунов смотрел периодически. Но не может же СИУР обращать внимание на один параметр, для получения значения которого надо набрать код и выждать время, когда он появится на табло. У СИУРа более 4-х тысяч параметров, кроме управления реактором, и все внимание одному параметру он уделить не может. Топтунов неплохо справлялся с

управлением — это видно по форме нейтронного поля и записи мощности на ленте.

И при переходе с ЛАР на АР он «провалил» мощность потому, что АР оказался неисправным, а на второй АР он уже не мог перейти, т. к. его выбило по большому разбалансу. Это для Трегуба — он говорит, что не провалил бы мощность. Еще как бы завалил.

В условиях изменяющегося расхода питательной воды Топтунов вынужден был постоянно прибегать к манипуляциям по управлению реактором и проглядел снижение запаса реактивности.

А теперь — виновны ли мы в том, что просмотрели снижение запаса реактивности менее 15 стержней?

1. Прибора постоянного замера параметра нет. Есть только периодический замер, да еще после набора кода подожди результатов.

2. Отсутствие сигнализации. Здесь прямое нарушение требования ПБЯ-04-74.

3. Отсутствие автоматической аварийной защиты. Она, согласно требованию ПБЯ, должна быть, поскольку параметр взрывоопасен. НАУКА обязана была знать это.

4. Указание в Регламенте 15 стержней неверно. Ведь после определено в 30 стержней.

5. Дезинформация персонала в части знака мощного коэффициента реактивности.

6. Незнание персоналом опасности данного параметра. И узнать он этого ниоткуда не мог. А если бы знал, то сомневаюсь, чтобы кто-то согласился в тех условиях работать.

В этих условиях рассуждения о распределении обязанностей между машиной и человеком просто гнусны.

Я утверждаю, что 26.04.86 г. никто не видел запаса реактивности менее 15 стержней. К разрешению работать с запасом менее 15 ст. 25.04.86 г. я отношения не имею. И вообще по данному параметру я никогда решения не принимал, так как это не моя прерогатива. В какой-то момент после «провала» мощности возникла возможность отключения турбины-8 для предотвращения просадки давления в барабан-сепараторах. Здесь Акимов и принял логичное решение перевести установки АЗ ТГ-8 (фактически защиты реактора) с 55 на 50 кгс/см<sup>2</sup> и вывести защиту АЗ-5 по останову 2-х турбогенераторов. Никакого нарушения здесь нет. Все по регламенту. У меня он не спрашивал, и не нужно: это полностью в его компетенции. Если бы спросил, то я бы разрешил. Жильцов видит «серьезную вину персонала» в том, что не ввели сно-

ва защиту АЗ-5 по останову 2-х ТГ. В чем же здесь наша вина? Документа мы никакого не нарушили — это формально. А фактически? Авария произошла бы на 30 сек. раньше, только и всего. Это не только мое заключение, а и комиссии под председательством Шашарина. Да и на самом деле. Чем отличается состояние в момент начала опыта и в момент нажатия кнопки АЗ-5 Топтуновым? Только положением стержней АР, которые ушли вниз. Все остальное то же. Стержни же АР по сигналу этой защиты не двигаются.

Почему Акимов задержался с подачей команды Топтунову — теперь не выяснить. Но повторяю — на аварию это никак не повлияло.

Далее события происходили так.

После сообщения Акимова о замере вибрации турбина на холостом ходу и подтверждения Метленко о готовности, мы собрались и обговорили действия. Когда все, в том числе с мест на блоке, подтвердили готовность, я разрешил начинать, и Метленко скомандовал громко: «Осциллограф, пуск». По этой команде:

— СИУТ закрыл стопорные клапана;

— Лысюк нажал кнопку МПА;

— Акимов почему-то подал команду Топтунову нажать кнопку АЗ-5.

Все шло нормально, спокойно. Никаких разговоров на пульте не было, все наблюдали по своим местам. Здесь я услышал, что Топтунов что-то сказал Акимову. Я был у щита электриков и не слышал, что именно, но после изучения диаграммы с полной уверенностью могу сказать, что Топтунов Акимову сказал «стержни АР внизу».

Я обернулся и видел (затрудняюсь сказать, слышал ли), как Акимов спокойно сказал и показал рукой: жми кнопку, как это и было ранее обговорено. Сам Акимов снова повернулся к панели ПБ-3, за которой он наблюдал. Эту команду Акимова слышал Метленко (он был ближе к Акимову) и только что вошедший Кухарь.

Вот после нажатия кнопки АЗ-5 все и началось. Через несколько секунд прошло два мощных удара, сотрясших здание. Здесь Акимов громко крикнул «глуши реактор». Но уже сделать ничего нельзя было. Хотя и обесточили муфты стержней СУЗ, реактор был уже разрушен, стержни остались в тех местах, куда успели дойти после нажатия кнопки АЗ-5.

Таким образом, абсолютно точно реактор взорвался следующим образом: в момент нажатия кнопки АЗ-5 по концу работы для глушения аппарата все параметры были в норме (исключе-

чая запас реактивности). Стержни аварийной защиты пошли вниз и из-за дефекта конструкции либо внесли положительную реактивность, либо не вносили никакой реактивности. Ввиду уменьшения расхода первого контура вводилась положительная реактивность. Мощность возрастала, и из-за положительного быстрого мощностного коэффициента произошел разгон и взрыв реактора. Точка!

Это четко следует из распечаток ДРЕГ, диаграмм, показаний моих, Метленко, Кухаря.

Наша ошибка в просмотре параметра запаса реактивности обусловлена многими причинами. В вину нам это никак ставить нельзя, т. к. нарушены, вернее, не были соблюдены обязательные требования НОРМ. Эту нашу ошибку обязана была перекрыть автоматика. Это не мое пожелание, а обязательное требование ОПБ-82 п. 2.7.1. Будь аварийная защита нормальной, как того требуют нормативы, реактор был бы заглушен.

Даже при всем, что было, произошел бы кратковременный выброс мощности при неположительном общем мощностном коэффициенте, как того требуют «Нормы проектирования реакторов».

И вот при несоблюдении коренных, основополагающих требований ядерной безопасности при проектировании, именно тех, которые и привели к аварии 26.04.86 все-таки люди (Жильцов, Казачков), знающие об этом, говорят, что оперативный персонал виновен.

Непостижимая логика!

Знают! Не было бы аварии, будь реактор нормальным, т. е. выполненным согласно ОПБ-82 и ПБЯ-04-74, требования которых обязательны, — и все же виновен оперативный персонал.

Но ведь мы-то занимались работать на нормальном оборудовании и действовали исходя из этого!

Спросите у этих корифеев — виновны ли те, кто погиб при взрыве телевизоров? Наверное, виновны. Не надо было смотреть. Или смотреть через перископ, к примеру, из комнаты ниже этажом. Или уж, в крайнем случае, в каске, бронежилете и противопожарном костюме. Спросите у них, а зачем написаны ОПБ-82 и ПБЯ-04-74, если в любом случае виновен оперативный персонал? Я Вам в Приложении I выписал пункты этих документов, которые были не соблюдены при проектировании или в ходе эксплуатации. Это же букет!!! И за все это отвечали отнюдь не оперативный персонал и Дятлов.

Главный Конструктор РБМК-1000 академик Доллежалъ Н. А. в записке Прокурору говорит, что реактор с

2% обогащением урана и без дополнительных поглотителей в зоне (а именно таким был реактор) НЕУПРАВЛЯЕМ. Не надо быть специалистом, чтобы понять негодность такого реактора к эксплуатации — слово «неуправляем» всем понятно. Преступление прежде всего было в том, что нас заставили работать на таком реакторе. Обманом заставили. Отняли у кого жизнь, у кого здоровье и свободу. И продолжают обливаться грязью. Подлее ситуации нельзя и придумать.

Пожалуй, хватит. Писать можно и еще, да больно дорого это обходится нервишкам.

Отдельные замечания:

1. Акимов А. Ф. — грамотный, вдумчивый, старательный и исключительно добросовестный инженер. Хотя и не работал сам СИУРом, но во время подготовки на НСБ около месяца работал СИУРом и в конце 1985 г. также месяц работал, т. е. мы имели резерв НСБ и специально дали ему постажироваться. Знания его как НСБ были вполне достаточны, и опыт работы на станции около 8 лет. Несомненно, свою должность занимал по праву. Не вижу за ним никакой вины 26.04.86 г. Просмотр «запаса» наш общий, но я достаточно подробно объяснил. У кого по размышлению хватит совести бросить в нас камень за это?!

2. Топтунов Л. Ф. — имел не очень хорошие знания. Во время дублирования я неоднократно с ним беседовал, наблюдал его работу, был несколько недоволен им и дважды продлевал ему срок дублирования. Это дало положительный результат.

26.04.86 г. Топтунов никаких грубых нарушений не допустил, как то пишет Бородавко. «Провал» мощности был бы у любого в тех условиях (неисправен АР). В дальнейшем и поле и мощность поддерживал нормально — покажите диаграммы и присовокупите к ним диаграмму расхода питательной воды, пусть опытный СИУР скажет. Не призываю давать медаль, но пинать его не надо. Они оба с Акимовым считали себя виновниками (видимо, так), хотя никакого разговора у нас не было 26.04. Может, они что и говорили, когда я уходил на блок с БЩУ. Совсем напрасно остались на блоке. Топтунова я отправил часа в три с БЩУ, а Акимову прислал замену (Бабичев). К сожалению, проследить за сменой сам не смог, т. к. увезли в больницу.

3. Дятлов А. С. — считал и считаю сейчас, что свою должность занимал по праву. Знания, опыт работы с техникой и людьми, отношение к работе считаю соответствующими должности. Никому в рот не заглядывал, мог при необходимости

любому начальнику возразить, не задумываясь о последствиях. Имел 26 лет работы на реакторах, несколько десятков их: были собраны активные зоны, проведены физические замеры и энергетические испытания под моим непосредственным руководством. На станции с 1973 года. Работал уверенно, но самоуверенности излишней никогда не было и на реакторах на риск не шел. Не тот объект. Держал себя в достаточной физической и интеллектуальной форме.

4. Казачков вину каждого из нас, осужденных, определяет. Так вот, если из нас кто и имеет вину, так это Фомин. Во взрыве только его вина есть. Он знал (а также Лютов и Гобов), что аварийная защита дефектная. Он утверждал акт о физпуске, и тогда, конечно, обсуждала комиссия дефект стержней. Но из-за незнания физики он серьезность этого оценить не смог. Лютов равнодушный человек, лодырь, да и физику не очень-то знал. Гобов мог оценить, но он безвольный человек. А комиссия?!

6. Кстати сказать. Почему у Трегуба и других создалось впечатление, что я не уходил с БЩУ? Думаю так: все видели мой приход на пульт и сразу после «провала» мощности видели меня. Вот и создалось такое впечатление, что был все время. Хотя все они говорят, что специально не смотрели за мной, это естественно. Лысюк на суде сказал, что я уходил с пульта. Хочу сказать — сам ли дал команду поднимать мощность или Акимов принял такое решение — я все равно отвечаю за это, т. к. Акимов в этом подчинен мне. Однако повторяю — нет нарушения в подъеме мощности, так гласит Регламент.

6. В том, что Акимов не сделал записей в журнале, — моя вина. Когда я увидел все разрушения и пожар, очаги пожара, то журнал для сохранности отнес на БЩУ-3 и отдал Багдасарову, тот его положил в сейф.

7. Зачем понадобилось комиссиям разным приписывать оперативному персоналу нарушения, которых не было или которые не являются нарушениями? А все просто. Тот реактор взрывался при некоторых обстоятельствах, совершенно естественно возникающих, а отнюдь не маловероятном стечении их. Как выяснено после аварии, взрывался он и при срыве ГЦН и при МПА. Ну разве можно было открыто сказать, что реактор взорвался из-за запаса реактивности менее 15 стержней, т. е. из-за параметра, не обеспеченного ни замером, ни сигнализацией, ни автоматическим останом? Этот параметр по контрольно-измерительному оснащению находился ниже какого-нибудь бака сливных вод. Баки эти все на станции имеют сигнализацию по переполнению как минимум, а подавляю-

щее большинство оснащено и автоматическим пуском насосов откачки. Да кто же поймет таких конструкторов и проектантов? Можно в связи с этим спросить — вы эксплуатация, вы куда смотрели? Не знали мы этого и знать не могли. Это обязана была знать наука и принять меры согласно ПБЯ-04-74 и ОПБ-82.

8. Эксперимент «выбега» отношения к аварии не имеет. Реактор взорвался только из-за состояния, в котором оказался, а оно могло возникнуть (это состояние) при любой другой работе.

Остаюсь за решеткой. Дятлов. 11.11. 88 г.»

Вот так. Есть о чем подумать.

Вопрос вопросов — «кто виноват?» — нужно решить не для свершения кровожадной мести (осужденный Лаушкин умер, Фомин психически болен, Дятлов стал инвалидом), а для того, чтобы предотвратить последующие трагедии. Поэтому убежден: придет время, когда во весь голос будут названы виновники аварии — ВСЕ ДО ЕДИНОГО. Не знаю, потребуется для этого новое судебное заседание или нет, но это должен быть скорее не юридический суд, а суд совести, разума, научной истины и справедливости.

А если бы моя на то воля, я бы помиловал гражданина А. С. Дятлова...

## НАКАЗАНИЯ И НАГРАДЫ

Нет нужды возвращаться к известным постановлениям 1986 года Политбюро ЦК КПСС и Политбюро Компартии Украины, в которых указаны конкретные виновники происшедшего, понесшие партийную и государственную ответственность за содеянное. Приговор суда также хорошо известен.

Однако этим не исчерпывается вопрос о вине и наказании отдельных должностных лиц. Существуют еще и нравственные измерения. Так, в ряде писем и во время встречи с читателями меня спрашивают о секретаре Киевского обкома партии В. Маломуже, интересуются: какое он понес наказание за свою деятельность по заглушению информации в первые часы аварии в Припяти? Что я могу на это ответить? Я писал не фельетон, не разоблачительную статью. Если бы это было моей целью, пришлось бы вести специальное расследование. Но я писатель, а не прокурор. Я излагаю только факты. Выводы пусть делают другие, в том числе и те, кто назван или подразумевается в повести. Это дело их совести — возмущаться, делать вид, что ни-

чего не произошло, или, сгорая от стыда, подать в отставку, покаявшись в своих вольных или невольных грехах.

Но, судя по всему, В. Маломуж от стыда не сгорел. Он продолжал работать секретарем Киевского обкома партии. Более того. Сотрудники ЧАЭС и бывшие жители Припяти с изумлением увидели имя В. Маломужа... в списке делегатов XIX партконференции от Киевской областной парторганизации! Человек, имя которого неоднократно упоминалось на суде, когда речь шла о попытках исказить подлинный образ событий 26 апреля 1986 года, выступил в роли поборника гласности и перестройки! Оригинально, не правда ли?

Вышеприведенные строки были опубликованы в октябре 1986 г. в журнале «Юность». А через полтора месяца В. Г. Маломуж был освобожден от должности секретаря Киевского обкома партии и члена ревизионной комиссии ЦК Компартии Украины. И одновременно в адрес ЦК КПСС, Союза писателей Украины и редакции журнала «Юность» поступил объемистый, отпечатанный ксероспособом документ — обращение «общественного комитета по защите чести и достоинства В. Г. Маломужа», в котором предлагалось «принять необходимые меры по задержке издания книжного варианта документальной повести Ю. Щербака «Чернобыль» до окончания общественной проверки приведенных в ней обвинений, которыми бесосновательно, на наш взгляд, опорочен В. Маломуж».

Один из ведущих авторов письма, полковник запаса И. Тогобицкий не отрицает, что «повесть полезна и, бесспорно, в итоге принесет пользу». Однако, считает автор, «несправедливо и незаслуженно обвинен секретарь Киевского обкома КПУ Маломуж В. Г. ...Извините, но Ваше утверждение ложно. Вы опорочили его доброе имя». И далее: «Начальник лаборатории внешней дозиметрии АЭС В. Коробейников около 5 ч. утра докладывал об уровнях радиации 3—15 микрорентген в секунду. Говорил он также о том, что радиоактивные выбросы имеют в своем составе инертные газы и короткоживущие элементы, а кое-кто не придает этому значения и докладывает о высоких уровнях радиации. Стали ли бы вы отменять занятия в школах, закрывать магазины при таком докладе специалиста? Думаю, что нет. А если бы стали, то это выглядело бы примерно как «караул, спасайся, кто может». Зачем же вызывать эмоции у читателей, задавая вопрос «знали ли они (руководители) подлинные размеры катастрофы?»... Все действия Маломужа на первом этапе были абсолютно обоснованными и направленными на обеспечение ликвидации последствий

аварии и оказание помощи населению; после прибытия Правительственной комиссии его голос был, согласитесь, лишь совещательным. Аналогично действовал и председатель Правительственной комиссии Б. Щербина... Без сомнения, на этом этапе и Б. Щербина и В. Маломуж думали о предотвращении паники. Наверное, из таких соображений в эти часы Б. Щербина поздравил молодоженов и пожелал им счастья на одной из свадеб в г. Припять. Приведенные факты красноречиво говорят о том, чего стоят Ваши утверждения о заглушении информации (подчеркиваю) в первые часы аварии в Припяти и требования о наказании В. Маломужа за это. При чем здесь В. Маломуж? Воистину — «в огороде бузина, а в Киеве дядько». Его главная задача состояла в партийно-политическом обеспечении проводившихся мероприятий. Что он самоотверженно делал».

Боюсь, что пылкие защитники «чести и достоинства» В. Маломужа оказывают своему подзащитному медвежью услугу. Ибо существуют точные факты и показания свидетелей, от которых никуда не деться. За все время, что минуло после опубликования первой части повести летом 1987 г., где была названа фамилия В. Маломужа, он не счел необходимым обратиться ко мне — не для оправдания, нет! — но хотя бы для того, чтобы объяснить некоторые не совсем ясные моменты. А между тем именно В. Маломуж был *высшим по рангу руководителем*, первым прибывшим на АЭС рано утром 26 апреля. И уж очень неуклюже выглядит попытка И. Тогобицкого бросить тень на Б. Е. Щербину, который, как известно, прибыл много позже В. Маломужа, поздно вечером 26 апреля, и вскоре после прибытия *принял решение об эвакуации*, несмотря на сопротивление некоторых членов комиссии. Вот уж действительно «в огороде бузина, а в Киеве дядько».

Чтобы прояснить роль В. Маломужа на первых этапах аварии (что не исключает того положительного, что было им сделано по организации, скажем, вывоза из Припяти больных), предлагаю обратиться к рассказу чрезвычайно важного и ответственного свидетеля трагедии.

**Серафим Степанович Воробьев, начальник штаба гражданской обороны Чернобыльской АЭС:**

«Без пяти минут два часа ночи меня разбудил телефонный звонок и телефонистка сказала, чтобы я срочно приехал на станцию — меня вызывает директор. Случилась крупная авария. Я хотел уточнить — что? как? — но это было бесполезно. Я быстро оделся. Когда одевался, пошли звонки ко мне —

звонил начальник Первого отдела, еще кто-то. Побежал в гараж, взял свои «Жигули», поехал на станцию. По пути захватил начальника Первого отдела и секретаря парткома АЭС Парашина. Если бы я один ехал за рулем, то ничего бы не увидел. А так начальник Первого отдела — он сидел сзади — говорит: «Посмотри, слева что делается». Я как глянул — и увидел разлом. Конусом поднимался кверху. Понятно: произошла колоссальная авария.

Приехали на станцию, встретил меня Брюханов. Первое, что мне сказал Брюханов: «Вскрывать бункер». У нас на случай аварии в убежище размещено управление гражданской обороной: это — специально оборудованное помещение со всеми системами жизнеобеспечения.

Этот бункер находится под охраной, потому что там вся связь. Я сразу побежал в караульное помещение, взял ключи, расписался, что убежище вскрыл, и побежал в убежище, тут же вскрыл его.

— Раз Брюханов сказал уйти в убежище, значит, понимал, что произошло что-то серьезное?

— Безусловно, понимал. Когда радиационная авария, по инструкции надо идти в убежище. Все четко и ясно.

Мы пошли в убежище. И так как я тоже понимал, что это серьезно, первое, что я сделал, — взял дозиметрический прибор ДП-5 и начал подсоединять питание... Подключил прибор и сразу замерил уровень радиации в убежище. Он составлял 30 миллирентген в час. В убежище!

Потом, когда начали анализировать это явление, когда раскинули мозгами, пришли к выводу, что это скорее всего были радиоактивные благородные газы. И когда я доложил Брюханову, что так и так, уровень 30 миллирентген в час, он, очень умный и толковый инженер, сразу же сказал: «Включай фильтр-вентиляцию».

Кстати, директор первый сказал: «Неси сюда планы гражданской обороны по защите персонала и населения». Но так как планы находятся в Первом отделе, они секретные, мы переругались с начальником Первого отдела Игорем Никифоровичем Ракитиным — кому нести. В конце концов он их принес. Я принес их директору, он говорит: «Хорошо». Смотреть не стал.

Следующий мой шаг: я беру дозиметрический прибор и выхожу за пределы станции.

У нас есть такое понятие: если случилась радиационная авария, но она не выходит за периметры станции, то это называется «местная авария», «локальная авария» — и ее не

надо нигде объявлять. Но если уровень радиации превысил естественный уровень за пределами площадки, или, как мы говорим, за пределами забора, то тогда необходимо оповещать различные инстанции согласно спискам...

Я только вышел за пределы промплощадки, смотрю — 150 миллирентген в час. Это было на автобусной площадке, недалеко от АБК-1. Я пришел и доложил директору: «Виктор Петрович, надо оповещать». — «Подожди, надо разобраться». Это было примерно в 2. 30 ночи.

Ну ладно. Беру прибор. А мои подчиненные уже тут: Василий Дмитриевич Соловей, инженер по гражданской обороне, и Яков Лазаревич Сушко, старший инженер. Я вместе с Сушко поехал на своей машине по периметру станции, вокруг нее. Получилось так, что уровень радиации все увеличивался, увеличивался, и возле трансформаторных будок стал 20, 30, 40, 50, 100 рентген в час! Чем ближе к четвертому блоку, тем выше. Наконец, прибор показывает 200 рентген в час и зашкаливает.

Я думал: ладно, может быть, проскочу двести рентген. Но потом вижу: стрелка прыгает сразу же в зашкал, чувствуется, что там огромные поля. Мы остановились. Что делать? Я знаю, что в результате аварии могут быть такие уровни, что сторишь элементарно. Мы доехали до самого выброса. Был виден темный след графита.

Мы посмотрели — и вернулись. Я тут понял — все... Я почему-то посчитал, что сразу все это пошло на Припять — еще не сориентировался, что след пошел южнее. Словом, приезжаю к директору и говорю: «В соответствии с планами гражданской обороны надо объявлять населению, что радиационная авария, что надо принимать защитные меры — закрыть форточки, не выходить на улицу».

Директор тут, честно говоря, растерялся. Это было около трех часов ночи. Он спрашивает: «Где служба радиационной безопасности, где Коробейников, где Каплун?» Минимум полчаса их искали. В конце концов Коробейников приезжает. Что-то в четыре — половине пятого утра. Приезжает и говорит: «Так и так, намерял 13 микрорентген в секунду». Это что-то около 50 миллирентген в час. Говорил явную ложь. Он измерял своими приборами. Он вообще-то грамотный человек, кандидат наук, и не мог приехать на станцию, не зафиксировав огромные уровни радиации. С юга минимум сто рентген в час, а с севера — минимум двадцать пять рентген. По-другому нельзя было проехать на станцию. Директор встал и говорит в мой адрес: «Тут некоторые ничего не понимают и сеют панику». Это все происходило в бункере, причем я докладывал,

что зафиксировано двести рентген, в присутствии начальников цехов.

Коробейников доложил, что очень малые уровни радиации, и заявил, что он уже провел экспресс-анализы и что, кроме благородных радиоактивных газов, ничего нет. Это, конечно, правильно, потому что радиоактивных благородных газов очень много и они подавляют все остальное. Но если ты грамотный мужик, ты не должен говорить ерунду. Я, честно говоря, подумал тогда, что, может, ошибся. Мы с Василием Дмитриевичем Соловьем поехали по новой. Брюханов со мной не ездил.

Это было уже что-то в половине шестого, уже начало светать. Я специально тянул резину со вторым выездом, чтобы было светло. Чтобы не ошибиться. Мы поехали и еще раз убедились четко, что двести рентген и зашкаливает. Вернулись, едем в сторону Припяти. Едем, стоит милиционер, останавливает нас. «Куда, чего?» У меня было удостоверение, он пропускает. Смотрю — стоит толпа людей. Люди собирались ехать в Киев, а автобусов нет. Люди пошли пешком, чтобы сесть на попутные машины. Человек 25—30. Я вышел из машины, меряю — там около 200 миллирентген в час на обочине. Подхожу к милиционеру — там около двух рентген в час. Сразу в десять раз больше. Я подумал — что такое? Опять отхожу — падает уровень. Подхожу к людям, буквально на одном перекрестке — пять рентген в час. Очень резкие границы выпадения. Пятнами, еще не было размазано.

Люди стояли за мостом, ближе к границе «Рыжего леса».

Я тут понял окончательно и бесповоротно, что скрывать аварию бессмысленно и нельзя. Я говорю людям: «На атомной станции крупная радиационная авария, надо отсюда немедленно уходить». На мост въехали — прибор показывает только 300 миллирентген в час — ни больше ни меньше. Подъезжаем к городу — не изменяются показатели ни у меня, ни у Соловья. Мы двумя приборами меряли. Потом поняли, что машина уже заражена и «фонит». Я понял, что у меня и одежда заражена.

Поехали обратно. Возле КПП на АБК-2 замеры — там было 25 рентген в час. Приехали на АБК-1. И тут уже я четко. Пришел к директору и говорю: «Никакой ошибки тут нет, вот какие уровни радиации. Надо принимать меры, как положено по плану». Директор ни в какую: «Иди отсюда». За всю мою работу с ним это впервые. Всегда он меня слушал, понимал, что я что-то знаю, а здесь он прямо меня отталкивает. «У меня есть Коробейников, иди отсюда».

Я, честно говоря, растерялся. В конце концов, отвечать будем директор и я — я же начальник штаба. Собрались мы в убежище, там у нас был класс по гражданской обороне. Я, Сушко (он секретарь партийной организации), Соловей, Резников — инженер по связи, еще кто-то. Все офицеры запаса, пенсионеры. Я и говорю: «Что делать? Директор не реагирует на обстановку».

Сушко: «Ты обратись к Парашину, секретарю парткома». Побежал я к Парашину.

Мол, так и так, Сергей Константинович. У директора какое-то затемнение... Парашин потом заявил, что мне не верил. Но тогда он не сказал мне: «Я тебе не верю». Если бы так сказал — я бы его убедил. Но я его понял так, что он на директора тоже не может повлиять. И он сказал: «Иди и убеждай директора сам». Но ведь можно убеждать того, кто слушает. А если человек не слушает...

Это было как горохом об стенку. Я к директору — он слушать не хочет.

Как только я узнал, что за пределами промплощадки тоже повышенный уровень радиации, я также доложил в Штаб гражданской обороны области. Мне положено доложить. Еще положено доложить в Управление гражданской обороны Киевского военного округа и в Штаб ГО Гомельской области. Я попытался набрать по междугородному, как положено. Смотрю — не набирается. Я звоню телефонистке, а она мне говорит: «Вам запрещено выходить на междугородную связь». — «Кто запретил?» А в штаб ГО области я доложил только потому, что имел прямую связь между кабинетом и штабом, и они (директор и его подручные) забыли впопыхах отключить ее.

В штаб я доложил «общую радиационную аварию»... но на суде начальник штаба ГО области Корнюшин сказал: «Я думал, что Воробьев шутит, думал, что учения...»

Когда утром приехали офицеры из штаба ГО области (их все-таки подняли по тревоге), я им всю обстановку доложил. Они приехали вместе с секретарем Киевского обкома Маломужем. Они говорят: «Мы сейчас доложим все это Маломужу». Потом они ставят мне задачу: «Маломуж приказал, чтобы никакой паники. Он приказал вести радиационную разведку скрытым образом. Это Маломужа распоряжение. Скрытым образом. Чтобы никто не видел, что тут ходят с приборами». Я не представляю, как это можно сделать. Я сразу сказал офицерам: «Это же невозможно, все равно люди видят, это же не спрячешь».

С прибытием Маломужа — я подчеркиваю: с прибытием Маломужа — директор приказал мне: «Никому никаких сведений не давать. Ни вверх, ни вниз». Я ему не ответил. Куда я мог вверх? Только в область. Все было перекрыто. А вниз я уже сказал перед этим.

Директор проводил одно из совещаний у себя в кабинете. Когда прибыли офицеры, меня вызвали срочно в кабинет директора.

Пришел я к директору наверх, на третий этаж. Там такая обстановка: Брюханов на своем рабочем месте, а Маломуж стоит посреди кабинета. Покуда меня искали, совещание уже подошло к концу. Когда я зашел, докладывал главный врач санэпидстанции Коротков. Были начальник лаборатории внешней дозиметрии Коробейников, начальник первого отдела Ракитин, полковник Зинкин, других не помню. Это было утром после моего второго приезда — от шести до семи.

Директор принимал доклады. Не Маломуж. И директору докладывалась реальная обстановка, никто не врал. Коротков докладывал, что есть больные люди, один при смерти. Ясно, что огромный уровень радиации — там явные признаки лучевой болезни. Так что Маломуж уже ранним утром знал обстановку.

Мне слова не дали, и при Маломуже я не докладывал. Маломуж проводил линию: нужна или не нужна эвакуация населения Припяти?

Коробейников сказал, что не нужна. Я тут встрял. Сказал, что директор не может принять решение об эвакуации, *но нужно оповестить население...*

Маломуж мне сказал: «Садись. *Оповещение — это не твое дело*».

Об эвакуации: в документах четко расписано, когда директор имеет право принимать решение об эвакуации, а когда — председатель облисполкома. Имелся документ, дающий право принимать решение директору. По этому документу мы бы еще до сих пор жили в Припяти — там огромные дозы облучения названы. Теоретически директор имел право принять решение, но...

На том совещании было четко сказано, *что надо бояться паники*. Коробейников сказал, что эвакуация не нужна, и Маломуж гнул линию, *чтобы не было паники*.

Решение об эвакуации было принято 27 апреля, но *никто не сказал, что надо принять меры по оповещению населения*.

— Этим Брюханов совершил огромное преступление перед населением своего родного города, перед страной: вы согласны с этим, Серафим Степанович?

— Выходит, да. У меня создалось такое впечатление, что на директора кто-то давил.

Мне также известно (рассказал знакомый офицер ГО), что офицеры штаба гражданской обороны в 12 часов утра пришли к Маломужу и сказали, что надо оповещать население, ведь дети в городе. Маломуж аж почернел. *Он сказал им, чтобы они не сеяли панику*».

Таковы факты, и общественным активистам в защиту чести В. Маломужа стоило бы над ними задуматься.

Не все в порядке, на мой взгляд, и с наградами.

Ничем не награждены такие подлинные герои Чернобыля, как замечательный летчик Николай Андреевич Волкозуб и Анатолий Андреевич Ситников, отдавший свою жизнь во имя того, чтобы предотвратить катастрофу еще больших размеров... Без награды остался и безотказный трудяга, «чернорабочий аварии» Александр Эсаулов — заместитель председателя Припятского горисполкома.

Недопустимо медленно, на мой взгляд, решался бесспорный вопрос о награждении мужественных пожарных: разве нельзя было присвоить им высокие звания Героев Советского Союза, наградить их орденами *еще при жизни* — в начале мая 1986 года? Ведь не было же сомнений в том, что они совершили подвиг.

Просто медленно, по старым канонам работала машина награждений. А порою — даже сама процедура «выдвижения». Впрочем, бывали и любопытные исключения. Передо мною лежит «наградной лист» на бывшего первого секретаря Припятского горкома партии А. С. Гаманюка — человека, несущего личную ответственность за происшедшее на АЭС и получившего за это партийное взыскание.

В этом «листе» говорится: «С 4 мая после выхода из больницы принимает участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Аппарат городского комитета партии, руководимый А. С. Гаманюком, основной задачей считал и считает партийное влияние при ликвидации последствий аварии на население». Предлагается наградить т. Гаманюка Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР. А под «наградным листом» стоит... подпись самого А. С. Гаманюка и печать Припятского горкома партии!

По-разному решался вопрос о наградах тем, кто трудился на ликвидации последствий аварии. Кто был удостоен орденов, кому были вручены грамоты или денежные премии. В одной из

воинских частей — в «хозяйстве» полковника Степанова — мне показали самодельные значки, которые выдавались всем участникам ЛПА. Уникальные, надо сказать, значки. И все же, мне кажется, вопрос о награждении всех тех, кто принял участие в событиях всемирно-исторического значения, до конца так и не решен.

Поэтому я обращаюсь к Президиуму Верховного Совета СССР с предложением учредить памятную медаль «Участнику ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Самое трагическое событие после Великой Отечественной войны должно быть достойно увековечено, а его участники пусть получают то, что по праву заслужили.

И только одну привилегию следовало бы предоставить тем, кто получит такую медаль: привилегию в немедленном, внеочередном оказании высококвалифицированной медицинской помощи.

## ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сто лет тому назад, 2 июня 1887 года, пребывая в Рославльском уезде Смоленской губернии, где-то километрах в трехстах от Чернобыля, Владимир Иванович Вернадский, впоследствии выдающийся советский ученый, академик, первый президент Академии наук Украины, писал жене:

«Наблюдения Эрстеда, Ампера, Ленца положили начало учению об электромагнетизме, невыразимо сильно увеличившем силы человека и в будущем обещающем совершенно изменить строй его жизни. Все это исходило из наблюдений над особыми свойствами магнитного железняка... И у меня является вопрос: нет ли подобных свойств у других минералов... и если есть, то не откроет ли это нам целый ряд новых сил, не даст ли нам возможности новых приложений, не удесятерит ли силы людей?.. Нельзя ли вызвать неведомые, страшные силы в разных телах...»

Эта цитата взята из интереснейшей статьи И. И. Мочалова «Первые предупреждения об угрозе ядерного омницида: Пьер Кюри и В. И. Вернадский», напечатанной в третьем номере журнала «Вопросы истории естествознания и техники» за 1983 год. Омницид — это сравнительно новый термин, обозначающий всеобщее убийство людей.

В письме молодого двадцатичетырехлетнего выпускника физико-математического факультета Петербургского университета за десять лет до открытия радиоактивности А. Бекке-

релем содержалось, пожалуй, первое в истории человечества предупреждение о надвигающейся новой эре, той, которая сегодня так больно задела нас в Чернобыле, суля полное уничтожение человечества в случае военного использования ядерной энергии.

Всю жизнь В. И. Вернадского волновала поначалу неясная, а потом все более и более осязаемая перспектива использования этой страшной силы:

«Мы, дети XIX века, на каждом шагу свыклись с силой пара и электричества, мы знаем, как глубоко они изменили и изменяют всю социальную структуру человеческого общества. А теперь перед нами открываются в явлении радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению. Невольно с трепетом и ожиданием обращаем мы наши взоры к новой силе, раскрывающейся перед человеческим сознанием. Что сулит она нам в своем грядущем развитии?.. С надеждой и опасением всматриваемся мы в нового защитника и союзника» (1910).

«Радий есть источник энергии, он могучим и мало для нас еще ясным образом действует на организм, вызывая кругом нас и в нас самих какие-то непонятные, но поразительные по результатам изменения... Странное чувство испытываешь, когда видишь эти новые формы материи, добытые гением человека из недр Земли. Это первые зернышки силы будущего. Что будет, когда будем получать их в любом количестве?» (1911).

И вот в дни, когда по Киеву еще ходили дозиметристы и всерьез обсуждался вопрос о проведении сплошной дефолиации знаменитых киевских каштанов и тополей, я пришел в дом, в котором в 1919—1921 годах работал Владимир Иванович Вернадский. На здании президиума Академии наук УССР висит мемориальная доска в память об этом гениальном человеке: казалось, он подошел к окну президентского кабинета и пытливо глядит на нас из глубины киевского прошлого, когда извозчики цокали мимо этого дома по брусчатке и мало кто еще в мире слышал это слово: радиация. И уж вовсе никто всерьез не относился к пророчествам ученых.

Я пришел к вице-президенту АН УССР, видному советскому ботанику и экологу, академику АН УССР Константину Меркурьевичу Сытнику. Вот что он сказал:

«Это трагедия, большая трагедия народов, которая косну-

лась непосредственно сотен тысяч людей. Возник новый экологический фактор. Я бы не преувеличивал его, но еще хуже — его недооценивать. Конечно, нельзя допускать, чтобы мы, увлекшись обсуждением чернобыльской проблемы, забыли о том, что сегодня продолжают дымить заводы Украины, что продолжается загрязнение днепровского водного бассейна химическими и металлургическими предприятиями. Однако новый фактор, связанный с аварией, существует, и это фактор отрицательного свойства.

Люди очень обеспокоены его существованием, и это естественно. Большинство населения никогда не интересовалось, каковы предельно допустимые нормы окисла азота или сернистого ангидрида. Зато их очень интересует сегодня уровень гамма-, бета- и альфа-излучения. Это объясняется тем, что мы годами говорили о трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы подробно рассказывали об огромной опасности для человечества, связанной с радиоактивным излучением. Люди постепенно все это накопили в своем сознании и относятся к радиоактивности как к фактору большого риска. Тут существует некий психологический феномен, некий разрыв между эмоциями и знаниями. Все знают, что в результате промышленных выбросов в окружающую среду попадают канцерогены — но это не вызывает особых эмоций.

Иное дело радиоактивность. Настрой у людей весьма тревожный — ведь люди боятся за своих детей, внуков, потому что мы много говорили о генетических, отдаленных последствиях. С этим надо считаться и ученым, и средствам массовой информации.

Мы должны объективно и трезво разъяснить существующую ситуацию, не отмахиваясь от тревожных вопросов людей. Мы не должны бояться вызвать панику, ибо причина паники — в дефиците информации. А мы твердим, как попугаи, только одно — что пища чистая, что она проверяется, и т. д. Но если у меня самого нет в этом уверенности, если я несколько месяцев сам не пью молока — как же я буду уверять людей в безопасности продуктов? Пойдите на вокзал и посмотрите, что люди везут из Москвы? Полные сумки продуктов. Большинство из них с недоверием относится к тому, что мы пишем.

Скажем: медики все время в своих сверхоптимистических передачах твердили в июне — июле, что купаться в Днепре в районе Киева можно. Я же тогда считал, что купаться нельзя ни в коем случае. Потому что в прибрежной части, в илах в то время накопилось определенное количество радионуклидов. Ничего бы не случилось с киевлянами, если бы они один год

воздержались от купания или не пошли бы в лес за грибами.

В то же время, конечно, нельзя эту проблему и утяжелять. Почему? Да потому, что в природе идет могучий процесс разбавления, рассеивания радионуклидов — и это спасает нас. Вновь, в который раз, матушка-природа стала нашей спасительницей. Говорю о деревьях, земле и о водах Киевского моря, принявших, вобравших в себя основной выброс радиоактивности. Сколько мы с вами проклинали Киевское море, нависшее над нашим городом, а в этой ситуации оно оказалось очень полезным накопителем, вобрав в илы часть радионуклидов, которые затем осели на дно. Море оказалось радиоемким, оно поглотило некоторую часть частиц, и мы надеемся, что в конечном счете произойдет разбавление радионуклидов до незначительных концентраций.

Вопрос о воде мне наиболее близок, так как я — председатель рабочей группы по мониторингу (слежению. — Ю. Щ.) за состоянием воды в днепровском бассейне. Днепр — важный элемент всех наших забот, может быть, даже — важнейший. Ведь водой днепровского бассейна пользуется тридцать пять миллионов населения Украины. Сразу же после аварии был проведен ряд срочных мероприятий по охране источников водопользования, и я могу сказать, что население Украины получает доброкачественную питьевую воду. Это я заявляю с полной ответственностью.

Вместе с тем мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Для этого мы совместно с Институтом кибернетики АН УССР имени В. М. Глушкова создали математическую модель изучения и прогнозирования состояния воды в днепровском бассейне. В этой модели предусмотрели разные — вплоть до самых экстремальных — возможные ситуации, разработали на случай их возникновения целый комплекс специальных мер. Но пока такие экстремальные ситуации не возникали, никакой опасности не было. Многие боятся весны 1987 года, особенно весеннего паводка. Что можно сказать?

В напряжении аварийной обстановки люди забыли, что мы, в сущности, уже пережили одно наводнение — двадцать шестого апреля 1986 года, когда как раз был большой разлив рек и когда выбросы из Чернобыльской АЭС легли непосредственно на воду. Я не ожидаю серьезных последствий от паводка 1987 года.

Каковы уроки Чернобыля?

Недавно у нас состоялась типичная научная конференция по проблемам Чернобыля и его последствий. Собралось не менее ста человек, с цифрами, графиками, выкладками.

Физики, биологи, генетики. Были там интересные доклады, и среди них были очень оптимистические. И это не был тот награнный оптимизм, о котором писал Чингиз Айтматов. Помните, в «Плахе»: «До каких пор мы будем верить, что даже катастрофы у нас самые лучшие?» Нет, в своей среде мы были очень откровенны.

Ряд объективных данных настраивает нас все-таки оптимистически. Но об этом нужно уметь рассказать так, чтобы люди поверили. Надо найти таких ученых, чтобы говорили убедительно, с фактами и цифрами, чтобы вызывали доверие слушателей или телезрителей.

И, конечно, один из основных уроков — урок нравственный. В связи с аварией в Чернобыле резко усилилась горечь, разочарование наукой. Ведь вы тоже об этом говорили на съезде писателей Украины?

— Говорил.

— Но дело не столько в самой науке, сколько в моральных качествах отдельных ученых. Очень часто бывает такая ситуация: есть два-три ученых, примерно в равных чинах и званиях. Один из них говорит категорически «нет», а двое других — «да!». Что делать тем, кто принимает решения? Они, естественно, выбирают тот ответ, который им больше по душе. К сожалению, не всегда даже тот ученый, который говорит «нет», пытается затем отстаивать свою точку зрения, драться за истину, выступать на высоких форумах, и т. д. Даже он не хочет иметь дискомфорт душевный, входить в конфликт с могущественными людьми и ведомствами.

Вот вам, как писателю и ученому, тема: поисследуйте корни такого неодинакового поведения крупных специалистов. В чем причины?

А в итоге вся чернобыльская история бросила тень на науку. Особенно на ее моральное лицо.

Пожалуй, главный урок Чернобыля состоит в том, что любой даже самый малый моральный изъян ученого, любые уступы совести должны жестоко наказываться. А мы ведь забыли о том, что когда-то непорядочному человеку руки не подавали. Когда-то. Но ведь сейчас в тысячи раз возросла ответственность ученых за их собственные открытия и за экспертизу огромных строек. Ученый должен в огонь идти за свои идеи, свои убеждения. Но часто ли такое увидишь?»

Вот какие разговоры велись в здании, освященном именем В. И. Вернадского, сказавшего в 1922 году:

«Ученый не машина и не солдат армии, исполняющий приказания не рассуждая и не понимая, к чему приводят и для

чего эти приказания делаются... Для работы над атомной энергией необходимо сознание ответственности за найденное. Я хотел бы, чтобы в научной работе, такой, казалось, далекой от духовных элементов человеческой личности, как вопрос об атомах, этот моральный элемент был осознан».

Чернобыльские маршруты привели меня осенью 1986 года и в Москву, туда, где 40 лет тому назад, 25 декабря 1946 года начал работать первый в Европе уран-графитовый атомный реактор Ф-1 «физический первый». Тогда это была окраина Москвы — Покровско-Стрешнево, и стоял здесь густой сосновый бор. Впрочем, сосны и сейчас есть. Теперь здесь раскинулась территория Института атомной энергии им. И. В. Курчатова.

Я пришел к Валерию Алексеевичу Легасову, академику, члену Президиума АН СССР, первому заместителю директора и директору отделения института, лауреату Ленинской и Государственной премий СССР. Основные научные интересы Валерия Алексеевича связаны с ядерной технологией и водородной энергетикой, химией плазмы и синтезом соединений благородных газов. Но в 1986 году имя академика Легасова звучало на весь мир в связи с ликвидацией аварии в Чернобыле. Валерий Алексеевич приехал в Припять в первый же день аварии, был назначен членом Правительственной комиссии.

Я познакомился с академиком Легасовым задолго до того, как встретился с ним. Работая над научно-публицистическим кинофильмом «Внедрение» (киностудия Киевнаучфильм), я, сидя в монтажной, десятки раз прогонял пленку с интервью Валерия Алексеевича, данным съемочной группе. Особенно запали в душу такие слова:

«Я бы хотел обратить внимание на то, что за многие годы эта болезнь — недостаточное внимание к новому, неумение новое осветить — стала застарелой болезнью и вылечить ее не так просто. Стала она застарелой потому, что с детских лет не очень-то учат ценить новое, отличать новое от старого. Если прийти в любой класс, послушать, как идет урок, то независимо от того — гуманитарный это предмет или естественный, — как правило, вы столкнетесь с тем, что детям объясняют, какая это хорошая книжка, какое это точное уравнение, какой это хороший эксперимент. Но ни разу вы не услышите вопроса: «А как бы ты сделал лучше, а чем плох этот эксперимент, или чем неудачна эта книжка?»

Но ведь с отрицания того, что кажется хорошим и идеальным, начинается творчество, стремление сделать все как-то лучше. Наша школа учит скорее пользоваться тем, что есть, а не отрицать достигнутое и не создавать новое».

Мне показалась очень важной эта мысль, вскрывающая одну из причин многих наших бед, в том числе и чернобыльской. Потому что наша школа все свои силы бросает лишь на воспитание послушных, благонаправленных, исполнительных мальчиков и девочек, малых соглашателей, не воспитывая в них духа критицизма и объективного, с учетом всех «за» и «против» подхода к явлениям природы и социальной действительности. Прививает нормативное мышление, а критицизму (а чаще неверию и цинизму) учит молодого человека улица, иногда родные, книги, знакомые. Но ко всему этому школьник зачастую пробивается сам».

Очень интересно было поговорить с Валерием Алексеевичем Легасовым об уроках аварии на Чернобыльской АЭС:

«Так получилось, что еще до чернобыльской аварии мне пришлось заниматься вопросами промышленной безопасности — и в частности, безопасности атомных электростанций. В связи с бомбардировкой Израилем центра ядерных исследований в Ираке не только в научных, но и в более широких кругах обсуждались последствия возможного нападения на АЭС. Этому была посвящена наша статья в журнале «Природа» (Легасов В. А., Феоктистов Л. П., Кузьмин И. И. Ядерная энергетика и международная безопасность. — «Природа», 1985, № 6). Уже тогда, рассматривая этот вопрос, мы пришли к выводу, что воевать при достаточно высокой плотности атомных электростанций безумие. Слишком большие регионы надолго оказались бы радиационно пораженными.

Но для любого здравомыслящего человека возникал другой вопрос: а если атомную энергетiku исключить? И вместо нее поставить какие-то энергетические эквиваленты в виде газовых, угольных или мазутных электростанций? И вот мы стали рассуждать — я повторяю, еще до чернобыльских событий: допустим, бомба попадет в ядерную электростанцию. Это плохо. А если она попадет не в атомную станцию, а в сооруженную вместо нее тепловую? И мы увидели, что будет тоже плохо. Взрывы, пожары, образование ядовитых соединений погубят большее количество людей и выведут из пользования заметные регионы, хотя на меньший срок.

И вот после этих оценок приходишь к такой точке зрения: дело сейчас заключается не в роде техники, а в ее масштабах и концентрации. Уровень концентрирования мощностей промышленных объектов сегодня таков, что разрушение этих объектов, случайное или преднамеренное, приводит к очень

серьезным последствиям. Человечество в своем развитии создало такую плотность различных энергоносителей, различных потенциально опасных компонентов — биологические ли они, химические или ядерные, — что их сознательное или случайное разрушение приводит сегодня к крупным неприятностям.

Сегодня проблемой стало тиражирование различных объектов и концентрация больших мощностей. В свое время было введено в строй ограниченное число ядерных объектов, надежность которых обеспечивалось высочайшим уровнем квалификации персонала, тщательным соблюдением всех технологических регламентов. Вот здесь, за окном, работает первый отечественный реактор, и надежно работает. Но потом, когда надежные технические решения себя зарекомендовали хорошо, их начали тиражировать, одновременно увеличивая мощности объектов. А подход к малому числу таких объектов и к большому числу их с высоким уровнем мощности должен быть совершенно разный.

Произошел некий качественный скачок: этих объектов стало больше, они стали гораздо мощнее, а отношение к эксплуатации этих объектов ухудшилось.

— А почему это произошло?

— Думаю, был очень силен инерционный момент. Потребность в электроэнергии велика. Нужно было быстро вводить и осваивать новые мощности. А быстро — значит не менять принципиально ранее сделанных проектов. Стремительно возрастало число людей, занятых изготовлением оборудования, эксплуатацией его. А методы обучения, тренажа уже не поспевали за темпом развития.

Было бы относительно просто, если бы можно было врага определить, скажем, в виде ядерного реактора или в виде ядерной энергетики. Но это не так. И даже если мы откажемся от этого технического способа и заменим его другим — то не будет «о'кей». Будет хуже. Вот ведь какая вещь. Потому что враг — не в технике. Не в типе самолета, не в типе реактора атомного, не в виде энергетики. Если крупномасштабно смотреть на эту проблему, основной враг — это сам способ создания и проведения энергетических или технических процессов, зависящий от человека. Самое важное — человеческий фактор. Если раньше мы смотрели на технику безопасности как на способ защиты человека от возможного воздействия на него машин или каких-то вредных факторов, то сегодня возникла другая ситуация.

*Сегодня нужно технику защищать от человека. В самом*

деле — от человека, в руках которого сосредоточены потрясающие мощности.

Защищать от человека в любом смысле: от ошибок конструктора, от ошибок проектанта, от ошибок оператора, ведущего этот процесс. А это уже совсем иная философия.

Сейчас какие мировые тенденции прослеживаются? Число аварий — если брать удельный вес на 1000 человек или по другим показателям — сокращается. Но уж если она при меньшей вероятности все же случается, то масштабы ее возрастают.

— Это как самолет: раньше в авиакатастрофе погибало четырнадцать человек, сегодня — двести — триста.

— Совершенно верно. И вот первый вывод: Чернобыль проявил то, что человечество не очень торопилось с изменением подхода к безопасности, философии безопасности. Надо сказать, что это есть не только отставание отечественное. Это мировое отставание. Отсюда Бхопальская, Чернобыльская, Базельская трагедии.

Невозможно, неправильно и глупо отказываться от достижений человеческого гения. Отказываться от развития атомной энергетики, химической промышленности или еще от чего-то. Это ненужно. А нужно сделать две вещи: во-первых, правильно понимать воздействие таких серьезных новых машин и видов техники на окружающую среду и, во-вторых, разработать систему взаимодействия человека с машиной. Это проблема не лично человека, работающего с такой машиной, а это гораздо более общая и важная проблема. Ведь при таком взаимодействии могут возникнуть серьезные катастрофы, неприятности от недосмотра, глупости, от неправильных действий. Неважно, кто неправильно поступил: начальник станции или оператор.

Сейчас нам нужно искать оптимум системы. Оптимум в автоматизации, оптимум в человеческом вмешательстве в процессы, оптимум при решении всех организационных и технических вопросов, связанных с такими сложными технологическими системами. При этом надо создавать защитные барьеры, насколько это возможно, и на случай, когда и человек будет ошибаться, и машины окажутся ненадежными.

Вот тут я вам впервые, пожалуй, хочу высказать одну — может быть необычную — мысль. Пока мы обсуждали известное. Так вот. Все мы видим, как говорится, невооруженным глазом, что на всех этапах создания техники у нас есть некоторая недоработанность, шершавость, что ли. На всех этапах — от создания до эксплуатации. Это общеизвестные факты, они изложены в решении Политбюро ЦК КПСС о при-

чинах аварии на Чернобыльской АЭС. Я все время думал — почему же это происходит?

И знаете, прихожу к парадоксальному выводу: не знаю, согласятся со мной мои коллеги или будут камни в меня бросать, но я прихожу к заключению, что это от того, что мы сильно увлеклись техникой. Прагматически. Голой техникой. Это охватывает многие вопросы, не только безопасности. Давайте задумаемся: почему в те времена, когда мы были гораздо беднее и была гораздо более сложная обстановка, почему сумели за исторически ничтожный срок — в 30-е, 40-е, 50-е годы — поразить весь мир темпом создания новых видов техники и качеством славились? Ведь ТУ-104, когда он появился, — это был качественный самолет. Атомная станция, которую создал Игорь Васильевич Курчатов, его соратники — это было и пионерское, и хорошее решение.

Что же случилось, почему?

Первая попытка — объяснить это какими-то субъективными, организационными факторами. Но это не очень серьезно. Мы могучий народ, и огромный у нас потенциал заложен. И каждый руководитель, и каждая организационная система на каком-то историческом отрезке использовали и удачные решения, и менее удачные — но не могли же они так крупно повлиять.

И я пришел примерно к такому парадоксальному выводу: та техника, которой наш народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина, была создана людьми, стоявшими на плечах Толстого и Достоевского...

— Это потрясающий вывод в устах технического специалиста.

— Но мне кажется, что это так. Люди, создававшие тогда технику, были воспитаны на величайших гуманитарных идеях. На прекрасном и правильном нравственном чувстве. И на яркой политической идее построения нового общества, на той идее, что это общество является самым передовым. Это высокое нравственное чувство было заложено во всем: в отношениях друг с другом, отношении к человеку, к технике, к своим обязанностям. Все это было заложено в воспитании тех людей. А техника была для них лишь способом выражения нравственных качеств, заложенных в них.

Они выражали свою мораль в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как их учили относиться ко всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов.

А вот в следующих поколениях, пришедших на смену, мно-

гие инженеры стоят на плечах «технарей», видят только техническую сторону дела. Но если кто-то воспитан только на технических идеях, он может лишь тиражировать технику, совершенствовать ее, но не может создавать нечто качественно новое, ответственное.

Мне кажется, что общим ключом ко всему происходящему является то, что долгое время игнорировалась роль нравственного начала — роль истории нашей культуры, — а ведь все это одна цепочка. Все это, собственно, и привело к тому, что часть людей на своих постах могла поступать недостаточно ответственно. Но даже один, плохо работая, создает в цепочке слабое место, и она рвется.

Кстати говорят, если послушать непосредственных виновников аварии — то, в общем, цели у них были самые благие. Выполнить поручение, выполнить задачу.

— Валерий Алексеевич, а они понимали вообще, что делают?

— Они считали, что делают все правильно и хорошо. И нарушают правила во имя того, чтобы сделать все лучше. Мне так кажется.

— Но все-таки они понимали, что нарушают все правила эксплуатации реактора?

— Они не могли этого не понимать. Не могли. Потому что нарушали основные, как говорится, заповеди. Но кто-то считал, что это не опасно, кто-то — что делать так даже лучше, чем написано в инструкции, потому что, видите ли, цель у них была достойная, что ли: собраться и обязательно сделать то, что им поручено в эту единственную ночь, сделать любой ценой. Любой ценой.

Правда, это не относится к тем, кто крайне безответственно разрешил испытания и утвердил программу их проведения. Смысл эксперимента заключался вот в чем. На случай прекращения подачи пара в турбоагрегат — это аварийная ситуация — на станциях должны включаться в работу дизель-генераторы. Они набирают необходимые параметры для обеспечения блока электроэнергией не сразу, а через десятки секунд. В это время генерирование электроэнергии должна обеспечить турбина, потерявшая пар, но еще вращающаяся по инерции. Нужно было проверить — хватает ли времени выбега турбины до выхода на нужные параметры дизель-генераторов. Программа этой проверки была составлена крайне небрежно, не согласована ни физиками станции, ни конструктором реактора, ни проектантом, ни представителями Госатомэнергонадзора. Тем не менее она была утверждена главным инженером и за-

тем им лично не контролировалась и изменялась и нарушалась в процессе исполнения.

Низкий технический уровень, низкий уровень ответственности этих людей — это не причина, а следствие. Следствие их низкого нравственного уровня.

Обычно понимают так: ага, безнравственный человек — это тот, который позволяет себе брать взятки, например. Но это крайний случай. А разве нравственен человек, который не хочет свой чертеж сделать лучше, не хочет сидеть по ночам, мучиться, не хочет искать более совершенные решения? Человек, который говорит: «Зачем напрягаться, если можно сделать такое решение, которое профессионально вроде бы кажется нормальным, хотя не является оптимальным, не является наилучшим». И вот начался процесс распространения технической отсталости. Мы ни с чем не справимся, если не восстановим нравственного отношения к выполняемой работе, какой бы она ни была: медицинская, или химическая, или реакторная работа, или биологическая.

— А как его восстановить, это нравственное отношение? После вдоха и долгой паузы:

— Ну... здесь я не могу быть пророком.

— И все-таки, Валерий Алексеевич. Представьте, что вы — министр просвещения или человек, решающий судьбы школьников. Что бы вы сделали?

— Частично я уже говорил: надо восстановить чувство ответственности, критичности, чувство нового. Был такой период времени, когда некоторые внешние условия этому мешали. Но вот сегодня у нас самый благоприятный период. Пожалуйста — нам ничто не мешает восстановлению самых лучших отечественных или национальных в нашей многонациональной стране традиций. Никто не мешает. А как это делать? Увеличивать или уменьшать долю тех или иных предметов? Я не знаю. Но я уверен, что в школу нужно приводить интересных людей. Ведь Россия всегда была сильна тем, что учитель — это человек, который в нравственном отношении чаще всего является идеалом для своих учеников.

И еще хочу сказать о неделимости общей и технической культуры. Это неделимые вещи. Если вы кусок какой-то изымаете, связанный с историей нашего отечества или с нашей литературой, если вы к чему-нибудь ослабили внимание — это обязательно бумерангом вернется — в силу неделимости культуры. В равной степени нельзя все отдать литературе и искусству и забыть про технику. Мы тогда станем беспомощным обществом. Возникает естественный вопрос: вопрос гармонии.

— Возвратимся к Чернобылю. Как вы пережили это событие как человек и как специалист? Не было ли у вас комплекса вины, не личной вины, а вины физиков за случившееся?

— Я бы так сказал: было чувство злости. И досады на то, что здесь, в этом институте, где специалистами высказывались все необходимые опасения и предложения, мы оказались недостаточно сильными и вооруженными для того, чтобы провести в жизнь нужную точку зрения. И отчеты писали, и выступали многие, и чувствовали опасность усложнения технологических систем без изменения философии их построения. Были и готовые рекомендации. Ну, например: важнейшим упреждающим элементом было бы создание диагностических систем. У нас ратовали за эти диагностические системы, испытывали некоторые из них, требовали их развития, везде объясняли опасность того, что у нас не хватает вычислительных мощностей для построения нужных моделей и оценки ситуации, для обучения персонала на тренажерах. Но, выходит, мало требовали, плохо объясняли. Вот в этом смысле было чувство злости, что ли. Сердиться же на физиков или, тем более, на физику — это все равно что бить палкой гуттаперчевую копию начальника, как это кое-где делается в Японии. Физика — это лидирующая в технике наука, она не может быть в чем-то виновной. Виновны могут быть люди, плохо ее использующие.

А как человек что я пережил? Меня в субботу 26 апреля сняли с актива, я как был «при параде», так и вылетел туда. Никто из нас не ожидал аварии таких масштабов. Со станции неправильно нас в Москве информировали. Мы получили противоречивую информацию. По одной информации — вроде там все присутствует — и ядерная авария, и радиационная опасность, и пожар, в общем, все виды опасности обозначены. А потом стали информировать, что пытаются вести охлаждение, то есть пытаются управлять реактором. Раз пытаются управлять реактором — значит, он существует, и тогда особых проблем нет. Но вот когда мы подъехали, дело было вечером, в субботу, и я увидел зарево красное — это, конечно, поразило и сразу показало серьезность дела. А потом уже времени на эмоции не было — надо было изобретать на месте — что чем и как измерять, что предпринимать, и так далее. В тот вечер мы только оценили радиационную обстановку, причем самым активным «дозиметристом» был профессор Абагян Армен Артаваздович — директор Института атомных электростанций. А на следующий день, когда я в бронетранспортере подъехал к развалу реактора — вот тогда и появилось это чувство злости,

о котором я вам говорил. И еще ощущение того, что к такой ситуации оказались неподготовленными. Не было заранее предусмотренных решений и технических средств. Ведь что произошло? Всегда говорилось, что вероятность ядерной аварии крайне мала. И проекты станции действительно обеспечивали эту малую вероятность. Но ведь все-таки вероятность не была нулевой. Из нее следовало, что такая авария может произойти раз в тысячу лет. Но кто сказал, что этот раз не придется на наш с вами год? На 1986 год? Тем не менее возможность аварийных действий до того, как происходит это маловероятное событие, не была предусмотрена.

Правда, спустя некоторое время, когда мне пришлось поехать в Вену, на заседание в МАГАТЭ, я убедился, что вся мировая наука и техника, как показала практика, не очень-то к такого рода авариям была подготовлена...

И еще скажу такую вещь. Может, это звучит парадоксально, но как только отпустила острота тревоги, я стал получать удовлетворение от выполняемой работы. По-моему, я не одинок, очень не одинок в этих своих эмоциях. Потому что были созданы такие условия, при которых шла настоящая работа — без бумаг, без волокиты, без согласований. На плечи Правительственной комиссии легла колоссальная ответственность. Особенно в первые дни. Это уже потом стали появляться всякие согласования, когда ситуация была более спокойная. Но в тот момент было так: все нам помогали, все было в нашем распоряжении, но вся ответственность за принятые решения ложилась на плечи людей, которые туда приехали, и особенно на плечи Б. Е. Щербины. И это оказалось очень полезным. Ситуация драматичная, но в условиях представленной самостоятельности, сопряженной с ответственностью, удалось организованными усилиями множества людей и ограничить число пострадавших, и сравнительно быстро локализовать масштабы аварии.

Пришлось решать там и научные задачи. Первая задача — локализация аварии. У нас не было алгоритма поведения в таких ситуациях. И единственное поле активных действий — в небе, на высоте не ниже двухсот метров над реактором. Как поступать? Первое, в чем мы убедились, — что реактор не работает. Датчики нейтронов в этих гамма-полях не работали, все нейтронные каналы были неработоспособны. Значит, нужно было по соотношению короткоживущих изотопов и по активности их выделения определить, что новой наработки быстро распадающихся изотопов нет. Убедились, что новой наработки нет. Реактор не работает. Но горит графит и выделяется тепло.

Раз горит графит, значит, снизу идет подсос воздуха и идет некое охлаждение. Значит, можно было стабилизировать процесс в естественном состоянии, ничего не предпринимать и ждать естественного охлаждения реактора. Правда, ждать очень долго. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что опасность прохода в низ зоны, опасность проплавления днища, загрязнения подпочвенных вод — она бы ликвидировалась автоматически. И проблем бы не было.

Но тогда по воздушному бассейну с аэрозольными продуктами горения, с повышением температуры активность реактора выходила бы существенно дальше и масштабы и интенсивность загрязнения были бы очень большими. Закрывать сверху остатки реактора — это значит уменьшить опасность загрязнения по воздуху, но ухудшить теплоотвод, т. е. создать опасность разогрева и движения массы топлива вниз. Надо было принимать решение. Тогда решили сделать так: засыпать реактор сверху материалами, которые бы и фильтровали, но в то же время и стабилизировали температуру. Отсюда легкоплавкий металл (пока он плавится, температура не повышается), осуществляющий и защиту от излучения, и карбонаты, забирающие тепло реактора на свое разложение и выделяющие углекислый газ при разложении, что помогло прекратить горение графита.

Решалась беспрецедентная в мировой истории проблема.

Традиционные приборы, как правило, не были пригодны либо из-за недоступности точек измерения, либо из-за высоких температурных и радиационных полей. Многим специалистам и организациям пришлось в кратчайшие сроки изобретать и новые методы и новые технические средства для измерений, для закрепления активных частиц на местах, чтобы их не уносило ветром, для строительства и дезактивации. Очень многое было сделано и, как теперь мы уже можем наблюдать, с достижением цели. Западные эксперты потом назовут эти методы новаторскими и эффективными. Остается горько сожалеть, что все это было создано быстро не до того, а после. А в первые дни работать приходилось интуитивно.

И последнее, что я хочу сказать, — о молодых людях. Конечно, приходилось сталкиваться с разными ситуациями, иногда и очень неприятными. Но среди них были такие, которые вызывали только восхищение. Вот у нас писали о героизме пожарных. Некоторые, читая, ругались, что они слишком долго и напрасно находились на отметках и зря переоблучались. Но это — действительно героизм, причем оправданный, потому что в машинном зале — там же был и водород, и масла... Они

не допустили развития пожара, который мог бы привести к разрушению соседнего блока. Первый локализационный шаг был сделан верный.

А как работали военные лётчики! Это действительно подвиг. Они безукоризненно работали, и профессионально, и как угодно. В химических войсках было очень много молодых парней. На их плечи легла разведка. Они действовали совершенно бесстрашно и точно.

Вы знаете, там все было гармонично. Я не могу сказать, что молодежь там работала больше, чем другие, но то, что молодежь вела себя достойно, — это факт. И физики — и московские, и киевские — лезли в самое пекло. Я бы сказал, что молодые люди работали там, проявляя высокие человеческие и профессиональные качества».

..Только теперь понимаю, с каким удивительным человеком свела меня судьба. Академик Валерий Алексеевич Легасов, которого сотрудники ласково называют «Валексеевич». Вспоминаю его лицо, лицо простого мастерового, слышу его характерный басок, его выстраданные, беспощадные слова о причинах наших бед, не только чернобыльских, причинах, кроющихся не в сфере чистой техники, а в области нравственной.

Страшная и неожиданная весть о смерти Валерия Алексеевича застала меня как раз тогда, когда по приглашению ленинградского кинорежиссера Валентины Ивановны Гуркаленко я собирался сниматься вместе с академиком Легасовым — вести с ним разговор о демонах Чернобыля. Съёмки должны были начаться в мае 1988 года, а в конце апреля...

**Владимир Степанович Губарев, писатель, журналист, лауреат Государственной премии СССР, автор пьесы «Саркофаг» и повести «Зарево над Припятью»:**

«Смерть Валерия Алексеевича Легасова потрясла меня. Я давно знал Валерия Алексеевича, еще до Чернобыля. Он был не только великим ученым, но и писал стихи, любил театр, был подлинным мыслителем, пытливо интересовался многими явлениями нашей жизни.

Во время чернобыльских событий я увидел академика Легасова в деле, убедился в его умении моментально анализировать обстановку, принимать самые ответственные решения. Наши отношения окрепли в Чернобыле, и уже в «послечернобыльскую эру», в Москве, мы часто встречались с Валерием Алексеевичем, о многом откровенно говорили.

Осенью 1987 года он принял большую дозу снотворного.

Почему он тогда это сделал? Валерий Алексеевич не отвечал на подобные вопросы... Может быть, случайность?

Я тогда впервые почувствовал, какая пропасть разверзлась между академиком Легасовым как личностью и ученым и окружающей его реальностью. Надо прямо сказать — как бы горько ни было, — что Валерий Алексеевич последние два года жил в некоем вакууме. Его друзья все видели, могут подтвердить это.

— В чем выражался этот «вакуум»?

— Вот пример. Я попросил его написать большую статью для «Правды». Статья называлась «Из сегодня — в завтра». Она была опубликована 5 октября 1987 года. В ней поднимались острые, принципиальные проблемы безопасности не только атомной энергетики, но и вообще крупных технологических систем. Так вот, статья эта была просто не замечена теми, кого она касалась в первую очередь. Они даже не откликнулись на нее. Что-то вроде — ученый пописывает, мы считываем, и все идет как шло.

Полное игнорирование его мыслей и тревог — что может быть оскорбительнее для ученого?

Вакуум, о котором я говорил, во многом образовался после Чернобыля. Я убежден, что Чернобыль сыграл самую непосредственную роль в роковом решении Валерия Алексеевича уйти из жизни. И пусть помолчат ведомственные оптимисты, будь то медики или атомщики...

Конечно, никто не сможет однозначно ответить на вопрос «почему?», мучающий сейчас всех, кто знал Легасова, любил его и дружил с ним. Тайна смерти — одна из самых сокровенных тайн Бытия... И все же мы должны разобраться, что же могло подтолкнуть академика Легасова к роковой черте. Потому что его смерть — это тяжелый удар по нашей науке, по всем нашим надеждам на победу правды и справедливости в жизни. Это укор всем нам.

Есть еще одно обстоятельство, над которым надо задуматься. Химик по специальности, Легасов никогда вплотную не занимался ядерными реакторами, достоинствами или недостатками их конструкций. И вдруг жизнь заставила его в Чернобыле заняться этим. Уже 27 апреля 1986 года он на «бэтээре» одним из первых подъезжал близко к 4-му блоку, чтобы понять, что произошло.

Он стал скрупулезно — характер у него такой — разбираться в причинах аварии, во всем комплексе этих причин. Многое ему открылось тогда, на многое он посмотрел иными глазами, потому что Чернобыль обнажил глубинные корни на-

ших застарелых недугов. Вот как он писал об этом в своих воспоминаниях, а фактически — в своем завещании, опубликованном уже после его смерти 20 мая 1988 года в «Правде»: «После того, когда побывал на Чернобыльской станции, я сделал однозначный вывод, что чернобыльская авария — это апофеоз, вершина всего того неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих десятков лет».

Я убежден, что после Чернобыля он стал другим человеком, как стали другими мы с вами. Он уже на все окружающее смотрел сквозь призму Чернобыля.

А это далеко не всем нравилось.

И вот нашлись люди, которые начали изо всех сил уменьшать роль академика Легасова в ликвидации последствий аварии. Хотя, повторяю, он играл в Чернобыле основную, самую ответственную роль. В самые горячие дни эти люди помалкивали, во всем соглашались с Валерием Алексеевичем. Но уже после того, как было сооружено Укрытие, они начали впрямую критиковать Легасова за некоторые решения, принятые в первые дни аварии, приписывать ему то, к чему он вовсе не имел касательства.

Снова, в который уже раз, сработала наша старая болезнь: мы умеем ругать человека, умеем унижать его достоинство. В этом мы преуспеваем. Наука ненависти, обскурантизма, нетерпимости сидит в нас со сталинских времен. Но мы не умеем вовремя похвалить, сказать доброе слово, поддержать в трудную минуту того, кто стоит рядом. А потом бывает поздно...

С моей точки зрения, В. А. Легасов заслуживал присвоения ему звания Героя Социалистического Труда за подвиг в Чернобыле. Если не он, то кто же тогда? Почему же не дали ему эту звезду? Может быть, теперь, когда мы наконец-то поняли, *какого ученого, какого патриота мы потеряли*, может быть, стоит вернуться к этой идее и хотя бы *посмертно* присвоить звание Героя академику Легасову? Думаю, что это было бы в высшей степени справедливо.

Вакуум образовался не только в вопросах, связанных с Чернобылем. Делом жизни Легасова было развитие химии. Одна из характернейших его особенностей: он жил не сегодняшним и даже не завтрашним днем, а заглядывал дальше. Что будет послезавтра, уже в XXI веке?

А ведь серость, которая — увы — глубоко проникла в нашу науку, живет только сегодняшним днем. И потому эта серая плесень отвергла смелые идеи Валерия Алексеевича по созда-

нию неформальных временных молодежных научных коллективов, устремленных в будущее.

Конечно, ни одна из этих причин сама по себе не может быть, очевидно, решающей. Но все вместе они создавали мрачный психологический фон. Поймите, ведь он жил только наукой, — был одержим наукой. И когда он увидел, что даже после Чернобыля многие его предложения и предупреждения вязнут в трясине равнодушия, он совершил то, чего мы не можем оправдать, с чем не можем смириться. Это был крик отчаяния...

Не исключено, что определенную роль сыграло и состояние его здоровья, ухудшившееся после Чернобыля. Ведь от радиации страдают иммунные системы. Поэтому Легасов в последнее время подолгу лежал в больнице. Ко второй годовщине аварии я хотел сделать с ним большой — на всю полосу «Правды» — материал: «Чернобыль, два года спустя». Но он пролежал до конца марта в больнице.

А 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину Чернобыля, Валерий Алексеевич на 12 часов дня вызвал машину. Шофер приехал точно вовремя. Вошел в квартиру... Легасов был уже мертв...

Еще одна трагедия Чернобыля, еще один удар колокола, еще одно напоминание всем нам. Ведь Чернобыль обозначил пропасть между знанием и невежеством, между правдой и ложью, между совестью и бесчестьем.

Валерий Алексеевич Легасов стоял на той стороне, где знание, правда, совесть. К сожалению, по другую сторону пропасти стояли и стоят его оппоненты. Они ведут борьбу тихо, почти незаметно, создавая вокруг таланта вакуум. Сейчас, в наши дни, они пользуются и «испытанным» оружием — клеветой, доносами, очернением. И не только при жизни, но даже и после смерти... Этому натиску «инквизиции XX века» надо дать беспощадный бой, иначе она может задушить... Гибель академика Легасова призывает нас к такой борьбе».

Я снова и снова вчитываюсь в монолог Валерия Алексеевича. Многое теперь переосмысливается по-иному, и слова, сказанные Легасовым о поколении великих ученых и техников нашей страны, стоявших на плечах Толстого и Достоевского, можно сегодня отнести к самому Валерию Алексеевичу: это он в своих мучительных поисках истины старался поставить науку на прочный фундамент морали, без которой человеческое знание может превратиться в бездушное орудие смерти и уничтожения. Опираясь на плечи гигантов литературы, он,

химик, видел немного дальше, чем многие его коллеги, угадывая контуры будущих трагедий в неясной дымке будущего, предупреждая человечество об опасности бездумного тиражирования техники, беспредельного умножения ее мощностей.

### **В. Губарев:**

«Все, что происходило в Чернобыле и вокруг него, для меня очень горько. Я считаю, что в истории нашей страны это третье событие по своему значению.

Первое — татаро-монгольское иго. Мы прикрыли собою Европу от орд и варварства. Второе — фашизм. Мы спасли Европу от фашизма. И сейчас мы обеспечиваем будущее человечества очень дорогой ценой.

Трагедия Чернобыля — в этом ее особенность — заключается в том, что мы столкнулись с проявлением атомной энергии именно в форме так называемого «мирного атома». Таких катастроф больше не будет. Это я могу сказать совершенно определенно. И будущее цивилизации невозможно без атомной энергии. Но есть Чернобыль. Поэтому, когда мы будем строить это будущее, мы должны учитывать уроки Чернобыля. До Чернобыля мы подходили к этому очень легко. Поэтому действительно мы очень дорогой ценой прокладываем путь к цивилизации будущего.

Я был бы очень примитивным человеком, если бы описывал в художественной форме документальные события. Естественно, очень многое из того, что легло в основу пьесы, родилось в Чернобыле, где я работал в качестве корреспондента газеты «Правда». Но я могу совершенно четко сказать, что я не имел конкретно ни одного человека в виду. Я пытался создать типичные образы».

Из пьесы «Саркофаг» (журнал «Знамя», № 9, 1986 г):  
«**СЕРГЕЕВ.** Там долго не могли сообразить, что произошло, потому на всякий случай в Москву не сообщали. Ждали чего-то.

**БЕССМЕРТНЫЙ.** Мне кажется, очень серьезная авария. По радио почему-то ничего не говорят.

**СЕРГЕЕВ.** Все-таки взрыв?

**ПТИЦЫНА.** Конечно. Просто некоторым ох как не нужно, чтобы он был, и они доказывают, что реактор развалился без взрыва. Пожар. Просто пожар».

**В. Губарев:**

«Когда я взялся писать «Саркофаг», было естественное желание осмыслить это событие философски. Я хотел показать, что мы живем в совершенно другое время, чем себе представляем. Что мы живем в атомно-космический век, что у него есть свои законы, своя философия, своя ответственность людей за поступки и их последствия».

Из пьесы «Саркофаг»:

**«БЕССМЕРТНЫЙ.** Но какая, извините за нелитературное словечко, сволочь отключила аварийную систему?! Я хотел сказать, что это — убийство. Не самоубийство, а убийство!..

**ФИЗИК.** ...Главное для вас: выяснить, кто снял аварийную защиту.

**БЕССМЕРТНЫЙ.** Кто снял? Кто снял? Аварийную систему отключила система. Система безответственности.

**ОПЕРАТОР.** А мы все спешим, торопимся, обязательства берем, мол, на три месяца раньше срока, на двое суток, а он четыре раза просил о счетчиках, никто не поторопился там, наверху. Зато просьбы начальства мы выполняем... Отчего же так? Их просят — молчок, а нас — сразу ура! — и вперед!.. А все ради рапорта, премии... Кому такое ускорение нужно? Это то же самое, что машины по городу со скоростью сто километров в час пустить, пусть всех давят, главное — побыстрее. ...Пообещали сразу после праздников на полную мощность вывести. На двое суток раньше срока. Везде же обязательства берут... А мы что, рыжие?

**ФИЗИК.** Вот поэтому и сняли защиту».

**В. Губарев:**

«В «Саркофаге» есть три основные идеи. Первая: если человек поступает своими убеждениями, своими взглядами, если он уходит от ответственности — то этот человек живет в саркофаге.

Вторая идея: если люди, каждый человек и общество в целом, не делают выводов из трагедии — то они оказываются в саркофаге.

И третья идея: в пьесе постоянно как рефрен повторяются слова из инструкции по гражданской обороне — как модель

атомной войны. Я хотел сказать, что если человечество не учтет уроков трагедии, оно будет в саркофаге.

Эта пьеса написана за неделю. Это было в июле — с 10 по 26 июля. Когда я начал ее писать, я не мог спать, не мог разговаривать, спал по три часа в сутки. Просто иначе не мог. Понимаете, я сейчас оцениваю людей всех — где бы они ни жили, чем бы они ни занимались, какие бы посты ни занимали — по их отношению к Чернобылю. Если он равнодушен, если его не тронула эта трагедия — такой человек, с моей точки зрения, пропащий. Потому что есть такие национальные трагедии — а это национальная трагедия, — когда каждый человек должен высказать свое отношение к этому событию. Я хочу посмотреть в глаза тем людям, которые говорят, что пьеса не нужна, что она преждевременна. Потому что если мы не будем бить в набат, не будем кричать, предупреждать — то наши пьесы, наши литературные произведения некому будет смотреть, некому будет читать».

Из пьесы «Саркофаг»:

**«ФИЗИК.** Главное в этой трагедии — ее уроки. Мы не имеем права не извлечь их... В истории человечества еще не было такого опыта. Взрыв реактора и его последствия. Не исключено, что это единственный случай. Вернее, первый. Надо, чтобы он стал последним. Для этого — изучение по всем параметрам. Научным, техническим, психологическим».

**В. Губарев:**

«И самое главное, чтобы эти уроки не прошли даром для нашей молодежи. Ведь те, кто родился после 1961 года, после полета Юрия Гагарина, они естественно воспринимают, что родились в атомно-космический век. Они привыкли к стартам ракет. Но они должны понять одну вещь: раз они живут в таком веке, уровень их знаний и образования должен быть намного выше, чем у их отцов. Потому что они приходят к управлению принципиально новой техникой. А завтра будут ее создавать. А они иногда все это воспринимают как должное, как некую данность. Как автомобиль на улице. Или как телевизор. Но это же сложнейшая техника. И очень опасная. Она требует от человека нового уровня и мышления, и знаний, а самое главное — отношения к этому».

**Роберт Гейл:**

«Есть много уроков Чернобыля. Один из них — необходимость научиться сосуществовать с ядерной энергией. У нас нет другого выхода. Мы живем в ядерный век и должны с ним хорошо ладить. В США мы получаем почти 17% электроэнергии за счет атомных электростанций. В некоторых странах Западной Европы эта цифра достигает 60—65%. К 1990 году на земле будет около 500 ядерных реакторов. Иными словами, вопрос не стоит — вступать или не вступать нам в ядерный век. Мы уже в нем. Поэтому необходима высокая степень ответственности, точности и осторожности при использовании атомной энергии. Если проанализировать причины всех аварий, имевших место в США и СССР, то они возникли не от самой ядерной энергии, а из-за человеческих ошибок.

Еще один урок заключается в том, что аварии, подобные чернобыльской, затрагивают не только ту страну, в которой они произошли, но и ряд соседних стран. Поэтому помощь при таких авариях должна осуществляться не только на национальном, но и на международном уровне. Мы должны понять, что зависим друг от друга, тем более что атомная энергетика, ядерное оружие расширяют свою географию.

И наконец, последний — пожалуй, самый главный — урок. По сравнению с сознательным применением атомного оружия Чернобыль можно квалифицировать как незначительный инцидент. Но если сравнительно небольшая авария стоила бесценных человеческих жизней, серьезных совместных усилий врачей и двух миллиардов рублей, то что же можно сказать о военном применении ядерного оружия? Мы, врачи, будем тогда бессильны помочь людям.

Об этом никогда нельзя забывать.

Чернобыль — последнее предупреждение человечеству».

...Холодным ноябрьским утром 1986 года, когда мокрый снег падал на глинистую землю, пришел я на подмосковное кладбище Митино. Невдалеке от входа, слева от главной аллеи, тянулись аккуратные ряды одинаковых могил. Белые мраморные доски, золотые надписи. Даты рождения разные, даты смерти почти все обозначены маем 1986 года.

Герои Чернобыля. Жертвы Чернобыля. Возможно, были среди них и виновники Чернобыля. Всех уравнила смерть, дав нам, живым, право лишь на одно чувство: безмерной скорби от утраты этих молодых человеческих жизней.

Я поклонился их праху (пришлось при этом, правда, предъявить свое писательское удостоверение постовому милиционеру, словно было в моем поступке что-то подозрительное) и уехал с тяжелой думой о времени, пережитом нами после Чернобыля. Авария эта своими беспощадными гамма-лучами моментально высветила наш народный, государственный механизм. На суровом экране Чернобыля отчетливее, чем когда-либо, проявились и наши внутренние огромные силы и резервы (ведь можем, когда захотим, решить любую проблему!), и наши серьезные застарелые болезни, которые никак не уложить в благодушную формулу прошлых лет «отдельные нетипичные недостатки».

Прав доктор Гейл! Чернобыль грянул как последнее предупреждение: человечеству, стране, каждому из нас — молодому или старому, начальствующему или подчиненному, ученому или рабочему.

Всем.

Последнее предупреждение.

И если оно не будет услышано, если все останется по-старому, если мы будем учиться «чему-нибудь и как-нибудь», если будем работать как и работали — спустя рукава, на халтуру, если карьеру в нашем обществе будут делать верноподанные циничные и безграмотные угодники, а не умные порядочные люди со своими самостоятельными взглядами и убеждениями, если высшей доблестью на разных иерархических ступенях государства будет по-прежнему считаться лишь беспрекословное подчинение приказам, а не творческое сопоставление разных, свободно выражаемых мнений, — то это будет означать, что мы ничему не научились и что уроки Чернобыля прошли понапрасну.

И тогда последуют новые Чернобыли, новые «Адмиралы Нахимовы», новые горькие потрясения нашей жизни.

Предупреждение Чернобыля. Случилось так, что телевизионный фильм «Предупреждение», показанный в феврале 1987 г. по ЦТ, я смотрел в одной из киевских больниц вместе с теми, кто работал в Зоне, а теперь пребывал на обследовании. На телевизор сбежалось все отделение, и хотя это были

разные, незнакомые друг с другом люди, но в тот вечер всех объединил телевизионный экран, тяжкие воспоминания пережитого. В моей памяти всплыли воспоминания детства — как в нетопленном кинозале 1942 года в Саратове голодные, усталые люди смотрели документальный фильм «Рагром немецко-фашистских войск под Москвой». Смотрели с болью и надеждой, скорбью и верой.

Изменились времена, изменились исторические обстоятельства, изменились люди — только выражение лиц осталось то же, та же боль и надежда. Рядом со мною сидели молодые парни в больничных пижамах — операторы Украинского телевидения Юрий Коляда, Сергей Лосев, Михаил Лебедев, режиссер Игорь Кобрин, комментатор Геннадий Душейко. Они напряженно всматривались в кадры хроники чернобыльских событий. Уж кто-кто, а они знали, какой ценой добываются эти кадры: в одном только Гостелерадио УССР более полусотни сотрудников — телеоператоры, радиожурналисты, комментаторы, звукооператоры, водители — вынуждены были пройти медицинское обследование, а некоторым пришлось выехать на санаторное лечение. Один из ведущих и самых бесстрашных операторов украинского ТВ — сорокадевятилетний Валентин Юрченко умер внезапно осенью 1986 года. И хотя причина смерти (сердечный приступ) внешне не связана с чернобыльским облучением — но кто может отрицать роль стресса, нервных перегрузок, перенесенных этим мужественным человеком в жаркие дни лета 1986-го? Вот какой ценой добывалась правда о Чернобыле, правда, сама по себе ставшая серьезнейшим предупреждением всем нам. Вспомним уникальные кадры, снятые операторами УТ: как солдаты, выскакивая из укрытия, мчатся на крышу третьего блока, чтобы сбросить вручную обломки конструкции и куски графита в жерло четвертого реактора. Нужны ли какие-то особые комментарии к этим кадрам? Только отсчет времени на секунды, минуты.

Чернобыль начал особый отсчет времени для человечества.

Предупреждение Чернобыля — как вполне реальный образ того, что может ожидать человечество в случае ядерной войны, — должно быть услышано не только профессиональными политиками всего мира и военными, держащими пальцы на ракетных кнопках, а каждым без исключения человеком, независимо от его возраста и социального положения.

«Предотвращение ядерного омницида — самая неотложная задача человечества в наши дни. Однако огромному большинству людей все это еще недостаточно ясно. Иными словами, многие из тех, кто говорит, что знает об опасности, в действительности не верят в ее реальность» (Квасил Б., Фукс Г., Ржиман Й., Сомервиль Дж., Гайко В. Говорят ученые: ядерный омницид — угроза всему живому. — В кн.: «Кто и как может отстоять мир». Прага, 1981).

Хочется верить, что после Чернобыля человечество яснее поймет, что может с ним произойти, если начнется обмен ударами ядерной дубинки.

...В опустевшей Припяти мы зашли в центральный пункт охраны города. Дежурный офицер милиции сидел за пультом сигнализации. В соседней комнате начальник патруля распекал за что-то сержанта. Все было так обыденно. На фанерном щите перед дежурным висели связки ключей. Название улицы и желтая связка входных ключей от домов. По количеству ключей можно было понять — на какой улице побольше домов, на какой — поменьше.

Так вот я не хотел бы, чтобы на центральном пульте марсианской охраны Земли (милицейском или полицейском — неважно) висели связки ключей от опустевших и покинутых навсегда стран. Не хочу, чтобы где-то в общей связке под названием «Европа» поблескивал ключик от моей земли, от Украины.

## ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

На некогда белоснежном здании Чернобыльской АЭС появилась черная траурная кайма: саркофаг. Два цвета атомной энергетики, слившиеся в апреле 1986 года в суровое диалектическое единство противоположностей. Добра и Зла. Со здания АБК-1 убраны установленные над главным входом огромные буквы, некогда образовавшие звонкий лозунг: *«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА РАБОТАЕТ НА КОММУНИЗМ»*. Буквы «светили», к тому же влекли к себе всех иностранных корреспондентов, охотно щелкавших здесь фотоаппаратами. Кто из них откажется от такой «пропаганды» коммунизма?

Размеренно привычной стала жизнь Зоны: колонны автобусов, везущие из Зеленого Мыса и обратно очередную смену эксплуатационников; армейские подразделения, проводящие дезактивацию местности, дозиметрический контроль внутри и вне Зоны... От «Рыжего леса» осталось только одно дерево недалеко от развилки дорог — странная многоствольная сосна, похожая на подсвечник. Под сосной — памятные знаки из нержавеющей стали, напоминающие надгробья: здесь, на этой сосне, оккупанты во время войны вешали партизан. Знак народной беды годов 40-х... А в нескольких километрах отсюда в городе-призраке Припяти иной знак — неожиданный, словно кадр из научно-фантастического фильма: теплица, в которой генетики изучают влияние радиации на рост и развитие растений. В этом стеклянном оазисе жизни цветут розы, произрастают полуметровые японские огурцы, аппетитно краснеют помидоры. На пороге тепличного хозяйства посетителей встречает статный седобородый человек в черном комбинезоне — радиоэколог Николай Павлович Архипов, заместитель директора ПО «Комплекс». С первых дней аварии он работает здесь, изучая экологическую обстановку, сложившуюся в результате поступления в природу большого количества радионуклидов.

### **Н. П. Архипов:**

«Уже в 1986 году мы убедились в том, что экологическая ситуация здесь гораздо сложнее, гораздо масштабнее, чем это виделось в первые дни. Поэтому мы дали свои предложения Правительственной комиссии — продлить изучение обстановки. Это было принято. Сейчас мы имеем достаточно мощную службу, объединяющую научную и экспериментально-производственную часть. С теплиц началась радиобиологическая лаборатория. Здесь проводят исследования ученые различных институтов страны.

Каковы экологические уроки Чернобыля? Надо сказать, что первоначально технические события — авария на АЭС и борьба с ее последствиями — затмили проблемы экологии. Это естественно. Но теперь экологические проблемы выходят на первый план. Первый урок Чернобыля: всякие новые технологические системы, которые еще недостаточно испытаны, таят в себе угрозу колоссальных экологических последствий. Масштабы таких последствий в Чернобыле и глубже, и больше, чем ожидали, они долгосрочнее всех технических

проблем и наиболее трудно устранимы. Восстановить разрушения, провести дезактивацию технических средств и транспорта оказалось гораздо легче, чем восстановить экологическое равновесие.

Проведенная дезактивация, связанная с перемещением с поверхности в глубь большого количества радионуклидов, резко снизила мощность доз, но экологически проблема не решена, ибо активность, в сущности, осталась на месте. Зараженную землю срезали с поверхности, складывали в траншеи и засыпали песком. Но радиация осталась. Это временная вещь. Конечно, персоналу стало намного легче работать, но в долгосрочном плане мы приблизили радиоактивность к грунтовым водам... Рано или поздно эту проблему необходимо будет решать.

Возникла также проблема вовлечения радионуклидов при их попадании в корневую систему растений в пищевые цепи. Территория Зоны изъята из природы, как среда обитания человека. А ведь это было прекрасное место с точки зрения ландшафта — леса, поля, водоемы. Возможность возвращения сюда людей находится под огромным вопросом.

В ближней Зоне, в ближней части радиоактивного следа наблюдаются генетические изменения, связанные с облучением в первые часы, первые дни аварии. Классический пример — формирование известного во всем мире «Рыжего леса»: если первые 20—30 гектаров сформировались на 3—4-й дни за счет первоначального удара радиации, то в последующем эта территория расширялась за счет осевших радионуклидов. «Рыжий лес» — самый яркий символ экологической катастрофы, постигшей эти места. Лес погиб. В других же местах наши специалисты находят мутационные изменения, хромосомные аберрации. Сейчас мы собрали семена сосны, образовавшиеся в период аварии — для них наиболее вероятно возникновение мутантов. Мы высаживаем их, хотим попытаться выявить полезные мутации, дающие ускоренный рост, интенсивное развитие.

Обнаружены также различные уродства — листья больших размеров и другое. Они психологически сразу же обращают на себя внимание. В наших теплицах мы отмечаем «морфозы» (изменение формы и размера) цветков. Правда, такие же явления встречаются и в обычных условиях, поэтому надо тщательно сопоставлять количественные данные.

Сейчас мы изучаем последствия аварии на животных.

Сейчас мы изучаем последствия аварии на животных. Создана экспериментальная группа сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, лошади), переживших аварию. Будем скрещивать их с «чистыми» животными. У них есть определенные изменения по крови, но выглядят они нормально.

Многие изменения связаны не с прямым действием радиации, а с прекращением хозяйственной деятельности в Зоне. Так, очень бурно стали развиваться сорняки — в частности, канадский мелколепестник. На тех полях, которые в 1986 году были заняты отличной пшеницей, сейчас господствуют сорняки. Это — образ деградации природы. В Зоне мы наблюдаем — что может случиться с природой и аграрной цивилизацией в случае атомной войны. В будущем произойдет смена формаций и установится характерный для этой климатической зоны тип дикой растительности.

В животном мире происходят такие изменения: зарегистрирована большая вспышка численности грызунов, мышей-полевков, связанная с тем, что урожай зерна в 1986 году не был убран. Но тут же сработали механизмы природы, регулирующие это явление: сразу же появилось множество хищных птиц, лис, и установилось динамическое равновесие. Вначале некоторые даже боялись, что повышение числа грызунов может привести к эпидемиям — в частности, туляремии. Но ученые пришли к выводу, что этот «перекосяк» численности вскоре будет устранен самой природой. Животный мир очень чутко отреагировал на уход человека из Зоны: примерно с расстояния 80—100 километров в округе дичь пошла в Зону. Появились здесь даже «краснокнижные» виды, которые здесь ранее не находились. Человек, выходит, для них больший враг, нежели радиация...

Авария показала, что мы не только технически или психологически, но и экологически не были готовы к ней. Яркий пример — «Рыжий лес». Это первое наблюдавшееся явление подобного рода в мире. Это было прямое лучевое поражение сосны. Ведь сосна из всего растительного мира наиболее чувствительна к радиации. Деревья погибали целиком. И вот поскольку мы не были готовы к появлению «Рыжего леса» в таких огромных масштабах, он производил психологически очень угнетающее впечатление. Поэтому все время появлялось желание под каким-то предлогом его уничтожить. Хотя сейчас все специалисты — экологи, лесники — однозначно утверждают: лес надо было оставить — даже погибший. Потому что мы сейчас все усилия направляем на предотвращение распространения загрязнения. Так вот, лучше леса в этом

отношении ничего нет. Никакие искусственные мероприятия или сооружения не могут сравниться с лесом. Он аккумулирует радиацию и задерживает ее. Конечно, возникает повышенная опасность — этого надо остерегаться. Еще в 1986 году мы дали свои предложения Правительственной комиссии — и было принято решение оставить «Рыжий лес» в его естественном состоянии, усилив противопожарные мероприятия. Но потом, видимо, те, кому были поручены противопожарные мероприятия, опасаясь, что не сумеют обеспечить сохранность «Рыжего леса», добились того, что лес снесли. Это является не лучшим решением. Конечно, на определенных территориях это, может, и нужно было сделать, но на сотнях гектаров это — лишнее.

— Николай Павлович, какие существуют экологические концепции относительно будущего Зоны? Сколько их — две, три?

— Экологическая программа для Зоны есть. Это коллективное творчество многих специалистов — Госагропрома, Академии наук, Минлеспрома. Но пока еще на уровне идеологии. А вот практически ее реализация наталкивается на сопротивление, торможение. Почему? Потому что есть еще руководители, которые хотели бы сохранить аварийную ситуацию в Зоне. А это уже проблемы не экологические, а нравственные. Тут играют роль разные соображения — и личностные, и меркантильные, и групповые. Одни склонны к активным действиям. А потом хотят долго-долго заниматься рекультивацией. А я как эколог считаю, что активно действовать надо только в отдельных местах, отдельных «пятнах». Остальное сделает за нас природа.

Я, мягко говоря, удивлен несколько равнодушным отношением к экологическим проблемам со стороны Минатомэнерго, в частности, здесь, в Чернобыле. По моему мнению, акценты должны быть смещены в сторону экологического изучения и изменения экологической обстановки. По-человечески эти люди, конечно, понимают необходимость этого. Но ведомство, представляемое ими, в очень незначительной степени переживает за ущерб, что был нанесен и людям, и природе. Мне кажется, что территориальные органы советской власти в этом вопросе занимают более ответственную, более правильную позицию. А вообще, существуют две крайние точки зрения: проведение сверхактивных действий в Зоне и теория бездействия. Сторонники первой настаивают на том, чтобы все перекопать, снять верхний слой почвы, обработать химическими средствами, захоронить, дезактивировать. Сторон-

ники второй — чтобы устроить на месте Зоны такой тихий «заповедник» и ничего не делать, смотреть сложа руки. К примеру, Госагропром Союза предложил устроить такой «Заповедник».

Концепция, которую исповедую я, носит комплексный характер: часть территорий оставить на уровне заповедника, причем создать заповедник строгого режима, где наблюдать и изучать ход процессов, обусловленных природой. В другой части заповедника разрешить вмешательство человека и наблюдать и изучать, но и отрабатывать самые фантастические приемы воздействия, проверять различные гипотезы. Часть территории, потенциально пригодной для производства сельскохозяйственной продукции (а такие территории в Зоне есть), — должна быть выделена для проверки различных агротехнических приемов, хотя это и не такая уж заманчивая цель в смысле получения каких-то доходов: ведь даже в «мирное» время эта часть Полесья была самой низкопродуктивной. Почва здесь малоплодородная, сильно эрозированная. В Чернобыльском районе средний урожай до аварии составлял 16 центнеров зерна с гектара.

Экономика здесь не может быть целью. Ни о каких прибылях и рентабельности здесь не может быть и речи. Но можно пойти иным путем. Скажем, вырастить здесь леса и травяной покров — это ведь производитель кислорода, производитель здоровья. Такая местность может играть санитарно-гигиеническую роль для окружающих территорий.

С чем мы здесь столкнулись? И до аварии существовала наука радиоэкология, радиобиология. Масса исследований, публикаций, диссертаций. А когда съехались сюда представители более чем трехсот научных учреждений и встал вопрос «что делать?» — то никто не взял на себя смелость сказать конкретно, как быть.

Вот мы провели дезактивацию. Это практически ликвидация почвенно-растительного покрова с целью захоронения загрязненного слоя. А как восстановить, рекультивировать? Никто не знает. Есть такие «ура-кавалеристы», которые заявляют — сейчас, мол, такой уровень науки и техники, можно торфяными коврами покрыть, засеять травой. Но никто не знает, как ускорить образование гумуса, а без гумуса нет почвы. Земля вокруг АЭС, срезанная до песчаного слоя, бесплодна. Для ее рекультивации потребуются огромные усилия. Естественным путем гумус восстанавливается сотни лет.

А снимать, в сущности, нужно только два сантиметра земли с поверхности, потому что основная часть (95—98%) активности содержится именно в этом слое.

И потому теперь ясно, что надо было бы направить усилия на разработку машин, снимающих только очень тонкий слой, верхний, почвы, с тем чтобы все-таки сохранить слой гумуса.

Я сторонник дифференцированного подхода к Зоне: нужно и наблюдать, и отрабатывать разные методы. Фактически мы должны наблюдать в природе некую экосистему, на которую выпала радиоактивность. Наблюдать и изучать природные процессы, происходящие в ней. А рядом — проводить какие-то активные действия. Контрольные и опытные участки. Полигон. Единственная — может быть, даже солидная — компенсация тех потерь и ущерба, понесенного нами в результате аварии, — это получение научной информации.

— Что вас как биолога больше всего потрясло в «послеаварийный» период?

— Такое ощущение, когда заходишь, скажем, в лес, — что идешь в западню. Еще не измеряешь уровни, но уже рождается тревога. И дело даже не в конкретных уровнях — они могут быть и не очень высокими, — но в общем ощущении опасности. Ведь раньше мы смотрели на природу как на защитницу нашу, здесь мы получали разрядку, разгрузку, а сейчас все время сохраняется напряжение.

И чувство боли за природу. Особенно за сады: ведь я из Москвы, у нас таких нет, хочется яблоко это попробовать — и нельзя. Очень страшное чувство — бессилие человека перед этим.

Уже не та природа».

Это — мысли профессионального радиоэколога. Его потрясенность и растерянность перед тем, что стало с природой.

Для меня это тоже, пожалуй, самый страшный итог Чернобыля: природа, несущая человеку гибель. На протяжении всей истории человечества были войны, кровь, катастрофа. Но никогда не было страха перед землей, воздухом, водой.

Чернобыльские события в корне изменяют взгляд на природу как на естественного друга, союзника и защитника

человека. А к этому — совершенно новому взгляду — очень трудно, почти невозможно приспособиться. Не потому ли многие люди, не заболев лучевой болезнью (дозы, полученные ими, не столь уж велики), тем не менее нездоровы? Это какое-то странное заболевание, больше лежащее в сфере психики. Некий трагический надлом. Думаю, что эти люди не смогли адаптироваться к новой ситуации — враждебности природы. Зеленая трава, прозрачная вода, цветущие деревья, привычные уютные домашние коты и собаки — все это в Зоне несло опасность, тревогу, все казалось противоестественным. Такая злоедающая «нейтронная» ситуация порождала смятение в людях, ломала тонкие психологические механизмы, вызвала и продолжает вызывать душевные разлады. Это тоже след Чернобыля, и не просто будет от него освободиться.

Но вернемся к Зоне, к ее будущему.

**Ю. Андреев:**

«Рыжий лес» примыкал к открытым распределительным устройствам ЧАЭС и представлял очень серьезную опасность для этих устройств. Вы же видели, сколько там проводов, мачт, трансформаторов. Если бы лес высох и загорелся — а вероятность этого была достаточно высока, — то сажа, попадая на контакты распределительных устройств, вызвала бы ряд тяжелых аварий. Полностью была бы выведена из строя вся Чернобыльская АЭС. Небольшой участок «Рыжего леса», примыкавший к распределительным устройствам, был бы сам по себе очень опасен. Туда попала значительная часть выброса, и активность там была очень высокая. И неопытный человек, если бы зашел туда, мог подвергнуться достаточно серьезной опасности.

Вот эти соображения и заставили нас уничтожить «Рыжий лес». Площадь его — до ста гектаров. Этот лес был полностью обречен. Те, кто возражал против его уничтожения, неправы. Нельзя было ожидать, что там вырастут молодые сосны. Они очень чувствительны к радиации — более чувствительны, чем человек. Они бы там не выросли. И лес бы стоял как накопитель и хранитель радиации. Конечно, принимать решение о сносе леса было очень тяжело. Ведь лес — это символ природы. Но его надо было убрать.

Лес захоронили прямо на месте. Мы подсчитали, что, двигаясь с грунтовыми водами (а это очень медленный процесс), активность распадется гораздо быстрее, чем достигнет

водоисточников. Были проведены гидрологические и геологические исследования.

— И теперь не понадобится перезахоранивать «Рыжий лес»?

— Вы знаете, мы должны были решить эту задачу очень быстро. И решили так: лес захоронить, все места обозначить и наблюдать. Если окажется, что наши предварительные расчеты ошибочны, есть возможность его перезахоронить. Нужно было выбирать из двух зол меньшее — максимально уменьшить воздействие «Рыжего леса» на людей. И сразу же получили реальные результаты. Зона вокруг станции стала безопасна.

С горечью осознаю такой факт я в течение двух лет руководил этими работами, но практической помощи от так называемой «большой науки» почти не имел. От ведомственной тоже. У нас сложилось ложное положение в науке. Основная наука по численности — это ведомственная, которую и наукой называть не совсем корректно. Это не наука, а обслуживание чьих-то интересов на некоем уровне. Этих людей и учеными нельзя назвать: они полуинженеры, полупрактики, полуученые. Одной из причин этого явилось то, что в 30-е годы у нас в стране был выбит целый слой интеллигенции — высококвалифицированных ученых, инженеров. А наплодили вот эту ведомственную армию псевдоученых. Этот промежуточный слой — очень своеобразное явление. Наверно, ни в одной стране нет такого, когда это вроде бы и наука, и не наука.

Ведь что такое наука? Это прежде всего торжествующая объективность. Без объективности ни о какой науке и речи не может быть.

Не может быть, скажем, ведомственной арифметики. А у нас, оказалось, может быть ведомственная экология. Гидрология. Могут быть ведомственные подходы к техническим дисциплинам. К медицине. Это чудовищные вещи. Это уход от объективной истины. Это тоже следствие крайне низкой духовной культуры общества. Склонность ко лжи ради собственной сиюминутной выгоды — вот как это называется.

Я уверен, что сегодня называться экологом может только тот, кто понимает и закономерности природы, и имеет глубокое знание закономерностей технических, научных. Экология — «домоведение», что ли, — обязывает знать все. Только комплексно человек может сделать что-то стоящее. Если ученый признает только биологическое — это не эколог. Это лишь пер-

вое к экологу приближение. Кроме того, большинство сложившихся экологов сформировалось в годы жуткого разгула лысенковщины, которая с наукой ничего общего не имела.

Экологической программы по Зоне нет. Чтобы она была, нужно, чтобы кто-то отвечал за данную проблему. А мы сейчас не имеем человека, официально ответственного за такую программу.

Чернобыльская авария родила множество утопических проектов. В области экологии — это идея посадить бобовые растения, которые, дескать, вытянут все радионуклиды на себя, а мы их потом срежем и уберем — и наступит светлое будущее. Абсурд. Но людям свойственно верить в чудеса. В одно какое-то решение, после которого будет все хорошо.

Но серьезных экологических решений по Зоне не выдвинуто до сих пор. Я не видел ни одной стройной, законченной программы.

Пришлось нам — техникам, инженерам, а не экологам — создавать такую программу. Мы разбили всю Зону на квадраты, изучили каждый квадрат и предложили способы, которые помогут на конкретном квадрате ликвидировать радиоактивное загрязнение. Способы эти разные, зависят от ландшафта, от особенностей самих загрязнений. Мы получали в этом деле помощь от украинской Академии наук, от ее вице-президента Виктора Ивановича Трефилова.

Им было нелегко вжиться в наши проблемы, но очень много значила моральная поддержка, объективная научная оценка наших проектов.

Я сторонник активных действий в Зоне. Благодаря технике, мы многое теряем, в частности — землю. Но и восстановить эту землю сегодня, на нынешнем этапе развития человечества, мы можем только благодаря технике. В этом диалектика. Мы, люди, без техники уже не просуществоем. Мы вымрем. Поэтому спасти будущее, спасти землю, спасти зеленую траву может только техник. Этого не понимают люди с робким мышлением. Есть и такие, кто думает так: «Вот сейчас плохо. А стоит отойти назад — и станет хорошо».

Они не понимают, что отходить некуда.

Что тот лес, из которого мы вышли, он уже сгорел за нашей спиной. Его нет. Назад пути нет. Есть только вперед, и только с техникой.

Но когда мы говорим, что нужно восстановить землю, давайте задумаемся: в каком виде мы должны ее восстановить? Ведь мы, люди, за тысячу лет натворили много разных ошибок, мы виноваты перед землей. И если здесь в Зоне было тощее крестьянское поле — мы что, снова должны его восстанавливать? Наверно, это неправильно. Наверно, восстанавливать нужно *первозданную* природу.

— Но ведь никто не знает — какая она, первозданная...

— Здесь, наверно, человеку должен помочь инстинкт. Наверно, у вас бывали такие мгновения, когда вы попадали в какое-то место и вас охватывало чувство — чувство, я подчеркиваю, — что вот это — первозданная природа. В человеке это глубоко сидит. Надо сначала эту первозданность почувствовать, а потом уже вычислить. Понимаю, что это непросто. Нужны усилия. Умственные.

Как это проецируется на нашу программу? Вот в Зоне есть бедное поле полесского крестьянина. Зачем же мне вкладывать большие деньги, чтобы восстановить это тощее поле? Может, немного увеличить затраты, но восстановить его в лучшем виде? Восстанавливать нужно не лес, не поле, а ландшафт во всем его многообразии.

Это очень сложная вещь. Я в шутку говорю так: «Друзья, нужно составить ТЗ (техническое задание) на первозданную природу».

Мне кажется, что будущее и экологии, и новой, неведомой еще какой-то науки, которую и «логией» не назовешь, потому что она должна быть сопряжена с активным действием, лежит именно на этом пути.

Но первый этап работ в Зоне — убрать опасность. Убрать так, чтобы не навредить, исходя из великого врачебного принципа «не вреди». Сначала лечить. Программа распадается на две части: дезактивация и рекультивация. К сожалению, наиболее загрязнен самый плодородный слой. Его приходится счищать. Но у нас есть интересные идеи — как можно дезактивировать территорию, оставив нетронутым этот плодородный слой.

А что такое концепция «заповедника»? Давайте посмотрим на само слово. Честно говоря, называть саму Зону «заповедником» у меня язык не поворачивается. Заповедник — это первозданная природа. Искалеченные земли называть заповедником кощунственно. Более всего к этим местам подходит

жутковатое словечко «Зона». Что касается сути, Зона должна быть закрыта до тех пор, пока она представляет опасность для человека.

Наша программа — программа активных действий. Ведь наблюдений за поведением объектов природы в условиях радиоактивного загрязнения было достаточно много. Например, в США есть полигон для таких наблюдений. Познаны закономерности поведения растений и животных в условиях радиации. Вопрос изучен до такой степени, что давно пора переходить к активным действиям.

Более того, остановившись на концепции «наблюдения», мы можем перейти такую грань, когда будущий вред может быть непредсказуемым. Хватит уже у себя в доме выращивать льва. Как бы он ни был хорошо изучен — лев есть лев. Он вас потом сожрать может.

Наша программа рассчитана на 7—10 лет. Это программа дезактивации Зоны, уничтожения очага заразы. Может быть, мы совершаем ошибки. Наверно, совершаем. Но я считаю, что гораздо хуже ничего не делать, огородить Зону, посадить в середине какого-то мудрого биолога, и вот он будет смотреть в микроскоп, а вокруг будет мертвая зона. Нет, нам не надо мертвой земли. Если идти по этому пути, то мы через 300—500 лет вообще останемся без земли, потому что Чернобыль станет прецедентом: уничтожили — огородили — ждем.

Что меня окрыляет? Мы с моими молодыми сотрудниками — а это большие энтузиасты — разрабатываем не только технологию, но и создаем *машины*. Машины, которые позволят в щадящем режиме, сберегая природу, провести дезактивацию Зоны. Как инженер скажу вам, что эти машины достаточно реальны. Ничего похожего в мире до сих пор не было, потому что не было самой проблемы. Мне кажется, что это очень реальный путь.

— Юлий Борисович, а какова техническая перспектива Чернобыля, в частности — саркофага? Он что — вечно будет стоять на нашей земле?

— Что такое саркофаг? Если отбросить трагическую сторону аварии, то, в сущности, саркофаг — это блок, отслуживший свое. Сейчас начинает оформляться концепция — как поступить с блоками, отслужившими свое. Американцы первую свою станцию сняли с эксплуатации.

В принципе, самый радикальный выход — зеленая лужайка на месте блока. В этом есть глубокий смысл. Потому что

если мы будем такие объекты оставлять, то через тысячу лет весь мир будет уставлен этими вредными коробками и гробами. У нас в Союзе тоже этот вопрос назрел. Некоторые блоки уже выработали свой ресурс, они остановлены, нужно их разбирать. Проектный срок блока — 30 лет. Эти сроки или уже наступили, или наступят в ближайшее десятилетие. Это — естественная смерть блока.

Саркофаг должен быть очищен от топлива, а затем разобран. Топливо должно быть захоронено. Это — выход, достойный великой цивилизации. Но еще борются разные концепции. Одни говорят: «Давайте на этом месте воздвигнем террикон. Засыплем саркофаг — будем суперсаркофаг». Другие говорят: «Давайте саркофаг укрепим, чтобы он был вечный, и пусть себе стоит». Но это крайние точки.

Мы с Юрием Николаевичем Самойленко — единомышленники в этом вопросе. Мы считаем, что саркофаг должен быть очищен. Нам еще приходится бороться за то, чтобы победила эта точка зрения.

— По Киеву ходят панические слухи, что вот-вот саркофаг начнут ломать, разгребать. Меня спрашивают — надо ли вывозить детей?

— Нет. Все пока изучается. К этому нужно долго и тщательно готовиться. Создавать радиотехнику. Наша задача — поскорее пустить роботы для этой операции. Самойленко считает, что мы можем разгрести это дело за три-четыре года. Он человек более молодой, более оптимистичный. Я считаю, что это будет дольше в полтора-два раза. Шесть—восемь лет. Нужно подготовить роботы, людей, специальные механизмы, оснастку. Решить много организационных вопросов. Задача даже для нашей организации — аварийно-технического центра — очень сложная. Центр наш создан совсем недавно. Наш опыт уникален. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нет в мире другой организации, которая могла бы сравниться с нами по психологической подготовленности к работе в экстремальных условиях, по техническому опыту.

Мы принадлежим всему человечеству. Это опыт всего человечества».

Проблемами саркофага и его будущего занимаются не только Ю. Самойленко, Ю. Андреев и их организация. Есть еще одна группа специалистов, настойчиво идущих в самое пекло — в шахту разрушенного реактора номер четыре.

**Игорь Николаевич Камбулов**, начальник комплексной экспедиции при Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова:

«Наша экспедиция работает на Чернобыльской АЭС с 1988 года. Мы выполняем не только научные исследования, но и строительно-монтажные работы. Занимаемся четвертым блоком. Перед нами была поставлена конкретная задача: определить — где топливо, сколько его, в каком оно состоянии? Но для того, чтобы узнать это, надо максимально близко подойти к шахте, установить датчики, провести измерения. Поэтому мы начали готовить помещения, в которых могли бы долго вертеться люди. Пахали мы и пашем как лошади. Возьмем машинный зал четвертого блока. Это была страшная радиоактивная помойка. В 1986 году туда нельзя было подойти. Мы расчистили зал, укрепили порушенную стену. Разобрали завал, в котором порядка тысячи кубометров всякой гадости...

У нас просто не было иного выхода — ведь наши люди должны были там работать. Чтобы не пережигать людей, мы вынуждены чистить помещения. Наша проходка за смену в лучшем случае — один метр. В худшем — 150 миллиметров. Люди работают постоянно. Разрешенная норма облучения — до одного бэра в день, мы установили 0,3. Исходя из этих норм и работаем.

Что такое подготовить помещения? Это значит, что вы гоняете туда триста — четыреста человек за сутки в две-три смены — и так два месяца без выходных.

Вот и получается, что чистенькой научной работы у нас нет, а есть ломовая, черная работа. Для того чтобы пробурить одну скважину и заглянуть в реактор, сотни людей работают в течение нескольких месяцев. Это сотни тонн свинца, сотни тонн металлоконструкций.

БЩУ-4, в котором разыгрывалась чернобыльская трагедия, был в 1986 году недоступен. Сейчас это для нас авенида, зона отдыха. Мы уже побывали в самой шахте. Все, что осталось от кладки, ваш покорный слуга видел своими глазами. Близко, очень близко. Сейчас мы проникли в шахту на всех доступных отметках. Все, что лежит под «Еленой» — верхней крышкой, — и вплоть до бассейна барботера, мы примерно представляем. Мы сделали отверстия у основания шахты. Нас интересует сохранность конструкций в активной зоне — ведь никакая фотосъемка не может дать полного представления, особенно проведенная широкоугольным объективом, искажающим масштабы.

Мы провели за 1988 год огромную работу и получили много новой информации. Сейчас мы знаем, сколько кладки сохранилось, как она организована. Мы примерно можем оценить, сколько топлива находится там, что с ним.

— Игорь Николаевич, скажите — можно ли совместить официальную точку зрения о выбросе всего семи процентов топлива с той ужасной картиной взрыва и пожара, которая нам известна? Может ли такое быть?

— Размеры каньона, в котором расположена реакторная шахта, — 24 метра на 24. Если вы возьмете всю шахтную загрузку топлива, 192 тонны, то это будет всего пять сантиметров на дне каньона, вы его просто не увидите. Это интересный психологический момент. В представлении людей топливо — это нечто огромное, полностью заполняющее реактор. Но все не так. 192 тонны — это ничто. Активная зона — это пространственная структура, это графит, вода, технологические каналы. Мы сами были в плену представлений об объемах топлива. И когда вошли в шахту и не обнаружили в ней ничего выше 24-й отметки — это была мировая сенсация: только на нижних отметках порядка 3—4 метров, у самого основания реактора что-то сохранилось. Какая-то каша. А выше — одна «Елена». Все остальное пусто.

Графит частично вылетел, частично сгорел. Частично остался — там еще лежат блоки. Довольно много там сохранившихся технологических каналов, есть, конечно, и механически разрушенные каналы. По-видимому, был локальный взрыв — может быть, и не один, — когда произошло расплавление, своего рода микрокотел. И сейчас там можно видеть всякие кремниевые, стеклянные массы, какие-то цемзы типа вулканической. Получилась очень сложная система, трудная для изучения.

— Там еще есть раскаленная магма?

— Нет, ничего расплавленного там нет. Максимальная температура, определенная нами, — 200 градусов. Это следствие радиоизотопного разогрева топлив. При таком разогреве страдает бетон, он распадается на свои исходные компоненты.

— Нам не угрожает ядерный взрыв? Хотя бы теоретически?

— Я, зная ситуацию в реакторе, могу столько идей нагору выдать, что публика схватится за голову и сразу убежит...

— Значит, вы не отрицаете...

— Категорически отрицаю. Теоретические посылки в этом деле очень вредны. Потому что есть конкретная ситуация. Ядерная безопасность в этой сложившейся на сегодняшний день системе имеется. Реактор находится в глубоко подкритичном состоянии. А теоретически... можно создать теорию, по которой трактор «Кировец» будет мчаться со скоростью тысяча километров в час. Если запустить его вместо «Шаттла» в космос. Но это же абсурд.

Но если говорить об опасностях, они есть. И главная, на мой взгляд, — состояние самого здания четвертого блока. Ведь это здание, в котором был взрыв. Здание, которое аварийно по любым меркам. Здание, на котором стоят металлические конструкции саркофага. И если этим зданием не заниматься, оно скоро начнет падать.

Когда я в нынешнем своем ранге приехал на ЧАЭС (я здесь был и в 1986 году), я облазил здание «от кия до клотика» — и оно мне очень не понравилось. Хотя я не строитель, но тем не менее нетрудно было сообразить, что здание долго не простоит. Поэтому я погнался молву: «Давайте заниматься зданием». А надо вам сказать, что психологически оказалось непросто преодолеть отношение людей, которые строили саркофаг и звезды за это получили. Потому что им казалось, что все сделано хорошо. Все завершено. Действительно, они сделали героическое дело. И тут появляется некто и заявляет: «Ребята, давайте начнем все сначала». Трудно с этим согласиться.

Я пригласил туда Бориса Евдокимовича Щербину, показал ему все щели и трещины. Правда, в самые страшные места его не водили. Мы должны что-то делать со зданием, ибо если упадет 40-тонный ригель, будет такой пылевой залп через трубу, что...

— ...в Швеции скажут, что в Чернобыле новый выброс.

— Не знаю, скажут ли в Швеции, но в Киеве — точно скажут. И придется станцию останавливать, для того чтобы отмыть. Я докладывал не один раз об этом и должен сказать, что понимание этой проблемы есть.

— А есть ли вообще концепция — что делать с саркофагом?

— Это очень важный вопрос. Концепции как таковой еще нет. И я сейчас своей основной задачей вижу создание такой концепции. Приходится этим активно заниматься, проталки-

вать идеи. И порою наблюдается странное отношение к нам. Мы вроде как неприятный раздражитель. Понять людей психологически можно — человек хочет жить спокойно. Он устает от эмоций и напряжения. Но нам деваться некуда. Эта вот помойка на четвертом блоке не дает успокоиться. Мне один человек сказал: реактор — это уже до самой твоей пенсии. На всю оставшуюся жизнь.

Если хотите мою личную точку зрения, то вот она: чтобы радикально избавиться от опасности, топливо нужно оттуда вынуть. Потому что делать из блока могильник — нужно быть уж очень смелым человеком. И безответственным. Ведь надо же учитывать психологию среднего человека, живущего невдалеке от Чернобыльской АЭС: он не понимает физики, не знает техники, но понимает, что *это опасно*. И сознание опасности его мучает. А если топлива в реакторе не будет, любой человек поймет, что опасность миновала. И если мы хотим, чтобы люди жили спокойно, нужно поступиться чем-то. Миллионы, которые мы потратим на это, окупятся отношением людей. Я никогда не понимал копеечных расчетов, не учитывающих состояния человека.

Я думаю, что концепцию будущего — что же делать с блоком и саркофагом? — должна как можно скорее выработать группа ученых, возглавляемая академиком Велиховым. Уверен, что Евгений Павлович способен собрать такую группу, пригласить всех, кого посчитает нужным, и по-государственному решить эту проблему. Но от нее пельзя отворачиваться. Мы поймали радиоактивного медведя, но...

— Еще неизвестно, кто кого поймал...

— ...но стоим в его объятиях. И он все равно нас не отпустит, пока мы сами не освободимся».

Чернобыль породил новую демонологию: радиоактивный медведь, сжимающий нас в своих объятиях; джинн, выпущенный из бутылки НТР; дьявол в ядерном обличье, атомная медуза Горгона, уставившаяся немигающими глазами на человечество. Сверхрационалисты, мы снова возвращаемся к своим истокам, к детству человечества, испытывавшего трепетный страх перед грозными силами Природы.

Чернобыль сдвинул наше сознание, образовал в нем некие черные дыры, воздвиг не только на земле, но и в умах зону тайны и тревоги. Многое перевернул вверх тормашками, обнажил какие-то бездны Бытия, изменил мировосприятие многих людей. Реалисты стали мистиками, весельчаки обнаружили вечную печаль в своих душах, такие стопроцентные технари, как Ю. Самойленко и Ю. Андреев, вдруг обратились к экологии, хотя два года назад очень удивились бы, предреки им это гадалка.

Физики призадумались над правотой своих убеждений в неизбежности этого безумного странного мира. Ярким примером служит мой киевский друг Владимир Михайлович Черноусенко — старший научный сотрудник Института теоретической физики АН УССР. В. Черноусенко — герой телевизионного фильма «Чернобыль: два цвета времени». Этого высокого худощавого человека в черном свитере и кожаном пиджаке, с пронизательным взглядом, упрятанным за толстыми стеклами очков, можно было бы снимать в любом — документальном или художественном — фильме, где понадобился бы образ типичного физика, глядящего на мир сквозь сплетение абстрактных формул. Можно было, особенно в 60-е годы, когда пошли гулять по экранам и страницам книг свысока глядящие на непосвященных интеллектуалы, рассуждающие о свободной воле электронов и нейтрино.

Но это все поверхностное, ненастоящее. В Чернобыле В. Черноусенко трудился много и мужественно, а потом лежал в больнице № 25 с тяжкими болями в ногах («принял» на ноги большие дозы) и в перерывах между приступами мучительных болей учил китайский язык: вся палата была устлана бумагами с иероглифами... И вот посмотрите, какие изменения произошли в сознании типичного физика под влиянием такого физического явления, как Чернобыль.

### **В. Черноусенко:**

«Уже летом 1986-го, когда днем мы бегали по крышам и по всей территории ЧАЭС, ночами мы все-таки уже тогда размышляли: что же мы делаем, как попали в такую ситуацию? И что нужно сделать, чтобы это не повторилось? С чем мы пришли к 1986 году, концу XX века? С одной стороны, вроде бы с самой развитой, могучей техникой, атомной энергетикой, которая шутить не любит, а с другой стороны,—

практически с феодализмом... Я вообще не знаю, как это определить... это, пожалуй, каменный век. Сочетание сверхцивилизации XXI века и каменного века. Это первая мысль, ужасная.

Потому что мы создали монстра — атомную станцию, — который выше нашего понимания, и он оказался нам неподвластен. Конструкция реактора не выдерживает никакой критики. Совершенно. Потому что не должен реактор в критической ситуации не быть подвластным создателю, иначе зачем его строить? Это первое.

Второе. Прежде, чем строить этот супергигант, каким планировалась Чернобыльская АЭС, нужна четкая проработка проекта на предмет возможной катастрофы. Готовы ли мы к ней? Чем мы обладаем? Техническими навыками, аппаратурой, техникой для погашения, стратегией нашего поведения? Ничего ведь не было. Я тогда ночами мучился от мысли: «Как же это могло быть? Как же могло случиться, что мы всю населенную территорию заставили этими монстрами, которые катастрофичны?» Я до сих пор переживаю: а если бы он взорвался? На самом деле? И взорвались бы остальные три блока? Это была бы катастрофа, которую трудно описать.

— Но ведь вы сами физик. Неужели среди вас, в вашей среде, не нашлось людей — ни одного человека, — которые бы осознали это и били тревогу? В чем дело?

— Я думаю, что на каком-то этапе мы потеряли мудрость народную: скупой и глупый платит дважды, но платит не деньгами, а жизнью... И поэтому, если мы могли вложить миллиард на постройку блока, то я не мог и тогда, и спустя два года не могу понять — почему мы не можем потратить двадцать миллионов на то, чтобы этот блок был локализован мгновенно в случае какой-то катастрофы... И самое поразительное, что прошло два года, а мы ведь ни в чем не сдвинулись с места.

Два года мы с Юрием Самойленко пытались реализовать идею о создании «корпуса быстрого реагирования», который мог бы реагировать на все катастрофы — не только на аварии на АЭС. «Спецатом», возглавляемый Ю. Самойленко, — это лишь полумера, он создан для работы на блоках. Но у него нет ни четкой программы, ни стратегии, ни устава — ничего.

Но мы мыслили шире. Если мы создаем производство, потенциально опасное в целом для человечества — не для региона даже! — то мы должны с десятикратным опережением

предусмотреть возможность аварии... Ведь вы посмотрите, сколько опасных аварий у нас возникло уже после Чернобыля! Казалось, что Чернобыль уже мог нас научить. Нет. Почему же мы не учимся на собственных катастрофах? Вот в чем трагедия.

Корпус быстрого реагирования при различных — повторю, различных — авариях должен был иметь четкую стратегию, обученный персонал, технику, чтобы реагировать на все глобальные и локальные катастрофы в любой точке земного шара. Разве это не великая гуманная идея, укладываемая в рамки нового мышления?! *На любые аварии:* ядерные, химические, промышленные. Примерно так, как горно-спасательная служба — только у них узко направленная деятельность, но у них есть техника, есть устав, есть возможности быстрого реагирования. Ничего до сих пор не создано, наоборот: до сих пор обсуждается вопрос — кому же это должно принадлежать? Минатомэнерго не хочет на себя брать, потому что это ему экономически невыгодно. Для них главное — выкачивать деньги от строительства и эксплуатации этих станций, а все остальное — хоть трава не расти. Каждый высокопоставленный чиновник понимает: за его бытность авария может не произойти, следующая будет через 20 лет, когда его уже не будет. Но ведь она может произойти и завтра!

И такие ситуации после Чернобыля уже были. Не такие по масштабам, как Чернобыль, но были... Я уже не могу молчать, нет сил больше!

— Но ведь нельзя строить объекты и сразу же ожидать аварии. Лучше тогда их вообще не строить.

— Но мы вопрос не так ставим. Мы должны сейчас, на пороге XXI века, строить объекты, которые нас не уничтожат. А мы начинаем строить объекты, которые нас **МОГУТ** уничтожить. Вот это основная проблема. Об этом мы должны задуматься. «Корпус быстрого реагирования» может аварию локализовать — и он очень нужен, — но он не может предупредить аварии.

— Есть силы — и сейчас, после Чернобыля, они очень активизировались не только на Западе, но и у нас в Киеве, на Украине, — которые выступают вообще против атомной энергетики. Может, они правы?

— Вот я бы не ставил так вопрос, Юрий Николаевич. Сколько человечество существует, столько идет борьба: изобретали нож — выступали против, потом против паровой машины, и так далее. Я думаю, что это люди, которые пытаются

остаться в каменном веке, не понимая, на чем основано сегодня существование человечества. Вы знаете, я когда-то бродил по тайге, и там мне пришла в голову такая мысль: чем мы лучше живем, тем короче. Мы попадаем в петлю комфорта. Получаем больше света, больше энергии, но и вредных влияний возникает больше. Диалектика.

Я думаю, вам должно быть интересно услышать точку зрения человека, который работал в Чернобыле. И реакцию людей, бывших там. Вот я назову вам состояние, в котором мы тогда находились: состояние беспамятства. Обстановка была столь критична, она требовала такой максимальной мобилизации сил, что, честно говоря, мы жили одним: если бы нужно было, мы бы эти твалы таскали вручную и бросали бы в четвертый блок. Потому что сил не хватало на него смотреть. Такая реакция у всех была. Причем надо сказать, что в те дни в Чернобыле собрались лучшие люди со всей страны, которые не думали ни о чем — ни о материальных благах, ни о последствиях. Это фантастическая ситуация. Я лишний раз вспоминал — те, кто идет вперед, погибают. Это была наглядная картина тогда.

Блок манил к себе... я не знаю, как сказать... Меня трудно было оттащить от блока. Я понимал, какова опасность, но меня тянуло туда. Я занимался некогда философией, пытался понять, как мозг работает, как он продуцирует идеи, и, копаясь в своем мозге в те дни, не мог понять — что же меня туда тянет? Тянет, как острая рана, которую нужно прикрыть. Она кровоточит, она сочится, и это не дает тебе жить.

Такое сознание, наверно, и заставляло ребят двадцать раз выскакивать, чтобы померить поля — там была чудовищная радиация. Ну мыслимо ли сейчас — думаю я, сидя в кабине, — заставить человека пойти на это?!

Сейчас я бы никогда не пошел туда. И никого бы не заставил. У меня бы духу не хватило сказать это. А тогда казалось: он не выйдет — я пойду. Я не заставляю его идти на смерть, а просто — эту рану надо прикрыть, что-то сделать.

Но это же подвижничество, с другой стороны, оборачивается трагедией.

Оно ломает характеры, психику. Я думаю, что ребята из Афганистана с такой же психикой возвращаются. Потому, что это надрыв, это предел, выше которого уже не поднимешься.

Я думаю, что после Чернобыля многие чернобыльцы не могут себе найти места. Пример тому — моя поездка в декабре 1987 года в Чернобыль. Что я вижу? Те, кто жив, кто не валяется по больницам в очередной раз, — они все там. Я спрашиваю: «Что вас сюда привело?» — «Да вот, вы знаете, все ребята здесь собрались, нас сюда тянет...» Их тянет в Чернобыль.

Может быть, это нечто нам неведомое. Может, это синдром, возникающий после битвы. Я не хочу высоким слогом говорить, но думаю, что человек, выбравшись, допустим, с Бородинского сражения, возвращается снова и снова на поле боя. Боевое братство, что ли...

Мне кажется, что большинство людей нескоро отойдет от этой ситуации. Образовался какой-то психологический надрыв, какая-то ущербность. Люди, вернувшиеся оттуда, не могут влиться в «гражданскую», обыденную жизнь. Они сталкиваются с дикой ситуацией. Люди полярно разделились: одни считают чернобыльцев героями, другие — проходимцами, третьи — «заробитчанами», как говорят на Украине — теми, кто гонится за длинным рублем. Я изнемогаю от звонков, от приездов и исповедей ребят, которые плачут, рассказывая, как им непросто на «гражданке». Я не знаю ни одной судьбы тех, которые буквально бросались на четвертый блок и на кого бы не писали гнусных бумаг, кого бы в чем-то не обвинили. Дикость какая-то...

Самая пронзительная и страшная для меня ситуация в Зоне — когда надо было беззащитных ребят посылать в поля высокой радиации. А они шли добровольно и сознательно. У меня в голове не укладывалась ситуация, при которой ничего не оказалось — ни специальных костюмов, ни специальных механизмов, ни подходов аварийных.

Если бы у нас была правильная концепция, мы бы могли закрыть блок еще в мае, чтобы он не дымил на Киев. Но, к сожалению, закрытая Зона оказалась в полной мере закрытой и для людей, которые могли бы что-то сделать. Принимались в закрытой Зоне закрытые решения, хотя, казалось бы, в этой ситуации должна была сработать демократия.

Чернобыль — трагедия, которую, я думаю, нам повторно не пережить.

И вот по какой причине: во-первых, чисто катастрофически, если что-то подобное случится еще с одной станцией.

Последствия. Люди трепещут от одной мысли, что нечто подобное может произойти. Можно пережить одну, другую трагедию. Но переживать глобальные трагедии — мозг не выдерживает. Точно так же, как при землетрясении человеческий мозг не выдерживает потрясения. Когда под ногами земля шатается. Вот это ситуация Чернобыля.

Но самое страшное: *ничего не изменилось*. Потому что опять позволительно этим людям из Минатомэнерго выказывать равнодушие к нуждам людей, к их тревогам, демонстрировать совершеннейший однозначный взгляд, что вот мы, мол, решаем, это наше дело, а вы некомпетентны и не можете этого понять.

Ситуация с АЭС на грани непонимания того, что мы творим. Некто, к примеру, создает что-то. Конструкцию такого реактора. Некто другой, обеспокоенный за свою отрасль, воплощает это в металл. Но остается только одна организация, которая могла бы воспринимать происходящие события правильно: это — люди. Им наплевать на отрасль, наплевать на монополию какой-то группы ученых, у них есть боль за то, что может произойти. Но, к сожалению, эту организацию никто не слушает.

Чернобыльская катастрофа, по моему убеждению, была неизбежна, неминуема. Она могла бы произойти не сейчас, а через год. Но все равно бы произошла.

Но есть вещи пострашнее: мы стоим на пороге создания монстров, которые будут контролировать нашу жизнь. Взорвутся они — и мы будем бессильны что-то сделать. Мы — заложники у этих «четвертых» блоков. Это страшно.

Это боль моя. Мне кажется, что мы сейчас говорим о демократии не для того, чтобы кого-то из могилы выбросить — Сталина или Троцкого, — не это нас волнует при слове демократия. Нас волнует возможность вторгнуться в какую-то закрытую отрасль, для которой что регион Украины, что Белоруссия, что Куба — без разницы. Ты только прикажи, в каком регионе строить и работать. И больше никаких нравственных начал. Неконтролируемость отрасли приводит к таким последствиям. А это катастрофа, могущая перерасти в самоуничтожение. Поэтому даже те трагедии, что были в нашем государстве до этого — даже политические процессы 1937 года, сталинские репрессии, — они меркнут перед этим, поскольку здесь речь идет о полном самоуничтожении.

Демократию я понимаю не только как право нагрубить какому-то начальнику или возможность выбрать очередного руководителя, а потом его снять — мы через такую демократию, наверное, еще в гражданскую войну проходили, когда выбирали разные комитеты. Глядя на все через призму чернобыльских событий, я понимаю обеспокоенность миллионов людей, живущих в нашем регионе, за судьбы необратимых последствий, к которым может привести одно неосторожно принятое и выполненное решение. Сейчас мы сталкиваемся с такими проблемами, которые могут быть катастрофичны в целом. Поэтому демократия сегодня — не от политики идет, а идти должна от сути жизни. От научного подхода, от восприятия действительности, от взгляда на экологию, на окружающую среду, на технические решения.

Я бы поставил это вне политики, потому что какая же может быть политика, когда человек обеспокоен самыми фундаментальными вещами: он хочет, чтобы жил его ребенок, ваш ребенок, их ребенок.

И потому решения, затрагивающие жизнь и существование огромного количества людей, целой нации, они должны быть демократичны. С момента их создания — до их внедрения. Надо решать самые коренные вопросы жизни, бытия народа.

Вот много разговоров идет сейчас о персонале Чернобыльской АЭС. Я за время пребывания в Зоне был много наслышан о «героически пострадавшем персонале ЧАЭС», и было так много грязи вылито, и славных слов сказано... Но спустя два года я понимаю: был бы этот персонал или другой — все равно, сути дела это не меняет. Грустный вывод. Коль скоро мы везде потеряли бдительность, то мы ее потеряли и в Чернобыле, и на других АЭС. Всюду потеряли. Мы потеряли боязнь за свое существование. А это гораздо страшнее, чем бдительность только на одном четвертом блоке. Аппараты становятся нам неподвластны.

А мы до сих пор этого не понимаем. Это какая-то тупая установка неграмотных людей, самоуверенных людей, считающих, что мы можем творить черт знает что — вмешиваться в природу, изменять ее, не думая о последствиях. На самом деле природа этого не прощает.

Ситуация в Чернобыле показала, что мы уже дня не можем жить с такой психологией. Не имеем права.

Нужно менять взгляд на то, что мы творим. А нужно ли, скажем, ставить такой-то блок, если он технически несовершен-

нен? А может быть, лучше ЛЭП протащить от Ледовитого океана сюда? Да я бы отдал свою зарплату, чтобы это сделать. И миллионы людей бы отдала.

Перед нами стоит дилемма: либо мы меняем всю свою идеологию, включаем демократические механизмы и прислушиваемся не только к мнению группы людей — конструкторов, строителей, — а всего народа, либо мы погибнем.

В свое время я учился в Харьковском авиационном институте. У нас тогда разрабатывалась безумная идея: создать самолеты с атомным двигателем. Возить над головами людей всю эту гадость — реакторы, топливо. К счастью, идею зарубили. Но я запомнил это сумасшествие. А потом учился на ядерном отделении физфака Харьковского университета, сейчас занимаюсь теорией плазмы.

Если честно сказать, то теперь, после Чернобыля, я бы не хотел создать плазменную энергетическую установку. Мы, физики, почему-то мало внимания обращали на окружающий мир. Слепота какая-то. Нам нужны были ежеминутная выгода и немедленный результат. Как объегорить природу? А природу объегоривать не нужно. Она нам все подарила. Мы стонем, что нам не хватает энергии. Так нет же на самом деле! Природа о нас позаботилась. Если бы эти миллиарды рублей да направить на поиски экологически чистых источников энергии... Достаточно вывести десяток спутников на геостационарные орбиты — и мы могли бы обеспечить энергией себя на десять тысяч лет вперед. Спутники бы транспортировали солнечную энергию на землю. И пока бы существовало солнце, мы бы тоже существовали...

Так зачем же нам надо с таким тупым упорством развивать опасные для жизни человечества источники энергии? Ведь Чернобыль — первый звонок.

Второго не будет».

Недавно стalker Ю. Андреев привез мне чернобыльский сувенир: зеленую квадратную кнопку с надписью 2AP2. Кнопка из БЩУ-4.

Одна из роковых кнопок, которые нажимались в ночь на 26 апреля 1986 года незадолго до взрыва четвертого реактора.

Так поселилась в моем доме микроскопическая частица того чудовища, что вошло в сознание человечества под именем «Чернобыль». Будущим историкам, уверен, еще предсто-

ит оценить работы Чернобыля в пробуждении нашего народа, освобождении его от сталинского страха, вколотенного в наши души сызмальства, от брежневской спячки, равнодушия, примирения со всем несправедным и неправдым.

Из понятия физического, технического, географического Чернобыль стал категорией нравственной, он навсегда вошел в души людей. Подобно замедленной цепной реакции, он распространяется в умах и сердцах человеческих, заставляет людей — может быть, впервые — ставить не боясь самые острые вопросы нашей жизни.

А тот, кто находит в себе мужество задавать вопросы, уже не раб, но сознательный гражданин Отечества.

Чернобыль — слишком грозное и еще не познанное до конца явление, чтобы можно было легко переступить через него, предать все забвению, как хочется некоторым. Он не подвластен жалкой и временной власти отдельных должностных лиц. Нет никакого сомнения, что еще будут названы имена тех, кто принимал решения о блокировании информации, кто пытался скрыть аварию и ее последствия, кто несет ответственность перед народом нашим, перед нашими детьми. Если не судом людским, то судом божьим, высшим судом истории, будут сурово наказаны презренные эти прислужники лжи.

Сегодня ясно видится, что волна, поднятая аварией, не только не пошла на убыль, но и нарастает. Общественное мнение Украины — и не только Украины — поднялось на борьбу с бездумным тиражированием АЭС, с непродуманным их размещением в болевых точках, в стратегически уязвимых, густонаселенных районах нашей страны, и, хотя бы того или не хотят руководители Минатомэнерго СССР, им придется с этим считаться.

21 января 1988 г. в газете «Літературна Україна» было опубликовано письмо академиков А. Алымова, Н. Амосова, А. Гродзинского и других видных ученых и энергетиков «А какой прогноз на завтра?», в котором ставились обоснованные и очень тревожные вопросы Министерству атомной энергетики. Это ведомство вознамерилось в дополнение к семи АЭС построить на Украине еще шесть блоков по миллиону киловатт каждый.

Публикация вызвала огромное количество откликов со всех концов республики. На первом заседании экологической комиссии Союза писателей Украины, председателем которой избрали меня, была единогласно утверждена «Экологиче-

ская декларация», содержащая требование создать демократический механизм принятия ответственных решений в условиях гласности и конструктивного диалога с общественностью.

Прошли времена всепокорного молчания перед любыми проявлениями ведомственного произвола.

На заседании приводились следующие цифры: на территории Украины, занимающей 2,7 процента всей территории СССР, расположено почти 25 процентов всех советских блоков АЭС. Между тем, по мнению специалистов, только 10 процентов украинских грунтов отвечают требованиям, предъявляемым к строительству АЭС. Если же учесть самую высокую плотность населенных пунктов на территории УССР и дефицит воды, то станет ясно, что вопросы размещения здесь атомных станций требуют чрезвычайно ответственного подхода, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС.

И уже никого не убеждают бодрые телевизионные заверения специалистов Минатомэнерго СССР о том, какая замечательная степень безопасности достигнута, наконец-то, на атомных реакторах. Не верят люди. Миф о безопасности и экологической «чистоте» ядерной энергетики рухнул навсегда в Чернобыле. И разве холодно-рационалистичные голоса «отцов энергетики» звучат более убедительно, чем это письмо, опубликованное в газете «Літературна Україна» в марте 1988 года?

«Мы, пенсионеры-женщины ужасного Чернобыля, обращаемся к Совету Министров СССР с большой просьбой прислушаться ко всем людям — и ученым, и простым, рассмотреть весь комплекс проблем развития атомной энергетики на территории Украинской ССР. Никто не может ощутить душевного потрясения так, как мы. Сначала, после того ада, «содома и гоморры», мы все ходили как одуревшие, теперь вроде встает все на место, потому что дали хату, отстроили, вроде бы и материально можно жить. Но по ночам нам не спится, идут всякие мысли, какая-то страшная тоска охватывает по тому родному уголку, который хуже, чем после фашиста, стал испакощен, куда нельзя и заглянуть. Люди в далеких краях живут по 50 лет, а на старость мечтают о семейном гнезде, а мы его не имеем. Материальное обеспечение для человека — этого еще мало. Потому что душа измучена до предела. Молодым еще легче, они заняты работой, семьей, всякими заботами, а нам, старухам, негде отвести душу, почему-то эта душа и к богу тянется, и в церковь, может, пошли бы, да не близко... И так по ночам не спится,

и всякие думы плывут и плывут, как бывает в личной жизни и жизни целого поколения...

Если нужны подписи, то мы можем собрать тысячи».

Игнорировать чернобыльский шок — значит совершать очередную непростительную глупость.

Так думает подавляющее большинство украинского народа. Это, без преувеличения, единодушное мнение очень точно выразил украинский поэт Борис Олейник, заявивший с трибуны XIX Всесоюзной партийной конференции: «Я привез обращение к XIX Всесоюзной партийной конференции общественности республики «О пересмотре программы развития энергетики на Украине», под которым стоит свыше шести тысяч подписей. Высокомерие и пренебрежительность некоторых союзных инстанций, и прежде всего Минэнерго, к судьбе Украины граничат не только с какой-то немилосердной жестокостью, но и с оскорблением национального достоинства. Я вспоминаю, как, требуя строительства Чернобыльской АЭС, некоторые, посмеиваясь над «украинским синдромом», говаривали: да это же настолько безопасно, что можно вмонтировать реактор под ложе новобрачным.

Мы не опустимся до того, чтобы рекомендовать пересмешникам ставить свои кровати у четвертого реактора. Но мы вправе потребовать привлечь к персональной ответственности проектировщиков, допустивших грубейшие просчеты в выборе площадок для АЭС на Украине. В частности, сооружение Ровенской АЭС на карстовых землях уже привело к перерасходу многих миллионов народных рублей. Строительство Крымской АЭС на тектонических разломах в условиях подъема грунтовых вод грозит катастрофой. А проект спаренных энергоблоков 3-го и 4-го на ЧАЭС, а радиоэкологическая обстановка, сложившаяся после аварии на ЧАЭС в Киевской, Житомирской, Черниговской, Ровенской, Черкасской областях и некоторых районах нашей синеокой сестры Белоруссии? А история с Чигиринской АЭС, строительство которой под давлением общественности обещали остановить, но идут слухи, что строят?..

В указанном обращении даны научно взвешенные альтернативы. Не надо только сразу «шить» опознавательные знаки в том смысле, что кто-то не хочет АЭС именно на Украине, а пусть, мол, у других. Нет, естественно, мы за развитие энергетики. Но есть пределы, пределы насыщения, преступать которые просто преступно».

Беспрецедентность Чернобыля — в его «мирном» характере, в его вкрадчивом, скрытном приближении.

Если ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки в 1945 г. явились следствием принятия аморальных решений, продуктом злой воли и разрушительной энергии группы лиц, сознательно идущих на убийство сотен тысяч людей, то авария на Чернобыльской АЭС не была никем «запланирована», не стала результатом ничьих «сознательных враждебных действий». Сегодня мы говорим о технических причинах аварии, о роли «человеческого фактора». Но глубинные причины аварии в Чернобыле — я убежден — гораздо более серьезны. Думаю, что Чернобыль — одно из первых в мире проявлений непокорности той анонимной дьявольской силы, имя которой — Технологическая Супер-Система (ТСС).

Порожденная людьми, их талантом и упорством, сконцентрировавшая в себе огромные энергетические, химические, информационные, биологические и другие мощности, ТСС начинает выходить из подчинения человеку, грозя непредвиденными последствиями.

Чернобыль стал новым вызовом человечеству. ТСС превратилась в реальный фактор возможной гибели цивилизации, и наш долг — осмыслить создавшуюся ситуацию. Пока мы находимся лишь в начале пути. Перед нами стоят сложные вопросы, запутанные технические, социальные и моральные проблемы. Но это не должно нас останавливать. Мы должны мудро и мужественно принять вызов со стороны ТСС, смело взглянуть в глаза новой глобальной опасности. Исповедуя принцип великого немецкого врача и философа Альберта Швейцера «Уважение к Жизни», мы обязаны защитить Жизнь во всей ее гармонии и красоте. Мы должны оставить своим детям и внукам не огороженные колючей проволокой Черные зоны глобальных аварий, а цветущие оазисы Жизни.

Сегодня, после Чернобыля, мы более ясно осознаем, что мир, постепенно попадающий во власть ТСС, находится под дамокловым мечом неведомых и таинственных угроз, могущих проявиться неожиданно в любой точке земного шара. Именно после Чернобыля человек впервые с такой ясностью ощутил себя заложником ТСС, жертвой своего собственного технического комфорта и научного могущества, своей непомерной гордыни, своего безудержного соперничества с природой. Словно сбылись угрозы Мефистофеля: «Мощь человека, разум презирай, который более тебе не дорог! Дай ослепленью

лжи зайти за край, и ты в моих руках без отговорок!» (Гёте. «Фауст»).

Задумаемся же над этими новыми реальностями мира, стоящего в преддверии XXI века. Сегодня человечество должно вести борьбу на два фронта: не снижая усилия по преодолению угрозы ядерной войны, следует мобилизовать разум, профессиональные познания, моральный авторитет на борьбу с угрозой, таящейся в «мирной» ТСС.

Врачи и писатели, инженеры и экологи, представители всех профессий в мире, не ослепленные политическими, технологическими и иными предрассудками, должны объективно и честно предостеречь человечество от возникшей опасности. На страницах этой книги звучала мысль о необходимости развития новой науки — «катастрофологии», которая бы вела подготовку к различным глобальным авариям будущего. Имеется в виду также и подготовка медицинской службы, создание специальных технических и медицинских «сил быстрого реагирования» на случай выхода из-под контроля ТСС. Это правильно, ибо мы не имеем права уподобляться страусу, зарывшему голову в песок наивных, иллюзорных представлений о гармонии между человеком и природой.

Но есть еще одно важное средство противодействия ТСС: совесть.

Совесть любого гражданина — будь то ученый или рабочий, конструктор или врач. Силу этого средства не измерить в мегаваттах или других физических единицах, но это очень мощное оружие преобразования мира. Священный принцип врачей всех времен «поп посеге» («не вреди») должен быть расширен на все человечество. Любое научное или техническое нововведение должно получать моральную оценку — не повредить ли это человечеству? Моральный долг ученых — бить в колокол тревоги повсюду, где ТСС своими щупальцами охватывает священный дар Жизни.

Особая ответственность лежит на врачах, которые должны защищать жизнь на Земле, а не служить интересам атомно-энергетических, химических и прочих мафий, часто безответственных и безрассудных в своем стремлении навязать обществу далеко не совершенные конструкции и технологии.

Долг врачей — пробудить людей от летаргического сна под убаюкивающие песни ТСС. Ведь нашли же врачи мира в себе силы разбудить человечество и поднять на борьбу с угрозой

ядерной войны! Сегодня следует бросить все интеллектуальные силы современной цивилизации на поиск альтернативных решений, позволяющих взять демонов ТСС под контроль человека.

Это трудный путь. Ведь нам следует задуматься над тем — какую же модель будущей жизни мы, человечество, должны создать? Будем ли способны жить в условиях разумного, экологически сбалансированного самоограничения или пойдем навстречу самоуничтожению, утратив уникальный шанс, дарованный нам Вселенной? Сумеем ли обуздать и гонку вооружений, и абсурдную программу «звездных войн», реализация которой обрушила бы на наши головы сотни новых Чернобылей, и «мирную» Технологическую Супер-Систему, ускользающую из-под нашей власти?

Чернобыль — событие беспрецедентное в мировой истории, с которым не сравнится ни одна известная до сих пор катастрофа. Ни гибель «Титаника» или «Адмирала Нахимова», ни аварии авиалайнеров, ни взрывы в шахтах, какими бы тяжкими жертвами они ни сопровождались, нельзя сравнить с тем, что случилось в Чернобыле: эта «звезда Полярный» словно была послана из будущего, из XXI века нам всем как грозное предупреждение — опомниться, задуматься, успеть, пока не поздно, сделать серьезные выводы.

Впрочем, первые серьезные сигналы, первые предупреждения были посланы нам из века XIX: вспомним Достоевского, Толстого, Жюль Верна, Энгельса, Вернадского — каждый из них по-своему предупреждал нас. Не слушали... Не верили... Думали — они ничего не понимают. Они наивны и старомодны. Мы — победители, нам все доступно, мы все можем! Можем забыть про совесть и десять заповедей, можем быстро, в ударно-ускоренном порядке планомерно создать нового, идеального человека, стоит лишь хорошенько его повоспитывать в школе и на политинформациях..

А пришли — к Чернобылю. Пришли к величайшему кризису в нашей истории — кризису веры. Пришли к краю пропасти...

Но довольно об этом!

Не лучше ли закончить повествование идиллическими воспоминаниями?

После всего того, что увидел в Зоне и вокруг нее, после мертвого молчания брошенных сил (не знаю почему, но особенно тронули меня сельские кладбища, эти «тени забытых предков», куда не придут больше живые), после больничных

палат и взглядов тех, кто лежал под капельницами, после скачков стрелок на дозиметрах, после опасности, притаившейся в траве, воде, деревьях, я в конце мая 1986 года выехал на два дня из Киева. Мчал на восток по опустевшему шоссе Киев — Харьков, останавливаясь лишь на заставах, чтобы пройти дозиметрический контроль.

Я ехал в Миргород — повидать дочь и внучку. Тот самый Миргород, о котором писал Николай Васильевич Гоголь:

«Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-под него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь!»

Как давно это было! Из какого наивного и безмятежного времени пришли эти слова! Но и в мае 1986 года Миргород был прекрасен. Прекрасен тем, что никакой радиации — ну хоть чуть-чуть повышенной — здесь не было. И никто не рекомендовал здесь закрывать окна.

Начиналось майское предвечерье, когда воздух в Миргороде напоен ленивыми ароматами разомлевшей за день земли. Я вышел на берег небольшой речки Хорол, лег в траву, прикрыл глаза. Услышал рядом любовные трели лягушек, ощутил свежесть травы и близость воды. На противоположном берегу мычали коровы, ожидая, когда отдадут свое горячее молоко жестяным ведрам. И вдруг я понял, что такое счастье.

Это трава, в которую можно лечь, не боясь радиации. Это теплая река, в которой можно искупаться. Это коровы, молоко от которых можно свободно пить. И провинциальный городок, живущий размеренной жизнью, и санаторий, по аллеям которого медленно прогуливаются отдыхающие, покупают билеты в летний кинотеатр и заводят знакомства — это тоже счастье. Только не все это понимают.

Я ощутил себя космонавтом, возвратившимся на Землю из далекого и опасного путешествия в антимир.

В эту минуту меня окликнула одна моя знакомая, отдохавшая в санатории, и дала какое-то растение, вырванное с корнем. Ничего примечательного — грубые темно-зеленые листья и толстый ствол, словно бы подкрашенный фиолетовыми черпичами. Это растение называлось чернобыль. Горек был его привкус.

...А через два года, когда наступила пасха 1988 года, моя дочь Богдана решила сделать подарок моей маме, бабушке, лежавшей в больнице, — человеку глубоко верующему. В соответствии с украинской народной традицией расписала ей пасхальные яйца — писанки. Светлый, прекрасный обычай, идущий еще из языческих времен: яйцо — это жизнь, это весна, это солнце. Каков же был мой ужас, когда я среди прочих увидел одну писанку с изображением атома, силуэтом Чернобыльской АЭС, колючей проволокой и надписью: «Запретная зона!»

Первая чернобыльская писанка в мировой истории.

Пепел Чернобыля стучит в наши сердца.

*Май 1986 — февраль 1989*

## СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия . . . . .	6
Это горькое слово Чернобыль . . . . .	12
АЭС, реактор РБМК-1000 и другое . . . . .	16
Предчувствия и предупреждения . . . . .	19
Накануне . . . . .	25
Авария . . . . .	31
«Весь караул пошел за Правиком» . . . . .	49
Белоконь со «Скорой» . . . . .	61
Из дневника Ускова . . . . .	68
В бункере . . . . .	75
Колонна особого назначения . . . . .	82
Перед эвакуацией . . . . .	86
Эвакуация . . . . .	91
Далеко от Чернобыля . . . . .	118
Не потерять лица . . . . .	124
Один из «Маленькой футбольной команды» . . . . .	142
Вид на Киев . . . . .	150
«Опасность взрыва ликвидирована» . . . . .	159
Полет над реактором . . . . .	165
Котлован . . . . .	172
Расследование . . . . .	181
Физики . . . . .	187
Лирики . . . . .	197
Гамма-сапиенс фон Петренко . . . . .	203
«Благополучная сторона» . . . . .	208
Доктор Хаммер, доктор Гейл . . . . .	215
«На чем проверяются люди, если войны уже нет?» . . . . .	231
Саркофаг . . . . .	240
Сталкеры . . . . .	249
«Физика — наука о контактах» . . . . .	261

Большой бетон . . . . .	265
Легенда о любви . . . . .	275
Исполком мертвого города . . . . .	284
«Красная площадь» и «Рыжий лес» . . . . .	296
О «соловьях Чернобыля» . . . . .	300
Знать и помнить . . . . .	328
Возвращение . . . . .	351
Кто виноват . . . . .	360
Наказания и награды . . . . .	393
Последнее предупреждение . . . . .	402
Что же дальше? . . . . .	427

*Юрий Николаевич Щербак*

## ЧЕРНОБЫЛЬ

Редактор *Л. А. Хренникова*

Художественный редактор *В. В. Медведев*

Технический редактор *Т. В. Тужилкина*

Корректор *Г. Я. Иванова*

ИБ № 7535

Сдано в набор 24.08.90. Подписано к печати 28.01.91.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Обыкновенная  
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л.  
27, 14. Тираж 100 000 экз. Заказ № 609. Цена 3 р.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11  
Тульская типография Государственного комитета СССР по  
печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

**Щербак Ю. Н.**

**Щ 61 Чернобыль: Документальное повествование.—  
М.: Советский писатель, 1991.— 464 с.**

**ISBN 5-265-01415-2**

Книга известного украинского писателя Юрия Щербака посвящена чернобыльской трагедии 1986 года. Документальное повествование «Чернобыль» задумано автором как художественное исследование причин аварии на Чернобыльской АЭС: в книге звучат голоса крестьян и академиков, оперативного персонала АЭС и пожарных, военных специалистов и священников. По рассказам очевидцев впервые реконструирована картина развития аварии, в повествовании использованы многочисленные неизвестные до сих пор публикации западной прессы по поводу чернобыльских событий.

**Щ** 4702640201-034 353-91  
**083(02) — 91**

**ББК 84 Уж7**

